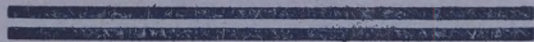




Н О В Ы Е  
М И Р

Н О В Ы Е  
М И Р

1958



1958

# НОВОБЫТИ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 11

Ноябрь, 1958 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Кустанайские встречи	3
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Ленин. На открытии Куйбышевской ГЭС имени Ленина, стихи	30
В. ПАНОВА — Сентиментальный роман. Окончание	32
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ — Из чукотского дневника, стихи	83
С. ЗАЛЫГИН — Без перемен, рассказ	89
ГО МО-ЖО — Цветы, стихи. Перевел с китайского Александр Гитович	101
М. АРМЕН — Песнь о моем городе, рассказ	103
СТИХИ ПОЭТОВ ГАИТИ. Эмиль Румэр. Страдаешь ты... Оттого, что черна... Завещание.— Жан Румэн. Песни человека.— Жан Бриер. Встреча. Он нежно вас любил...— Руссан Камилл. Надежда.— Ренэ Депестр. Я знаю слово. Перевел с французского М. Кудинов	120
<b>ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА</b>	
ЧЖАО ШУ-ЛИ — Закаляться, закаляться надо!.. Перевел с китайского Агей Гатов; П. Х. Х. БРАЙАН — Сапожник из Пензанса. Перевела с английского В. Ефанова	128
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ (Из воспоминаний участников Октябрьской революции)	159
ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА	169
<b>ПРОБЛЕМЫ НАУКИ</b>	
А. МАСЕВИЧ, доктор физико-математических наук — Новые исследования астрономов (Заметки делегата Международного астрономического съезда)	178
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	186
К. Наумов. Флаг не будет спущен.— Вл. Рубин. О том ли спор?..	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ПЕРВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ...	197
В. СОКОЛОВ — У литературной карты России	205
Г. ВЛАДИМОВ — Деревня Огнищанка и большой мир	216
А. ДЕМЕНТЬЕВ — Заметки критика	228

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>А. Громова.</b> История одного комсомольского билета.— <b>В. Кардин.</b> Сквозь револьверный лай...— <b>М. Иофьев.</b> Песня о горянке.— <b>О. Михайлов.</b> Стиль, отвечающий теме.— <b>Л. Лазарев.</b> Время жить.	242
<i>Политика и наука</i>	
<b>А. Хавин.</b> От Октября к XXI съезду партии.— <b>Я. Борисов.</b> Эпос революции.— <b>Т. Леонтьева.</b> Документы рассказывают...— <b>Д. Осин.</b> Большевики Севера.— <b>А. Мельников.</b> Поляки — солдаты пролетарской революции.— <b>Е. Ковалев.</b> Великая дружба.— Член-корреспондент Академии наук СССР <b>А. Алиханьян.</b> Научное наследие Жолио-Кюри.— <b>С. Голяков.</b> Конец черного режима.	258
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	279
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	284

---

---

---

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

## КУСТАНАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

«ИЛ-14» вырливал на взлетную дорожку. Пассажиры устраивались, до отказа отжимая назад кресла. Молодая женщина в сером жакете, сборчатой черной юбке и сапогах бережно укладывала спящего младенца в веревочную сетку-корзинку, прикрепленную к переборке, отделяющей пассажирский салон от кабины пилотов.

Рев моторов чуть примолк, затем на минуту-другую усилился, бешено нарастая, и вдруг стал ровным; Москва уходила вниз и влево гигантской россыпью тлеющих в пепельном сумраке огней, а впереди, на востоке, сразу же открылась узкая полоса зари, багровая и мрачная под длинным и темным фиолетово-серым облаком.

Высокий старик, холеный, добротнo одетый, в золотых очках и с золотым блеском под аккуратно подстриженными седыми усами, сняв габардиновое пальто и шляпу, стал рассказывать соседу о своем розарии в Алма-Ате.

— У меня, знаете ли, изумительные алые, цвета крови...— говорил он ровным, громким и скучным профессорским голосом.— Артериальной крови...

Разбудила меня тишина и яркое солнце. Самолет шел на посадку с шелковым шелестом; кто-то сзади сонно проговорил: «Уральск, что ли?..» Это действительно был Уральск, западные ворота Казахстана, степной аэропорт с полудюжиной шлакобетонных домиков-близнецов, крытых светло-серым шифером. Две городские парковые вазы на низких цоколях выглядели забавно по сторонам мощенной кирпичом короткой дорожки: они, вероятно, призваны были обозначать выход в город. Но никаких других признаков города поблизости не было. Вокруг, сколько видел глаз, простиралась рыжая с прозеленью, озаренная майским утренним солнцем степь.

Снег, вероятно, сошел здесь недавно: аэродромные радиомачты зеркально двоились в голубом разливе, заполнившем неглубокую ложбину. На летном поле, сливающимся со степью, стояла цепочка оливково-зеленых «По-2» и несколько таких же зеленых вертолетов, среди которых один был пунцово-красный,— быть может, поэтому особенно похожий на приземлившуюся необыкновенно яркую стрекозу.

Пятеро солдат в бязевых нательных рубахах с закатанными рукавами, опоясавшись полотенцами, умывались в стороне, у жестяного длинного желоба, намыливая крепкие шеи, белые снизу и темные над линией воротника. Серебряная бензоцистерна проехала и остановилась под крылом нашего «ИЛа». Другая цистерна — поливщик — описывала широкие круги по полю, оставляя за собой росисто-блестящий след.

Все вместе взятое, с фигурами пассажиров, прогуливающих в накинутых на плечи плащах и пальто, дышало утренней свежестью, миром, чистотой и трудно объяснимым очарованием степного малолюдья.



Когда мы вернулись в самолет, женщина на переднем сиденье кормила в пустом салоне ребенка, обнажив маленькую смуглую грудь. Владелец розария достал из туго набитого светло-коричневого портфеля лимон, тщательно отер его платком, отрезал ломтик и стал говорить соседу, что за Уральском обычно болтает, а лимон, мол, хорошо помогает в подобных случаях. Так оно и было. Лица пассажиров вскоре приобрели сероватый оттенок, за исключением розового личика малыша, вновь спокойно уснувшего в своей вознесенной на полтора километра ввысь сетчатой колыбели.

Два мощных мотора баюкали этого сына двадцатого столетия, в то время как чуть раскосая, темноглазая мать, побледнев и сняв с головы косынку, обмахивалась ею и осушала время от времени капельки, выступавшие на ее смугло-бронзовом лбу и поросшей прозрачным пушком верхней губе.

На вид ей можно было дать лет двадцать с небольшим, и она, вероятно, была мало осведомлена о том недавнем еще времени, когда единственным средством передвижения здесь была низкорослая степная лошадка или верблюд, если не считать железнодорожной линии Саратов—Ташкент, пересекавшей казахские степи с северо-запада на юго-восток, подобно одинокому ручейку в безводной пустыне.

---

Кустанайский аэропорт запечатлелся у меня в памяти не столько маленьким тесным домиком, до краев полным народа, сколько пружинисто-шаткой дорожкой, проложенной в одну доску по чурбачкам через гигантский весенний разлив, заполнивший низину, отделявшую аэродром от железнодорожной станции.

По этой доске надо было пройти добрых три сотни шагов, ежесекундно рискуя шлепнуться в студеною воду. Так было здесь три года назад.

Теперь же еще с воздуха я увидел новое здание аэровокзала, кремовое, двухэтажное, с круглой башней и шпилем,— здание не слишком оригинальной архитектуры, несколько, я бы сказал, тяжеловесное, похожее на многие наши аэровокзалы,— но все же просторное, новое и пока что очень чистое, вкусно пахнущее известкой, прохладное и гулко-пустое внутри.

Два грейдера, бульдозер и каток работали на пустыре перед зданием, прокладывая дорогу в сторону железнодорожного переезда; пока же дорога эта была далеко еще не готова, и я пошел, как и три года назад, напрямик, через рассохшуюся, подобно пустынному такыру, низину, а затем через пристанционные пути, ныряя под вагоны или же перелезая через тормозные площадки.

Шесть или семь путей были густо забиты товарными вагонами, платформами леса-кругляка, гондолами со щебенкой, бензоцистернами и снова груженными платформами; узкие промежутки между путями, кое-где загроможденные ржаво-красными контейнерами, хрустели угольной крошкой, а за всем этим открылся кирпичный старый вокзал с выходом на знакомую привокзальную площадь, три с лишним года назад встречавшую первых новоселов громом духового оркестра и вихрями снежной пыли.

Теперь навстречу несло другую — жаркую — пыль, бич этого края, пыль, легко вздымаемую ветром, скрипящую на зубах, набивающуюся в глаза, нос и уши, ложащуюся густым слоем на листву чахлах акаций и лица людей, на тротуары и крыши главной улицы, пересекающей город с северо-востока на юго-запад, где она вылетает прямо в степь.

Судьба города без истории, без достопримечательностей, без архитектуры, без традиций, без большого будущего — такой была судьба Кустаная до весны 1954 года.

Новое вторглось сюда с первыми комсомольскими эшелонами; город зажил жизнью большого армейского штаба — жизнью не слишком уютной и благоустроенной, но по крайней мере деятельной.

С ходу сгружаясь с платформ, колоннами шли по главной улице тракторы, заставляя звенеть стекла в окнах. Полчища обывавших «газиков» и «побед», с бахромой грязных сосулков на крыльях, сбивались в часы совещаний у здания обкома на незамощенной площади, по краям которой высились на гранитных колоннах-цоколях бронзовые бюсты уроженцев Кустаная, дважды героев капитана Павлова и майора Беды. В двух ресторанах — городском и вокзальном — стоял дым коромыслом. Там пели «Шумел камыш», шумно, до хрипоты, спорили и пристукивали к документам круглые печати, отодвинув в сторону тарелку с недоеденным борщом.

В коридорах забитой до отказа гостиницы отсыпались как придется обросшие бородами геодезисты, бухгалтеры, директора совхозов, существовавших пока лишь на бумаге. Какой-то мужчина с неврастенически-интеллигентным лицом, в пестром галстуке и яловых сапогах, дробно стучал по рычажку телефона: «Алло, алло, обком? Говорит Панов. Всеволод Сергееч. Дело в том, что мы тут снимаем большую картину... э-э... о целине. Так сказать, научно-популярный фильм на эпическом фоне. Что? Да я, собственно, насчет ночлега. Не в ваших силах? Но позвольте...»

Его сменил другой, осилший: «Алло, Бурли! Бурли? Слушаете? К вам выехало пятьдесят, документы у сопровождающего, санобработку прошли. Понято? У меня все...»

Внизу двухэтажного здания гостиницы помещалась закусочная, где за десятком покрытых облупленной клеенкой столов всегда бывало полно. Здесь сидели в пальто, в стеганках и полушубках, не снимая шапок. Официантки в грязных фартуках и замусоленных наколках зло швыряли на стол тарелки с одеревеневшей колбасой.

Приходилось и мне тогда посещать это незаманчивое местечко. И теперь, получив койку и умывшись, я спустился вниз, чтобы поесть. Но, увы, дверь закусочной оказалась наглухо запертой, к ней приклепана была четвертушка тетрадной бумаги с нацарапанными карандашом словами: «Закрывается на ремонт».

Как пояснила дежурная по гостинице, дело тут было связано с предстоящей научной сессией, делегаты которой ожидались из Москвы, Ленинграда и Алма-Аты; все готовилось к их приему. Так или иначе, завтракать мне пришлось в другом месте; на следующий день я уехал и вернулся лишь накануне открытия сессии — вернулся поздней ночью, наездив на степных дорогах истинно волчий аппетит, и еле дождался утра. Войдя же в закусочную, я ущипнул себя, чтобы убедиться, что не сплю.

Утренний свет лился сквозь кружево гардин, стены матово отсвечивали кремовым, с молочного потолка свисали две приятной формы люстры. Свежеокрашенный пол пересекала дорожка, по обе стороны которой расположились покрытые белейшими скатертями столы, окруженные гнутыми из алюминиевых трубок полукреслами. В конце зала блистала обновленная буфетная стойка, за стеклом которой было представлено нечто трудно поддающееся описанию. Скажу только, что даже архипрозаические огурцы и свекла выглядели там чем-то вроде расцветших зелеными и темно-багровыми лепестками орхидей.

Самое разительное было, однако, впереди. Не успел я усесться, как к столику приблизилась легкой поступью официантка и, склонив голову

в ослепительно накрахмаленной наколке, вежливо осведомилась о моих намерениях в отношении завтрака.

Эту женщину я хорошо помнил и узнал мгновенно, несмотря на то, что изменилась не только одежда ее, но и лицо. Оно как бы похорошело, стало моложе, и я подумал, что это произошло не столько от приведенных в порядок волос, помады и пудры, сколько от осмысленного выражения гостеприимной приветливости, от светившегося в ее глазах желания сделать человеку приятно.

Узнала и она меня, как видно,— вернее, не узнала, а признала, смутно вспомнила.

— Что-то вроде бы наш вы, кустанайский,— сказала она, доставая из кармашка книжечку и карандаш.— Не из гостей.

— Да нет,— ответил я,— приезжий. Но бывал здесь.

— То-то, я гляжу, лицо знакомое будто... Ну, как вам теперь у нас? Нравится?

— Выходит, и этак можно? — ответил я вопросом, вместе с ней обведя взглядом вокруг.

— Так ведь праздник,— улыбнулась она.— Гости! — И, записав заказ, тихонько вздохнула: — У нас, коли захотят, все могут...

В Кустанайском областном музее, вместившем неказистые свои богатства в четыре сырые, холодные комнатенки, я прочел наказ жителей поселка Ерисковского, Ново-Семиозерной волости,— наказ члену Государственной думы от Тургайской области, большевику Ивану Федоровичу Голованову.

Вот что было написано там по-старинному красивым округлым и крупным почерком на двойном листке пожелтевшей за полвека бумаги:

«Милостивый государь Иван Федорович! Сильно трудно нам, переселенцам, жить на новых землях, мы уже прожили три года на нашем участке, а хозяйства наши так плохи, что большая половина нашего поселка имеет не более по одной лошади и у нескольких таких бедняков имеется еще по корове, живем же мы в таких землянках, что хорошие хозяева скотину не станут держать в них, а кроме этих землянок мы не имеем никаких пристроек, так что приходится самим жить в одной половине землянки, а в другой, или скорее сказать в сенцах, помещается та же лошадь и если есть у кого корова. Земли нам хоть и достаточно дали, но она нам приносит мало пользы, потому что разработать эту землю очень трудно и очень многие не в силах, так как для поднятия целины нужно 4 или 5 пар хороших быков, а с одной лошадейю много не напашешь, а потому нам очень необходима помощь...»

Не стану перечислять всего, о чем бедняки-ерисковцы просили походатайствовать. Скажу лишь, что их наказ, отправленный на мирские гроши с нарочным в Петербург, был вручен адресату ровно за три дня до разгрома царем второй Государственной думы и ареста самого Голованова.

На том, возможно, и оборвался бы рассказ, если б над остекленным и оправленным в музейную рамку мужицким наказом не висела на стене поблекшая фотография молодого человека в черной с белыми пуговицами косоворотке, с длинными, свободно зачесанными назад, как на ранних портретах Горького, волосами, с юношеской темнеющей порослью над мягкой линией губ.

Подпись под фотографией поясняла, что сельский учитель Зотик Петрович Толстых, 1885 года рождения, и был тем самым нарочным,

кто по заданию Кустанайской группы РСДРП доставил наказ ерисковцев депутату-большевику в Петербург.

Есть что-то нерушимо общее в облике молодых революционеров начала нашего века; общее это, при всем различии внешних черт, выражено, мне кажется, в глазах, не зря называемых зеркалом души. Удивительно чистым, прямым, открытым, твердым и далеко устремленным взглядом глядел с фотографии двадцатидвухлетний сельский учитель со странным и, видимо, очень редким именем. Мне не приходилось раньше слышать такого, и я было подумал, что тут приведено уменьшительное от имени Зот, но сразу же отмахнулся от этой мысли — вряд ли музейный педантизм позволил бы применить в подобном случае уменьшительное.

С тем я и ушел, унося в памяти светлый взгляд молодого учителя и его необычно имя. Через день я уехал и затем две недели колесил по Тургайским степям вместе с главным агрономом облсельхозуправления Владимиром Григорьевичем Савостиным. Побывали мы, к слову, и в бывшей Ново-Семхозерной волости, о которой шла выше речь, и во многих других местах, и я насмотрелся всякого. Видел старые переселенческие поселки, клейменные неизгладимой печатью прошлого, — поселки с иссохшим быльем ковыля на плоских саманных крышах, прогнувшихся, как спина заезженной клячи; унылые поселения без дерева, без цветка, без чего-либо способного порадовать глаз человека. Видел и новые совхозные и энтээсовские усадьбы, выросшие в голой степи, — порядки сборных домов, не бог весть каких уж красивых, но все же новых, светлых, с радиоантеннами на шиферных кровлях.

Шеренга комбайнов, самоходных сенокосилок, крытых серой эмалью виндуроэров стояла тут в боевой готовности, в то время как тракторы с плугами и сеялками все до единого были в разгоне, в работе, в степи, где шла посевная. Казалось, их там не так уж много — не часто попадали они в поле зрения, маленькие среди распаханной, курящейся пылью равнины. Я сказал об этом Владимиру Григорьевичу; тот, улыбнувшись, назвал в ответ цифру — сорок тысяч. Действительно, сорок тысяч тракторов работало в Тургайских степях весной 1957 года; думая об этом, нельзя было не вспомнить выцветшие музейные строчки, а с ними вспоминалось и многое другое, пережитое за полвека страной.

К середине мая мы вернулись в Кустанай. Владимир Григорьевич, толковейший специалист и знаток местных дел, должен был принять участие в работе объединенной научной сессии двух академий — Всесоюзной и Казахской; ожидалось около четырехсот приезжих участников, — по этому случаю город, сколько мог, как говорится, чистил перышки. С центральной улицы, несуразно длинной, вывозили машинами многолетней давности мусор — смесь пыли с подсолнуховой лузгой и окурками. Поспешно асфальтировали площадь перед облисполкомом. Белили внутри и снаружи гостиницу, способную принять едва лишь пятую часть делегатов. Насчет размещения остальных был выдвинут смелый проект: пригнать и поставить на станционных путях десяток купейных вагонов плюс вагон-ресторан...

Короче, хлопот было много, но, как бывает в подобных случаях, к сроку все утряслось, устроилось. Для заседаний сессии был отведен недавно построенный Дом культуры, с залом на пятьсот мест и просторным, светлым фойе, где разместилась приготовленная к сессии выставка — одна из самых удивительных, какие мне приходилось когда-либо видеть.



Я знал, что в Тургайских степях, пробуждающихся теперь к иной жизни, обнаружено за последние годы немало ценного и полезного. Но то, что я увидел здесь, казалось неправдоподобным.

В остекленных витринах, на длинных свежеекрашенных столах, а то и попросту на полу были разложены поистине сказочные богатства.

Тут покоились черно-лиловые глыбы браунитовой марганцевой руды. Рядами лежали высверленные из глубины степных недр круглые столбики-керна энергетических и коксующихся углей. Блестели зеркально отполированными срезами мраморовидные известняки — крапчато-серый и черный с крупными белыми и желто-золотистыми прожилками. Были здесь дивной красоты диориты, напоминающие уральский малахит, и охристые в вороную искру гранодиориты и абrikосово-розовые с дымчатым оттенком, будто выветрившаяся древняя терракота, глыбы пузырчатых «бобовых» бокситов...

Над всем этим во множестве разновидностей царил железозем: оолитовые руды, похожие на спекшуюся жженую охру; бурые железняки, местами как бы подернутые ржавчиной; магнетитовые крупнозернистые руды, отливающие темно-стальным блеском, и магнетитовые же тонкозернистые, похожие в изломе на чистый серый чугун. Гранатовые скарны Сарбайского месторождения искрились, словно золотыми блестками, обильным вкраплением пирита. Тускло отсвечивали металлом богатейшие маргитовые руды, сизо-ржавые, содержащие до шестидесяти трех процентов железа...

Не знаю, как объяснить чувство, какое испытывал я, разглядывая все это. Тут смешалось, сплелось многое: и удивление, и странная, казалось бы, радость по поводу того, что есть еще, черт подери, на нашей старушке земле места, таящие неизведанное, и смутная зависть к тем, кому дано совершать открытия, и еще какое-то совсем уж необъяснимое, детское — будто все это принадлежит лично мне.

Уже прозвенел звонок, призывающий к началу сессии; уже выстроилась в опустевшем фойе делегация принаряженных во все чистое пионеров с барабаном, горном, знаменем и букетами чахлой местной сирени; уже слышались из-за прикрытой двери монотонная речь председательствующего и шелест аплодисментов, — а я все топтался вокруг да около выставленных сокровищ.

Бледная, насмерть взволнованная вожатая последний раз пробежала вдоль строя, приглаживая вихры и поправляя галстуки, — и вот распахнулась дверь, грянула барабанная дробь, петушиным голосом запел горн; колонна, пройдя сквозь плещущий зал, выстроилась на авансцене, и правофланговая с торчашими в стороны ржаными косицами стала без запинки говорить длиннущее приветствие, в то время как вожатая, оставшись за дверью и еще более побледнев, беззвучно повторяла за ней губами, в отчаянии ломая сплетенные пальцы.

Однако это уж было напрасно; молодчина правофланговая не подвела, не сбилась ни разу.

«Желаем вам быть такими же бодрыми, как мы!» — отчеканила она, заканчивая, и весь зал в ответ грохнул смехом.

Аплодируя, смеялись столичные академики, доктора и кандидаты наук, впервые пожаловавшие в эти края. Смеялись обветренные всеми ветрами геологи-разведчики, вытвердившие здешнюю степь не хуже, чем девочка свое приветствие. Смеялись агрономы-селекционеры с глубинных опытных станций, хорошо знавшие цену бодрости; гулко стучали твердыми ладонями экскаваторщики с Соколовского рудника, на чьих празднично выбритых дубленых лицах заметны были у крыльев носа несмываемые темные пятна, как у всех людей, каждодневно имеющих дело с металлом и смазкой.

Вскоре, однако, все притихли, слушая доклад, начавшийся с того, что до 1946 года весь этот край, составляющий основную часть так называемого Тургайского прогиба, — как ни странно звучит это слово в применении к плоской, как стол, равнине — прочно числился нашей наукой в разряде бесплодных, безнадежных в геологическом отношении районов...

На следующий день работа сессии продолжалась в секциях — геологической и сельскохозяйственной; поколебавшись между железом и хлебом, я выбрал первое. Мне хотелось послушать сообщение о недавно открытых ильменитовых россыпях. Оно уже читалось, когда я вошел к геологам; я уселся на первое свободное место, стараясь не скрипнуть, и стал слушать, дополняя воображением по-научному суховатый текст докладчика, рассказывавшего, как в 1947 году в низовьях степной речушки были отмечены первые участки «с видимой концентрацией черного ильменитового шлиха в песках индикотерневой свиты среднего олигоцен». Я плохо понимал специальную терминологию, но хорошо знал, что ильменитовые россыпи — это титан, металл будущего, и понял также, что тут, все в тех же «геологически бесплодных» степях, обнаружена огромная титаноносная площадь.

Открытия — это ведь, в сущности, будничные хлеб геологов. Сидевшие в зале привычно и даже будто скущаяще слушали; и лишь один примостившийся с краю в президиуме седенький старичок в заношенном темно-синем костюме и мятой, без галстука, рубашке сидел, подавшись вперед, и, отогнув ладонью ухо, слушал с каким-то особенным выражением. Рот его был приоткрыт в произвольной старческой полуулыбке, а глаза...

Тут я должен остановиться; глаза эти, густо оплетенные морщинами, и остановили меня. Что-то очень знакомое было в их взгляде, устремленном поверх голов, как бы поверх всего несущественного, второстепенного, и я не мог отвязаться от мысли, что видел где-то этого человека, выглядевшего посторонним среди обветренных, крепких и сравнительно молодых геологов-степняков. Наклонясь к соседу, делавшему какие-то пометки в своем делегатском блокноте, я тихо осведомился, не знает ли он, кто этот старичок. Оторвавшись на секунду от записей, сосед рассеянно поглядел в президиум.

— А это тут один местный краевед-любитель, — прошептал он, — по фамилии Толстых, Зотик Петрович...

И снова погрузился в свои заметки.

Я еле дождался перерыва — и вот мы стоим вдвоем у окна курилки. Зотик Петрович тщательно, как нить в ушко, вправляет сигарету в мундштук. Старчески нетвердые руки его покрыты у запястий россыпью рыжих веснушек. Он почему-то кажется мне маленьким, будто тот, кого я знал раньше, был крупнее, выше. Редкие, желтовато-седые волосы зачесаны набок над изборожденным мягкими морщинами и тоже крапленным веснушками лбом. О себе говорит неохотно, хмурясь. Ну, жил-был, учительствовал... В девятьсот седьмом, как только вернулся из Петербурга, арестовали, выслали под надзор полиции; в четырнадцатом — мобилизовали на фронт. Воевал телефонистом, вернулся — Совет депутатов послал налаживать телефонную связь. Потом снова учительствовал... В общем, история обычная. В тридцатом стал увлекаться краеведением — сперва ради ребят, для их интереса, а затем уж...

Он очищает мундштук, вправляет новую сигарету.

— В общем, к началу разведочных работ, к сорок седьмому году, у нас тут на нашей, на любительской, карте было нанесено сто семьдесят одно месторождение начиная с железных руд и кончая гипсами.— Пришурясь, он улыбается.— Ведь отсюда, из бесплодных-то наших краев, еще при Борисе Годунове олово в Москву возили, вот ведь как... Про это я давненько еще в одной старинной книжице раскопал... А где нашлось олово, там уж ищи и золото, верно ведь?

Звонок, настойчиво призывавший к работе, прервал разговор. Зотик Петрович, извинившись, снова несильным хлопком очистил мундштук и вернулся в зал.

Я вышел в опустевшее фойе. Здесь было прохладно и тихо. Из-за двери слышался голос докладчика, рассказывавшего о Джетыгаринском месторождении хризотила-асбеста. Какой-то высокий человек, в пиджаке, с орденом Трудового Красного Знамени и заправленными в сапоги брюками, молча двигался вдоль стен, склоняясь подолгу над витринами и столами. Мне тоже хотелось еще раз поглядеть выставку, я пошел вслед за ним — и вдруг увидел в простенке не замеченную вчера фотографию, где лишь глаза, наперекор всему, сохранились такими, какими были полсотни лет назад.

«З. П. Толстых,— написано было под ней,— старейший исследователь области, краевед-геолог. Его первоначальные работы разбили ошибочное мнение о бесплодности Тургайской впадины...»

— Занятный старикан,— проговорил вдруг высокий, перехватив мой взгляд и наскучив, как видно, молчанием.— Его здесь, между прочим, долго-онько за чудака считали. Обижали кое в чем, случалось... Ну, а он все свое, все свое. И вот ведь, гляди, дождался...

Улыбнувшись и покачав головой, высокий двинулся дальше. За окнами майский горячий ветер гнал из Тургайских степей пыль. Она вилась мутной дымкой над Кустанаем, над уездной бестолочью его домов и домишек, над пожарной каланчой, над чахлым бульваром с забредшей коровой, лениво шиплющей серые листья низкорослых акаций. Водовозная кляча, впряженная в бочку, стояла на перекрестке. Терпеливо расставив подагрические ноги и понура голову, она ждала поезда: по главной улице в сторону Тобола шла, сотрясая оконные стекла, нескончаемая колонна тяжело груженных автомашин.

---

— Заедем сначала к Липкину,— сказал Владимир Григорьевич третьему седоку нашего «газика», инженеру-строителю из облсельхозуправления.— Заедем, пожалуй, сначала к Липкину, в Озерную,— не возражаешь?

Два собственных имени, произнесенных рядом,— «Липкин» и «Озерная» — потревожили какой-то уголок памяти, и я вдруг до мелочей ясно представил мартовский вечер пятьдесят четвертого года, поезд Челябинск — Кустанай и старенький, скрипучий, полупустой почему-то мягкий вагон с потертым плюшем диванов, пятнистыми зеркалами и чугунной печкой в коридоре, куда проводница все совала щепки и сыпала уголь, то и дело поглядывая на привинченный неподалеку термометр.

На редкость неласковой и запоздалой была та весна. Природа как бы загодя, не таясь, испытывала людей, лавиной двинувших в эти края,— выдержат ли, не спасуют?

Многие, должно быть, не раз задавали себе этот вопрос в те дни. Сосед мой по купе — невысокий худощавый человек, лет около пятидесяти с виду, одетый в подпоясанную военным ремнем темно-синюю гимнастерку, с заправленными в сапоги всенного же покроя галифе,— сидел, задумчиво глядя перед собой и барабая пальцами по коробке «Казбека».

Курил он много и с тем выражением, с каким курят озабоченные или огорченные чем-либо люди — часто и глубоко затягиваясь и без нужды сбывая пальцем пепел. По всему видно было, что он не прочь высказаться, поговорить; я охотно пошел навстречу его желанию и вскоре узнал, что человек этот, по фамилии Никитин, двадцать два года директорствовал в одном крупном совхозе на Ставропольщине, а теперь едет по назначению — начинать все сызнова, как говорится, на голом месте.

В том, что он рассказывал, а более всего в самом тоне рассказа, сквозила искреннейшая любовь к делу — вернее, не к делу вообще, как профессии, а именно к тому, которое взяло у него лучший, сочный кусок жизни: к своей ставропольскому совхозу. Рассказывая о нем, он достал из нагрудного кармана ручку-самописку и принялся чертить на крышке папиросной коробки, на ее внутренней стороне, план центральной усадьбы с тополевой («сам посадил!») аллеей, школой-десятилеткой, амбулаторией, клубом. В это время зеркальная дверь отворилась рывком, и в купе появился третий — обширный и весьма громогласный мужчина, с остриженной под машинку крупной головой и набрякшими, сизыми, как сливы, глазами веселого гипертоника на малиновом одутловатом лице.

— Дозвольте к вашему шалашу? — загудел он надсаженным басом и, не дожидаясь ответа, зашвырнул на верхнюю полку приятно пахнущий овчиной полушубок, шапку-ушанку и перевязанный залохматившейся веревкой чемодан.

Бывают люди, способные вмиг заполнить собой пространство — малое или большое. Купе наше сразу же показалось донельзя тесным. Рубан (так звали вошедшего) хохотал, сипло кашлял, хлопал нас с Никитиным по коленям и, конечно, уже на пятой минуте развязал туго гнущимися пальцами веревочный узел и на ощупь выудил из чемодана поллитровку.

Одет он был точно так же, как и Никитин, — темно-синего сукна гимнастерка с накладными карманами, широкий военный ремень старого образца, галифе, сапоги — и так же, как Никитин, оказался директором совхоза, едущим по назначению.

Как видно, и ему не хотелось расставаться с насиженным гнездом, но рассказывал он об этом по-своему.

— Таскали, таскали меня в райком, — говорил он, нарезаая хлеб и копченое сало, — ну, вижу, не отверчусь, придется ехать. «Выбирай, говорят, место». А что ж тут выбирать? Глаза заплющил, ткнул пальцем в карту — все одно, куда ни кинь, глушь, пустыня... А у меня ж от совхоза вот так до станции было, рукой подать, — бывало, выйду утречком на крыльцо, матюкнусь как следует — начальнику слышно, сейчас же фуражку свою сымает, приветствует... Эх!..

Махнув рукой, он отправился к проводнице, принес и водрузил на столик три стакана; Никитин тотчас прикрыл один из них ладонью.

— Что так? — удивился Рубан.

— Не могу, язва...

Пожав плечами, Рубан налил себе и мне. Закусывал он с аппетитом, хрумтя добытой из полушубка луковицей. Подмигнув Никитину, расхохотался с набитым ртом:

— Тут тебя живо вылечат!..

И вдруг, помрачнев, забористо и длинно ругнулся.

— Эх, у меня ж и совхоз был, ребята!.. Две «победы» имел, одну личную, премиальную. У меня зоотехник на «ГАЗ-69» ездил — чувствуете? Одного директорского фонда до двухсот тысяч в год...

Скрип открывшейся двери не дал ему продолжить: в купе заглянул четвертый — сутулый, тощий железнодорожник в мешком сидящей шине и криво нахлобученной форменной ушанке нитяного каракуля.

— Извините, — проговорил он, — по соседству еду; в купе никого, один, знаете ли, как палец. Скучно, холодно...



— Давай, чего там, — перебил его Рубан, сразу же перейдя на ты. — Согреть — это в наших силах...

Пока железнодорожник переносил свой незavidный скарб — потертый чемоданишко и рюкзак, — Рубан налил на треть пустовавший стакан.

— Спасибо, — вежливо проговорил железнодорожник, сбросив шинель и усевшись. — Спасибо, но я не пью.

— Что, тоже язва? — прищурился Рубан.

— Почему язва? — удивился железнодорожник. — Просто так...

— Ну и народ слабоухий пошел, — пожал плечами Рубан, разливая остаток себе и мне. — Удивляться иногда приходится.

Выпив и набив рот хлебом, салом и луком, он принялся беззастенчиво рассматривать нового попутчика. Узкоплечий, редковолосый, с впалыми нечисто выбритыми щеками и беззубой старушечьей складкой губ, тот сидел нахохлившись, печально приподняв брови и глядя прямо перед собой немигающими серыми глазами.

Прошла минута-другая молчания. Никитин курил, отвалившись в угол, — там, в тени, разгорался и угасал огонек его папиросы. Ровно отсчитывали свое колесо.

— Так, значит, не будешь пить? — решительно и с оттенком насмешливого презрения спросил Рубан, дожевав и покосившись на стоявший без дела третий стакан.

Железнодорожник виновато улыбнулся и проговорил:

— Наверное, все же придется. Морозит меня что-то.

Протянув бледную руку, он взял стакан и, брезгливо сморщившись, выпил.

— Закусывай, — предложил Рубан. — Не сиди как на именинах.

— Спасибо, — неожиданно петушиным голосом ответил железнодорожник. Смущенно кашлянув, он взял хлеба с салом и принялся жевать, по-старушечьи двигая челюстями. Кончик носа шевелился у него при этом.

— Так, наверное, без зубов и останусь, — вздохнул он, дожевав кое-как. — Собирался, собирался вставить, и вот, пожалуйста, дособирался. Там уж вставишь...

— Где? — поинтересовался Рубан.

— Где же, — усмехнулся железнодорожник и кивнул в сторону вагонного окна, — на целине этой, будь она трижды счастлива.

— Выходит, сюда и вашего брата мобилизуют? — удивился Рубан.

— Когда надо, — сказал железнодорожник, — так и черта лысого мобилизуют, лишь бы диплом имел.

Он снова усмехнулся и посидел молча. Водка, как видно, подействовала — впалые щеки его заиграли пятнами.

— Нет, вы подумайте только, — сказал он, помолчав. — Двадцать два года на транспорте, без отрыва, на одном месте, в вагонном депо... Я же пшеницу от овса не отличу, убейте.

— На какую же должность вас? — поинтересовался Никитин.

— Директором эмтээс.

Рубан оглушающе расхохотался.

— Вам смешно... — печально проговорил железнодорожник.

— Ничего, не дрейфь, — сказал Рубан, отсмеявшись и смахнув кулаком набежавшую слезу. — Я тебе сейчас краткосрочные курсы устрою.

Он встал и, пошарив в чемодане, вытащил еще поллитровку, выбил ловким ударом ладони пробку, подмигнув, налил наполовину стаканы. Никитин пошвелелся в своем углу и закурил, дунув в мундштук папиросы.

— Вот тебе первая заповедь — голос! — внушительно продолжал Рубан, нарезая хлеб. — Голос надо авторитетный иметь. Вопиющий такой голос, понял? Ну, давай, поехали.

Оба выпили. Железнодорожник поперхнулся.

— В нашем деле, брат, на интеллигентном разговоре не проживешь, — сказал Рубан, закусывая. — Тут без матюка разговор — все одно, что обед без соли.

Никитин, кашлянув, поднялся и вышел, захватив папиросы и спички.

— Не нравится, — подмигнул вслед ему Рубан. — Ты на таких не ориентируйся. Язву нажить — не хитрая штука. А вот здоровье в нашей шкуре директорской сохранить — эге, попробуй! Все будешь близко к сердцу допускать — долго не выдержишь, это я тебе уже кроме шуток говорю. Можешь поверить.

Он внезапно умолк, потер ладонью темя и отодвинул бутылку.

— Мой тебе совет, — проговорил он, — не тушуйся. Главное, виду не подавай, что ты в этом деле плаваешь. Вопросы решай твердо, принял решение — не отступайся. У нас ведь народ знаешь какой — слабину почувствуют, вон куда сядут.

Он похлопал себя ладонью по складчатому затылку.

— Найдешь себе там человечка верного, — продолжал он, — он тебе, конечно, подскажет что к чему. Словом, не дрейфь... — Рубан поглядел в крапленное снегом окно и усмехнулся. — Ну, а коли прогонят — тоже не горюй. Далеко не отгонят.

— Да хоть бы освободили, — оживился железнодорожник, — я б им в ножки поклонился. Двадцать два года на транспорте — пустяки, нет? Семья, квартира какая там ни на есть...

— Эге... — пропел Рубан, и в глазах его вновь вспыхнули озорные огоньки. — Транспорта твоего тебе уж не видать, теперь ты в другую номенклатуру попал.

Он расхохотался и, подмигнув мне, приподнял бутылку. Окончательно потеряв грань между пустым шутовством и злой издевкой во всем происходившем, я вышел из купе в коридор.

Когда мы вернулись в купе, железнодорожник, кряхтя, взбирался на верхнюю полку.

— Не я буду Липкин, — бормотал он заплетающимся языком, — не я буду Липкин, если в депо свое не вернусь... Пусть снимают, коли на то пошло... Предупреждал ведь, просил, как людей, так нет же... Послушайте, — свесился он погодя, — вы меня в этой самой... в Озерной, будь она трижды счастлива, не растолкаете, а? А то ведь просплю как пить дать...

Наутро меня разбудила возня в купе. Железнодорожник одевался, сопя. В сером сумраке медленного мартовского рассвета измятое лицо его с седой щетинкой на щеках казалось страшным. Рубан храпел на своей полке, приоткрыв рот. Нерешительно поглядев на него, железнодорожник напялил ушанку, вскинул на плечо рюкзак, взял чемодан и вышел.

Пока я одевался, поезд успел затормозить. Никитин стоял у окна в коридоре, враспояску и с полотенцем на плече, покусывая мундштук папиросы. За окном белела плоская степь, до самого горизонта проросшая коричневыми былинками. Стоянка была недолгая; прогудев, состав дернулся с перестуком, мимо проплыло здание железнодорожной станции, за ним — виднеющийся вдаль забор с торчащими хоботами комбайнов и граблями сенокосилок.

Мобилизованный шел туда с рюкзаком на плече, то и дело оступаясь, проваливаясь и загребая снег чемоданом...

Вспомнив все это, я спросил у Владимира Григорьевича, не о том ли Липкине речь, что приехал весной пятьдесят четвертого года, не о железнодорожнике ли?

— О нем самом, — обернулся Владимир Григорьевич. — А что, знакомый?

— Вроде бы, — улыбнулся я. — Как же он тут у вас?

— Ох, не говорите. Хлебнули мы тут с ним лиха...

И он стал рассказывать, коротая однообразную степную дорогу, состоявшую, казалось, из одних лишь бугров и колдобин.

— Мы ведь здесь ко всякому привыкли,— говорил он, полуобернувшись и крепко держась за поручень,— нас удивить трудненько. Кого только не присылали сюда, каких чудес не бывало! Что поделаешь, приходилось мириться. Мы ведь тоже не идеалисты какие-нибудь, понимаем, как разверстки подчас выполняются. А вы, если не ошибаюсь, с Украины — стало быть, должны поговорку знать: «Нá тоби, небоже, що мени не гоже». Верно я произношу?

Ну вот. Так оно, в соответствии с поговоркой этой, и получалось нередко. И верно: подумайте, какая область станет вам лучших людей отдавать? Разнарядку выполнили, и баста, а насчет качества — не обесудьте, мол, чем богаты... Ну, а нам тоже приходилось считаться с реальностью. Директиву-то по замещению руководящих должностей лицами с высшим образованием выполнять надо, с нас ведь тоже цифру спрашивают. Так что всякое приходилось терпеть.

Но такого, как с Липкиным этим, у нас еще не бывало. С народом он обращался черт знает как грубо, представления о директорском авторитете имел самые странные: «Сказал — и точка!» Выбрал в советчики себе своего шофера — удобно ведь, парень всегда под рукой,— и ну руководить. Представляете?

Мы порой диву давались — нарочно он, что ли? Пробовали с ним по-разному — и по-хорошему беседовали, и на высоких нотах,— ему хоть бы что.

А выгонять, знаете, неудобно — только-только назначили. «Текучесть кадров...» И потом у нас и так вон поныне половина директоров без высшего образования, а этот как-никак инженер...

Однако, смотрим, чем дальше, тем хуже. С коллективом ни на грош не считается, все по-своему гнет, работу разваливает, терпеть больше никак нельзя. Пришлось поставить вопрос о снятии. Вызвали мы его на бюро обкома — и тут... Поверите, до сих пор не понимаю, что с ним тут приключилось. Уж как с него на бюро стружку снимали, как пропесочивали — передать трудно, а он вместо обороны — в наступление.

«Вот вы меня собираетесь прогонять, говорит, и считаете, что тем самым проявите свою государственную мудрость. А назначать меня — мудрость была или не мудрость? Ведь знали же, что я из тех, кто свеклу дыней называет, а дыню редькой зовет,— так, кажется, в частушках поется? Я ведь честно предупредил об этом, просил... Ну, а коль уж назначили, то теперь сами себя прорабатывайте, выговора себе выносите, а меня извольте на курсы послать. Выучите, а потом уж спрашивайте...» В общем, в таком роде. И, представьте, всерьез уперся — не уйду, и все тут.

Посовещавшись, мы решили перед лицом такого неслыханного напора — была не была — послать его на трехмесячные курсы. «Очень хорошо, говорит, но я прежде должен к себе на эмтээс съездить, с народом побеседовать...»

Как мы узнали позднее, Липкин наш, приехав на эмтээс, сторговал где-то барана, гусей десяток, накупил вина, водки, сельдей и прочего, посуду занял, со стряпухами сговорился — короче, организовал обед чело-век на сто по всей форме. Ухлопал на это чуть не двухмесячную зарплату, отпечатал на машинке именные приглашения — бригадирам, механикам, трактористам, ремонтникам, агрономам... Люди пожимали плечами — притча, да и только. Однако собрались, разместились (у него столы в клубе поставлены были). Он же, когда все уселось, поднялся и произнес речь, смысл которой, кратко говоря, был следующий: «Человек я немолодой, зубы свои, как видите, давно съел, а ума-разума так и не набрался.

Вот мне теперь надумали новые зубы вставить и заодно мозги вправить. А я, в свою очередь, хочу у вас, люди добрые, спросить: согласны вы дальше меня терпеть или нет? Потому что я, такой-сякой, кругом виноват перед вами. Не перед кем-нибудь там, наверху, где анкета моя хранится, а именно перед вами. Это я, к сожалению, чересчур поздно понял, но теперь меня крепко заело и я имею желание кое-что доказать...»

Тут Владимир Григорьевич прервал рассказ, чтобы закурить. Машину встряхивало и продувало встречным ветром; закуривал он долго, пригнувшись.

— Чем же кончилось? — спросил я, когда он наконец распрямился.

— Доказал! — усмехнулся он.

«Газик» наш сбавил ход, въезжая на эмтээсовскую усадьбу. Слева, у длинного забора, тянулась в несколько рядов уборочная техника. Справа же, за покосившимся и закопченным зданием ремонтной мастерской, на крыльце конторского домика стоял краснолицый человек в сатиновой добела выгоревшей косоворотке, с прикрепленным к ней очень новым на вид орденом Ленина, и в круглой с широкими полями соломенной шляпе, называемой на Украине «брылем».

— Привет, Липкин, — сказал, вылезая, Владимир Григорьевич. — Вот знакомого тебе привез.

Человек в брыле посмотрел на меня, напряженно мигая.

— Не узнаете?

— Извините... — пробормотал он.

— Весна пятьдесят четвертого, — напомнил я, — поезд Челябинск — Кустанай... Краткосрочные курсы — помните?

— Постойте, постойте... — Он потер щеку ладонью и вдруг улыбнулся, обнаружив два ряда сверх меры белых, фабричной выделки зубов. — Ну, здравствуйте...

— Как же вы тут? — задал я не слишком оригинальный вопрос.

— Ничего, — пожал он плечами, — живем... Харченко! — зычно позвал он проходившего поодаль человека. — Найди-ка там Петракова, скажи — гости приехали. Мы на стройплощадке будем, пусть туда идет... Мастерскую новую строим, — пояснил он мне на ходу, — имели с подрядчиком дело, водил он нас, водил, пока подальше не послали. Сами решили заканчивать, своими силами, да начальство плохо помогает. — Он подмигнул в сторону шагавшего сзади инженера-строителя из сельхозуправления. — Вот продернет вас товарищ писатель, будете тогда знать... Аня! — прокричал он босоногой девочке, прыгавшей на пустыре через скакалку. — Беги домой, скажи матери — гости приехали. Трое. Пусть в магазин ходит, возьмет, чего следует. И обуйся, слышишь, нечего босиком бегать, когда кругом железа полно...

Пошагав молча, он негромко спросил:

— Так, значит, узнали все-таки? А я, представьте, вас ни за что бы не узнал... Три года, шутка ли?..

Он вздохнул и, почесав в затылке, сдвинул брыль на обожженный солнцем шелушащийся лоб.

— Что ж вам еще рассказать? — проговорил Иван Андреевич Кочергин, взвесив на ладони темно-стальной, в золотистую крапинку, столбик.

— О себе хоть что-нибудь, — попросил я.

Шел четвертый час дня. Попутная машина, привезшая меня в Сарбай, уходила обратно в четыре.

— О себе? — улыбнулся Иван Андреевич и посмотрел на Валентина Карповича Пятунина, сидевшего тут же. — Что ж интересного? Хотите, расскажу о причинной связи между распорядком дня в госбанке и вот этой штуковиной?



Все еще улыбаясь, он подбросил на ладони увесистый столбик и постучал по нему молотком. Столбик откликнулся металлическим звоном. — Давайте,— согласился я.

— Зимой сорок восьмого года,— неторопливо начал Иван Андреевич,— наша разведочная партия заканчивала работу на Аятском железорудном месторождении, вот здесь...— Он поднялся и очертил длинной рукояткой молотка на карте.— Местечко, как сами понимаете, не очень людное. Теперь-то, собственно, еще так-сяк, а тогда... Тогда там живого человека в диковинку встретить было. Ну вот. База нашей экспедиции находилась в Николаевке — есть там такое богом забытое сельцо,— работали же мы, естественно, в степи и жили, как положено жить нашему брату геологу, без особых коммунальных удобств...

— ...и центрального отопления,— усмехнулся Валентин Карпович, роясь в ящичке стола. Порывшись, он вытащил несколько фотографий и положил одну из них передо мной. Фотография изображала заснеженную, сливающуюся у горизонта с небом равнину. На переднем плане стоял обмерзший ледяными сосульками гусеничный трактор. К трактору были прицеплены бревенчатые сани, также оледеневшие, а рядом две до глаз обмотанные платками женщины, обутые в огромные валенки, совали что-то белое в стоявший на снегу мешок.

— Водоснабжение наше,— пояснил Иван Андреевич.— Водичку таким способом всю зиму транспортировали. В сухом и спрессованном, так сказать, виде. Но не в этом, разумеется, главное. С комфортом у нас и похуже бывало, а вот дороги... С дорогами тут и вовсе беда была. Поглядите (он снова подошел к висящей на стене карте области), всего какая-нибудь сотня с небольшим километров до Кустанай, а бывало — особенно в весеннюю распутицу — ни доехать, ни доплыть, ни пешком пройти. Оставалось одно — летать, для чего, собственно, и был прикомандирован к нам Миша Сургутанов, летчик.

На своей «удвешке» он летал из Николаевки в Кустанай, а то и дальше, в Челябинск,— смотря по надобности. Надобностей же встречалось множество. Миша возил консервы, масло, белье, капусту сушеную, запчасти к буровым станкам, лекарства, газеты, письма, зарплату и расходные деньги,— словом, что придется. Все мы любили его за покладистость, за компанейский характер, за трудолюбие и особенно за веселый нрав. Правда, склонность его к веселью и шутке порою проявлялась своеобразно: он шутил и веселился не только на земле, но и в воздухе. Короче, он был в известном смысле... ну, как бы это сказать поточнее... воздушный хулиган, что ли?

Тут Иван Андреевич закурил и, пряча улыбку, пустил на огонек папиросы долгую струйку дыма.

— Что поделаешь? — вздохнул он, с величайшей серьезностью поглядев на меня.— От правды никуда не денешься. Был он, повторяю, воздушный хулиган и частенько выделывал в воздухе такое, что и описать трудно. Бывало, случая не упустит: не то что на отару овец,— на полдюжины гусей, и то пикировал. О всяких же рискованных виражах, петлях, бочках и прочей эквилибристике говорить не приходится. Мы-то со временем привыкли, а вот местное население пугал он, бывало, досмерти — чуть землянки не задевал, пролетая над каким-нибудь попутным аулом.

И вот однажды ранней весной сорок девятого года случилось такое. Приспела надобность слетать в Кустанай, в банк за деньгами, а бухгалтер наш подзадержался с документами. Как известно, банк заканчивает операции с клиентурой в два часа дня. Документы же Миша получил лишь в начале второго.

Можно бы, конечно, и отложить дело на денек. Но Сургутанов был не из любителей откладывать. Усевшись в свою «удвешку», он без лиш-

них слов взял старт и, не теряя времени на набор высоты, лег на курс и пошел с шикарнейшим ревом на полном газу над землей на самом что ни на есть бреющем, благо в этих краях и брить в те годы, кроме ковыля, нечего было.

Отсутствовал он часа три, а то и все четыре; мы уж, признаться, встревожились не на шутку, кляли себя всячески; однако вернулся он целый и невредимый, но чрезвычайно взбудораженный.

— Деньги деньгами, вот они,— сказал он, небрежно швырнув бухгалтеру сумку,— но, кажется, братцы, привез я вам кое-что подороже денег...

И он рассказал, что по пути, неподалеку от поселка Сарбай, у него вдруг отказал компас. То есть не то чтобы испортился, а, как принято говорить, «забарахлил». Представляете?

Я кивнул.

— И забарахлил основательно,— продолжал Иван Андреевич, раскурив погасшую папиросу.— Поразмыслив, Миша решил на обратном пути повторить фокус с «бритьем». Долетев до Сарбая, он принялся, к ужасу немногочисленного населения, кружить совсем уж отчаянно низко. Стрелка компаса плясала при этом, как оглашенная. Короче, вскоре у него не осталось и тени сомнения в том, что под крыльями — возмущающий объект, и притом весьма серьезных масштабов.

— Как? — переспросил я.— Какой объект?

— Возмущающий,— улыбнулся Иван Андреевич.— Это термин такой, применяемый при магнитной съемке. Возмущающий объект, или, иными словами, аномалия с высоконапряженным магнитным полем.

— Ну, а дальше? — спросил я, заинтригованный рассказом.

— Дальше — вот,— проговорил Иван Андреевич и протянул мне тускло отсвечивающий металлом крапчатый столбик.— Одно из крупнейших в мире месторождений, суммарно превышающее запасы Магнитки, Благодати и горы Высокой. Вместе взятых, разумеется. И какая руда, любуйтесь!

Столбик чугушной тяжестью лег на мою ладонь.

— До сорока двух процентов чистого металла, и все, можно сказать, цельным куском, без довесков. Пласт глубиной до двухсот семидесяти метров. Монолит весом в семьсот миллионов тонн, представляете?

— Чудо природы,— сказал молчаливый Валентин Карпович, никак не похожий на бродягу геолога в своей белой рубашке с галстуком и подтянутыми резинкой рукавами.— Месторождение уникальное...

— Скажите,— осторожно спросил я, положив столбик на место,— а если бы не этот... ну, случай, что ли?..

Кочергин с Пятуниным переглянулись.

— Случай?..— переспросил Иван Андреевич. Поднявшись и сунув руки в карманы, он прошелся, чуть сутулясь, между столами, на которых густо лежали столбики — керны руд и сопутствующих минералов.

— А что такое, собственно, случай? — проговорил он, остановясь, сняв очки и задорно шурясь.— Я понимаю, история эта может кое-кому не понравиться. Более того, она может возмутить иных ревнителей строгой закономерности. Да что поделаешь — жизнь, она такая, ее в расписание не втиснешь. И ведь куда скучнее жить было бы без такого рода... гм... случайностей, вы не находите?

Валентин Карпович улыбнулся молча.

— Для успокоения же возмущенных умов заметьте, — продолжал Иван Андреевич, покосившись на мою записную книжку,— что Сарбайское месторождение было бы так или иначе открыто, ибо вся площадь эта подлежала планомерной магнитометрической съемке.

— Рано или поздно,— добавил Пятунин, поднимая палец.

Я машинально взглянул на часы.

— Где же теперь Сургутанов? — спросил я.

— Давненько его отозвали, — сказал Кочергин. — Тут опять забавная история. Когда предложено было в Москву на соискание премии за разведку месторождений список представить — и, как водится, представить срочно, — никак не могли мы отчества Сургутанова вспомнить. Миша, да и только. Был Миша, и нету. Где он обретался — не знали, времени на розыски не имели. День до вечера бились, вспоминали, а в конце-то концов наобум решили прописать — Григорьевич.

— И что же?

— Представьте, угадали. Вот вам еще случайность...

Иван Андреевич звонко расхохотался.

— Теперь-то уж знаем, на Урале он, диспетчером в аэропорту. Вроде бы за чересчур веселый характер от полетов его отстранили...

За окном затормозила и просигналила машина.

— Так-таки о себе ничего и не рассказали, — без тени надежды проговорил я, перелистнув страничку блокнота.

— Что ж о себе? — пожал плечами Иван Андреевич. Легким на взгляд ударом молотка, как бы коля сахар, он отбил от темно-стального столбика небольшой, заискрившийся в изломе кусок. — Вот, возьмите на память, если угодно...

Тут в комнату вошел плечистый, стриженный ежиком молодой человек в распахнутой на груди ковбойке, из-под которой виднелся треугольник морской тельняшки. В руке у него был молоток, но не такой, как у Кочергина, а обычный, каким гвозди забивают.

— Ящиков не хватает, — начал он без предисловий, — штуки три нужно еще, иначе никак не уложимся...

— Знакомьтесь, — сказал Иван Андреевич, — это Вася Кирей (молодой человек рассеянно, но очень сильно тряхнул мне руку). — Пришел к нам из флота в пятьдесят первом, начал с ученика коллектора, а ныне четвертый курс института заканчивает.

— Так что мы тут, как видите, не одну лишь руду разведываем, — улыбнулся молчаливый Пятунин.

Парень покраснел и, смешавшись, вышел. Вышли и мы вслед за ним на крыльцо. Поселок Сарбай (три десятка древних саманных землянух и сотня новых сборных домов, поставленных геологами) млеял под беспощадным майским солнцем. Две курицы, белая и крапчато-серая, расслабив крылья и зарывшись в пыль, дремали в тени под стоящим неподалеку новым — еще без номера — «москвичом».

— Может, увидимся? — сказал я на прощание.

— Где-нибудь... — улыбнулся Кочергин. — Здесь-то уж не придется.

Шофер попутной трехтонки высунулся из кабины, просигналил и нетерпеливо завел мотор.

— Хорошо, пусть я пьяница, — сказал Трибуц, густобровый человек лет сорока пяти с виду, в синей куртке-спецовке и холщовых мятых штанах. — Пусть я пьяница, алкоголик и все такое, но при чем же здесь оркестранты?

Мы сидели в клубе поселка Комсомольский, в пустой комнате духового кружка. Был седьмой час пополудни, солнце свернуло к закату. Красноватые отблески горели на меди труб, лежавших на свежооструганных досках стеллажа.

— Пусть я пьяница, — в третий раз повторил Трибуц, — но народ-то за восемь километров на занятия ходит, это тоже учитывать надо. И не в костюмах тут дело, плевали мы в конце концов на костюмы. Народ уважение видеть хочет.

Человек этот, насколько я знал, был со странностями. Он много лет служил военным капельмейстером, вышел в отставку, приехал сюда год назад, нанялся на Рудстрой плотником. Семья его жила где-то в Дагестанской АССР. Он действительно часто и помногу пил, но музыкант он, как говорили, был превосходный. Он сколотил здесь самодеятельный оркестр, игравший по праздникам и на вечерах в клубе. Председатель рудкома Курдюков обещал еще к октябрьским праздникам купить всем участникам духового кружка одинаковые костюмы для выступлений, но не купил и на майские, по поводу чего Трибуц основательно напился и некоторое время не являлся на сыгровки.

— Хотел было вовсе рукой махнуть,— сказал он, пожав плечами,— да не смог... Мне от музыки, видно, поздно уж отвыкать.

Тут, прервав наш разговор, в комнату стали входить кружковцы, запыленные после работы. Появился Толя Кравцов, инженер из рудуправления с самодельным магнитофоном. Он поставил его на стол и принял налаживать. Кружковцы, беря инструменты, рассаживались.

— Можно будет послушать? — спросил я у Трибуца.

Он замялся.

— Тут, видите, какое дело,— сказал он нерешительно.— Сегодня ведь не то чтобы репетиция. Идея такая у меня появилась, семье своей звуковое письмо послать... Так что не знаю, интересно ли вам будет... А впрочем, оставайтесь, коли хотите.

Толя повозился с магнитофоном, там что-то щелкнуло. Трибуц полез в карман, достал и развернул двойной тетрадный листок. Кашлянув, он подошел к магнитофону. Все притихли.

— Можно? — спросил он.

Толя нажал кнопку, магнитофонные катушки завертелись, и Трибуц стал неестественным голосом читать:

«Здравствуйте, дорогая мама, а также вся моя семья, Юрочка, Мишенька, Любочка и Анечка. Передаю вам свой горячий привет с целинных земель Казахстана и желаю вам самых наилучших успехов в работе и учебе, а также хорошего и крепкого здоровья. Дорогая мама, из вашего письма я узнал, что вы очень хотите видеть меня. Я вполне разделяю ваше желание и даже присоединяюсь к нему. Поэтому обещаю приехать в отпуск и обязательно приеду. Только осенью. Надеюсь, вы не станете огорчаться. Чтобы вы не скучали, прослушайте концерт моего духового оркестра. Исполнители-оркестранты — самых разнообразных профессий. Вот, например, Корнеев и Ральников, оба Юры, они монтажники. Володя Крузин, Щербаков Евгений и Боря Комаров работают слесарями. Витя Кондалов — бульдозерист. Федотов Сережа — машинист шагающего экскаватора. Другие ребята тоже работают на производстве.

Дорогая мама, они все, так же как и я, приехали из разных городов и республик великой нашей Родины, чтобы вложить свой труд в стройку коммунизма. А в свободное от работы время мы собираемся в клубе. Проводим занятия, веселим остальных тружеников и пользуемся хорошими успехами.

Поскольку вы находитесь далеко, мы решили передать вам наши достижения через магнитофон и надеемся, что это предоставит вам некоторое удовольствие.

Поделюсь с вами своими впечатлениями о данной местности Казахстана. Здесь обширнейшие просторы, на которых возводятся новые зерносовхозы, поселки, а также города. Стройка идет быстрыми темпами. И с каждым ударом топора, молотка и кувалды, с каждым движением трактора и с каждым шагом шагающего экскаватора увеличиваются мощь и богатства нашей Родины. И все это меня радует. Я скоро приеду и заберу вас всех к себе, не скучайте...»



Тут голос Трибуца вдруг осекся. Прикусив губу, он отвернулся от магнитофона и отчаянно взмахнул руками. Оркестр грянул марш из «Аиды».

Дослушав музыкальную часть письма, я вышел. У клуба стоял Даня Васильевич, комсомольский секретарь, шуплый голубоглазый парень, которого ребята величали Данилой.

Несколько дней, я заметил, он подкарауливал меня то там, то здесь. Он, как видно, хотел сказать мне что-то, но не решался.

Мы пошли вдвоем по немошеной поселковой улице. Вслед нам неслись нестройные звуки оркестра, начавшего разучивать новую вещь.

— Какие-то у него с семьей непорядки,— сказал Данило про Трибуца.— С женой, что ли. Оттого и пьет, я думаю... У нас здесь водку «антигрустину» называют,— добавил он, помолчав.— Слыхали?

— Нет, не слышал,— признался я.

— Конечно, это не оправдание,— сказал Данило.

Данило снова зашагал молча. Навстречу нам попался Курдюкоз, председатель рудничного профсоюзного комитета. Он шел степенно и важно, той особой походкой, по которой нетрудно отличить человека, облеченного ответственностью. На нем был парусиновый свежевостранный костюм и капроновая летняя шляпа. Под рукой он нес искусственной кожи папку на застежке «молния». Он сдержанно кивнул нам, проходя.

— Побеседовали бы с ним о нашем быте,— усмехнулся Данило.

— Беседовал,— отозвался я.

— И он вам, конечно, сказал: «Вы эту молодежь послушайте, они вам наговорят». Так ведь?

— Вроде бы так,— улыбнулся я.

Данило вздохнул.

— Я этого человека не пойму,— сказал он.— Вы его среди темной ночи разбудите, он вам выполнение плана в процентах и абсолютных цифрах без запинки выложит. По руднику в целом и по каждому экскаватору. За истекшие сутки, за квартал, за полгода... Разбирается, вникает, ничего не скажешь. Горит, одним словом. А чуть другое затронешь, насчет спортивного инвентаря там или что в клубе мухи от скуки дохнут,— так сразу будто выключателем каким его выключили. Щелк — и пожалуйста, совсем другая температура. Ниже нуля.

Данило пожал плечами и умолк. Впереди в облаке розовеющей пыли мычали возвращающиеся с пастбы коровы: их теснил, напирая и часто сигналив, десятитонный самосвал. Однорогая буренка, подавшись в сторону, с треском сломала жердь ограждения, тянувшегося вдоль чахлой посадки тополей-двухлеток, и походя шипнула вялые листья.

Пройдя сквозь пыльное облако, мы очутились на краю поселка. Раскаленное солнце уходило остывать куда-то за рудник, сплюсываясь на глазах. По рудничной ветке в сторону железнодорожного отвала бежал, пытая клубящимся дымом, похожий отсюда на заводную игрушку груженый породой состав. Правее в сиреновом небе четко рисовалась тридцатиметровая мачта шагающего экскаватора; флаг на ее верхушке, воспламененный закатом, горел немислимо ярко. Из степи потянуло предвечерней прохладой. Мы пошли напрямик по рыжему ковылю, держась в стороне от проторенной автомобилями, тракторами и пешеходами дороги.

Суслик, вдруг вынырнувший впереди, привстал и замер столбиком, с бесстрашным любопытством глядя на нас.

— Попался бы ты мне лет пятнадцать назад! — погрозил ему Данило.— Мы их в войну ели,— пояснил он.— Ловили и ели... Я сам из Акмо-

линской области, там их тоже прорва. Вот мы пацанами и охотились. Петлей волосяной. Возвращаешься, бывало,— мать в руки смотрит, с добычей или нет.— Он покачал головой.— Да еще какого поймашь... Барсуковые, «пискуны» по-нашему,— те жирные, черти, и мяса на них побольше. На солонцах они водятся.

Он снова погрозил суслику и свистнул; тот мгновенно скрылся. Данило нахмурился и, глядя в сторону, решительно сказал:

— Я вам стихи свои почитать хотел, если не возражаете.

— Отчего же, давайте,— отозвался я, уразумев наконец, зачем третий день увязывается за мной секретарь.

— Стихи, наверное, ерундовые,— сказал Данило,— но мне все равно мнение надо слышать. В союз писателей посылал, но почему-то не ответили. Возможно, не прочли еще?

— Возможно,— подтвердил я.

Данило помолчал и, еще строже нахмурясь, начал:

Передо мной кусок руды  
 Блестит крупинками металла.  
 Я притащил его к себе  
 Из первого отвала.  
     Попал туда он, должно быть,  
     С пустой породой вместе.  
     Лежал же раньше под землей  
     Лет миллионов двести.  
 Потом геологи с Москвы  
 Над ним бурили скважины,  
 До сотни метров в землю шли  
 Настоячиво и слаженно.  
     А год спустя сменили их  
     Маркшейдеры с разведки...  
     Ну, тут, понятно, множь, дели  
     И ставь, где нужно, метки.  
 Когда же кончилась вся  
 Науки монография,  
 Вот тут-то сразу началась  
 Другая биография.  
     Отвалы выросли в степи,  
     В земле — карьер глубокий,  
     Попал на гору мой кусок,  
     Опередив все сроки.  
 И вот теперь он у меня,  
 Скажу, друзья, без лести,  
 Как символ разума, труда  
 Лежит на видном месте.

— Это я Максиму посвятил, экскаваторщику,— сказал Данило, дочитав.— Он первый ковш руды взял на Соколовке. Ну как?

— Славные стихи,— сказал я.— Только вот «с Москвы» и «с разведки» — нельзя так, неправильно.

— Знаю,— сказал, помрачнев, Данило.— Размеры эти чертовы подводят меня.

— И потом, «науки монография»...

— И это знаю. Знать-то знаю...

Он наклонился и сорвал желтый степной цветок.

— Учиться ведь, по совести, некогда. Ночами пишу.

Хмурясь и теребя цветок, он стал читать другое:

Уж сотый раз я за столом,  
 Когда все в доме спят,  
 Сижусь и думаю о том,  
 Как ночь мне описать.  
     Как передать горенье звезд,  
     И свет ущербленной луны,  
     И сколько, скажем, полных верст  
     До звезд, что чуть видны.  
 И мрак ночной, и холодок,  
 И еле слышный ветерок,  
 И шепот юности влюбленной  
 Под топольною кроной...

Он вдруг умолк и в сердцах оборвал с цветка лепестки.

— Что вы, Дая, дальше... — проговорил я, подождав продолжения.

— Да нет, чепуха, ну его... Эту самую крону я под влюбленную юность подрифмовал, а получилось вранье. Под нашими тополями не то что юность влюбленная — куренок не укроется. Видели ведь посадку? К осени ей какую будет. Ткнули в землю сотню саженцев — для модели, чтоб люди глядели, — а поливать не поливают. «Руки не доходят». А до общежитий ноги, видно, не доносят. Антисанитария, сушилки заселены, спеловка тут же, в комнатах, сохнет... Курдюков говорит: «Что за молодежь нынче пошла, все вам сразу подавай, с трудностями не хотите считаться. Мы, мол, в ваши годы со-овсем не такие были». Что ж, верно, не такие. Тут ничего не скажешь. Дед мой, тот, наверное, за всю жизнь и на небо вволю не поглядел, земля не позволяла. И у отца тоже житье не бог весть какое завлекательное было. А я вот в свои двадцать шесть и за Полярным кругом побывать успел (я на Северном флоте служил), в Москве, в Ленинграде...

Данило примолк, напряженно глядя под ноги.

— Не знаю, как лучше сказать, — проговорил он, сорвав на ходу еще цветок. — Насчет души не принято как-то у нас, идеализм... А мне вот кажется, что настоящий рост человека — это когда у него душа шире делается. Когда там появляется местечко не только для работы, еды, спанья... Так что разница, наверное, в этой самой... в емкости, что ли. Нам теперь куда больше разного нужно, чтобы душа полна была, вот чего Курдюков понять не хочет. «Трудностей бойтесь!..» Да разве нас гнал кто-нибудь сюда — на голом месте начинать? Разве нас трудностями испугаешь?

Совсем уж свечерело, когда мы вернулись в поселок. У дома для приезжих бабушка Горгуленко, «хозяйка гостиницы», женщина лет шестидесяти из давних переселенцев, пересекла нам дорогу с полными ведрами. Покряхтывая и колышась обширным телом своим под рябыми просторными ситцами, она прошла к крыльцу и стала лить воду под разросшийся там тополек, приговаривая: «Пей, лишенько, пей, добре напувайся»...

Прислушиваясь к живительному плеску влаги, я спросил:

— Сколько вас здесь, комсомольцев, Дая?

— Четыреста двадцать три, — ответил он, помолчав. — Я понимаю, о чем вы. Во многом сами виноваты, что говорить...

Пошелестев в темноте бумагой, он протянул мне свернутую трубкой тетрадь.

— Может, просмотрите на досуге?

Мы простились, и я вошел в дом. Бабушка Горгуленко кипятила на электрической плитке чай. Все приезжие были в сборе. Горный инспектор из Караганды играл в шахматы с учительницей из глухого аула, называвшей шахматного коня лошадыю. Вновь назначенный главный бухгалтер рудничного ОРСа, молодой светлоглазый уралец, читал у сто-

ла, сняв пиджак и подперев кулаками встрепанную русую голову. Он прибыл с исцарапанным чемоданом, содержащим три смены белья, умывальные принадлежности, бритву и две книги: «Трудную весну» Овечкина и «Королеву Марго» Дюма. Он с большим вниманием читал их поочередно — то одну, то другую.

Усевшись напротив него под лампой, я развернул тетрадь, на первой странице которой было написано:

Поэзия — нечто подобное спичке,  
Удачно зажженной на сильном ветру...

---

Фронтовой треугольник, истертый на сгибах. Как всегда, безотчетно печальны желтизна и запах старой бумаги. Крупные, твердые, чуть поблекшие строки:

«Нелли, родная моя детка, если эта война, унесшая много человеческих жизней, унесет и мою, когда будешь в состоянии сама прочесть эти строки, иногда вспоминай их написавшего твоего отца. Он любил тебя больше всего на свете и не виноват, что не смог вырастить тебя, радоваться солнцу, цветам и всем прелестям жизни вместе с тобой. Будь, детка моя, честным, трудолюбивым членом человеческого общества. Это письмо, родная моя, написано вблизи тех мест, где идет жестокий бой за то, чтобы вы могли жить свободными людьми в свободной Советской стране. Твой папа.

Апрель 1942 года».

Тогда, в апреле сорок второго, Неле Ивановой шел пятый год. Теперь она выглядит, пожалуй, моложе своих девятнадцати — тонкая, невысокая, в платье из красной, в горошину, майи, повязанная поверх темно-русых волос крапчатой белой косынкой. Смуглые ноги ее, обутые в парусиновые босоножки, густо запылены: она только что отшагала восемь с лишним километров по степи — из Рудного в поселок Комсомольский. Вышла, отдохнув часок после смены, пришла вечером.

У входа в поселок дорогу ей перебежала кошка, к тому же черная, — она чуть было не свернула обратно, в Рудный. Но тут, на счастье, попалась навстречу женщина с полными ведрами.

— Смешно, не правда ли, верить в приметы?

Она смущенно улыбается и поправляет накинутую на плечи темно-синюю, домашней вязки кофточку (майские ночи в здешней степи прохладны, а ей ведь предстоит возвращаться).

— Иду я, иду, стало смеркаться, я и заторопилась, решила с полпути напрямик двинуть, степью, чтоб короче. И вот стемнело уж, а тут канава, довольно глубокая, — оказывается, траншею для водовода со стороны Тобола прокладывают. Пошла я вдоль нее, гляжу — жердочка перекинута. Тут я загадала: перейду, не оступлюсь — пойду дальше. И вот, представьте, не оступилась. Смешно?

Я гляжу на ее лицо, поросшее светлым пушком, с крупной родинкой на щеке и карими, настезь распахнутыми глазами. Гляжу на руки, тонкие в запястьях, но широкие в кисти, с коротко остриженными ногтями (знакомаясь, я ощутил недетскую твердость жожатия). Я слушаю, что она говорит, и думаю, что стану отвечать, и мне чертовски трудно сказать ей, что я приехал сюда вовсе не поучать, и что сам охотно задал бы ей множество вопросов — быть может, тех самых, на которые она рассчитывала получить ответ у меня.

— К нам вчера приходил Мурад Нежметдинов, — вы ведь знаете его?

— Знаю, как же, — инженер из рудоуправления. Славный такой паренек.

— Очень славный. Он с Наташей, с подружкой моей, встречается. Ну вот, он-то и сказал о вас. И я решила обязательно повидаться, поговорить. Откладывать не хотелось — я ведь не знаю, надолго ли вы. К нам обычно ненадолго приезжают. Вот я и пришла. Вы, надеюсь, извините, что так, не спросив разрешения, да еще в поздний час. Я эту неделю на первой смене. Пока отмоешься, поужинаешь...

— Вы, Нелечка, где работаете?

— На бетонном заводе, старшей дозировщицей. По названию должность громкая, а по существу — ничего особенного, за нас ведь механизмы работают, кнопку нажала, и все.

— А давно вы здесь?

— Восемь месяцев. Почти старожил... Мы сюда втроем приехали: я, Наташа и еще одна девчурка — Соня Микешина. Вместе учились, вместе десятилетку окончили, вместе решили ехать.

— Откуда?

— Из Нововолынска, есть такой городок шахтерский на Украине, недалеко от Луцка. Слыхали?

— Слышал.

— Ну вот. Учились мы все трое неплохо. Лично я с медалью окончила.

— Отчего же в вуз не пошли?

Она, как видно, ждала вопроса и все же, прежде чем ответить, задумывается, опустив голову и теребя пальцами нитку, выдернутую из кофтчки.

— Как бы лучше объяснить... Человек должен быть цельным, честным — не правда ли? И прежде всего честным перед самим собой. Нельзя ведь так — на словах одно, на деле другое... Вот я в школе не раз выступала — на пионерских сборах, на собраниях комсомольских (я ведь отличница была) — о патриотизме, о молодежи, об ее долге, о преданности... — Помолчав, она вскинула глаза. — И еще одно — мы ведь из десятилетки совсем никудышными выходим, неприспособленными. «Дворянское гнездо» изучаем, а жизни, которая вокруг нас, сегодняшней жизни вот ни настолечко не знаем. Когда же ее узнаешь, если не смолodu, — верно ведь? Вот мы и решили на два года поехать. В Сибирь хотели, да не вышло, путевки в райкоме как раз сюда, в Казахстан, оказались...

Она рассказывает о матери — «жаль было оставить, она у меня молодая, мы с ней как подруги...» Об отце: «Я ведь его совсем не знала, а как хочется знать, какой он был, о чем думал... Хотя на часок увидеть, спросить бы, правильно ли живу, верно ли поступаю».

— А вы сомнеаетесь в этом?

Она снова умолкает, теребя нитку.

— В школе еще, — говорит она, помолчав, — еще в школе я выработала привычку: вечером, ложась спать, подумать о прожитом дне: как прожила, что хорошего сделала, что плохого. А здесь... Тут как-то убежать стали дни. Не уходят, а именно убегают — без ответа... Нет, вы не думайте, я не жаловаться пришла. Трудностей не боюсь, работаю неплохо, нормы выполняю. Но вот не хватает, недостает чего-то, а чего именно — сама толком не пойму. Вот я и хотела у вас спросить: имеет ли право человек так жить — день до вечера, безотчетно, заглушая свои сомнения? Вот мне иногда кажется, что я могла бы и не ехать сюда, что и без меня отлично тут обошлись бы. А человеку надо ведь сознавать себя до крайности необходимым, ведь без этого трудно, смутно как-то, не правда ли? И потом, каждый прожитый день, — должен он двигать тебя вперед? Именно тебя, как человека, и друзей твоих... Я знаю, вы скажете: а город, растущий здесь, в дикой степи, рудник и прочее — разве не в этом общее наше движение? Это верно, конечно. Вот я сюда ехала — более

трех тысяч километров,— и всюду, куда ни глянешь, краны башенные, всюду строят. Заводы, шахты, электростанции, дома... Но страна-то, государство наше — оно ведь не из одних заводов и фабрик, оно из людей, не так ли? А с людьми у нас иногда вот как получается...

И Неля рассказала историю третьей приехавшей сюда подруги — историю Сони Микешинной.

Соня, по ее словам, была девушка хрупкая, не слишком крепкого здоровья. Работала она вместе с Наташей и Нелей на бетонном заводе, и тут, видно, не впрок ей пошла цементная пыль: она стала кашлять, и чем дальше, тем сильнее. Особенно бил ее кашель по ночам,— она перекрывала голову одеялом, чтобы дать девочкам отоспаться. Бывало, ночь напролет колотит ее — утром же как ни в чем не бывало идет на работу. Такой уж характер упорный, гордый,— простыла как-то зимой, а от большого листа отказалась... Так и жила, покуда однажды на работе не хлопнулась в обморок.

Тут уж Неля с Наташей решили написать ее матери (отца Соня тоже на войне потеряла). Мать, разумеется, всполошилась, стала звать Соню домой; та отказывалась — гордость не позволяла уехать. Но в конце концов пришлось взять отпуск. Соня уехала в Нововолынск и не вернулась — мать не пустила.

И вот тут-то началось. Получив заявление о пересылке учетной карточки, комитет комсомола послал вместе с карточкой характеристику, где черным по белому было сказано, что комсомолка Софья Микешина дезертировала с трудового фронта. Самой же Соне послано было личное письмо за подписью секретаря комитета. Получив его, та и вовсе слегла. Из того, что она писала подругам, можно было понять, как подавило ее случившееся.

— Вот как у нас иногда бывает... Я знаю, вам это может показаться случайным, нетипичным — так ведь принято говорить? Но согласитесь, там, где одного проглядели, там и других проглядеть недолго. Нас ведь здесь много — тысячи...

Она невесело усмехнулась и умолкла, ожидая ответа.

Простились мы с ней в степи, и я долго глядел вслед медленно тающему светлому пятнышку косынки. Степь вскрикивала отрывистыми гудками паровозов; по-ночному отчетливо слышались вздохи поршней и перестук колес груженых породой составов и порожняка на рудничной ветке. Звук машинного усилия, ни на час не утихающий звук работающих экскаваторов и самосвалов, доносился со стороны Соколовского рудника. Порою по горизонту пробегали бесшумные полосы света от идущих где-то вдали автомашин. Поселок Комсомольский был прорисован во тьме многоочиями уличных фонарей, квадраты окон уже погасли. Я возвращался, размышляя о том, как больно ранит несправедливость молодое незащищенное сердце и как мало думают порою об этом люди, поставленные учить и воспитывать.

Назавтра я побывал на бетонном заводе. Обшитая досками усеченная пирамида, похожая очертаниями на ветряную мельницу без крыльев, сотрясалась от работы расположенных в три яруса механизмов. Нелю я нашел во втором ярусе, узнав ее лишь по улыбке и взгляду искрящихся карих глаз, опущенных удлинившимися от цементной пыли ресницами.

— Знакомьтесь! — прокричала она сквозь грохот дозаторов и барабанов-смесителей, и я пожал полдесятка твердых девичьих рук, глядя в одинаково запорошенные лица.

Побывал я и в общежитии, где жила Неля, с трудом разыскав дом номер шесть по улице Свердлова (так она продиктовала адрес).

В кабинете директора Соколовско-Сарбайского комбината я как-то

видел проект города Рудного, разработанный ленинградскими архитекторами. Над длинными узкими развертками, подвешенных в виде фриза по верху всех четырех стен, тянулись фасады двух- и трехэтажных домов; зеркально блестящие витрины магазинов; акварельные струи фонтанов взлетали неслышно, дети плескались в бассейнах под сенью деревьев во внутриквартальных зеленых массивах... Я видел генплан с мощным двойным кольцом тополей и акаций, призванным защитить город от жаркого дыхания степи, от буранов и рудничной пыли. В струнку прямые улицы перекрещивались внутри кольца, образуя тридцать шесть жилых кварталов с Домом культуры, Дворцом пионеров, кинотеатром, школами, детсадами и яслями. Глядя на все это, нельзя было не подумать о бульжнано-саманном Кустанае. Две эпохи, два мира как бы встретились здесь, на берегах степного Тобола...

Но тому, кто не видел проекта, нелегко было бы разглядеть контуры будущего в нагромождении шлакоблоков, бетонных плит, кирпича, среди груд строительного мусора, торчащих из земли фундаментов и растущих повсюду стен, над которыми вздымались руки башенных кранов.

Улица Свердлова являла покуда вид полудикого пустыря. На месте шестого и восьмого номеров темнели проросшие ковылем котлованы.

Поднявшись по лестнице дома номер семь, я постучался в двадцать седьмую комнату. Шесть коек выстроились вдоль стен; на одной лежала до подбородка укрытая девушка с лихорадочным румянцем на щеках. Неля сидела у столика над книгой; она захлопнула ее, когда я вошел (это был вишнево-красный томик Роллана), и встала.

Что-то неожиданно новое было теперь во всем ее облике — какая-то гордая замкнутость, отчужденность. Быть может, ей неприятно было то, что я увидел здесь, а может быть, нарочитым показался и самый мой приход, — не знаю. Но и я вдруг почувствовал себя как-то неловко в роли стороннего собирателя впечатлений. В самом деле, не для того ли пришел я сюда, чтобы заполнить страничку в своем блокноте описанием неуютя, прикнопленных к голым стенам фотографий, висящей в углу пропыленной спецодежды, закопченного чайника, щербатых чашек? И не для того ли, чтобы освободиться от чувства непричастности, я сказал, что намерен пойти в комитет комсомола и вмешаться в дело Сони Микешинной.

— Нет, — нахмурилась в ответ на мои слова Неля. И с неожиданной настойчивостью продолжила: — Прошу вас, не надо. Мы сами...

Что ж, пожалуй, она была права. Я посидел еще немного, разговор на этот раз как-то не клеился. Укрытая одеялом девушка лежала, хмуро глядя в потолок. Две другие пришли и ушли, пошептавшись и вспыхнув смехом. Поднялся вскоре и я. Неля вышла со мной. Вечерело. В бледнеющем небе, над тонко рисующимися силуэтами башенных кранов, повис ноготок луны. Откуда-то слышались звуки баяна.

— Танцуют... — проговорила Неля.

Мы пошли на звук, и я увидел самую необычную танцплощадку из всех, какие мне приходилось видеть.

Это был ровно забетонированный прямоугольник, врезанный в будничную неразбериху строительства и сплошь заполненный теперь танцующими. Баянист сидел на груде кирпича, самозабвенно склонив голову, как положено баянисту. Пыль, поднятая сотнями ног, густой дымкой стояла в воздухе.

— А вот и Наташа... — указала глазами Неля.

Редкой красоты, белолицая и чернбровая девушка танцевала с Мурадом Нежметдиновым, знакомым мне инженером из рудоуправления, невысоким, смуглым и очень спокойным с виду парнем, чуть ли не ежевечерне ходившим после работы за восемь километров из Комсомольского в Рудный и обратно.



Теперь мне предстояло — быть может, в последний раз — проделать этот путь взыскующих и влюбленных по темнеющей степи, мимо дымящих круглые сутки энергопоездов, мимо шагающего экскаватора, похожего издали на невесту как заплывший в эти края корабль.

— Будете писать о нас? — спросила на прощание Неля.

— Хотелось бы.

— Если будете, — проговорила она, протянув руку, — то прошу вас, пишите правду.

---

Хочу надеяться, Неля Иванова не осудит меня, если я завершу рассказ о встрече с ней ее собственными письмами. В них, быть может, отразились многие грани той правды, что не дается в руки просто так, без труда, без сомнений и поисков, правды выстраданной и завоеванной, подчас радостной, иногда грустной, но тем более живой и драгоценной.

Впрочем, письма сами скажут за себя.

Вот одно из них, написанное перед отъездом в отпуск:

«...Последние дни я только и думаю, что о поездке домой, для меня это такая радость — встретиться со всеми, с кем год назад прощалась. к тому же я решила ехать через небольшой поселок в устье Западной Двины, через тот самый, в котором я родилась и который не видела уже семь лет, так что эта моя поездка будет настоящим путешествием; такое путешествие я совершаю одна впервые. И об этом я думаю все время, на работе, дома, даже сидя иной раз в кино, забываю о кино и представляю себе то маму, то берег Двины. Сначала мы хотели ехать вместе с Наташей, но теперь она перешла в арматурный цех (там избрали ее комсоргом) и поэтому поедет позднее.

Недавно Натка пришла к нам с какой-то пожилой женщиной и познакомила нас с ней, это была мать одного комсомольца Наткиного, который сейчас сидит в тюрьме. Мы знали его — это Толик Костюченко, совсем мальчишка, еще с детским нежным лицом и в школьной курточке. Сидит за воровство. Мы пили с его матерью чай, и она рассказала нам, что воспитывала после войны двух сыновей, один учился в какой-то военной школе, другой жил с ней. Когда школу эту расформировали, сын (это был брат Толика, Юрий) приехал и должен был ходить в 10-й класс, а Толик окончил к этому времени 8 классов. На семейном совете решили, что Юрий будет кончать школу, а Толик пойдет работать. Пороботал он в паровозном депо совсем немного, а после опубликования призыва к молодежи, когда в райком комсомола поступило 11 путевок на новостройки, а заявлений было подано 70, Толик упрямил мать разрешить ему поехать в Казахстан. По ее рассказу, Толик — нежный сын, способный танцор, физкультурник (мы видели его грамоты за участие в соревнованиях).

Из 70 желающих поехали 11, среди них был Толик. Работал он здесь на полигоне, работал хорошо, занимался в секции бокса, так до середины зимы.

Потом вдруг начал прогуливать, появляться пьяным в общежитии, с ним пробовала говорить Наташка, но только пробовала. Начав пить, он уже не мог бросить: в общежитии с ним жили ребята, вышедшие из тюрьмы. Его вызвали в контору, он честно сказал, что не сможет себя сдерживать и очень хотел бы, чтобы с ним жила мать. Мать послала запрос, могут ли предоставить ей работу по профессии, он попросил комнату. На запрос ответили отрицательно, комнату не дали. После этого, через некоторое время, он и еще какие-то с ним были пойманы на воровстве. Следствие уже закончено, ему грозит от 5 до 12 лет. Приехала мать, обратилась в райком комсомола, и только тогда подняли тревогу, поняли, что они сделали, проследили всю его жизнь в Рудном,

вспомнили, как он обращался в комитет, окончательно запутавшись в себе,— и вот результат того, как ко всему этому отнеслись. Честно говоря, я удивляюсь, что Наташка говорит везде: «Мы виноваты, мы виноваты»,— и даже не понимает, не чувствует, насколько она лично виновата в этой истории.

В комитете Рудстроя решили попросить суд взять его на поруки комсомольской организации. Комсомольцы, конечно, согласны, а Натке ой как досталось на собрании, где разбирался этот случай. Мы же собираем деньги, чтобы нанять адвоката (у матери таких средств нет). Не знаем, что решит суд, но мне очень хочется, чтобы Толик был свободен и жил вместе с нами, не может же случиться, что он совсем пропащий человек... Я думаю о нем, и приходит на память: «Безвольный человек, что глина, ему легко грязью стать». И это очень яркий пример того, как у нас иногда относятся к молодежи (как раз то, о чем я говорила вам).

Извините за небрежность: иначе писать не умею. Заявление Сони Микешинной я передала в комитет, надеюсь, все будет хорошо...»

И еще одно, написанное по возвращении:

«За два месяца отпуска я отвыкла от работы и от здешней жизни, сейчас понемногу втягиваюсь в нее. Рудный изменяется как в сказке: есть уже человеческие дороги, они, правда, не асфальтированные, а бетонированные, но все же дороги. Открыли кафе, новые магазины, достраивают четырехэтажную школу, почти кончают трехэтажное здание с витринами магазинов на первом этаже. Возле Дворца культуры Рудный имеет вид настоящего города. А вчера я была свидетелем отправки первого эшелона руды на Урал. Это событие даже подняло меня в собственных глазах. На память я взяла с платформы кусочек руды и подумала, что все же чем-то помогла тому, что эта руда идет на заводы...»

«...Об этом дне говорили задолго. В воскресенье с самого утра к месту, где стоял состав с рудой, ехали автобусы с людьми, легковые машины, шли пешком... Состав стоял от города километра за три, в сторону энергопоезда (может быть, помните?). Проходили мимо шагающего экскаватора, он работал и в воскресенье. Это такая махина, что мимо не пройдешь, не остановившись. Настоящее чудо.

Пришли на площадь; здесь раньше была степь, а за один день ее вытоптали так, что танцевать можно. Да и музыка льется во всю силу громкоговорителя. Стоит состав с рудой, платформы с верхом наполнены. Паровоз в зеленых ветвях, в лозунгах, а перед ним — красная ленточка, которую перережут. Народа столько, сколько в Рудном я еще не видела. «Побед», «ЗИМов», «москвичей» больше, чем на какой-нибудь привокзальной площади в Москве. А на трибуне уже собрались те, кто будет выступать, из микрофона слышим: «Товарищи, митинг, посвященный первому пуску руды на заводы Урала, считать открытым». Тут заиграли гимн Советского Союза, молчание торжественное, а я вообще гимн не могу слушать без волнения, мне даже вздохнуть было трудно.

Выступал директор Соколовско-Сарбайского комбината, довольно молодой, лоб большущий, волосы чуть выютя.

Он поздравил нас с праздником, рассказал, как пришел коллектив комбината к этому дню, привел интересные цифры (я жалею, что не записала, но припоминаю, что, кажется, в 1960 году за один час будет идти на Урал столько руды, сколько отправляется сегодня).

Просто и привычно сказал о месте нашего комбината секретарь Кустанайского обкома, довольно полный человек в очках. Он бросился мне в глаза еще до своего выступления.

Поблагодарил комбинат за руду председатель Челябинского совнархоза, с таким простым худощавым лицом, в темном мешковатом костюме, что я приняла его за одного из наших рабочих.

И вот, держа очки в руке, подходит к микрофону мужчина. Все время, еще до выступления, я смотрела на него и, только когда позвали его, вспомнила, что видела портрет этого человека в «Правде» в числе лауреатов Ленинской премии. А лицо у него живое, глаза просто-таки «с чертиком», как пишут в книгах. Он открыл здесь месторождение руды. Его приветствовали очень тепло. Говорил он живо, весело, и всем очень понравился. Выступала наша Шкурина, секретарь комитета комсомола (не помните о ней?). Как всегда, когда она волнуется, она улыбалась слегка и говорила чуть дрожащим голосом. В такие минуты я ее люблю и прощаю ей многое, потому что знаю: она испытывает то же, что и я. Затем выступал рабочий с рудника, говорил с украинским акцентом, раза два сделал неправильное ударение, даже смех пронесся, но приветствовали его хорошо, хоть и не было у него умения выступать, как у предыдущих ораторов.

Выступали еще человека два — бригадиры, что ли, — но так тускло, что меня даже зло взяло: не могли, чтобы выступил кто-нибудь потолковее, разве мало таких среди рабочих?!

И как будто в ответ на мои мысли выступает мужчина, одет в темно-синий костюм, очень хорошо на нем сидящий, волосы гладко зачесаны, лицо прямое, умное. Рабочий с уральского завода, куда направляем руду. Говорил, что и как изменится с прибытием нашей руды, что она и ближе и дешевле карагандинской, которую до сих пор получали. Поблагодарил рабочих комбината, пообещал от имени своего коллектива работать еще лучше и пригласил нас в гости.

Ох, чуть не забыла: выступал еще министр черной металлургии Казахстана, толстенький такой, а что он говорил — убейте, не помню, но можно себе представить, что не иное, чем другие, иначе бы я запомнила.

Во второй раз заиграли гимн, действие перенеслось прямо к составу. Я подошла поближе и попросила ребят, сидевших на руде (это были кочегары, паровозники, сопровождавшие состав, чумазые, улыбающиеся), дать мне кусочек руды. Один протянул кустище величиной с буханку хлеба, другие дали маленькие кусочки, которые я и взяла. Многие брали руду на память. Возле паровоза столпилось столько народа, что милиционеры стали просить отойти подальше от рельсов. Кто-то (а кто именно, не помню) разрезал под звуки туша ленточку, паровоз запыхтел, все заорали «ура», а паровоз засвистел так, что никакое «ура» не стало слышно, потом стал набирать скорость, а вместе со свистом полетела черная сажа прямо на людей, но представьте, что даже не все заметили это. Платье девчонки, которая была со мной, все было в пятнышках сажи и моя кофточка тоже. А паровоз уходил, и из последнего вагона (там были люди, это был пассажирский вагон) махали нам руками, и все наши тоже махали. Мне кажется, это было самое волнующее...»

И, наконец, приписка бисерным почерком вдоль вертикального поля тетрадной страницы:

«Писала ли Вам, что в Нововолынске виделась с Соней Микешинной? Она еще не вполне поправилась, но рвется ехать в Рудный, я убеждала ее, что в ее отсутствие стройка не развалится, обещала позаботиться о ее документах. Дело Толика Костюченко еще не ясно. Оставить его в тюрьме, наверное, не позволят. В общем, есть о чем позаботиться днем и подумать по вечерам, перед сном, не правда ли? Ну, а пока до свидания. Н. Иванова».

1957—1958 гг.



---

---

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

## ЛЕНИН

«Мир народам!»,  
«Хлеб голодным!» —  
Бегут через годы  
Слова по полотнам.  
За мир! —  
    чтоб не только на нашей земле,  
За хлеб! —  
    чтоб не только на нашем столе..  
И черная Бирма вбирает отборные  
Русские зерна, Ленина зерна.  
И ленинский трактор пашет широко  
У тропика Рака, в широтах сирокко,  
В Корее, на Яве —  
Рокочущей явью!  
Он к людям идет  
    электрической молнией,  
Турбиной,  
    машиною мукомольною,  
Он в радиоволнах проходит сквозь тьму.  
Он к людям приходит,  
А люди — к нему.  
От Ганга, Бандунга, дунайских запруд  
Идут ли за плугом —  
    к нему идут,  
Идут ли в атаку —  
    к нему идут,  
Сквозь каторжный труд,  
    сквозь пули окрест  
Зовет их  
Распахнутый  
Ленинский  
Жест!

**НА ОТКРЫТИИ  
КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС  
ИМЕНИ ЛЕНИНА**

Мы — противники тусклого.  
Мы приучены к шири —  
Самовара ли тульского  
Или ТУ-104.

Бесшабашно, по-русски,  
Быстриною блестят  
Широченные русла  
В миллиард киловатт.

В этом блещущем крае,  
Отрицатели мглы,  
Мы не ГЭС открываем —  
Открываем миры!

И стоят возле клуба,  
Описав полукруг,  
Магелланы, Колумбы  
Из Коломн и Калуг.

У трибун, подбоченясь,  
Речь вбирает народ.  
Ну, а кто побойчее,  
Сам словечко вернет.

И сверкают, как слитки,  
Лица русских ребят  
Белозубой улыбкой  
В миллион киловатт!

Куйбышевгидрострой.



---

---

В. ПАНОВА

★

## СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН\*

38

**Б**рат и мать считают ее своей собственностью. Так понял Севастьянов из ее объяснений. Многое он предпочел бы не знать. Упоминание о Щипакине было как обухом по темени, но Зоя хотела объяснить, какие отношения у нее сложились в семье, почему она вынуждена была уйти. Когда она собой ради них пожертвовала, они решили, что так всегда будет; что они будут распоряжаться ею как своим имуществом.

До революции они жили под Петроградом, в деревне Пудость. Отец держал маленькую, совсем маленькую, крохотную гостиницу; без вывески даже, но ее знали; в нее приезжали парочки на одну ночь — из шикарных мест вроде Царского, Павловска, — «иной раз такие офицеры приезжали и с такими дамами, ты даже не представляешь, как эти дамы были одеты и какими от них пахло духами!» Отец умер. От войны и голода они уехали на юг к бабушке. Зое было тогда двенадцать лет. Бабушка тоже умерла. У нее тоже все пропало.

— Мы ужас до чего нуждались. Меня кормили у Зойки, а его и маму никто ведь не кормил. И его не хотели принимать никуда, считали, если горбатый — значит слабый, вечно будет на бюллетене. Мы бы просто пропали, если бы он не устроился на работу.

Мать жалеет горбуна и слушается, Зою она не любит и ругает. А горбун Зою ненавидит. Он всех здоровых ненавидит за свое уродство.

— Правда, он думал — Толя женится. — Она мерзавца Щипакина называла Толей.

— Перестань!

— А вчера я сказала, что не выйду за этого... за которого они хотят, чтоб я вышла. Он старый. У него фруктовый магазин на Садовой. Он...

— Перестань! Больше ты к ним не пойдешь. Все кончено, не думай, забудь.

— Как же я не пойду, там все мои вещи, надо забрать.

— Какие у тебя вещи.

— Ну все-таки. Я же совсем без ничего. Выбежала, — платок схватила...

— Хорошо, я заберу. Тебе туда не для чего ходить.

— Нет, тебя я не пущу. Ты ненормальный.

— Не бойся, я его не прихлопну. Я не хочу сидеть в исправдоме. Слишком много у меня есть, чтоб я от всего отказался и сел в исправдом.

Он пришел к ним, когда горбун был на работе. Зоина мать месила тесто, босая, с волосами, кое-как сколотыми на затылке гребенкой, руки выше локтя в муке.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

— Я за Зоинными вещами, — сказал Севастьянов.

— Она где же? — отрывисто спросила женщина.

— У меня, — ответил он.

Она вытерла руки тряпкой и пошла собирать одежды, валявшиеся здесь и там. Убого, грязно! Вокруг плиты просыпан штыб. Возле кровати лежал среди щепок топор. Женщина обходила его так, словно это было его постоянное место, словно так и следовало топору лежать возле кровати. В кривое оконце, расположенное низко над полом, видна была земля, залитая мыльными помоями.

«За этот стол она садилась, — думал Севастьянов, — здесь по утрам открывала, проснувшись, глаза... И хоть бы что-нибудь, кроме помоев, было видно в оконце, я всегда считал, что у них, наверно, еще хуже, чем в Балобановке, там по крайней мере небо кругом, простор, а здесь все стиснуто... Выходила отсюда за стихами, за танцами, за радостью, а возвращалась-то обратно в этот куток, к братцу и к мамаше...» В жильё пахло какой-то гнилью, как из старой бочки. Головой Севастьянов почти касался потолка.

— Пользуешься! — сказала Зоина мать и швырнула ему узелок. У нее были отекавшие щеки и мешки под глазами, но глаза красивые карие, брови длинные, и Зоя и проклятый горбун были похожи на нее. — Пользуешься, сволочь, что человек обиженный, что силы у него нет добраться до твоей ряжки!

Севастьянов взял узелок и вышел. С многочисленных крылечек, из окошек с геранями жители подворья смотрели, как он идет по обставленному лачугами дворику, шагая через мыльные лужи.

На улице под акациями мальчишки играли в айданы, они кричали как воробы. Жалюзи на доме Зойки маленькой были опущены по-ночному — наглухо. «Надо справиться о Василии Иваныче. Совестно не зайти, рядом был и не зашел. Зойки и Анны Алексеевны, должно быть, дома нет, ну у бабушки узнаю». Севастьянов поднялся по горячим от солнца камням и нажал белую пуговку звонка. Звонok отчетливо прозвучал за дверью; но никто не вышел, и раз и другой. «Может, они во дворе». Калитка была заперта. Севастьянов постучал.

Мальчишки, игравшие в айданы, обратили на него внимание и, отвлекшись от своего дела, сказали ему:

— Эй ты! Чего ломишься! Они в больнице все! У них хозяин помирает!

Еще раз он побывал на Первой линии — уже после смерти Василия Ивановича.

О смерти узнал не сразу и на похоронах не был.

Шел и боялся, думал: будет плач, рыдания. Увидят его и заплачут з голос. Станут рассказывать, как мучился, что говорил. И какими словами утешать, разве их можно утешить?

В эгоизме своего счастья он не желал печали, не желал боли, причиняемой жалостью, желал нераздельно принадлежать своему счастью. Шел потому, что как же не пойти — не по-людски, не по-товарищески...

Зеленые жалюзи были подняты, сквозь них белели занавески.

Отворила Зойкина бабушка: глянула через цепочку — кто там — и впустила. На робкое «здравствуйте» Севастьянова ответила густым голосом, ободряюще:

— Здравствуй, зайди, — и важно покивала головой, как бы говоря: «Да, такие у нас обстоятельства, что же делать, тут уж ничего не поделаешь».



Она сказала, что Зюечка занимается во дворе. Он прошел через комнаты и кухню, — все было на прежнем месте, аквариум, пианино, цветы, полки с сияющими кастрюлями. Тот же пол, как свежим лаком покрытый, и дорожки от двери к двери — без единой морщинки. Будто никто не ушел из дома навеки. «Как странно», — думал Севастьянов. Он бы счел более закономерным, если бы нашел в доме упадок и хаос, и среди хаоса они бы лежали замертво.

У Зюйки оказалась целая компания — два парня и две дивчины, все незнакомые. Они сидели под черешнями на разостланном рядне, кругом были разложены книги, тетради, листочки. Зюйка сразу увидела Севастьянова, выходящего из дома, и смотрела на него пристально, не вставая, — по ее лицу двигалась пестрая сетка теней и солнца, и он не мог разобрать выражения этого маленького похудевшего лица, неподвижно обращенного к нему... Это длилось несколько секунд, не больше. Отложив книгу, она встала ему навстречу. Судорога прошла по ее горлу, точно она что-то проглотила с трудом; но она не заплакала.

— Здравствуй, Шура.

— Здравствуй, Зюечка. Как живешь?

Он готов был убить себя, уничтожить на месте за этот вопрос! Но честное слово, это сорвалось с языка от растерянности и беспомощности перед ее горем.

И она это поняла, как понимала все с ним происходящее всегда, всегда. Ей, кажется, даже понравилось, принесло ей облегчение, что он приступает к разговору так обыкновенно, буднично, — словно никто не ушел навеки.

— Вот, немецким занимаемся, — ответила она. — У нас у всех с немецким так плохо, что хуже некуда. Знакомься. — Она назвала какие-то имена. — А это Шура, мой товарищ детства.

Ребята недовольно смотрели снизу на Севастьянова. Он сказал:

— Я помешал вам.

— Немножко, — согласилась Зюйка.

Она стояла, сложив на груди руки и держа себя за локотки. Губы у нее были бледненькие, голуватые от бледности. И вообще выглядела как после тяжелой болезни.

— Пойдем, пусть они занимаются, — сказала она и пошла впереди, все так же крепко ухватив себя за локти.

— Я тебя еще не поздравляла, — сказала она не оборачиваясь.

— Спасибо, Зюйка.

Он ждал, что Зюйка спросит: «Почему она не пришла?» Но Зюйка не спросила.

Зюя не захотела с ним пойти, сказала: «Ну, на Первую линию мне теперь дороги закрыты», — Севастьянов понял это так, что ей там невозможно показаться, после того как родные ее прогнали. Но по Зюйкиному молчанию он догадался, что есть и другая причина. Рассорились, что ли? Или то, что одна счастлива, когда другую постигло несчастье, стало стеной между ними?

— Поздравьте Шуру! — сказала Зюйка, вводя Севастьянова в комнату, где ее мать и бабушка сидели друг против друга: бабушка торжественно держала перед собой поднятые руки с распяленным на них мотком шерсти, а Анна Алексеевна сматывала шерсть в клубок быстрыми ловкими движениями.

— Они с Зюей поженились, поздравьте его.

Анна Алексеевна обернулась и уколола его острым взглядом. Бабушка с воздетыми руками многозначительно покивала головой, как бы говоря: «Да, да, такие обстоятельства, тут уж ничего не поделаешь». Они продолжали свое занятие. Стоя возле них, Зюйка сказала:

— А я поступаю на работу.



Он знал, что после смерти отца она станет во главе семьи — работница и заботница, ответственная за себя и за этих двух старых женщин.

— Иду учить детей. Меня принимают в железнодорожную школу, в первую ступень.

— А педфак?

— Думаю — окончу. У нас большинство и учится и работает.

— Нелегко! — посочувствовал Севастьянов и покраснел — до того неуклюже прозвучало слово сочувствия. Что ни скажешь — все не то и не так.

— Что же Зоя не приходит? — тихо спросила Анна Алексеевна. — Ходила, ходила...

— Мама! — сказала Зойка и положила ей руку на плечо. Но Анна Алексеевна продолжала, голос у нее срывался от ненависти:

— Пять лет ходила. Что ж перестала? Когда нам хорошо — она здесь, а когда...

Быстрыми движениями она мотала шерсть и светлым, яростно разгорающимся взором вонзалась в лицо Севастьянова, подавшись вперед, — он даже отступил на шаг перед этой ненавистью, которую так неприкрыто выражала ему тихая женщина, прежде спокойная и приветливая. Ясно, — ее ненависть вытекает из заблуждения насчет Зойкиных чувств ко мне, подумал Севастьянов. Ему стало тяжело от этого заблуждения, тяжело за ничего не подозревающую Зойку и за Анну Алексеевну, что она мучается, что она придумала себе еще это горе... Все же он тогда не мог угадать подлинных размеров ее ненависти. До конца своих дней ненавидела его Анна Алексеевна; до гроба не простила ему того разговора в клинике, у постели умирающего; и Зои ему не простила. Беды, постигавшие его впоследствии, она воспринимала как расплату; и все ей было мало, все, казалось ей, он недоплатил. И любовь к дочери никогда не могла заставить ее, иступленную мать, говорить с Севастьяновым по-доброму и смотреть на него иначе, как этим пронзительно светлым колющим взглядом.

— ...а когда плохо нам — ее нет, — выговаривала она с болью.

— Мама! Мамочка! — укоризненно повторила Зойка, а Севастьянову сделала властный знак — молчи, не отвечай.

— Зойка! — заорали во дворе. — Зойка!

Зойка выглянула в открытое окно, крикнула: «Сейчас приду!» и вернулась.

— А через несколько дней, — сказала она, глядя мать по спине, — мы с мамой уезжаем в Ейск. Договорюсь окончательно насчет работы, и сейчас же мы уедем. На все лето.

Это прозвучало предупреждением: не трудись приходиться, меня здесь не будет.

«Такие обстоятельства», — подтвердила бабушка, покивав головой.

«Я им ни к чему; уходить надо». Трудно было стоять столбом посреди комнаты — «сядь» никто не сказал. Он виноват, конечно, он тоже, как Зоя, не был с ними в их черные дни, Зойка маленькая разочаровалась в его дружбе и хочет, чтоб он ушел. Раньше она этого не хотела. Но мало ли что было раньше, отношения разладились, у каждого теперь своя жизнь, они не находят, что сказать друг другу... Зойка умолкла, у нее усталый вид. Она от него устала, от его немоты, неуклюжести, ненужности. Ей хочется к тем под черешнями, она им крикнула: «Сейчас приду».

— Значит, так.

— Значит, так.

— Помочь чего-нибудь не надо? С поездкой. Упаковать, проводить...

— Спасибо, ничего не надо.

— Ну, до свиданья. Будьте здоровы. Хорошо съездить вам.

— Будь здоров, — покровительственно сказала бабушка.

Через тихие чистые комнатки, полные зеленоватого — от жалюзи — аквариумного света, Зойка проводила до парадной двери. Он шел радуясь, что уходит из дома, где не знаешь что говорить, где одни тебя ненавидят, а другие к тебе равнодушны... Но когда прощались в передней — вдруг ощущение утраты охватило его, такое тревожное, что он не сразу выпустил ее руку, хотя она и глядела на него далекими глазами.

— Зойка! Слушай! Я страшно хочу, чтоб ты скорей успокоилась. Чтo тебе было хорошо. Ты знаешь, правда же — я по-настоящему хочу, чтоб тебе было очень хорошо! Слушай, пожелай и ты мне... Ты даже не сказала, что ты об этом думаешь.

— Да, я хотела сказать, — торопливо произнесла она и высвободила руку, — я забыла сказать — я рада, что Зоя ушла наконец из семьи, сколько раз я говорила — уходи. Мы звали ее жить к нам, но они не позволили... Я рада. Она веселая?

— Да.

— Ты ее любишь.

— Да.

— Она прекрасная.

— Правда?! Правда?! — переспросил Севастьянов в восторге от ее одобрения.

Бледные губы бледно улыгнулись его восторгу.

— Ты так счастлив, — сказала Зойка маленькая, — что тебе прибавят мои пожелания? Будь счастлив всегда, как ты счастлив сейчас.

И он переступил этот порог и захлопнул за собой дверь. И зеленые жалюзи, сощурясь, смотрели искоса, как он уходит по солнечной улице.

## 40

Ведьмы стали очень прилично обращаться с Севастьяновым после того, как Семка Городничий переселился к брату. «Кто же его брат?» — спросили они; ответ подействовал волнующе. Каким-то образом ведьмы узнали и о квартире с казенной обстановкой и о Семкиной поездке на курорт (не иначе — подслушивали под севастьяновской дверью); и, кажется, им вообразилось, что Севастьянов тоже этакий заколдованный принц, что ли, — живет-живет в полупустой комнатухе, умывается над кухонной раковиной, а потом и за ним вдруг явятся короли и королевы и уведут в шикарную квартиру с казенной обстановкой... Они даже стали говорить Севастьянову «здравствуйте», и он им отвечал благодушно, он был парень уживчивый.

Но стала приходиться Зоя, и они опять выпустили свои когти. Севастьянов терпел. Когда же Зоя совсем к нему переселилась, он вышел в их бушующий курятник и произнес небольшую речь:

— Это моя жена. Прошу нам выделить место, чтобы мы могли поставить наш столик и примус. Нападки прошу прекратить, чтоб мы их больше не слышали.

Его ведь не было дома почти целый день, он должен был обеспечить Зое спокойное существование.

И ведьмы присмирели, они поняли, что он уже не мальчик, но муж, на них произвела впечатление его уверенность. Окончательно же приручила их Зоя. Кого угодно умела она очаровать! Не прошло и недели, как ведьмы ей уже улыбались и угощали ее пирожками.

— Вот черт. Как ты добилась?

— Я не добивалась. Я не понимаю, что вы нашли в них страшного. У нас на Первой линии куда скандальней были тетки. Эти мне рассказывают свою жизнь...

— Может быть, дело в том, что мы с Семкой их не просили рассказать нам свою жизнь?

— Очень может быть, — ответила она убежденно. — Им же надо кому-то рассказывать. А друг другу они давно рассказали и спели.

— Спели?

— Да. Эта, которая носит валик на голове, Ольга Кирилловна, — она мне поет романсы, которые пела в молодости.

— А инвалиды тебе тоже поют? — спросил он смеясь.

Она и с инвалидами подружилась, и они с ней раскланивались и заговаривали приятельски, и играла и бегала по двору с Дианой, собакой Кучерявого.

Собака прижималась к ее ногам и заглядывала ей в лицо.

Люди и собаки льнули к ней.

Севастьянов был здорово загружен. Акоюн отнесся к его просьбе чутко — завалил его работой выше головы; в ячейке приходилось замещать секретаря, молодого печатника, ушедшего в отпуск. Но, несмотря ни на что, раз-другой в день Севастьянов забегал домой проведать — как там Зоя; увидеть ее, услышать, увериться, что все обстоит так же, как три часа назад... Все обстояло так же и даже еще лучше. И полно событий было начало лета.

Он вел ее на базар, чтобы накормить. Вел за руку, как ребенка. Над степью пролетала в это время гроза, краем зацепила город; докатывались ее раскаты, дождь шел, а солнце продолжало сиять. Они не спеша беззаботно шли под теплым дождем. Ее темные кудри намокли и стали почти черными. Платье облепило плечи. И на губах была влага дождя, когда он поцеловал эти губы. Навстречу шли с базара молочницы, гремя пустыми бидонами, и смотрели на них с негодованием, которое их сместило.

Пришли на базар, он ее кормил своими любимыми кушаньями. После всего купили клубники и ели ее на ходу, такое было удовольствие — выбирать для Зои самые крупные ягоды. Почему-то им необходимо было наточить нож. Лакомясь клубникой, промокшие до нитки, они искали точильщика. Тот стоял под навесом рыбного ларька, где гирияндой висели на веревке пузатые копченые рыбы такого цвета, как начищенный самовар. Точильщик точил нож, бенгальскими звездами слетали с точила искры. В соседнем ряду торговали свежей рыбой: длинным валом было навалено животрепещущее мокрое серебро. Серебро дождя поливало эти груды сулы, чебака и сазанов, перламутровые глаза и дышащие жабры на малиновой подкладке...

В другой раз их настигла настоящая гроза, они пережидали ее, вместе с другими прохожими, в чем-то темном парадном. Когда грохот ливня и грома утих, вышли на добела умытую улицу. По мостовой, в гребнях пены, скакал поток. Пришлось разуться. Севастьянов засучил брюки. Босиком перешли они бурный поток, неся обувь в руках. И смеялись, все им было смешно.

Тем ножом она порезала палец. Как он испугался! — до холода в спине — при виде крови. От испуга накричал на Зою: голова садовая, надо же помнить, что нож наточен! Он видел кулачные бои, сам, пацаном, в кровь бился с пацанами; но здесь была е е кровь, бегущая струйкой из е е пальца, из продолговатой, как виноградина, подушечки е е пальца...

Покупали материю на платье. Она вошла в магазин с благоговейным выражением. Тихим взволнованным голосом сказала продавцу: «Покажите, пожалуйста, маркизет», — старик продавец понял, что случай чрезвычайный, огромный, и отнесся к ней так внимательно... Осторожно щупала, перебирала, поглаживала ткань ласковыми руками, — один палец был перевязан белой тряпочкой...

Ходили в кино (тогда оно называлось «биограф»); смотрели «На

крыльях ввысь» и «Банду батьки Кныша», и американские картины с ковбоями и погонями, и старые картины с Верой Холодной — неправдоподобная жизнь в особняках и виллах, любовные измены, адская ревность с смертельным исходом. Что бы они ни смотрели, они ежеминутно целовались, словно им больше нигде было целоваться, кроме как в биографе, в сумраке сеанса. И руку ее он крепко держал в своей, кто бы там на экране за кем ни гнался и кто бы ни травился.

Бывали в театре и на концертах, она все это любила еще больше, чем он. «А куда мы пойдем сегодня? — спрашивала. — А куда пойдем завтра?» В молодежный летний клуб пошли два раза и перестали ходить: там мелькало желтое больное лицо Спирьки Савчука и на всех аллеях, куда ни сверни, болтал, резвился, вертелся перед девчатами нарядный, пропахший кожевненным запахом, розовый и миловидный, как девочка, Ленька Эгерштром. Савчук отворачивался, а Ленька позволял себе как-то очень странно посматривать на Севастьянова, очень обидно, с сожалением, — этот пижон! И что еще странней и обидней: Севастьянов не отваживался подойти и спросить — «ты почему так смотришь?» Его щеки тяжело горячели от Ленькиных взглядов, он слышал, как Зоя, идя рядом, начинает хототать без причины нервным хохотом, который ему не нравился и был непохож на ее настоящий смех, — и он говорил: «Уйдем». Зоя, видя его настроение, сказала, что в молодежном клубе скучно и что ей надоели мальчишки.

И без молодежного клуба можно было хорошо провести вечер. В гостеприимный теплый город приезжали из Москвы на гастроли театры, певцы, музыканты. Контрамарки всегда удавалось достать через редакцию.

Был один концерт... По глупости и серости Севастьянов не поинтересовался фамилией певицы. Когда объявляли, не слушал, а после не догадался заглянуть в программку — узнать, как звали человека, который, явившись ему однажды и мимолетно, запомнился на всю жизнь. Немолодая, сухая, высокая, острые локти, большие руки. Большой рот становился удивительно красивым, когда она пела. А пела она о любви Севастьянова, только о любви Севастьянова, ни о чем другом; и пристально, казалось ему, глядела на него близко посаженными темными глазами, и он ей улыбался смущенно-благодарно, тронутый ее сочувствием, ее совершенным пониманием того, что в нем делается. «Мой голос для тебя и ласковый и томный... — торжествующе пела она, это было молодое, первое торжество Севастьянова, — во тьме твои глаза блистают предо мною»... «Я чего-то так робко, так трепетно жду», — пела она потом иначе, медленно, пригашенно, как сквозь дымку, это Севастьянов рассказывал о нынешнем своем постоянном ожидании нового и нового потрясения счастьем. Темные, близко посаженные глаза глядели на него умно и задумчиво. «Она знает! — думал он, полный ответного понимания. — У нее это было тоже!» И хотя, например, слова романса «Редет облаков летучая гряда» не подходили к его состоянию, но дело ведь не обязательно в словах, дело в том, как спеть, в музыку, усиливающей тревогу, порыв ожидания. И словно подытоживая то, что носил в себе Севастьянов, женщина пропела негромко: «Открылася душа, как цветок на заре», — и началась ария Далилы, ария, которую с тех пор и навсегда не может услышать Севастьянов без того, чтоб не дрогнуло в нем что-то и не увиделся зал, рояль высоко на эстраде и белое платье певицы, и сам он, напряженно слушающий повесть своей любви. «От счастья замираю! От счастья замираю!» — пел, заполняя зал, распахнутый ликующий голос, — Севастьянов замер и закрыл глаза.

Потом думал: что за контакт с незнакомым человеком, что за нитка вдруг натянулась между ними.

Конечно, она не на него смотрела, у нее глаза такие, немного скошенные, кажется, что смотрят на тебя. А нитка все-таки натянулась.

До чего хорошо, что есть на свете музыка, стихи, рояли, залы, человеческое тяготение друг к другу, человеческое бескорыстное взаимопонимание.

Много добра накопили люди, думал Севастьянов. Зданиями, словами, чувствами обстроили и заселили землю. И как прекрасно — к тому, что накоплено, приложить свою часть, думал он.

Не просто быть и исчезнуть, а оставить после себя что-нибудь достойное быть береженным. Достойное быть унесенным в перспективу веков! Какая высокая судьба!..

...А пения такого он больше уже не слышал, хоть и переслушал за свой век несчетное число певцов и певиц.

## 41

Севастьянов писал в редакции. Вошел Кушля. С порога уважительно оглянув пишущих репортеров, прошел к севастьяновскому столу, сел и развернул газету.

— Я сейчас! — сказал Севастьянов. — Заканчиваю!

Они по телефону уговорились, что Кушля зайдет за ним в редакцию и поведет показать сына.

Кушля сидел, важно хмурясь, и делал вид, что читает. Но он не мог скрыть свое праздничное настроение, оно разглаживало складки между его бровями, расправляло все его мятое лицо и разливалось вокруг него сиянием. Он был побрит и густо присыпан пудрой, — парикмахер Иван Яковлевич пудры не жалел.

— Замечательная вещь! — сказал он мечтательно, когда они шли по улице. — Ты не поверишь: ручки, ножки, — дорогой товарищ: копия моих! Ну, не поверишь: ногти моего фасона! — Он любовно посмотрел на свои ногти и показал их Севастьянову. — Такой ноготок, что его почти и не видно, а отлит по этой самой форме, в точности. Глазки голубые: тоже мои; у Лизы серые. Одним словом: мы с ним как две капли воды. Смотрю на него и — веришь: реву. Я, как ты знаешь, крепкой породы, а тут реву и реву. Самому смешно. Ей-богу. Вообще, скажу я тебе: жизнь — хорошая штука!

— Спрашиваешь.

— Хорошая штука. Она тебе, конечно, иной раз такую пакость преподнесет, что даже удивляешься — откуда столько на твою голову... но и награждать умеет. Умеет! И я заметил — уж когда она возьмется награждать, то награждает щедро, надо ей отдать справедливость, — на тебе одно, на другое, на тебе третье!.. Я сына хотел: родился сын. Десять фунтов с четвертью — не каждый, учти, ребенок имеет при рождении такой вес... Теперь — ты послушай — предстоит мне наконец желательная перемена, ну ты знаешь.

— Да что ты! Поздравляю!

— Да. Мне эта петрушка, понимаешь, надоела, что я пишу, они читают, а дело ни с места. Я пошел к Дробышеву. Говорю ему — товарищ Дробышев, у меня желание работать в прессе. Вот, говорю, я тебе прочитаю. Он говорит — оставьте, я сам прочту. Нет, говорю, читай тогда при мне. Немножко с ним поспорили. Но потом я оставил, и вот сейчас был у него за ответом. Я тебе скажу — он партиец настоящий. Акопяну что главное? Ему главное — как написано. Каждое слово перебирает и придирается. Можно лучше написать, можно хуже. У одного большой талант, он, ясно, лучше напишет, у другого талант немножко меньше — он напишет немножко хуже. А Дробышев смотрит в самую суть, он смотрит: кто писал.

— И что он сказал тебе?

— Он привел мудрую поговорку: терпенье, говорит, и труд все перетрут. В данный, говорит, момент не могу вам ничего предложить, но вот с осени будет у нас сельская газета, по типу центральной «Крестьянской газеты», мы вас туда устроим. Я, говорю, хочу такую должность, чтоб меня печатали. Ну что ж, говорит, будете разъездным корреспондентом, селькоровское движение будете организовывать, это одно с другим связано. Поскольку, говорит, вижу я, вы знаете деревню. А то мне не знать деревню!.. «Советский хлебобоб» будет называться газета.

— По-моему, Андрей, это очень тебе подойдет!

— Что значит подойдет, — можно сказать, превосходит самые смелые фантазии. Разъездной корреспондент!

— А насчет жилплощади не говорил с ним?

— Говорил. Обещает. Не сразу, но до зимы обещал устроить что-нибудь. Уж это точно, заметь: если начнет получаться, то подряд все получается. Как по шучьему веленью... Обязательно, сказал, что-нибудь вам с семьей устроим. С семьей! Слышишь? — сияя, спросил Кушля и ткнул Севастьянова локтем. И вдруг глубоко помрачнел. — Да, а с Ксаней-то не решена проблема. И покамест я эту проблему не решу, будь уверен, пусть мне Дробышев хоть всю редакцию, понимаешь, под жильё дает, я из своего угла не выйду и с семьей не объединюсь, потому что это будет с моей стороны очень и очень нехорошо!

Он утер глаза.

— Жалко ее, — не можешь себе представить, до чего. Как вспомню о ней — сердце кровью обливается. Так вот идешь человеку навстречу в его чувствах и не думаешь, каково обоим это будет расхлебывать! А голова, между прочим, дана, чтоб думать, верно?

— И что же ты теперь думаешь?

— Мы вместе думали, — ответил Кушля, сморкаясь, — ей тоже ясно, что как-то надо же выходить из положения. Поскольку Андрюшка налицо. Прежде не было, понимаешь, определенности. Она вполне имела право надеяться, что, возможно, в ее пользу обернется дело. Обе они надеялись и такое, ты знаешь, кругом меня развели... Мы с ней беседовали откровенно. Ты, говорю, пойми, что такое сын. Он меня своими ручками и глазками вот так взял и уже никогда не отпустит. Она говорит — я понимаю. Я ее спрашиваю: можешь ты перестать страдать? Можешь ты переключиться на какую-либо деятельность? Она говорит: ничего я не могу. Ты, говорит, меня куда-нибудь девай. Обсудили мы вопрос всесторонне, и написал я, знаешь ли, на родину, в Маргаритовку.

— Хочешь отправить ее в Маргаритовку?

— Да, хочу ее туда отправить.

— Считаешь, что это выход?

— Единственный выход, дорогой товарищ, и неплохой выход! — убежденно ответил Кушля. — Либо нам уезжать с Андрюшкой и Лизой, либо ей. А то она возле отделения как нанятая ходит и отчаивается, и может кончиться тем, что она со своим упадочным настроением под трамвай ляжет: тогда что?.. Не зря, нет, не зря она просит: девай меня куда-нибудь. Ей и самой уж хочется просвет найти и жизнь свою нескладную переменить, да не знает как. Теперь: что мы имеем в Маргаритовке? В Маргаритовке, считай, половина жителей носит фамилию Кушля. И наряду с кулаками Кушлями и сволочами Кушлями есть и пролетарский элемент под той же фамилией. Двоюродный брат мой, например, Кушля Роман — председатель сельсовета, бедняк по социальной сущности. И тетка есть беднячка, — слушай, — незамужняя, хворая, живет одна. Лежит который год летом на лавке, зимой на печи, напиток подать некому, а хлеб пекут ей обществом, в очередь, чтоб с голоду не померла. А хата у тетки своя,

и ничего еще хата, жить можно. Я как вспомнил про эту тетку, — да вот же оно, спасение, думаю! Написал брату Роману: мол, болеет у меня супруга, — «супруга» написал, нельзя иначе, а то как на уличную будут смотреть, хотя какое бы их дело, а?.. Болеет, написал, супруга сердечной болезнью, — насчет болезни истинная правда, — и прошу, чтоб она у тети Ефросиньи Михайловны пожила на лоне природы. Деньги буду высылать сколько могу, а она за тетей Ефросиньей Михайловной присмотрит по правилам, имея медицинское образование; и хозяйство будет вести своей женской рукой.

— И Ксэня согласилась?

— Согласилась. Поплакала сильно, но согласилась. Куда-то деваться надо же. А куда, кроме Маргаритовки?.. Не говори! — попросил Кушля, видя, что Севастьянов что-то хочет возразить. — Вот посмотришь: если это дело выгорит — замечательно будет! Ксэня успокоится, это одно: места новые, воздух великолепный. Сейчас там жердёл полно, скоро вишня поспеет. Море... Море, правда, такое, что на версту от берега уйдешь и все по щиколотку, — а все ж таки море. Она и здоровье свое поправит и меня забудет, чего и ей желаю и себе. Второе. И главное. Надеюсь я от всей души, чтоб она воскресла как активная личность. Я Роману описал, какую она имеет квалификацию. Ведь она и перевязки, и банки, и нарыв разрезать, все умела как нельзя лучше. Как нельзя лучше! И вот я думаю. Больница там за шестьдесят верст. Да захоти только Ксэня — к ней валом народ повалит! У нас знаешь как любят лечиться? Спасу нет до чего любят! Валом повалят и всё ей понесут, первым человеком она может стать, если захочет. И мужа найдет, и дети будут, и с меня эта ошибка снимется. Дорогой товарищ, я разобрался и признаю: моя это ошибка, нечего на бабью дурную голову валить. Личная моя ошибка, и чувствую я ее — не поверишь, как больно!

Но он уже опять сиял, так утешила его картина Ксэниной будущности. Лучезарная эта картина позволяла ему с чистой совестью упиваться собственными радостями, сегодняшними и предстоящими. Обычно степенный, внимательно слушающий собеседника, он был в этот раз возбужден, взмахивал руками, говорил без передышки, не давая Севастьянову вставить слово.

— Еще одну вещь хочу тебе сообщить очень важную. Не знаю, ты помнишь ли нашу беседу насчет твоих знакомых девчат, не помнишь? Я высказывался, как меня обделила судьба, что за всю мою жизнь я не знал, что оно такое — дорогая и чистая женская дружба! Вспомнил? Ну так вот: она ко мне заходила.

— Кто?

— Зойка маленькая. Лично ко мне. Сижу, понимаешь, вечером один, Гришка домой ушел (Гришка был новый помощник, взятый на место Севастьянова). Отворяется дверь, — она. Здравствуйте, говорит, мимо шла и зашла, давно вас не видала, как поживаете? И здороваемся за руку. Мне неудобно выкладывать мои мужские новости, что, мол, Лиза в родильном доме, рожает и так далее, — я спрашиваю уклончиво, как вы-то живете-можете? У меня, она отвечает, большое несчастье: умер мой папа. Смотрю — она худенькая, бледненькая, я сначала так очумел, что не заметил. И всегда она была не шумная, а сейчас вовсе тихая стала, и шагов не слышать, будто по воздуху ходит. Говорю — боже мой; я и не знал; когда же, спрашиваю, от какой причины? И ты не поверишь: сели мы с ней на подоконнике рядышком! Рассказала, как отец болел, как она у него в больнице бывала каждый день, а последние дни они с матерью от него не отступали, разрешили им, — и как отец с ней разговаривал и беспокоился, чтоб она не горевала и на могилу к нему чтоб поменьше ходила, — нечего тебе, сказал, на кладбище делать, делай свое дело молодое! Видать, любил ее. Сказала, что в железнодорожной школе будет

работать с осени. Все, в общем, свои новости изложила мне как другу. Как другу! — повторил Кушля, блестя глазами.

«Это я, — думал Севастьянов, — должен бы сидеть с ней рядом, и мне она должна была все это рассказать. А я пришел бесчувственный как деревянный чурбан, боясь, как бы не опечалиться ее печалью, она мою боязнь моментально увидела и выставила меня в два счета, — правильно сделала...»

— И понимаешь, — продолжал Кушля, — так мы с ней дружески рядом сидели, так она хорошо на свои колени облокотилась и голову ко мне повернула, что я сам не заметил, с чего начал, но слышу — уже делюсь с ней направо: и про Ксаню, понимаешь, и про Лизу, и что Лиза рождает в данный момент, и всей своей автобиографии коснулся слегка, чтобы пояснить ей мою драму. Спросил: что вы мне посоветуете. Она подержала, что моя мысль правильная: ребенок — главное. Взрослый, говорит, может перенести разочарование и крушение... что-то в этом духе сказала... А ребенку, говорит, нужен отец, чтоб воспитывать и защищать. Именно! Именно защищать, понимаешь, я обязан Андрюшку, я так же само понимаю! Защищать его от империалистов и ихних пособников, от всей мировой гидры! И воспитывать как борца за всемирную революцию!.. Великолепно, дорогой товарищ, побеседовали, культурно и душевно! Говорю тебе: уж если повезет, то везет во всем!

Неиссякаемо юно было это сердце. Неудачи не ложились на него грубыми рубцами, оно оставалось открытым для высоких и нежных впечатлений, и ярко-голубые глаза лучились.

— Ну, — музыка недолго играла: пришла Ксаня. Села напротив нас, семечки лускает и смотрит, — представляешь, как смотрит!.. Зойка встала и говорит: я попроситься, собственно, зашла, мы с мамой завтра уезжаем на лето к знакомым в Ейск. Оглядела помещение, — а у вас, говорит, ничего не изменилось, те же столы и стулья, даже паутина на потолке, пошутила, та же самая.. Попрошалась и ушла, как сон!

Они приближались к цели своего похода. Севастьянов завидел стоящую у ворот толстуху Лизу в розовой блузке, с белым свертком на руках. Притопывая каблучком, проворно двигая пышными плечами, она качала сверток и улыбалась навстречу Кушле.

— А мы папочку встречаем, встречаем! — тонким голосом не то пропела, не то прокричала она, когда Кушля и Севастьянов подошли поближе. — А мы за папочкой соскучились, соскучились!

Кушля сделал строгое лицо и осторожно раздвинул кружевца на свертке. Среди кружевной белизны показалось крохотное темно-красное спящее личико.

— Спит Андрей Андреич, — сказал Кушля, сверху важно глядя на ребенка. — Двенадцать суток исполнилось Андрею Андреичу.

— Двенадцать суток с половиной! — живо уточнила Лиза и, качая, поднесла ребенка Севастьянову. — Похожи мы на папочку?

— Страшно похож! — ответил Севастьянов. — Изумительно!

Кушля не принял шутки.

— То-то, брат! — сказал он с достоинством.

В присутствии Лизы к нему вернулась его степенность. Словно не он, размахивая руками, ребячески восторженно изливает сейчас Севастьянову свои планы и новости. При Лизе и Ксане он всегда держался внушительно, слегка загадочно.

— Дай-ка его сюда, — сказал он и, взяв сына из Лизиных рук, понес в дом. Лиза мелким бегом побежала за ним на каблучках.

Она жила с двумя сестрами и Андрюшкой в маленькой комнате, заставленной вещами. Первым долгом бросался в глаза высокий черный манекен; он стоял против двери, воинственно выкатив грудь. Была тут ножная швейная машина, за нею сидела и шила одна из Лизиных сестер.



Была гладильная доска; другая сестра на ней что-то гладила паровым утюгом. Две кровати с множеством подушек в кружевных и вышитых наволочках, комод с множеством флаконов, коробочек и фотографических карточек и стол, на одной половине которого было накрыто к обеду, а на другой лежали куски раскроенной ткани. На стене висело какое-то рукоделие, изображавшее Пьеро в черной бархатной шапочке и тюлевом воротнике, а рядом — детская цинковая ванночка. Пол засыпан был обрезками материи.

Как Севастьянов ни отказывался, его заставили пообедать, пристали: «Уж покушайте с Андреем Никитичем!» Прежде чем усадить их, Лиза сняла со спинки стульев развешанные пеленки и смахнула с сидений лоскутки. Обедали Севастьянов и Кушля вдвоем. Одна из сестер не переставая шила, то на машине, то иглой, и иногда, подняв голову, взглядывала на обедающих мужчин, и по лицу ее разливалось удовольствие. Другая сестра подавала и принимала со стола. А Лиза то пеленала ребенка, то нянчила его, крутясь на свободном от мебели и людей местечке между Кушлей и манекеном, пристукивая каблучком и приговаривая:

— А теперь наш папочка селедочка скушает! Скушай селедочки, папочка! А теперь нашему папочке пивка принесут! Выпей, папочка, пивка!

— А вы пиво остудили? — спросила, поднимая голову, та, что шила. — Андрей Никитич не любит, когда теплое.

— Остудили, остудили! — в два голоса ответили Лиза и другая сестра. — Конечно, как можно теплое!

Обед был сытный, обильный. К пиву были поданы раки. Кушля сидел за столом как глава семейства, окруженный почтением и заботой. Видно было, что так его здесь приучили. Он принимал это как должное, но поглядывал на Севастьянова, спрашивая без слов: «Замечаешь, как меня ценят? Замечаешь, какая у меня уважительная и дружная семья?» И, вспомнив его рассказы о Тихорецкой и Великокняжеской, Севастьянов порадовался, что ему хорошо.

После обеда Севастьянова пригласили подойти к кровати и полюбоваться Андрюшкой, которого специально развернули для обозрения. Вид невыносимо беспомощного маленького тельца с дрожащими ручками и ножками скорее ужаснул Севастьянова, чем умилил; но чтобы не расстраивать родителей, он почмокал над дрожащим тельцем губами, пошелкал пальцами и подтвердил, что ребенок первый сорт, что глазки у него кушлины, ногти кушлины и носик тоже кушлин. Ему казалось, что он врет без стыда и совести. Но через шесть лет, приехав из Москвы в командировку, он видел маленького Андрюшу, — вылитый был Кушля, только шестилетний, беленький и свеженький, в трикотажном костюмчике; со свеженького детского лица два ярко-голубых глаза невинно и лучисто посмотрели на Севастьянова, — глаза отца, старшего Андрея Кушли.

Зоя не захотела ребенка.

— Ну что ты, — сказала она, — куда нам. С ума сойти.

Он смущенно промолчал. «Действительно, — подумал, — как она управлялась бы, такая молодая и ничего не умеет, самой еще хочется побегать и побаловаться на воле, и бабушки у нас нет присмотреть за маленьким, как у людей присматривают». Женщина с злым лицом и мешками под глазами, что швырнула ему Зоин узелок, в счет не шла — бабушки такие не бывают, и у Зои там все кончено.

Он взял аванс — тридцать рублей, заплатить доктору, и проводил Зою, вернее она его проводила, потому что она знала адрес, а он не знал. В темной передней они простились, неловко и наспех, шепотом, как

заговорщики. Зою доктор увел в комнаты, а Севастьянову велел прийти за ней вечером. Севастьянов медленно шел прочь от дома, где она осталась, и думал — не оговорился ли доктор: не может быть, чтоб вечером она была уже настолько здорова, чтобы идти домой. Он слышал, что это дело опасное и кровавое; и она была бледна, когда, уходя в докторские комнаты, закрытые для Севастьянова, оглянулась и принудила себя улыбнуться. Ему эта обреченная улыбка причинила прямо-таки физическую боль. Причиняло боль и то, что доктор, видимо, раньше был знаком с Зоей и обращался с ней приятельски и небрежно...

Эту мысль Севастьянов отгонял, как привык отгонять все мысли, оскорбительные для Зои. Но что ей больно, что она лежит с этой болью одна в какой-то неизвестной ему страшной комнате, — этим не мог не мучиться весь бесконечный день... Сбежал домой, прибрал немножко, положил на стол плитку шоколада, она любила. Потом застал себя на той улице, перед тем домом. Докторская квартира была на втором этаже. Задрал голову, Севастьянов разглядывал окна второго этажа. Вышел на середину мостовой, чтобы лучше видеть. Окно было много, на одних висели тюлевые гардины, на других полотняные, невозможно было определить, за которой из гардин ее прячут, что с ней делается...

Вечером звонил у отвратительной этой двери на втором этаже. На этот раз его и в переднюю не впустили, велели ждать на площадке. Но при этом сказали: «Сейчас она выйдет»; гора с плеч... Она вышла очень бледная, ступая осторожно, не спеша. Волосы ее зачесаны были гладко, и это вместе с бледностью делало ее лицо по-новому трогательным, страдальческим. В руках у нее был маленький сверток в газетной бумаге, ее одежды. «Возьми», — ласково-покровительственно, как взрослая мальчишку, сказала она и отдала сверток Севастьянову. Дверь за ней захлопнулась. Молча, тихо, чуть-чуть притронулся он губами к ее прохладному лбу; взял за руку и повел вниз по лестнице..

Дома она легла в постель и ела шоколад, отдыхая от пережитого, и он поил ее чаем. И стерег, сидя возле кровати, пока она не уснула. В бережной тишине кончался вечер. Смуглел прямоугольник окна; света Севастьянов не зажигал. Как там во дворе разговаривали, свистели, ходили, — их не касалось и потому не существовало. В их комнатке темноло и стемнело, в темноте царило молчание покоя, глубокого мира после тревоги. Позвякивание ложечки в стакане, нечаянный скрип стула — и безмолвие снова, и в безмолвии очертания ее головы на отвсечивающей белизне подушки, ее рука, покоящаяся под его рукой...

Дня через два она бегала с Дианой как ни в чем не бывало. Жизнь пошла по-прежнему. Но Зоя стала жаловаться на скуку:

— Я без тебя просто умираю!

Клуб, где она танцевала, на лето закрылся, да она уж и охладела к танцам, к тому же в этом клубе служил ее брат, ей не хотелось встречаться с ним. Она читала книги, которые брала в библиотеке и у ведьм, — читала быстро, глотая книгу за книгой, но без особенного интереса, будто даже свысока, не придавая значения тому, что там написано, — прошло время, когда она благоговела перед пишущими и их творениями... Она играла в мяч с детьми, болтала с инвалидами, с Кучерявым, но это не могло заполнить ее день.

— Скуча-а-ла! Умира-а-ла! — наивно подняв брови, жаловалась она, когда он спрашивал, что она без него делала.

Он понимал: кому угодно в конце концов осточертеет праздность. Очень приятно заставить ее дома, когда ни забежишь; но это — собственные, буржуазные, сволочные инстинкты; человек должен трудиться. Стал советовать с товарищами в редакции и в типографии, как бы пристроить ее на работу. Но ничего еще не успел придумать и ни от кого получить совета, как она ему сказала с воодушевлением:

— Знаешь, я устроилась!

Ее пригласили к себе инвалиды — буфетчицей. Как буфетчицей, у них и буфета нет? Ну, ради нее, Зои, организуют. Ну, не ради нее, конечно; просто жизнь им подсказывает. Ведь не все посетители хотят непременно пить за столиком кофе или есть мороженое, некоторым желательно просто купить пару пирожков, или даже один пирожок, и унести с собой, для ребенка или чтобы съесть в обеденный перерыв. И таких посетителей гораздо больше даже. Вот для них-то и организуется буфет, и Зоя будет буфетчицей. Она кружилась и веселилась, сообщая все это.

— Ты подумай, какая работа: чистенькая! Прелесть! Я стою в шелковом фартушке! Вся в ароматах! С маникюром!.. Теперь мне обязательно придется сделать маникюр!

— Ты, значит, будешь занята днем и вечером, — сказал Севастьянов, — мы никуда не сможем пойти вместе.

«У инвалидов дела обстоят неважно, — подумал он, — они берут ее за красоту, как та балетная группа».

Зоя не дала ему говорить:

— Ты подумай! Ни на трамвае не нужно! Ни пешком! Перебежать двор, и я на работе! Никакая погода не страшна! И ты представляешь, как мне пойдет маникюр! Ты представляешь: ногти — как розовые миндалины!

Что он мог ей предложить вместо этих радостей? Ровным счетом ничего. Разве — и то предположительно — что-то вроде памятной ему работы на картонажной фабричке... Зоя кружилась перед ним, раздувая светлое новое платье. Он перестал возражать.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с очень толстыми бровями, остановил его во дворе.

— Товарищ Севастьянов, ваша супруга любезно согласилась поработать у нас в кафе. Если вы, может быть, имеете насчет этого какие-нибудь мысли, то я вам вот что скажу: я сам отец, имею дочь, и ни я, никто в «РенOME» не допустит даже тени чего-нибудь! Даже тени, товарищ Севастьянов!

— Она согласилась, — сказал Севастьянов, — значит, она тоже так считает. — Он поспешил уйти, этот разговор его смущал.

А после главного инвалида поймал его Кучерявый.

Он вышел из своей пещеры — темных больших сеней, где смутно виднелись куда-то ведущие двери, — и захромал к Севастьянову, окликая невнятно:

— Эгей! Эй! А ну!

В белой куртке нараспашку, карандаш за ухом, блокнот в нагрудном кармане. Волосы — матрацные пружины. Белое лицо — ком сырого теста, и на нем маленькие, темные, подвижные, рассеянные, соображающие глаза. В первый раз (и последний) стоял он так близко от Севастьянова.

— Вы что же, — негромко и как-то пренебрежительно спросил Кучерявый и, склонив голову, устремил свой подвижной взгляд на севастьяновские сандалии, — вы, значит, ничего не имеете против, чтобы Зоя поступила в кафе?

«Это уж безобразие, — подумал Севастьянов, — еще и этот будет вмешиваться? Ему-то что?»

— Почему я должен быть против? — спросил он.

Кучерявый раздумчиво вскинул голову и смотрел ему на лоб с выражением отвлеченного интереса, словно решал в уме задачу, — казалось, сейчас вынет из-за уха карандаш, из кармана блокнот и запишет решение.

— Так ведь с улицы придет кто хочешь, — сказал он все так же пренебрежительно-безразлично.

— Ну придет, — нетерпеливо сказал Севастьянов, соскучась ждать, когда он решит свою задачу, — и что из этого следует?

— Придет и будет ходить, ему не воспретить.

— Не понимаю.

— Наговорит сорок бочек арестантов, — уронил Кучерявый.

— Не понимаю! — повторил Севастьянов, хотя уже понимал и начал пылать гневным пламенем.

— И уведет, только ты ее и видел, — вздохнул Кучерявый, от вздоха колыхнулись его бабы покатые плечи.

— Иди ты знаешь куда! — сказал Севастьянов.

— Пстой! — негромко вскрикнул Кучерявый вслед. — Эгей! Да ну! Погоди!..

Севастьянов не оглянулся. Он не сказал об этом разговоре Зое. (Первый и последний его разговор с Кучерявым.) Эти пересуды за ее спиной — черт знает что.

Инвалиды сшили Зое шелковый фартучек и наколку. Зоя побывала в парикмахерской и сделала маникюр. С ногтями как розовые миндалины, с белой наколкой на темных волосах, встала она за прилавком в «Ренومه», забавляясь так же беззаботно, как забавлялась полгода назад клубной сценой и пачками из марли.

## 43

Дни и недели, которые за этим следовали, Севастьянов никак не может восстановить подробно и стройно. За далью, за тогдашним смятением, слишком многое сместилось в памяти, одни события распались на куски, на не связанные между собою сцены, лица, голоса, а другие события выросли несоразмерно своему значению..

Когда на страницах «Серпа и молота» стало мелькать имя Марии Петриченко?.. Это была селькорка, писала о работе делегатов женотдела, о рыбацкой артели, еще о чем-то. Заметки были подписаны: хутор Погорелый, Маргаритовского сельсовета.

Севастьянов как-то спросил Кушлю — что за хутор и не знает ли он, Кушля, Марию Петриченко, поскольку сам он тамошний. Никаких Петриченко Кушля не знал.

— Приезжая, — сказал он, — либо какая-нибудь наша дивчина взяла приезжего в приймаки..

Про хутор же Погорелый выразился, что, невзирая на его такое сиротское название, это есть самое вредное контрреволюционное гнездо на всем земном шаре.

О Петриченко упоминал однажды Дробышев на рабковском собрании — хвалил за то, что пишет серьезно и принципиально.

Деревне «Сerp и молот» уделял не много места, больше занимался городом. Для деревни предназначалась газета «Советский хлебобор», в которой Дробышев обещал Кушле должность разъездного корреспондента; она должна была выходить с нового хозяйственного года<sup>1</sup>. Петриченко писала часто, но большая часть ее заметок оставалась в серых папках отдела «Сельская жизнь».

В одно утро Севастьянов пришел в редакцию, — там все говорили о Петриченко, об ее письме. Оно было получено, оказывается, еще вчера, а эти моржи в «Сельской жизни» вскрыли только сегодня.. Севастьянову дали прочесть. Начиналось письмо обыкновенно: «Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам Петриченко Мария с хутора Погорелого». А дальше на нескольких листах, вырванных из старой бухгалтерской книги, с голубыми и красными линейками и жирно напечатанными словами «Де-

<sup>1</sup> Хозяйственный год начинался 1 октября.

бет» и «Кредит», Петриченко в прозе и в стихах прощалась «со всеми уважаемыми сотрудниками», желала им дожидаться полного коммунистического счастья и жалобилась горько, что в молодых годах, имея малых детей, «ничего не успевши повидать на нашем красном свете», должна она расстаться с жизнью и общественной работой через врагов советской власти. В конце — просьба устроить детей после ее смерти «куда хотите, абы не пришлось им на моих же убийц батрачить». Письмо было литературное и в то же время искреннее. Писал человек тщательно, но в расстройстве, в предвидении беды. Некоторые усомнились, говорили: «Нервы, кто-то ее пугнул, она и запсиховала». Но большинство поняло смысл письма правильно: покуда здесь в редакции заметки Петриченко регистрировали, почитывали, похваливали, кое-что печатали, кое-что мариновали, сдавали в набор, пускали в котел, — на хуторе Погорелом, в степных кукурузных, подсолнечных джунглях, у Марии Петриченко с разоблаченными ею врагами дошло до черты, вопрос стал ребром: кто кого.

Акопян, узнав, что письмо пустили по рукам и таскают из комнаты в комнату, забрал его и запер. По его распоряжению из папок срочно выбирали неопубликованные заметки Петриченко и несли к нему, и он их читал. Всегда выдержанный и вежливый, он при всех сказал заведующему «Сельской жизнью», акцентируя от волнения и сверкая черными глазами:

— Чем бы эта история ни кончилась, тебя в редакции не будет, или я не Акопян!

Почему-то после этих слов даже легкодумам, даже сомневающимся стала до конца ясной трагедийная правда письма. В редакции стихло, каждый уткнулся в свою работу. Совсем замерла, невидимой и неслышимой стала «Сельская жизнь», грубый толстый губастый парень с маленьким пенсне на большом красном лице; Коля Игумнов про него говорил, что Харлампиев врет, будто он сын сельского учителя, на самом деле он сын лавочника, Коля Игумнов это чувствует как художник.

Пришел Дробышев, они заперлись с Акопяном и Харлампиевым. Потом вдруг вызвали Севастьянова. Едва он переступил порог, Дробышев спросил:

— Вы работали с Кушлей, вы хорошо его знаете?

— Хорошо, — ответил Севастьянов.

— Толковый товарищ? Если послать его на этот самый хутор Погорель — сумеет выяснить обстановку?

— Безусловно. Тем более, что он оттуда родом.

— Вот-вот, из Маргаритовки, — сказал Дробышев, глянув в лежащий перед ним листок. — У нас впечатление — боевой товарищ, вы как считаете?

— Боевой, — подтвердил Севастьянов.

Харлампиева в кабинете уже не было. Сидел Акопян, Дробышев стоял за своим столом, держа руку на вилке телефонного аппарата.

— Осветить не сможет как следует, — сказал Акопян. — Пишет плохо.

— А вы помогите, напишите хорошо, — возразил Дробышев. — Главное, должен быть человек, чтоб быстро разобрался в отношениях и мобилизовал местные силы. С классовым чутьем должен быть человек, — заключил он и снял трубку с вилки...

... — Уж везет, так везет! — сказал Кушля Севастьянову. — Дорогой товарищ, я, как тебе известно, ни в бога, ни в черта, ни, понимаешь, в святых угодников... Но что ты скажешь в данном конкретном случае? Скажешь — судьба. Не скажешь, нет? И ведь верно: нам, марксистам, не подобает это говорить. Верно: стечение обстоятельств. А я Ксане сказал

по-простецки: судьба! Ехать, сказал, тебе в Маргаритовку, и никаких гвоздей, видишь же — помимо нас с тобой так сложилось, что я имею возможность лично отвезть тебя и устроить. От двоюродного брата Романа до сих пор ответа нет. У нас там по два года чешутся, пока соберутся письмо написать. Ладно. Нехай они чешутся, а мы вот они с Ксаней.

Он был совершенно удовлетворен: его признали, позвали, поручили ему важное дело.

— Конечно, такого материала никто не соберет, как я. Вó будет материал! Дробышев спрашивает: как вы думаете, она не преувеличивает, Петриченко?.. Будь уверен, говорю, ничего она не преувеличивает. Я письма ее прочитал — так и вижу эту картину кулацкого засилья и в кооперации, и в сельсовете, через слабость характера двоюродного брата Романа, и на всех, понимаешь, ключевых позициях; у всех истоков, понимаешь, откуда только протекают барыши и власть! Это истинная картина, я все фамилии знаю, что она указывает. И в морды многих сукиных сынов помню. Они так же и мной мечтали пользоваться, как бра-том Романом. Моей непорочной автобиографией мечтали обгородиться, как проволочным заграждением! Я все там, говорю, уточню и доведу до революционной законности, будь уверен! И он мне протягивает руку и говорит — дадим вам, говорит, если потребуется, вплоть до двух подвалов... Двух подвалов!

— Ты напишешь здорово, — сказал Севастьянов, — я по тому сужу, как ты рассказываешь.

— Я тоже полагаю, что здорово, — сказал Кушля. — А если, возможно, произойдет заминка в литературном отношении, — подлежащие-сказуемые, — пособишь оформить, ладно?.. Удостоверение выдали (он показал) и письмо в уком. И, в общем, через два часа отбываем. Для Ксани, конечно, гораздо легче, что так получилось: то бы, понимаешь, сборы, да прощанья, да откладыванья, — оба мы измучились бы. А тут — раз-два, недолго думая, сели вместе и поехали, я ее с родней знакомлю, местность показываю, где я родился и рос, все по-хорошему и не так ей, бедной, обидно... Черт, хотел забежать, купить Андрею Андреичу какую-нибудь погрешушку... Замотался и не поспел, магазины уже закрыты. Ну, бегу с ним проститься! Будь здоров, всего тебе!

— И тебе! — от души пожелал Севастьянов.

...— Игумнов поедет с тобой, — сказал ему Акопян, — сделает зарисовки. Место не ограничиваем. Ехать надо вечером, завтра будете в Т., оттуда лошадьми.

Акопян говорил, глядя в стол, ровным голосом, в правой руке перо, в левой папироса... Севастьянов слушал и не понимал, как он может курить и говорить так спокойно.

В горле у Севастьянова перехватило, и он поскорей достал папиросы, чувствуя, что должен закурить немедленно. Акопян поднял суровые глаза и протянул ему зажженную спичку.

...Телеграмма была получена утром. Дробышев со следователем ГПУ сейчас же выехал на дрезине в Т., приказав Акопяну направить туда Севастьянова и Игумнова ближайшим поездом. Будь Железный в городе, поехал бы он, а не Севастьянов. Но Железный был в отпуску, и печальная эта честь выпала на долю Севастьянова.

День был заполнен звонками, толчеей, разговорами. Приходили из типографии, из районных отделений «Серпа и молота», из редакции «Юного пролетария». Всем сразу стал интересен Кушля, и все расспрашивали Севастьянова, потому что он ближе всех был к Кушле. До отъезда Севастьянов должен был сдать хроннику, собранную в последние дни, и дописать очерк о макаронной фабрике. Надо было, кроме того, получить командировочные, а в кассе не было ни копейки, кассир

ушел в банк, и неизвестно было, с деньгами он вернется или без денег. Севастьянов дописывал очерк, подсчитывал строчки в хронике, чтоб было ровно восемьдесят и ни строчкой больше, в очередь с Колей Игумновым бегал в бухгалтерию узнавать, не пришел ли кассир, отвечал на расспросы о Кушле, объяснял месткомовцам, где живет Лиза, чтобы они могли пойти к ней известить. Одно дело кончалось—начиналось другое, и хотя отвлечься от события было невозможно, оно еще стояло комом в горле,— но к нему привыкал, его резкая острота проходила, и больше не казалось, что это не может быть.

Коля Игумнов сказал:

— Жаль, конечно, что такой грустный повод... Но говоря откровенно — я рад проехаться! Куда-то мы с тобой перенесемся, что-то увидим новое... Что может быть лучше? Вам хорошо, репортерам, вы гоняете по городу, а я сижу взаперти и мажу серые фотографии тушью и белилами...

Уже кончался день, когда Севастьянов прибежал к Зое. В кафе «Реноне инвалида» начиналась вечерняя жизнь, почти все столики были заняты. Зоя стояла за прилавком. Севастьянов сказал ей:

— Кушлю убили.

Она вздрогнула и вскрикнула: «Ой!»

— Как, сегодня едешь?! — переспросила она, пораженная, и взялась за лоб, Севастьянов подумал — «она боится, что меня тоже убьют». — А вернешься когда же?

— Акопян считает, мы пробудем дня три. И дорога...

Они разговаривали, разделенные прилавком. Посетители оглядывались на красавицу буфетчицу, взволнованно шептавшуюся с парнем. Инвалиды улыбались отечески... Севастьянов сказал:

— Но ты меня проводишь!

— Да,— сказала она,— конечно!

И, отпросившись у инвалидов, сняла свой фартук и наколку и ушла с Севастьяновым в их комнатуху. Они укладывали в дорогу его портфель и нежно прощались. Кирпичная стена напротив была как печь, накаленная докрасна, огненный день уходил по кирпичам, выбираясь со двора на крышу. Бухал мяч. Кричали, играя, дети.

Вышли из дому, держась за руки. Темнело, много было людей на улице. Где-то была смерть, а здесь в саду играла музыка. Под музыку шли навстречу мужчины и женщины, и все они смотрели на Зою. Мужчины приковывались к ней долгими взглядами, женщины взглядывали бегло, а потом и те и другие переводили взор на Севастьянова. По-особенному смотрели подростки. Изумленные глаза мальчиков, напряженно-испытующие глаза девочек спрашивали: «Значит, вот как это бывает?» А Зоя улыбалась в ответ. Ее страх прошел, излился в коротеньком вскрике «ой», снова она упоена была своими чарами и успехом... Смерть существовала, отвратительная, несправедливая и жестокая, но она была далеко, далеко, а здесь шла Зоя, играла музыка и у входа в сад продавали розы.

Она сказала:

— Купи мне розочку.

Они остановились, чтобы купить роз. Казалось, вся улица приняла участие в этом происшествии,— столько народа следило за ним и с таким сочувствием. Цветочницы наперебой протягивали Севастьянову лучшие розы, лучшие из лучших. И кому же полагались эти розы, если не Зое, кому бы еще они были так к лицу?

Пришли в редакцию. По заброшенной бумажками и окурками лестнице спускался Залесский. Даже этот старик, все перевидавший, даже он споткнулся и остолбенел на секунду, когда из-за лестничного поворота появилась перед ним Зоя с розами... В своем кабинете, под зеле-

ной лампой, Акопян чигал полосу. Севастьянов зашел за пакетом для Дробышева, он не мог не показать Зою Акопяну.

— Это Зоя,— сказал он неловко.

Акопян поднял голову, его лицо выразило удивление, сердечность и интерес.

— Очень рад,— ответил он.— Акопян.

И, встав, поздоровался.

— Вы очень хорошо влияете на Шуру,— сказал он добродушно.— Благодаря вам он достиг небывалой работоспособности, последнее время он трудится за четверых...

С Колей Игумновым они встретились, как было условлено, на вокзале под часами. При виде Зои Коля сказал:

— Боже!

Он держал ее руку, наклонялся и спрашивал:

— Что же это? Почему я этого раньше не видел? Когда я буду это рисовать?

Они пошли искать свой поезд. Коля вел Зою под руку, не переставая наклоняться и говорить. Зоя смеялась. Севастьянов сперва — по инерции — гордился, потом почувствовал против Коли возмущение. Коля осмелился поцеловать Зою в локоть, в ее точеный смуглый локоть, над которым узенькая оборка и перехват широкого пышного рукава. Коля не должен был так поступать: она ведь ничем не дала ему права думать, что ей это будет приятно. Особенно же было возмутительно, что, когда Коля наклонялся, его длинные волосы падали Зое чуть ли не на лицо, и он их отмахивал залихватским жестом — дескать, сам черт ему не брат! Но вдруг в темноте, на путях, пронзительно и горестно закричал паровоз, другой отозвался вдали так же тревожно и горько, и Севастьянов вспомнил, что сейчас они с Колей поедут туда, где смерть, что смерть чудовищна и непоправима, что навеки закрылись кушлыны ярко-голубые глаза... «С ней забываешь обо всем! — подумал он.— Нельзя быть с ней и думать о смерти, с ней думаешь только о ней... И что для нее значат пустяковые Колины маневры по сравнению с той нежностью и преданностью, какую она знает!» И он шел за ними, не ревнуя больше, мудро снисходительный, очень взрослый по сравнению с ними.

Полазав под составами, они нашли свой поезд. Он стоял у дальней платформы, перед черными строениями, впотьмах. Его открытые окна еле светились, выдыхая на платформу запах мешковины, кислого теста, поездной уборной. Посадка уже прошла, последние пассажиры впикивали в вагоны свои мешки.

— Как, уже расставаться? — спросил Коля.— Это выше моих сил, поехали с нами, мадонна.

А Севастьянов обнял Зою и поцеловал и потом окунул лицо в ее букет, в последний раз вдохнув его чистую свежесть, перед тем как войти в набитый людьми и мешками вагон. Зоя подняла руки, розы упали. Общими руками она обняла Севастьянова за шею, ее поцелуй был бесконечен. Это было жаркой черной ночью, вокзальной, железной, угольной, единственный фонарь не мигая светил на это из-под навеса.

— Ах, так? — сказал Коля.— Значит, никакой надежды? Но почему же мне не сказали сразу? Это жестоко.

Много езжено по родной стране, много хожено. Среди бесчисленных человеческих поселений, больших и малых, память хранит и Маргаритовку. Сотня беленых хат, насыпанных на берегу лимана; низенькие фруктовые садики, красные точки вишен на деревьях — последние



вишни, их пора кончалась; на плетнях развешаны рыболовные сети, натканы горшки и кувшины...

В полуверсте от слободы находилось бывшее помещичье имение: неогороженный разросшийся сад и в нем большой старый дом. В доме разместились сельсовет, школа, изба-читальня, квартира учителя. Вход в дом был через обширную открытую террасу. Ее доски и столбы от старости стали пепельно-серыми. Под знойным солнцем иссохшее дерево, разомлев, источало слабый запах не то смолы, не то краски, хотя и та и другая давно из него выветрились. Такою же серой, обветшалой была входная дверь: когда ее отворяли или затворяли, с нее осыпался какой-то порошок и дребезжали остатки цветных стекол вверху... Убийца сходил по ступеням как бы задумавшись, глядя на свои сапоги и надвинув картуз на брови. Желтая щетина росла на его щеках; в каменных складках сапог лежала пыль. «Что он должен сейчас чувствовать?» — подумал Севастьянов и отвернулся от угрюмого мрака, представившегося ему... За убийцей шел милиционер. Подвода ждала их, они сели и уехали. Мужики и бабы, стоя поодаль, молча глядели вслед.

Лужайка перед террасой вся поросла травой, называемой у нас калачиками. Местами земля под травой вздувалась: там, верно, были когда-то клумбы. Эту запущенную лужайку со всех сторон обступал густой зеленый сад. В его сплошной стене светло и серебристо обозначалось начало тополевого аллея. Аллея сужалась как бесконечный коридор, полный света и сверканья; в конце ее бледно голубел лиман. Обильная серебряная листва, не умолкая, не угомоняясь, легко и радостно лепетала под ветерком, вся устремленная ввысь, и каждый лист был как маленькое зеркальце, отражающее солнце. Этой аллеей ходили купаться. У берега — правду говорил покойный Кушля — было по шиколотку, приходилось идти далеко, чтобы окунуться и поплавать.

...Марию Петриченко Севастьянов увидел первый раз на собрании. Она стояла и говорила, когда Севастьянов с Игумновым, только что приехавшие, в дорожной пыли, вошли в полную людей комнату. Услышав горячий, убежденный, молодой женский голос, Севастьянов подумал: «Это она!» — было что-то общее между этим голосом и письмами Петриченко в редакцию... Две девочки, крошечные, трех-четырёхлетние, держались за ее подол; мальчик постарше стоял рядом. «Мария Петриченко и ее дети». Возле председателя сидел человек с странно знакомым лицом, ярко-голубыми глазами посмотрел он на вошедших, — кушлин двоюродный брат Роман.

— И где ж те люди? — спрашивала Петриченко. — Где они тех людей подевали, что имели дух защищать бедняцкий интерес? Того спойли, того купили. Кушля Роман — от он перед вами сидит как стенка белый, еще бы: с злодеями, душегубами дружбу водил... Кушля Игнат в город подался через ихнюю ненависть.

— Игната выдвинули, — небрежно сказал чисто одетый человек, нестарый и красивый, хотя почти совсем лысый, с оборочкой мягких темных волос на голом черепе. — Выдвинули Игната, зачем зря говорить.

— Меня довели, что я детей без своего присмотра и на одну минутку покинуть боюсь, — продолжала Петриченко (лысый усмехнулся и снисходительно повел плечом...). — А теперь пускай ответят: кто получил ту ссуду, что на безлошадных была отпущена? Покажите ведомость. Покажите расписки. Всем покажите, а не только друг дружке, — у вас рука руку моет... Еще такой вопрос: как у нас подобрано правление кооперации?

— Товарищ председатель, — яростно закричал кто-то, — другие гра-

ждане получат слово, или одна Петриченко будет говорить до скончания веков?!

Поднялся шум... Мария озиралась, прижав к себе детей. Она была плечистая, чернобровая. На загорелом до каштанового цвета лице уже прорезались морщинки: резко-белые, они расходились жаркими лучами на висках и скулах; казалось, лучи эти исходят из зеленовато-карих, глубоко посаженных глаз...

Когда Коля Игумнов ее рисовал, она сидела деревянно и озабоченно, положив на колени загорелые сильные руки.

...Она вела Севастьянова и Игумнова на хутор и рассказывала про лысого:

— Больше всех нажился, родичи на него батрачат, и ни договоров, ни соцстраха, и не подступиться к нему. А послушать его — самый сознательный, все новые слова знает... Ох,— сказала Мария,— до того ж хитрая порода, проклятые куркули!

Они шли, разговаривая, и детишки проворно семенили рядом, взбивая пыль маленькими босыми ногами.

Солнце спускалось у них за спиной. По обе стороны неширокой дороги были поля подсолнуха. Подсолнечники стояли обернувшись все в одну сторону: сомкнутые ряды, полки, полчища огромных темных ликов, окруженных желтыми нимбами... Первой с краю была на хуторе хата убийцы, они зашли на нее взглянуть.

Калитка была настезь и дверь настезь, и хозяйка сидела на крыльце, свесив руки меж колен. На цепи рвалась, бесновалась собака, но женщина слегка только повернула к вошедшим голову, не спросила — чего им надо, не пошла за ними. Севастьянов взшел мимо нее на крыльцо вслед за Марией, вдвоем они прошли по комнатам; Коля войти не захотел. Комнаты были обставлены как в городе: зеркальный шкаф, хорошие стулья, кровати с блестящими шарами. «В голодуху за пшено да постное масло у городских повывменяли!» — объяснила Мария. Хата была под железом, во дворе крепкие постройки.

А Мариина хата крыта была соломой, и была в ней одна комната — почти пустая — да сени. Во весь двор — огород, наполовину уже оголенный, закиданный увядшей картофельной ботвой. Так и дохнула навстречу жизнь нищая, немилосердная, едва ступили на порог.

Коля Игумнов огляделся и спросил сочувственно:

— Такая молодая, и что же, одна живете, без никого?

— Как без никого? От, дети есть,— строго усмехнулась Мария.— Полная хата народу, как же без никого?

— А муж?..

— Муж? Пришел и ушел, и нет его,— сказала она жестко.— В семнадцатом пришел калекой с фронта, мы поженились. Три пальца у него отрезаны, но работать мог. Хату мы с ним построили.— Подняв голову, она оглядела беленый низкий потолок, и глаза ее налились слезами.— В долг вошли, отработывали... а потом надоела ему эта бедность, он и уехал,— ничего о нем не знаю. Нюська — последняя — без него уж родилась.

Она вытерла глаза воротничком кофточки и закончила неожиданно нежным, воркующим голосом:

— Очень от бедности мучился. Он сильно грамотный был, ему совсем другая требовалась жизнь. Он, например, таракана видеть не мог.

— Как будто другая жизнь сама собой построится,— заметил Севастьянов.

— От именно! — горячо подхватила Мария, и слез ее как не бывало.— И я ему говорила: если не сами мы, то кто же, правда? Не бог, не царь и не герой, правда?.. Но, конечно, трудно одной.

— У вас еще все впереди! — сказал Коля.

— Так видите, — сказала Мария, — жениться на мне никто не жинится, с таким-то приданым? — Она кивнула на детей. — А другое что-нибудь я не могу себе позволить. Я если себе позволю, так будет крик и лай на всю Маргаритовку и с хуторами. Другой — простят, а мне не простят от столько. И про меня будет лай, и про бедняцкий наш класс, и про всю советскую власть, — сказала она гордо. Ясно было, что в ее сознании советская власть, бедняцкий класс и она сама, Мария Петриченко, — неразделимое целое, и этим диктуются все ее поступки.

Она кормила детей, укладывала их и рассказывала, как хитростями, взятками, угрозами зажиточные пытаются все прибрать к рукам, а она против этого борется. Они и ее хотели подкупить, кашемиру на платье набрали, как же; так она и взяла ихний кашемир! Детям сдобные коржики пхали: она запретила детям у них брать! — Некрашенный стол был в хате, лавка, две табуретки; между печью и стеной настланы нары для спанья. Кормила детей Мария деревянной ложкой, из чугунка с отбитым краем. Неровно оструганные, побеленные мелом столбы, — дерево просвечивало сквозь мел, — подпирали потолок. Сухо пахло глиной от земляного мазаного пола.

— Я знаю одно, — сказала Мария, — или им на свете быть, или мне с моими детьми на свете быть. Я с ними никогда не помирюсь!

Стало темно. Младшие дети спали. Старший мальчик, лет шести, вылез к краю нар, лежал на животе среди тряпья, — подперев кулачками щеки, слушал, как разговаривают взрослые. Мария зажгла лампу и сказала:

— Я вам мои стихи почитаю.

Легко вскочив на нары, достала с лежанки аккуратно сложенные листы (вырванные из бухгалтерской книги, с печатными словами «Дебет» и «Кредит») и развернула под лампой.

— От послушайте, — сказала она доверчиво.

Она читала, сжимая руки, вздыхая глубокими вздохами. Маленькая лампа дымно светила сквозь закопченное стекло. Лицо Марии в этом свете было коричневым, белыми черточками выделялись морщинки на висках, угольной чернотой — брови и ресницы. Другого конца комнаты свет лампы едва достигал. Оттуда блестели внимательные, разумные глаза слушающего мальчика.

Стихи, которые читала Мария, были отчасти знакомы Севастьянову. От сильно грамотного мужа ли, бросившего ее с детьми на эту нужду и борьбу, или из книг и песен, но она нахваталась стихов и, беря чужие строчки, приписывала к ним свои; и от чистого сердца, радуясь и любуясь, признавала то, что получалось, за собственное свое сочинение. Севастьянов и Коля ее не разубеждали... «Тучки небесные, вечные странники», — читала она с чувством:

Огненной молнией,  
Громом грохочете.  
Что же вы ищете?  
Что же вы хотите?..

Когда Севастьянов с Игумновым уходили, ночь уже совсем накрыла степь и хутор. Лаяли собаки на ближних и на дальних дворах.

— Изо дня в день, — сказал Коля, оглянувшись, — представляешь, изо дня в день она так живет.

Севастьянов тоже оглянулся, — за черным переплетом дырявого тына дымно-коричнево краснелось Марино окошко. Тьма кругом шуршала. Беспokoилась... «Вот так шуршало вокруг ее дома, — подумал Севастьянов, — когда она сидела и писала то письмо, прощаясь с нами и пору-

чая нам детей. И так же краснелось ее окно, и уже был заряжен обрез той пулей, которую готовили ей, а посадили в Кушлю...» Они молча шли мягкой пыльной дорогой, и шорох и мрак сопутствовали им до самой Маргаритовки.

## 45

Позже поднимается белая спокойная луна. Она стоит за крышей сельсоветского дома, ее не видно, но от нее светло на небе и на земле, и тень дома ложится на лужайку, заросшую калачиками.

На расшатанных ступенях террасы сидят люди, курят: хлеборобы и рыбаки, их одежда пахнет рыбой,— и среди них школьный учитель, шуплый человечек с коротко остриженной седой головой, в тени она белеет как громадный пушистый одуванчик. Тревога, раздражение вечных неудач в голосе и движениях учителя. Тонкий лягушечий рот в разговоре брызжет слюной и сжимается трагически. Учитель спорит с Дробышевым, который ходит перед крыльцом, иногда останавливаясь (Дробышев и в редакции редко сидит — ходит, разговаривая, по кабинету или стоит у стола, опершись на стул коленом).

— Вы здесь три дня,— говорит учитель,— а я четыре года, кому из нас видней?

— Вы за четыре года ничего не увидели! — отвечает Дробышев своей начальственной скороговоркой.— За четыре года вы ничего не поняли!

Дробышев — деловитый, с быстрым взглядом, с повелительной посадкой головы. И речь у него быстрая и повелительная. В деревне, в командировке, он несравненно доступней, чем в редакции, где к нему нельзя войти, не спросив разрешения, где он вечно спешит и где только покойный Кушля обращался с ним запросто, чуть ли не похлопывал его по плечу.

— Вы мне не докажете,— строптиво твердит учитель,— что это политическое убийство. Старая семейная ссора. Еще до революции чего-то не поделили.

«Неужели не понимает,— думает Севастьянов,— не может быть, чтоб не понимал, он же дядька образованный; притворяется из упрямства».

— Выпили,— небрежно замечает чисто одетый человек с темной оборочкой волос вокруг лысины, тот, о котором рассказывала Петриченко, что на него батрачат родичи,— выпили, поспорили, ну и — под горячую руку, спьяна...

— Андрей выпивши не был! — сурово поправляет кто-то из тени.— Вскрытие показало — не был он выпивши!

— Спорили-то о чем,— говорит Дробышев,— спор шел, как выяснилось, о советской власти.

— Человек убил человека,— возбужденно говорит учитель.— Со времен Авеля и Каина человек убивает человека и придумывает разные причины убийства.— Он встает, уходит по лунной лужайке, маленький тщедушный упрямец из тех закоренелых упрямцев, что готовы лучше умереть, чем отказать от своего заблуждения и признать истину; голова его уплывает в ясную ночь, как светящийся шар. А на ступенях террасы продолжается беседа, и текут дымы самосада, то жгуче-едкие, то медовые.

(Это ночь перед похоронами Кушли, Кушля еще не погребен, лежит в сарае, принадлежащем сельпо.)

Зовут ужинать: уборщица наварила картошки, нажарила сала... Потом приезжие (их порядочно) укладываются спать в комнате верхнего этажа. На полу постлано сено, на сене — рядна и подушки. По-

душка в синей ситцевой наволочке пахнет кислым молоком... Начальственность, повелительность сходит с Дробышева, когда он разувается, сидя на полу. Тогда можно вообразить его на войне, в лагере военнопленных (он побывал в германском плену), в любом состоянии, а не только ответственным работником, поучающим, как строить газету и что думать по тому и по другому поводу.

Разуваясь, он спрашивает председателя укома об уездных делах, и тот отвечает, тоже сидя на полу и разматывая свои портянки. Разговор все отрывочней: устали. Засыпают. На темных подушках белеют лица.

В недрах бывшего помещичьего дома то тут, то там слышатся глухие постукивания, поскрипывания, шаги. Это, должно быть, уборщица моет пол, передвигает столы и скамьи. А это, должно быть, старый учитель бродит как домовый. Непостижимо, думает Севастьянов, что такой человек, явно неудачливый и несчастливый, явно проживший жизнь трудовую и трудную, с враждебностью отталкивает от себя классовую правду, которая все озаряет и объясняет,— легче ему, что ли, доживать свой век в потемках? Придется-таки нам попариться, думает Севастьянов, покуда вложим нашу классовую правду во все головы, седые и молодые...— В распахнутые окна на засыпающих людей заглядывает луна, закатываясь за темную гущу сада.

## 46

В сарае слева были навалены бочки и ящики, а справа из пустоты тянуло холодом — от ледника, широкой ямы, где под слоем соломы хранили лед.

Снаружи пылал полдень, тут были сумерки.

Пахло сырой землей, рогожами.

Севастьянов постоял у края ямы, простился мысленно с Кушлей... С кем он прощался? В загробную жизнь он не верил. Лежавший в ледяной яме не мог его услышать.

Но в памяти Севастьянова Кушля жил, вот он выпустил изо рта ленточку дыма, посмотрел весело и задумчиво, сказал: «Замечательная вещь, дорогой товарищ, не поверишь: ноготки моего фасона!»— с этим живым Кушлей простился Севастьянов.

И вдруг почувствовал, что он не один тут: кто-то вздохнул у него за спиной. Оглянулся,— неплотно притворенная дверь была как огненная щель; в сумраке возле бочек стояла, понурившись, серая фигура: Ксаня. Он к ней шагнул,— подняла руки, закрыла лицо, застонала сквозь стиснутые пальцы длинными глухими стонами...

## 47

После похорон Коля пошел бродить по кладбищу, и Севастьянов, от печали и неприкаянности, бродил за ним.

Они плутали между крестами и холмиками, холмиками и крестами. Надписей на крестах не было. Безымянно, безвестно спали здесь поколения.

В сторону лимана все реже становились кресты и бесформенней холмики, местами земля только чуть-чуть вздувалась там, где когда-то были погребены люди.

Трава в этой части кладбища была некошенная, лютая, грубая как кустарник. Одни растения рассыпали семена, а другие такие же рядом цвели, и множество мелких бабочек, лазоревых и красных, вспархивало с цветов.

Коля обрадованно позвал Севастьянова: он наткнулся на старую каменную плиту. Она лежала криво, уйдя боком в землю; травы пере-

плелись над нею. Коля стал гнуть и ломать траву, расчистил камень и прочел надпись. Они нашли вторую плиту, и третью, и целую колонию осевших в землю, разбитых на куски старинных надгробий.

Нетрудно было угадать, что это могилы помещиков, которым в прежние времена принадлежала Маргаритовка. Севастьянов не слышал, чтобы существовало мужское имя Маргарит; и Коля тоже. Но тут лежали: Маргарит Феодорович и Феодор Маргаритович, и Григорий, Венедикт и Варфоломей Маргаритовичи, и Маргарит Григорьевич. На одной плите были вырезаны звезды, круглолицое солнце и месяц в профиль, и стих:

Здѣсь землей покрыта  
Лицею душею Маргарита.  
Такая ей цѣна  
Отъ общества дана.

Маргарита Варфоломѣева дочь Блазова.  
1758 † 1775

Присели покурить. Коля высказал предположение, что, может быть, Маргарит — греческое имя; может быть, эти помещики были греки по происхождению. Он интересно рассказал о греческих поселениях на Черноморье и о том, как князь Владимир ходил на Корсунь. Потом Коля открыл свою папку и стал рисовать, а Севастьянов прилег в траве. Сквозь зонтики соцветий видно было, как мельтешат, танцуют маленькие яркие бабочки... Севастьянов проснулся, — неподалеку между могилами Маргаритов сладко спал Коля, его разгоревшееся лицо было в бусинках пота, крохотный паучок на паутинке осторожно спускался с цветка ему на бровь. Севастьянов разбудил Колю, они отряхнулись, перешагнули через остатки кладбищенской ограды и пошли купаться. В слободе бесчисленные кушлины родичи справляли поминки...

(Отдельно от всех гуляли старухи, сидя в холодке под вишнями вокруг вбитого в землю стола. Они скинули кофты и сидели в рубашках и юбках, та простоволосая, та в платке, лихо повязанном концами назад; на шее у них, на шнурках и цепочках, болтались крестики. Под сквозной, золотой, лениво шевелящейся тенью сидели старухи, пили и закусывали.)

...Ночью Севастьянов и Коля на рыбацком баркасе плыли в Т. Подувал ветер, белые гребешки бежали по лиману, луна ныряла в быстрых облаках. Скрылся из виду берег, — тогда не думалось: я был там, буду ли еще? Я ходил там, мой голос раздавался там, мой товарищ похоронен там, — вернусь ли туда?.. Не думалось: сколько еще уголков мира покажется мне и скроется навеки?..

Думалось другое. Ты чувствуешь или нет — я к тебе приближаюсь, кончается наша разлука; если поспею к утреннему поезду — столько-то осталось часов до встречи. — Бесшумно проходили босиком рыбаки. Поскрипывала мачта. — Возвращаюсь к тебе и буду возвращаться несчетно раз. Несчетно, как эти бегущие гребни... Опять с волнением и удивлением, будто о чуде и тайне, вспоминал, как долго она для него почти ничего не значила, хоть он и знал ее; словно бы у входа стояла она, и вдруг вошла и все заслонила. Ты счастье без края, думал он; как эти вечные волны, думал он...

...Вот и осень, дождь льет и льет. По черным стеклам окон бегут, блестя, кривые струйки и струится отражение зеленой лампы. Севастьянов задержался в редакции. Старик Залесский рассказывает

о своих путешествиях, достает из портфеля снимки. Пространная жизнь, прожитая в передвижении, есть что поглядеть и послушать. Залесский с его пенсне и пышными усами является Севастьянову в диких степях, на снежных склонах гор, у пенных водопадов. На одном снимке он двадцатипятилетний, на следующем — пятидесятилетний, еще на следующем — совсем юный, это чередуется много раз; словно свойство такое у Залесского — состарившись, вновь молодеть; словно и теперешняя его седина и шумная одышка — явления временные, и в один прекрасный день, скинув груз годов и немощей, он снова будет стоять у водопада, в фейерверочном ореоле брызг, — молодой, подтянутый, стройный, ухарски отставив руку с альпенштоком...

Говорит Залесский много, но делает передышку через три-четыре слова. Его толстовка, похожая на распашонку, расстегнута. Видно облачко волос на груди. Дымчатое облачко на белой нежной коже, напоминание о былом мужестве... Свисает тесемка пенсне; и в пенсне отражается зеленая лампа. Пришла жена Залесского, прозрачно-белолицая, в тонких морщинках, важная; села поодаль. Днем она приносит Залесскому завтрак в корзиночке с круглой крышкой, по вечерам заходит, чтобы отвести Залесского домой, — что-то у него с сердцем, она боится пускать его одного по улице.

— А ее, — говорит Залесский, — я нашел в России. В Обояни. Городишко Обоянь... Курьерский не останавливался, я увидел это слово на станционной вывеске, захотелось взглянуть: что за город с таким привораживающим названием. Не просто захотелось: прямо-таки страшно стало — проеду и вдруг не узнаю никогда, что за Обоянь. Я соскочил. Город был уже позади. Я долго шел пешком. Пришел и нашел ее... Я всегда вверялся моим желаниям. Желать — хорошо. Желание есть жизнь. У вас много желаний?

— Порядочно.

— Чего вы хотите?

— В отношении чего?

— В отношении себя лично.

— В отношении себя лично, — говорит Севастьянов, — очень нужно получить образование.

Он только что поступил на рабфак и учился старательно.

— Надоело ничего не знать.

— Еще.

— Хочу съездить посмотреть Москву. Кавказ хочу посмотреть. Хочу везде побывать, как вы.

— Еще.

— Хочу... Хотел бы написать одну вещь.

— Какую?

— Так, одну вещь.

— Не для газеты?

— Нет. В газету не вмещается.

— Отлично! — уважительно говорит Залесский. — Отлично, что вы уже не вмещаетесь в газету. Большая вещь?

Севастьянов задумывается.

— Не знаю!

Невозможно ответить на этот вопрос, когда первые строчки едва написаны и все только клубится в воображении, как дым.

Залесский говорит о любви.

— Я много любил... — бросает он сквозь одышку, — и меня любили. Я остывал, и ко мне остывали. Меня покидали, — еще как: рвал и метал, стрелялся, и это было. И все было великолепно. Оглядываюсь, — перебираю эти дни, восходы, закаты. Цветут сады; и вообще происходит бог знает что, бог знает что...

«Дни, восходы, закаты»,— повторяет Севастьянов мысленно, и ему представляются — чередой — его восходы и закаты, эти разряженные, праздничные небеса; под розовым высоким рассветом он видит спящую фигурку на железной лестнице, над пустым двором... Жена Залесского улыбается длинными бледными губами, куда-то засмотрелась старуха, прищурясь,— верно, в свои, ей одной видимые, цветущие сады.

— Ничего, кроме благодарности! — говорит Залесский.— За эти взрывы, за то, что пережил их сполна! За то, что ждал на жаре и на морозе, за то, что плакал, за то, что стрелялся, и за то, что промахнулся! Той, которую проклинал самым театральным образом... которую считал преступницей, предательницей... палачом своим считал,— теперь говорю ей: «Ты в поля отошла без возврата, да святится имя Твое!»

Это слишком. Стариковский идеалистический лепет. Залесский забыл, как это происходит.

...Они разошлись на углу. Одной рукой Залесский опирается на палку,— не альпеншток, обыкновенная стариковская палка; в другой руке портфель с фотографиями. Жена держит раскрытый зонтик. «А что он сделал для людей? Что у него в итоге? Собрание собственных фотокарточек? Жена? Кот?» (Дома у них сибирский кот, он им за сына, и за дочку, и за внуков...)

Севастьянов идет под дождем по улице. Еще не очень поздно, свет во многих окнах. Окна подвалов и полуподвалов — у ног Севастьянова. Видно, как люди ужинают, двигают разговаривая губами, смеются, сердятся. Дряхлый старик набивает папиросы при помощи машинки, и с усилием движутся, просыпая табак, его трясущиеся худые руки,— женщина плачет, мужчина ее утешает,— мужчина колет кухонным ножом лучину,— женщина примеряет перед зеркалом платье с одним рукавом,— крошечную девочку укладывают спать, а девочка не хочет, прыгает и веселится в кровати с высокой сеткой. Бесчисленность существований! Сколько всякой всячины на свете!.. Дождь барабанит по кожаному шлему как по крыше. Холодно, и рядом шагает неприязненный, нахохленный, с прилипшим к виску мокрым чубом Спирька Савчук.

— И ничего не знаешь?

— Нет,— отвечает Севастьянов.

Изменился Савчук; меньше чем за год повзрослел — не узнать. Бросил свое бузотерство; образец дисциплины и выдержанности, не хуже Яковенко, с которым он дружит по-прежнему. С комсомольской работы его перевели на партийную, на заводе о нем говорят: вот как у нас растут молодые коммунисты.

И раньше он не был склонен к зубоскальству, у него всегда был возвышенный настрой мыслей, он и бузил-то, собственно, от иступленной требовательности ко всем и ко всему; теперь же вовсе стал мрачен. Маленький рот сжат железно. Круглые глаза светло и неумолимо смотрят из-под чуба. Расскажут смешное, ребята покатаются со смеху,— у Савчука только мускул дрогнет на желтой щеке да веки отяжелеют от презрения к этому бессмысленному веселью. Он носит Зою в крови как малярию; как хинную горечь во рту.

— Так-таки ничего не слышно: где, что?

— Нет.

Не любит Савчук Севастьянова. Терпеть не может,— но даже впотьмах, сквозь дождь, узнал, окликнул, догнал. В его голосе нотка хмуро-торжествующего превосходства. «Ты ее разве так любил как я,— будто хочешь сказать и не говорит Спирька,— ты ее не уберег; я бы уберег!..» В длинный-длинный вечер, косо заштрихованный дождем, слилась в воспоминании та осень. В вереницы луж, покрытых рябью,



у подножья фонарей... Пропал в косых струях Савчук — идет с Севастьяновым, насунав кепчонку на нос, Семка Городницкий. Медлительно бубнит глухим басом, чихает, кашляет. Отроду сутулый и узкоплечий до жалости, — нет-нет, спохватясь, возьмет и выпрямится, и выпятит грудь, чтобы казаться бравым здоровяком, бедный Семка. И через два слова на третье Севастьянов слышит имя Марианны.

— Она получает марксистскую закалку под моим просвещенным руководством. Прочла «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Начали «Капитал». Она читает вслух, а я даю квалифицированные комментарии.

— Опять кашляешь, Семка, простудился?

— Слегка. Пустяки. После санатория все обстоит блистательно. Беда Марианны в том, что ею никто не занимался как следует. Профессорская дочка, с гувернантками росла, откуда быть широте кругозора? Сплошная мещанская кисейность. Илье некогда ее воспитывать...

И вдруг говорит:

— Такой вопрос, Шурка. Если бы мне вздумалось восстановить статус кво...

— Что?

— Если бы мои книги и я перекочевали обратно — что бы ты сказал?

— Ничего, конечно.

— Не очень возражал бы?

— Что мне возражать? Мы так и думали, что ты не уживешься. Чересчур там роскошно, не по тебе.

— Дело не в роскоши. Этот вопрос я проанализировал еще раз — без вульгаризации, абстрагировавшись от личных антипатий, и пришел к выводу, что это, во-первых, не роскошь, а элементарный комфорт, на который имеют право все трудящиеся, а во-вторых, в свете наших колоссальных задач не все ли равно, согласишься, на какой кровати спать и на каком стуле сидеть, не в том суть.

Ни вода, ни холод, никакие стихии не заставят Семку говорить порезвей и округлять фразы менее тщательно, когда он впадает в лекторский тон.

— Илья валялся в тюрьме на голых нарах, а теперь у него пружинный матрац, и ни то ни другое для него не предмет эмоций, он живет другими проблемами. Разумеется, если товарищ разложился и за барахло готов, что называется, продать душу дьяволу, — но в данном случае это не имеет места. Если я восстановлю статус кво, это произойдет по другим принципиальным причинам. Должен тебе сказать — Илья, при всем своем уме, недооценивает пионерское движение.

— Из-за этого уйдешь? Стоит ли? Ты уйдешь, а он вдруг передумает и доценит.

— Не будем шутить. Я несколько устал от шуток на эту тему. Создается впечатление, что Илья Городницкий в нашем возрасте уже имел выдающиеся заслуги, а я учу детей бить в барабан и петь «Картошку». Невероятно, но факт, — он недооценивает и значение антирелигиозной пропаганды.

— Да что ты говоришь, — сочувственно замечает Севастьянов. Дело ясное — Илья, легкий человек, любящий улыбку, разок-другой неосторожно пошутил над Семкиными занятиями, и Семка полез в бутылку, ему невыносимы эти шуточки в присутствии Марианны, он желает быть в ее глазах деятелем, несущим груз ответственной забот.

— Это, наверно, мнительность твоя. С чего бы ему плохо относиться к антирелигиозной пропаганде? Но раз контакт не получился — смывайся, и все.

— Смоюсь, если станет невтерпех,— глухо отвечает Семка, и они трясут друг другу озябшие руки.

— Пока.

— Пока.

«Скрутило Семку, он и делает из мухи слона, — думает Севастьянов, шагая дальше по лужам, — Илье надо бы отнестись более тактично и не шутить над ним, когда такое дело».

Севастьянов дома. Снимает и развешивает мокрую амуницию. На столе тетрадки. Севастьянов открывает тетрадь в клеточку, садится решать уравнения. Совсем с азав начал, уравнения с одним неизвестным для него открытие.

Решил, а ложиться не хочется. Он вообще мало стал спать.

Сперва потому не спал, что подкатывало к горлу, не продохнуть было от ерунды этой, которую она натворила. Лежал и разговаривал с ней: «Несчастливая моя дура. Набитая моя дура. Что это ты сделала, зачем ты так сделала!»

Тогда комнатунка еще полна была ею, ее движением, мельканьем ее рук. Сейчас выветрилось. Комната как комната. Ничего никогда в ней не происходило особенного. Жили-были вдвоем с Семкой, теперь Севастьянов живет один, может быть — опять будет жить с Семкой. Не спит он оттого, что пытается записать на бумагу лица и картины, которые привязались и не отвязываются.

Люди, — много, разные. Говорят всякий свое.

Звенят трамваи. Кричит паровоз. Хлопают паруса и флаги.

Люди и вещи кружат вокруг солнца и требуют, чтобы о них рассказали.

Он пишет медленно, нащупывая связи, фразы, имена.

Расставляя все по местам и переставляя. Каждый раз оказывается — не так.

Пробует описать женщину, как стоит она против убийц и дети цепляются за ее подол.

Еще недавно сочинялось так лихо, на ходу.

Он не верит Залесскому, что тот стрелялся. Если и стрелялся, то несерьезно: недаром промахнулся. Севастьянов ни разу не хотел умереть; как ни подступало к горлу, — умереть он не хотел. Даже когда думал: «Лучше смерть!» — он лгал самому себе, он хотел жить.

Тогда, на паруснике, они с Колей опоздали к утреннему поезду, только вечером уехали из Т. Севастьянов вернулся домой ранним утром. Первым трамваем ехал с вокзала.

Зои не было. Кровать была застелена по-дневному.

На столе, белея, лежало письмо.

Он разорвал конверт, прочел. Подумал: что за номера.

Подоконник был пуст. Она свои вещички держала на подоконнике: зеркало, гребенку, одеколон, коробочку со всякой дребеденью; все исчезло. В жестянке от какао стояли засохшие розы, свесив некрасивые сморщенные головки; Севастьянов не сразу догадался, что это те самые розы. Платьев не было на стене, одна деревянная распялка для платья.

Уехала. Куда?.. Разъяснится, приказал он себе подумать, шутит. Понадобилось ей куда-то съездить, приказал он себе подумать, вернется.

Не все она взяла: вот же ее серый платок. Старые туфли брошены возле кровати. Ворох чулок на стуле.

Но кроме старых туфель, старого платка и нештопаных чулок он ничего не обнаружил.

Письмо...

Уже он знал эти строчки наизусть, уже правда пронзила его своим холодом и уродством, а он продолжал изучать письмо, цепляясь за слова, которые укрепили бы его в вере и опровергли правду.

«Я тебя очень люблю». И куда же тебя понесло, если ты меня любишь?

«Не ищи меня», — это из фильма, там она уходила от него и так же писала: «Не ищи меня».

«Умоляю, не ищи». Умоляю подчеркнуто.

В кухне уже возились. Шумела вода, пущенная из крана. Примус шумел.

Солнце вошло в комнату и светило на пустую кровать, прибранную по-дневному. Он вспомнил, что надо идти в редакцию писать полосу, к вечеру полоса должна быть у Акопяна.

Сумрачный сарай с огненной щелью увиделся ему, ледник, укрытый соломой, щетинистая морда убийцы. «У нас сражение, мы хороним товарищей, а она!» Он больше не желал отворачиваться от правды, дело яснее ясного, недаром эти ничтожные, трусливые слова — «умоляю, не ищи». В кафе с кем-нибудь познакомилась или решила выйти за того фруктовщика — мерзость — с нее станется, с нее все станется, он ехал хоронить товарища, а она позволяла целовать себя Игумнову, которого видела первый раз! Искать?! Будь покойна. Если ты из-за угла... Если ты ничего, ровным счетом ничего не поняла — что у нас с тобой было и что ты разрушаешь!..

Он взял с гвоздя полотенце и вышел в кухню.

— Здравствуйте! — грозно сказал он ведьмам.

— Здравствуйте, — пискнули они испуганно.

И не проронили слова, пока он умывался; стояли смирно у своих примусов, и спины у них были удрученные..

Два инвалида в белых курточках смотрели со своего порога, как Севастьянов спускается по железной лестнице. Третий выбежал из кладовой, что-то сказал тем двум и убежал обратно, озираясь на Севастьянова.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с грустно-недоуменными складками над поднятыми толстыми бровями, решительно захромал Севастьянову навстречу.

— С приездом, товарищ Севастьянов. Очень спешите?

— Есть дело?

— Да. Есть дело. К сожалению. К очень, очень большому нашему сожалению. Будьте любезны зайти к нам. Пройдемте в кладовую, там никто не помешает.

Он был солидно деловит и в то же время всячески старался выразить сочувствие, даже придержал Севастьянова под руку, когда тот переступил порог кучерявинской пещеры.

— Сюда попросу.

Из темной пещеры — сеней — вошли в комнату с белой печкой, с канцелярским столом и парой стульев. Счеты, бумаги, наколотые на железный прут, на плите кастрюля, на табуретке ведро воды и кружка, — не то кухня, не то контора.

— Присядьте, будьте любезны.

Главный инвалид истекал сочувствием, он уже обеими руками держал Севастьянова, пока тот опускался на стул.

— Я слушаю, — сказал Севастьянов.

— Товарищ Севастьянов, мы бы вас не беспокоили, мы понимаем, что посторонние люди меньше всего должны путаться под ногами. Вы поверите без лишних слов, скажу одно: мы вам желаем от души не чересчур расстраиваться. Может быть, вы знаете, и совсем не стоит расстраиваться. Даже, может быть, впоследствии скажете спасибо, что это случилось, я бы сказал, своевременно. Пока у вас не зашло в смысле семьи чересчур далеко. Насколько это лучше во всех отношениях. Во всех отношениях.

Севастьянов ждал, глядя в кофейно-коричневые грустные глаза под толстыми поднятыми бровями. Главный инвалид к нему больше не прикасался, но у Севастьянова точное было ощущение, будто его ведут за руку, ведут, ласково уговаривая, к новой неизвестной беде.

— Да, товарищ Севастьянов. Мы вас очень уважаем, вас и товарища Городницкого. Если бы мы вас не уважали, мы с вами не имели бы этого разговора, а дело сразу перекинулось бы куда надо и шло себе как полагается. Но, уважая вас, мы, члены правления, поговорили, — вам же это будет такая громадная неприятность...

Кто-то приоткрыл дверь, главный инвалид махнул, — дверь захлопнулась.

— Наше предприятие у вас как на ладони. Вы знаете или нет, — с этого маленького «Ренеме» кормится рота людей, и при каждом семья. И если бы мы настоящую имели клиентуру, как «Эльбрус» или «Чашка кофе», а то из-за нашего невыигрышного местоположения... Конечно, можно сказать: а! бог с ними, с деньгами, что такое деньги, чтобы из-за них ущемлять молодую судьбу! Но мы люди подотчетные, мы не в состоянии...

Инвалид отвел глаза, пожимал плечами, тон у него был виноватый:

— Сумма не такая большая, хотя и не такая маленькая. Последнее время у нас дела шли получше...

— Сколько? — спросил Севастьянов. И, услышав цифру: — Господи! — сказал невольно от горького недоумения. — Из-за этого?..

— Нет, не из-за этого, конечно, — сказал инвалид, — это прихвачено попутно, между прочим, как карманная мелочь. Это, вы понимаете, не та сумма, из-за которой...

Севастьянов перебил:

— Если я уплачу, вы не станете возбуждать дело, так я понял?

— Против нее — безусловно. Зачем нам тогда против нее возбуждать? И я вам советую, как искренний друг...

— Рассрочку дадите? — спросил Севастьянов, обдумывая. Он был много должен в кассу взаимопомощи.

— Какой может быть разговор! Что, мы вас не знаем?

— На два месяца.

— На полгода! — преданно воскликнул инвалид. — На год!

— На два месяца, — повторил Севастьянов.

Теперь он мог идти в редакцию. Полосу о Маргаритовке необходимо было сдать к вечеру. «Коля Игумнов уже на месте, и Акопян пришел и смотрит на часы, они меня ждут, надо отобрать рисунки, а то не поспеют клише». И надо было убежать поскорей от этого тягостного сочувствия.

Но он не убежал, сидел в странной комнате, которая и кухня и контора, рассматривал ее и задавал себе странные вопросы. То, что он здесь услышал, и то, что кого-то он здесь не видел, кто должен бы тут находиться, — влекло за собой эти вопросы, притягивало воспоминания и сопоставления, и в круг сопоставлений включалась комната с белой печкой, бухгалтерскими счетами и ведерком из оцинкованного железа. Однажды было: он днем забежал домой; вошел во двор, а Зоя выходила из пещеры Кучерявого. До мельчайших подробностей он вспомнил, как, положив руку на ошейник собаки, она переступила низкий порог, зажмурилась от солнца и улыбнулась ему, идущему по двору. Теперь он воображал, как она входит в эту комнату. Положив руку на ошейник собаки, входит она и улыбается находящемуся в комнате. Севастьянов все видел до того наглядно, что в комнате стало тесно: Зоя, улыбаясь, стояла между столом и дверью, и рядом с Зоей — длинное, сильное, холеное, весело дышащее животное.

— Где ваш кладовщик, — спросил Севастьянов у инвалида, — и где его собака? — Он не думал, в каких выражениях спросить; спросил, как спросилось.

Есть у человека спасительные навыки, множество превосходных механических навыков, они, оказалось, здорово помогают в таких случаях. С тебя кожу сдирают с кровью, а ты достаешь папиросу, постукиваешь мундштуком о коробку, дуешь в мундштук, чиркаешь спичкой, — поступки совершенно механические и пустяковые, а все же поступки, действия, деятельность, и от нее вроде легче... Пока инвалид шептал, подняв добрые брови, Севастьянов предложил ему папиросу и сам закурил. Прodelывая это, принимал последние удары, которые ей заблагорассудилось обрушить на него.

— Вы понимаете, что Кучерявого мы ищем через утро.

— Но она не пострадает.

— Нет, нет. Она бы не особенно пострадала, товарищ Севастьянов, и в том случае, если бы мы на нее заявили: за ней небольшая сумма, и очень легко отвести обвинение. Она бы пострадала морально, в глазах своих товарищей. Но зачем это нужно, говорили мы, члены правления. Зачем наказывать молоденькую девочку за первую глупейшую ошибку, говорили мы...

Севастьянов ушел. Он пришел в редакцию. Как он и полагал, Акопян и Игумнов ждали и уже беспокоились, что его нет. Оба они сидели у Акопяна за столом, заброшанным Колиными рисунками, и пристально смотрели на приближающегося Севастьянова.

— Что с тобой? — спросил Акопян. — Нездоров?

— Нет, почему, здоров, — ответил Севастьянов.

— На тебе лица нет. Замотался, что ли?

— Замотался, наверно, — сказал Севастьянов.

Под предлогом, что все ему мешает, он затворился в архиве и провел этот горячий день в одиночестве среди пожелтевших газетных сшивов, пахнущих пылью. Писал, бросал писать, ложился лицом на стол, шепча: «Что ты делаешь!» Принуждал себя снова браться за работу и снова кусал себе руки от душевной боли, омерзенья, бессилия, безобразной бессмыслицы свершившегося... Что ты делаешь, что ты делаешь!

Позднее, в зрелом возрасте, он никогда не проявлял своих чувств таким детским и отчаянным образом. Но тогда ему было всего девятнадцать лет, он еще пел песни собственного сочинения!

## 50

Он не собственник. Разлюби она, — тут уж ничего не поделаешь.

Но не разлюбила же! «Я тебя люблю», написано ее рукой, — это правда! Что правда, то правда! Ее любовь была откровенная, ликующая. Так лгать нельзя.

Кто умеет так лгать, тот не человек.

Если такой свет удивительный вспыхнул от того, что двое вверились друг другу и соединили свои существования, — как можно было погасить свет, взять и все уничтожить в минуту!

Как она его поцеловала на вокзале...

Или можно лгать и так?

## 51

Во сне забывал; открывались глаза, — наизусть знакомое расположение дыр в штукатурке, скрип кровати, грохот чьих-то шагов по железной лестнице равнодушно напоминали, что произошло. Каждое утро напоминали заново. Каждый раз — как по живому мясу...

Хуже всего были утренние открытия заново.

Он схватывался и мчался, будто на поезд опаздывал. Мчался в редакцию.

«Дорогая и уважаемая редакция», как писали рабселькоры в письмах,— дорогая и уважаемая редакция, твердыня, крепость, самые стены твои помогали.

Гул печатной машины был слышен издали. Важная уверенность была в этих однообразно-плавных раскатах: «Что касается нас, мы заняты своим делом. От того, что тебе изменили, здесь не изменилось ровно ничего!»

Осенними мглистыми утрами в окнах типографии горели висячие лампы. Наборщики в черных халатах, с верстатками в руках, стояли у реалов.

В конторе и в редакции лампы были настольные, зеленые.

У запертой конторы дожидались граждане, принесшие объявления — о продаже роялей, о сбежавших собаках и утерянных документах, документы терялись в таком количестве, что ими должны бы быть усеяны все улицы.

Акопян сидел за своим столом, в правой руке перо, в левой папироса.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

На столах был разложен «Серп и молот». Он успевал устареть за ночь — номер, датированный сегодняшним числом, выходил накануне, потому так странно кричали по вечерам газетчики: «Серп и молот» на завтра», — сегодняшний номер был в сущности вчерашним, и вчера же сотрудники редакции его прочитывали. Тем не менее, приходя утром, они разворачивали газету, чтобы еще раз взглянуть, как она выглядит, и еще раз бросить ревнивый взор на собственный опубликованный материал, и комнаты наполняло прохладное шуршанье, успокоительное, как бром.

Являлся Коля Игумнов, томный, с мокрыми после умыванья волосами.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

С Колей Игумновым в свободные часы играли в шахматы. Коля на свистывал арии из оперетт. Арии легкомысленные, а глаза у Коли были строго опущены на доску, играл он сосредоточенно и хорошо.

Летом, после возвращения из Маргаритовки, он оглушил Севастьянова вопросом:

— Как поживает твоя мадонна?

Севастьянов ответил:

— У меня нет мадонны.

Больше об этом не говорили.

Славный был парень, способный карикатурист, много читал, знал историю, и не Дон-Жуан вовсе, как представлялся, просто нравилось ему делать вид, будто он не может пропустить ни одной юбки, почему нравилось — неизвестно.

...Часть своих комнат «Серп и молот» уступил редакции новой газеты «Советский хлеботор». — Кушля там собирался работать разъездным корреспондентом. — В первых номерах этой газеты был освещен процесс об убийстве Кушли. Общественным обвинителем на суде выступал Дробышев. Он доказал, что убийство классовое, политическое, и потребовал для убийцы высшей меры наказания.

В новой редакции, в проходной комнате, сидела Ксаня, регистрировала письма. Дробышев ее устроил, а его жена (маленькая кругленькая женщина в мужском пиджаке, с круглым гребешком в коротких волосах, Дробышев обращался к ней по фамилии: Иванова) приаккуратила Ксаню по своему образу и подобию. На Ксане было платье свекольного цвета, черный пиджак, волосы коротко подстрижены и заколоты круглым гребешком; только обута была, помнится, все в те же заплатанные сапо-

ги. Сидела Ксаня, медленно водила пером и провожала проходящих мимо ее стола медленным диковатым взглядом исподлобья.

— Добрый день, Ксаня.

— Добрый день...

52

Вадим Железный спросил напрямик:

— Я узнал — от тебя ушла женщина? Жестокий нокаут? Говорят, она была красива?

— Да.

Нелепо: ведь не он ушел — от него ушли; откуда же был у Севастьянова стыд перед людьми, словно это он надругался над чем-то, какой-то погасил драгоценный свет?

— Она была умна?

— Почему «была», — сказал Севастьянов, — она не умерла, она есть.

— Но писал бы ты о ней в прошедшем времени, — возразил Железный, — значит — «была». Ты бродишь среди развалин?.. Тот, кто взялся за перо, обязан ограждать себя от страстей, пережигающих разум. Мозг пишущего должен быть подобен отрегулированной и смазанной машине, всегда готовой принять сырье и переработать его быстро и без брака. Бодрость, ясность, собранность — наши профессиональные качества. Всеми, что на них посягает, мы говорим: спишь. Разве не так?

Сам себе ответил:

— Да, это так! Собранность! Свойство сильных! Плодотворнейшее самочувствие из всех возможных!.. Никакой разболтанности. Боксеры тренируются, чтобы сохранить и умножить свои профессиональные качества. Обуздание желаний для них закон. Я разработаю режим для пишущих. По жанрам: режим публициста; режим поэта; режим сочинителя текстов для массовых действий.

Несомненно, это пришло ему в голову только что. И, несомненно, он тут же уверовал, что это одна из первоочередных его задач, осуществления которой ждут все публицисты, поэты и сочинители текстов для массовых действий. Весь в скрипучей коже, он был воплощением активности и целеустремленности, это внушало почтение. Все же Севастьянов не мог не запротестовать против такой безапелляционной постановки вопроса.

— Беречься, значит, от беспокойств, — спросил он, — не волноваться? Ходить с блоком и протоколировать?

— Сколько нам с тобой отмерено бытия? — спросил Железный. Выражение его раздобревшего холеного лица стало элегическим. — Ты об этом думал? Голубоокая заря детства не в счет. Старость, — мы не знаем, какая она будет. Много ли остается для свершения? Не удастся сделать десятой доли того, что задумано.

— Все равно не знаю, кто так может, — сказал Севастьянов, — быть машиной для переработки. Попробуй, желаю успеха, раз тебе этого хочется.

— Претворять жизнь в слово, — сказал Железный, — важнее и увлекательнее всего бы ни было. Что любовь по сравнению с словом, пускающим побег в вечность? Признай: разве слово, напечатанное черной краской на белой бумаге, не реальнее того, что с тобой было? Оно имеет смысл. К нему можно вернуться, в нем нет эфемерности. Оно — экстракт мироздания. Через слово мы, быстротечные, подаем свой голос в громады пространства и времени.

В ту осень Севастьянов много стал читать, читал за обедом и в трамвае, записался в библиотеку и чуть не каждый день менял книги.

Он усердно заполнял делами свой день, чтоб меньше чувствовать пустоту, меньше думать о том, что так быстротечно пронеслось, — об эфемерности, да, страшной эфемерности того, что с ним было. Скоро

пристрастился к чтению, с удивлением и неодобрением вспоминал, что еще недавно мог по несколько дней не брать книгу в руки.

Районная библиотека помещалась в старом барском особняке. Два каменных льва с источенными, изуродованными старостью мордами скалили зубы по сторонам крыльца. Прохожие совали им в пасти окурки. Особняк отапливался плохо, книги сырели, библиотекарша стояла за стойкой в пальто с поднятым меховым воротником. Если она уходила в читальню затопить буржуйку, у стойки скапливалась очередь. Но по большей части топили буржуйку члены кружка друзей книги.

Библиотекарша была грустная женщина с сильной проседью в волосах, небрежно причесанных на прямой пробор. На ее худых руках остро выделялись суставы. В ногти въелась угольная пыль.

Любимым своим читателям — любила она тех, кто часто менял книги, — она позволяла рыться на полках.

Ломаными линиями уходили в глубь зала шеренги книг, одни книги стояли прямо и тесно как солдаты, другие привались друг к другу. Была сладость в том, чтобы, выбрав наугад, вынуть томик, полистать, пробежать начало, страничку из середины... Покажется интересно — сказать библиотечарше: «запишите мне это»; не покажется — поставить на место и открыть другой томик.

Было из чего выбирать, не то что в детском шкафчике Зойки маленькой. Глаза разбегались, хотелось взять то и это, целые вороха забрать с собой и прочесть не откладывая.

Тонкие книжки он, увлекшись, прочитывал тут же у полок.

К чистым щеголеватым томам приближался недоверчиво, с предубеждением: не манило то, что годами и десятилетиями никому не оказалось нужным. Хватался за истрепанные книжки, читанные-перечитанные, распадающиеся на листки, с оборванными корешками. Нередко наружность обманывала.

Вообще, читатель он был неквалифицированный, детишки из кружка друзей книги сто очков ему давали вперед. Эти мальчики и девочки, похоже, так и жили в библиотеке. Они были серьезны, полны достоинства, разговаривали вполголоса. В читальне, в уголку, они переплетали книги, пришедшие в негодность; там стояли их переплетные станки и пахло столярным клеем, который варили на буржуйке. Когда нечем было топить, они приносили топливо из дому — кто полено, кто горсть угля в газетном кулке.

Однажды Севастьянов взял с полки толстую книгу, заглянул в середину — описание церковной службы; заглянул в конец — тоже божественное, религиозные поучения. Не интересуясь, кто автор, он пренебрежительно задвинул книгу обратно. Рядом спускалась по стремянке девочка-подросток из числа друзей книги, Севастьянов постоянно видел ее тут, — некрасивая, очень бедно одетая, косицы закручены на ушах, и скручивались жгутиками концы пионерского галстука. Бесшумно спускалась она, и вдруг ее ноги в детских заштопанных чулках и худых ботинках остановились у севастьяновского плеча, и, рассеянно глянув вверх, он заметил, что она смотрит на него, вернее на книгу, которую он ставит на место. Она робко сказала:

— Это, знаете, — это интересная книга.

«Рассказывай», — подумал он. Но так как она была такая некрасивенькая, с испуганными глазами, он благодарно кивнул ей и сказал приветливо:

— Я уже читал.

В дальнейшем библиотекарша руководила его чтением. Грустно-небрежно, будто между прочим, подсказывала названия, а то просто доставала книгу и записывала в его карточку, говоря: «Это надо прочесть».



Скольким людям обязан он, сколько рук потрудились, чтобы сделать его человеком.

Книга, которой он тогда пренебрег, была «Воскресение».

Но хоть и неквалифицированно, а читал он запоем, прозу и стихи, — любить стихи научился уже давно от Семки и Зойки маленькой. Библиотекаря прихочивала его и к пьесам, он читал Мольера, Островского, Ибсена.

Чем больше читал, тем больше тянуло к чтению. Радовался, что книг так много, — на всю жизнь хватит, и еще с избытком!

Смешно сказать: ему нравились и оглавления еще не читанных книг, и рекламные списки, которые печатались на последней странице, там, где повествование окончено и за ним как бы закрылись ворота. Перечни книг зажигали фантазию, он пытался этими ключами открыть запертые ларцы.

«Того же автора, — читал он с удовольствием. — «Вольтерьянец». «Сергей Горбатов». «Старый дом».

Наименования, сочетаясь, дополняя друг друга, рисовали узоры различных историй. Представлялись лица и события, — потом оказывалось: не те; но было заманчиво — повообразить самому, прежде чем тебе все расскажут. Что происходило в старом доме (он, конечно, был точно такой как этот, со львами), и что происходило в доме с мезонином, и что в доме Телье? Кто такие люди, именами которых названы книги?.. Воображение строило и заселяло дома; заселяло и наполняло действием тома, к которым еще и не прикасался. Вскользь думалось — когда-нибудь таким же столбиком будут печататься названия моих книг, интересно, какие это будут названия...

Он знал, что это ребяческое развлечение; но любил поиграть мимоходом в свою игру, становясь лицом к лицу с библиотечными полками.

Любил забраться на самый верх стремянки, под закопченный потолок, и побыть там, перебирая желтые и серые, в пылище, книги. Под потолком было тепло. Желтые и серые книги пахли особенным, крепким запахом. Самые старые были в бурых пятнах, как от йода. Было спокойно, — то, что угнетало и мучило, не поднималось сюда наверх; оставалось у подножья стремянки...

## 53

Иногда он заходил в детдом, находившийся неподалеку от редакции.

Запах борща и карболки. Двор как плац, мощенный булыжником, в глубине двора — два столба с качелями. Стекла в окнах разбитые и склеенные бумажными полосками.

Летом Севастьянов туда наведывался и написал в «Серп и молот», как там грязно и скверно, воспитатели неопытные, дети разбегаются. Дети (все мальчишки) были маленькие: семи, восьми лет; но уже прожили бурную жизнь, полную бедствий всякого рода. В бега пускались отважно, готовые к любым приключениям. Одни, нагулявшись, возвращались сами, других водворяла обратно милиция, третьи исчезали навсегда. Те, кто не бегал, все лето с утра до вечера качали друг друга на качелях. С их маленьких лиц, нездоровых, нечистых, в болячках, смотрели взрослые настороженные глаза. Стригли в детдоме редко, на головах у ребят было что-то вроде соломенной крыши.

Севастьянов написал о них и забыл, — тут как раз свалились на него собственные беды. Осенью вспомнил, пошел посмотреть: какое же действие оказала его заметка. Никакого особенного действия она не оказала. Сменили заведующую и одного из воспитателей, а прочее осталось по-прежнему — темные спальни без лампочек, ломаные койки, рваное белье, дурной запах, болячки. Чтобы заставить детей сидеть дома, у них отбирали верхнюю одежду и обувь; и они бегали под дождем босые, в

рубашонках, в том числе больные, удравшие из изолятора. За стол садились — как крепость брали: бросались на лавки с разбойным криком, лезли друг через дружку. Во время еды затевали драки. Даже по балобановским, не очень-то строгим правилам такого не допускалось — живо тетя Маня надавала бы ложкой по лбу, подерись они с Нелькой за столом. Тетя Маня уважала трапезу, уважала трудовой кусок и их с Нелькой учила уважать.

Кормили в детдоме дрянно, грязно. И не то чтобы по чьей-то злой воле так делалось. Бедность, а к бедности — неумение, нерадивость, непривычка к хорошей жизни как у детдомовцев, так и у воспитателей. Трудно ли как следует вымыть посуду? Трудно ли положить заплату на простыню? Трудно ли большого нет; да ведь и так съест; и без заплаты переспит; и воспитатели спали не лучше и ели ту же кашу из таких же плохо помытых мисок. А сам Севастьянов — давно ли стал обращать внимание на эти вещи? Его-то когда-нибудь нежили, что ли?

Не нежили, и он от этого не страдал — рос себе и рос, не помышляя, что мог бы расти в более благоприятных условиях, и извлекая из выпавшей на его долю обстановки множество мальчишеских радостей. Правда, у него всегда было тяготение к пристойности: не любил хулиганов, пьяниц, бессмысленного гама, циничной ругани; но прихотей не знал никаких. Почему, став взрослым, он так близко принял к сердцу неустроенность этих малопривлекательных мальчишек? Прямо-таки совестно было глядеть на детдомовские беспорядки, словно сам был в них виноват: «Куда это годится. Не должно быть такого детства. Не должен человек созревать среди безобразия... в запахе карболки». Ревниво думал об обеспеченном, богатом светлыми впечатлениями детстве людей из чуждых классов, — сколько книг написано об этом обласканном детстве: «Они на все готовое приходили». (Еще не знал, что у каждого поколения, как бы заботливо ни были приготовлены ему пути, — у каждого поколения свои трудности; каждое поколение берет новую высоту, прежде чем выйти на поле большой деятельности.)

Он стал хлопотать, чтобы какая-нибудь солидная организация взяла шефство над захудалым детдомом. Пока ничего не получалось из его хлопот, он шефствовал единолично. Пытался воспитывать воспитателей, — удивительно, что они его не выгнали и не пожаловались на него; но они относились к нему добродушно, хотя и не слушались. Узнал случайно, что после ликвидации Последгола остались кровати и другое госпитальное барахло, лежит на складе; заручился запиской Дробышева и добыл ордер на шестьдесят кроватей и шестьдесят тумбочек... Шефство над детдомом взял «Серп и молот». Типография отработала воскресник и придела мальчишек, а на седьмое ноября устроили им хорошее угощение. Бутерброды с колбасой и сыром лежали горами, и все брали сколько хотели.

Эти мальчишки первый раз в жизни ели сколько хотели, а не по порциям. Только конфеты были розданы поровну, чтобы не вышло несправедливости.

Они, мальчишки, тоже использовали для своего увеселения все, что им перепало в их сиротском житье-бытье; и вот какую забаву они придумали. Когда заходил Севастьянов, они налетали на него со всех сторон и турманами кидались ему в ноги. На оба его ботинка усаживалось по мальчишке. Они обхватывали его колени, и он шагал по коридору, высоко поднимая ноги, а мальчишки визжали от восторга; а остальные бесновались кругом, крича: «И я! И я!» Неизвестно, откуда они взяли, что с ним можно так обходиться; разговаривал он с ними довольно сурово... Он шагал и чувствовал себя очень большим, очень сильным, могущим кого-нибудь ушибить и потому обязанным быть внимательным и осторожным с этими маленькими, толпящимися у его ног.

Впоследствии в таком детдоме росли герои одной его книги. К ним приходил молодой великан и играл с ними. Великан был светловолосый, неудачливый в любви, ботинки носил сорок четвертого размера; зная, что сейчас на них усядутся, он у входа старательно вытирал их о тряпку.

Случалась с ним одна вещь. Вдруг, среди людей и шума, накатывала тишина, глубокая, до звона в ушах; и в тишине он оставался один со своим недоумением, своим вопросом: «Послушай! Зачем?..» — и такая тоска иной раз, будто умер кто-то дорогой, без кого жизнь не в жизнь... Решительно пресекая эти штуки, вырывался из тишины: хватит, сколько можно думать о том, чего не переделать.

## 54

В редакцию входит горбун. Идет к севастьяновскому столу бойко, проворно выбрасывая короткие ноги, но при этом пристально и испытующе смотрит Севастьянову в глаза — трусит и из амбиции не хочет показать, что трусит.

«Что ей может быть еще нужно?» — думает Севастьянов.

С первого взгляда он знает, что горбун пришел не сам по себе — она послала, ее существование опять становится непреложным и грозным фактом, снова она, от которой себя отбивал, отучал, которую запрещал себе все эти месяцы, — снова она приближается, она приближается с каждым шагом горбуна, — что она на этот раз замыслила?

Что бы ни замыслила, Севастьянов испытывает протест при виде приплюснутой к полу фигуры, шагающей к нему. Он предпочитает, чтобы его оставили жить как он живет. Кончена история, и ладно, и не надо его больше трогать.

— Но-но! — развязно говорит горбун скрипучим голосом, выдвинув, как щит, длинную ладонь, — выяснять, кто перед кем виноват, после будем, сейчас некогда. (Севастьянов ничего не собирается выяснять.) Сейчас нужно в срочном порядке выручать сестренку, попала сестренка в неважный переплет.

Он торопится со своими сенсациями, желая обеспечить себе неприкосновенность. Но, уязвленный молчанием Севастьянова, не может удержаться, чтобы не лягнуть мимоходом:

— Не нравится, что я зашел? Милльон напоминаний, милльон терзаний? Потерпи, ничего; я по делу. Не будь дела, не стал бы беспокоить; и не вспомнил бы, между нами говоря, что ты на свете есть. Так у вас скоропалительно все началось и кончилось, что я с тобой даже не успел более-менее познакомиться.

Придвигает стул и усаживается по ту сторону стола.

— Даже, как известно, не успели чокнуться за ваше семейное счастье... Ладно, это ерунда, давай по существу. Я говорил, чтоб она тебе записку написала, но она велела передать на словах.

Странно в чужом, недобром лице узнавать черты Зои. Карие глаза под темными тонкими бровями, это у них общее. Профиль схожий. Маленькая, с гречишное семечко родинка на скуле. Брат и сестра. «Я жду брата», — сказала она, стоя на площадке, девочка в пальтишке с короткими рукавами, а по заплеванной лестнице шел к ней горбун и вел Щипакина.

— Она в предварилке.

Вот что. А почему бы и нет? Почему не быть и предварилке, и чему угодно? С ней все может быть.

— Прыгала-прыгала и допрыгалась до предварилки.

И непонятно: досадует горбун или злорадствует.

— Ах, теперь в молчанку играть?! Из семьи сманил, а придержать за хвост, чтоб не пугалась с кем не надо, — не хватило силенки? Обязан

был держать! А не умеешь, — какого черта сманивал?! Семья бы ее определила, — ты зачем вязался?.. Светлую жизнь обещал? Ты знаешь, как устроить, что светлей не надо! Сманил, так изволь присмотреть, а то вон какая петрушка... Тип-то этот, оказывается, на заметке, в особых каких-то списках. По белогвардейской лавочке: в осваге, что ли, служил. Идиот, ему в кладовщиках сидеть и сидеть с липовыми документами тише таракана, не рыпаться, а он такой дым пустил; любви понадобилось! Как пить дать, к стенке станет, болван, а она...

— Она знала?

— О чем? Что белогвардеец? Откуда? Полный он, что ли, псих — довериться девчонке? Он ее подговаривал уехать вместе; какой ему расчет был ее пугать?

«Это так. Она легкая, веселая, она бы шарахнулась и от прошлого его и от будущего».

— Ничего не знала, ясно. И ничего бы ее и краем не зацепило, если б от большого ума не побежала расписываться. В Новороссийск приехали, он первым долгом в загс. Рассчитывал в Одессе венчаться в церкви. Черт его душу знает, что думал: закрепить мечтал?.. Уже фату купил на барахолке.

Он ее затаптыкает в грязь каждым своим словом!

— ...Она его не любила, так только... Он-то врзался до потери сознания.

— ...Вместо венца в кутузку. В арестантском вагоне две недели ехала со всякой шпаной. Рассчитывала, привезут — выпустят, а его здесь как раз опознали и засадили накрепко, и ее держат. Получаю письмо, зовет на свиданье, — слезай, приехали...

— ...Он ее чем поманил — котиковым манто.

— ...Влипла. Надо выручать. Ты если постарайся — тебе пустяк, она говорит, — завтра же она может быть свободна. Ей предъявить ничего нельзя, в чем дело? Юрист ручается, ее раньше, позже — обязательно выпустят; так чего ради ей вольтануться за решеткой?..

Горбун навалился на стол локтями и плечами, стол ему до подмышек, голова горбуна лежит на плечах как на тарелке.

— Через Городницкого! — говорит горбун и, совсем осмелев, заговорщицки и повелительно поталкивает Севастьянова в грудь белым костлявым пальцем. — Городницкий, прокурор, если вмешается — ее в два счета... Она говорит — вы корешки с его братом...

Оставшись один, Севастьянов сидит оцепенелый, вялый, водит пером, машинально что-то рисует. Мысли кружат по периферии события, только что произошедшего. Он не мешает им кружить по периферии; предается им без лихорадочности, с прохладцей; прямо сказать — цепляется за эти периферийные мысли.

О горбуне. Такая вот мелкота, нуль, а сколько может пакости натворить в мире. Продать, растлить, погубить. Неуловимо, безнаказанно. И что ты с ним сделаешь, как обезвредишь? Лишился папы — содержания притона для свиданий, лишился доходов от притона, все возненавидел и пошел, огрызаясь, что-то себе налаживать, крутиться по-своему. Как ее обезвредишь, неисчислимую мелкую дрянь? Топчет землю короткими ногами, обмозговывает, хлопчет...

Учил Севастьянова, что сказать Илье Городниக்கு: все слова — одно другого противней: холуйство и злобное лязганье зубами, бесстыдное хныканье и тут же какая-то юридическая юркость, бедовость, тьфу! Доведись на самом деле до разговора — «товарищ Городницкий, — сказал бы Севастьянов, — она не виновата. Ее покалечили, но перед советской властью она не виновата, она не знала, кто он такой, верь мне. Он пообещал ей дорогие игрушки, она побежала за игрушками».

Кучерявый, обреченная, темная судьба. Как он в белой куртке — вы-

литый кладовщик — снимал и навешивал замки... Севастьянов вспоминает его логово; и как он кормил и ласкал свою Диану. Все стало мрачно-значительным после того, что рассказал горбун.

Вот тебе и кладовщик, сырое тесто, матрацные пружины. Враг ходил, прихрамывая, по людному двору. Отвешивал инвалидам повидло для пончиков... Должно быть, и прическу нарочно себе соорудил дурацкую, и косноязычную речь.

Здорово было сыграно. Сиди он в своей щели, может, до него и не добрались бы.

Могучее страха и расчета оказалось тяготение к Зое. Придачей к тряпкам, которые он дарил ей, была его жизнь...

«...А ты о ней все знал, скажи, что нет, — обращается Севастьянов к себе. — Никаких для тебя секретов не было в ее прошлом. Какие, собственно, у тебя к ней могут быть претензии, раз ты с самого начала все знал?» — Надо же так о себе возомнить, ведь он, честное слово, был убежден в свое время, что прошлое прошлым, а отныне и навеки только и будет ей свету в очах, что он, Севастьянов.

А если бы она захотела вернуться. Если бы она захотела по-прежнему... Нельзя! Чтобы после всего она опять вошла в комнатуху за кухней? Как же он будет говорить с ней? Отводя глаза? Никогда больше не возьмет он ее за руку с той радостной верой!

И вдруг стукнуло: ты что? о чем? Она со шпаной за решеткой. Сидишь? Оттягиваешь? Сопротивляешься? Очень сейчас важно, будешь ты отводить глаза или не будешь, проблема, действительно... Она помощи твоей ждет! Вот что произошло, громадное, великое — она вернулась, у же вернулась, сообразил наконец?! Она рядом! Прислала к тебе за помощью! Считает — ты тут горы для нее своротил, придешь, скажешь «сезам, отворись», и она на воле. А ты сидишь домики рисуешь, сводочь.

Ужаснулся: как грубо—без миндальничанья!—наказывает ее жизнь. Как ей плохо. Две недели в арестантском вагоне... Да отнесли ли ей еду какую-нибудь? Есть ли у нее рубашка, платье — сменить? Даже не спросил, эгоист, животное.

Да, и в комнату вернется, безусловно. Куда ей деваться, не к горбуну же. Она ведь такая же беспризорная, как те детдомовские пацаны, а то нет? Войдет похудевшая, измученная, тихая и положит узелок на стул. И опять просияет паршивая комнатуха. А ты разожжешь примус и поставишь чайник. И будешь кормить ее молча, потому что если заговоришь, то можешь заплакать, и она заплачет, получится чувствительная сцена, зачем.

А когда она ляжет отдохнуть, ты укроешь ей ноги и выйдешь на пыпочках, тогда можешь пореветь незаметно где-нибудь в коридоре, раз уж у тебя глаза на мокром месте!

Поздно вечером — нет, это ночь уже, до ночи проканителится, — он стоит посередине мостовой (как стоял когда-то перед другим домом, при других обстоятельствах) и смотрит, закинув голову. За высоким забором крыши. Над крышей два фонаря. Резко в их свете белеют трубы на чужном фоне неба. Она спит под этой крышей. Севастьянов отходит дальше, становятся видны фрамуги верхних окон, ряд освещенных изнутри фрамуг, — там спит она. Ее спящее лицо увидел он, ресницы ее, шелковые губы в морщинках-лучиках. Обижают ее, наверно, все эти бандитки и проститутки, это народ известный.

На улице ни души (что за улица? Какая-нибудь третья Георгиевская, вторая Софиевская, там и люди-то почти не жили, то было царство сенных складов, свалок, дворов, где стояли бочки золотарей). Ни души, кроме Севастьянова. От его шагов звенит земля. (Зима? Снега нет. Но и дождя нет, и земля звенит.)

Щелкает задвижка, в воротах открывается фортка. Невидимый кто-то спрашивает:

— Чего ходишь, эй! Что надо?

— Из «Серпа и молота»! — громко отвечает Севастьянов, спеша к воротам; по всей улице разносится его голос... Он протягивает удостоверение, но фортка захлопывается. Человек в буденовке выходит на улицу, зевая и натягивая тулуп. Буденовкой, манерой говорить, неторопливостью, беспечностью он напоминает Кушлю.

— Из «Серпа и молота»? А чего ночью здесь шатаешься? Ваши документы.

Стоя под фонарем, вертит и рассматривает красивую книжечку красной кожи.

— Севастьянов? Я тебя читал, товарищ. Читал твои статейки. Ничего пишешь. Учили тебя, или сам?

— И учили, и сам.

— Можно даже сказать — здорово пишешь. Правильно берешь под ногу все что следует. Молодец.

Не видно, какого цвета у него глаза. Но так и кажется, что они должны быть ярко-голубыми.

— А чего ты тут?

— Тут человек у меня один.

— Ну-у? Кто ж? Из родни кто?

— Сестра.

— Скажи ты! — ужасно почему-то удивляется человек в буденовке. — Ай-ай-ай. Родная сестра?

— Я думал — может, можно повидаться.

— А как же. Возьмешь разрешение и придешь повидаться, и передачку забросишь, строгости особенной нет. Даже на побывку домой отпускают, кто посмирней и не чуждый социально. Ведь это в основном простой народ. Через свою темноту и бедность совершают разные нарушения, и на ихнее пролетарское происхождение делается справедливая скидка. Справедливая-то она справедливая, но я тебе скажу, знаешь ли, пора бы им возыметь совесть и перестать нарушать. Такое мое мнение. Восьмой уж год идет революции, можно бы осознать, кажется. Можно бы проникнуться, в какую ты существуешь эпоху и куда идут массы, а свой шкурный интерес отложить в сторону. Грабят, понимаешь, убивают, ну что такое... Закури, товарищ.

Он протягивает Севастьянову папиросы. Подносит в больших ладонях зажженную спичку.

Глупость какая — вообразить хоть на минуту, что тебя впустят ночью в такое место по редакционному удостоверению...

— Спасибо. Пока.

— Будь здоров, товарищ.

Трамвай уже не ходит. На Сенной площади Севастьянову удается вскочить в проносившийся что есть духу грузовой вагончик. Стоя на подножке, без остановок мчит он по ночным улицам к Илье Городничкому.

Семка сидит под молочно-белой лампой и пишет.

— Илья, должно быть, спит, — говорит он, глядя рассеянно и расчесывая тонкими пальцами встрепанный чуб. — Что тебе так срочно? Я ему пишу письмо.

Он не удивлен поздним вторжением Севастьянова; у него у самого бушуют бури.

И Севастьянов не удивляется, что Семка пишет письмо брату, спящему в соседней комнате, — не до того Севастьянову.

Ковер уставлен кипами книг, связанных веревками, как в тот день, когда Семка сюда переехал.

Семка спохватывается:

— Что случилось?

И, выслушав краткую информацию, мучительно шурится:

— Он спит, по всей вероятности... Не знаю, захочет ли он...

А впрочем...

Он выходит. Севастьянову слышно, как он осторожно стучится в дверь рядом; слышно, как он в коридоре с кем-то переговаривается сдержанным басом... Возвращается он с Марианной. Она говорит, входя:

— Нет, ну как можно, он только что заснул, — здравствуйте (это Севастьянову), он только что заснул, неужели нельзя подождать до утра?

Она кутается во что-то голубое и длинное, с длинными висячими рукавами, золотые волосы заплетены в косу, она сонная и сердитая, и когда Семка пытается замолвить слово за Севастьянова, она перебивает:

— Ну да, ну да. Все это очень грустно, но будить я не разрешу. Он устал. Ему нужен покой. Никаких ужасов не происходит, как я поняла? Вашу знакомую просто задержали, не правда ли?

Севастьянов помнил ее нежной, ко всем расположенной, предлагающей им, ребятам, конфеты и дружбу.

— Не вижу повода заставлять его вскакивать среди ночи.

Семка шурится и говорит:

— Повод есть, Марианна.

— Ах, конечно, это ужасно неприятно! — восклицает Марианна. — Кто же спорит! Бедняжка! Конечно, Илья сделает все... но что можно сделать сейчас?

Должно быть, устыдилась своего раздражения; тон смягчается.

— Извините меня, — она берет Севастьянова за руку, — вы расстроены, вы не подумали: ведь он должен разобраться в этом деле, так же сразу он не может, не правда ли?

Лицо светлеет, становится таким, как помнит Севастьянов, — милым, немного беспомощным.

— Ошибка, вы говорите? Увы, это иногда случается, к сожалению... Ошибку исправят! Не горюйте! Ошибки всегда исправляются!

Белыми руками в голубых рукавах она ласково держит Севастьянова за руку.

— Я понимаю: вам хотелось поскорей излить ему свое горе! Да, да, я понимаю! Но вы знаете: он хрупкий, у него слабое здоровье! — Умоляющая улыбка. — Его надо беречь! Пусть он поспит! Вы ему все расскажете завтра!

Севастьянов глядит на нее сверху. Что он делает? Глупость за глупостью... Какого черта вломился? Что могло получиться из этого набега? Не удивительно, что Марианна рассердилась... А зачем она держит его за руку? Он не знает, как высвободить свою руку. Не умеет он отвечать на эти улыбки! Зачем ему ее сочувствие? Ей же дела нет до Зи и до него, как бы она ни улыбалась и какие бы ни говорила слова, профессорская дочка в голубом шелку! Он не к ней пришел, а к Илье Городничкому, коммунисту; при чем она?..

Но так или иначе, он перед ней виноват. И он что-то бормочет — признает свою вину.

Марианна заверяет, что он ее несколько не беспокоил, да нет, несколько, что вы! Его уговаривают остаться ночевать...

Семка провожает его по коридору. Говорит глухо:

— Ляжет ради него под поезд и взойдет на эшафот.

Севастьянов догадывается, что это о Марианне и ее любви к Илье. Догадывается и о том, что означают стопы книг у Семки на полу и письмо, которое писал Семка. И откровенно просит:

— Обожди переезжать, ладно?

— Я могу устроиться иначе как-нибудь,— отвечает Семка.— Ты об этом не заботься.

А женщина в голубом одеянии с висячими рукавами — представлял себе впоследствии Севастьянов — вернулась к своему мужу. Довольная, что уберегла его покой, что она такая хорошая ему охранительница,— взглянула на него, спящего, и, может быть, перекрестила его, вполне возможно, что она это сделала: не потому, что была религиозной, а от избытка любви. Потом легла осторожно, счастливая, уверенная в своем счастье, в своей силе; и золотая ее коса свесилась с подушки.

## 56

К Илье Городничкому Севастьянов на следующий день ходил в прокуратуру, говорил с ним и заручился его обещанием срочно ознакомиться с обстоятельствами Зоинога ареста.

Совсем молодой прокурор был Илья Городничкий.

Уж одно то, как он вошел... Его пришлось подождать: «Прокурор в суде», сказала секретарша. Севастьянов довольно долго просидел в приемной. Кажется, при старом режиме в этом здании тоже помещалось что-то относившееся к юстиции. Старая юстиция построила эти толстые стены и полукруглые, торжественные как в соборе, глубокие окна. И деревянные диваны каменной прочности, с полированными покатыми спинками.

Через торжественную приемную Илья прошел — пролетел — широким быстрым шагом, взмахивая портфелем,— оживленный, стройный... Севастьянов не узнал его в первую секунду: Илья был без бороды; Севастьянову показалось, что мелькнувшее красивое лицо он видит впервые... Секретарша, проворно поднявшись, английским ключом открыла дверь кабинета. Прием начался. Первой, крестясь, пошла к прокурору старуха в черном платке.

И в кабинете были окна церковного типа, в полукруглых глубоких нишах, и чрезмерно высокий потолок, под ним сгущались сумерки,— внизу еще было светло. Озеро натертого паркета, стол — остров среди озера.

Илья сидел у стола боком, небрежно, узкоплечий, странно тонкий, не заботясь о том, чтобы приосаниться, принять более солидный вид, больше соответствовать этой комнате, построенной строгой старой юстицией. У него улыбались глаза.

И до чего же молодо выглядел, много моложе даже своих молодых лет.

Впечатление было такое: залетел мимолетно в комнату с церковными окнами — занесенный ветром — некто юный, полный бесстрашных надежд, не собирающийся здесь засиживаться; сейчас снимется с места и понесется дальше куда-то, как перекасти-поле.

Правильное впечатление, вскоре оправдалось: меньше года он проработал в нашем городе.

С чего бы он стал приводить себя в соответствие с зданием, куда занес его ветер? Не в его характере было приспособлять себя к чему бы ни было; неволить себя без нужды. Ему поручали трудные дела, и все у него выходило, это наполняло его безграничной самоуверенностью.

Марианна выдумала, будто он слаб здоровьем; может — для себя выдумала, чтобы еще больше получать отрады, окружая его попечением и лаской. Ни слабости, ни усталости не было в его лице, бледноватом, без румянца, но словно бы изнутри освещенном, словно только что ему рассказали что-то обрадовавшее его и окрылившее,— хотя что радостного могли рассказать старухи, входившие сюда крестясь...



Ни капли усталости! Он жил активно и упоенно и собирался жить так без конца.

А встреча их была короткая. Кратчайшая. Встреча, которой Севастьянов добивался и которая была так важна,— сколько минут она длилась? Восемь? Пять?

Илья произнес несколько считанных слов; ровно столько, чтобы начать разговор и завершить его, и чтобы разговор этот, несмотря на краткость, получился все же человеческим и бодрящим, а не бюрократическим.

— Мне о вас говорили мои домашние. Мы, говорят, встречались,— сказал он мягко и дружелюбно, когда Севастьянов назвал себя. Дружелюбие и мягкость простекали из довольства собой; из сознания своего значения; из масштабов надежд и планов. Что стоило Илье Городницкому излить на человека частицу своего превосходного настроения?

— Я не очень понял, что у вас стряслось. Рассказывайте.— И стал слушать, делая по временам заметки в блокноте. Слушал терпеливо, с оттенком снисходительного пренебрежения к ничтожности тревог, приведших к нему Севастьянова. Как ни был вежлив, скрыть пренебрежение не удавалось. В приемной ждало еще душ двадцать, вполне возможно, что севастьяновская беда невелика была по сравнению с их бедами,— но не испытывал ли Илья Городницкий такого же пренебрежения и к тем двадцати, превратности их судеб не были ли в его глазах так же мизерны и убоги...

Но он был терпелив, только раз взглянул на часы. Даже вставил великодушно пару реплик, давая понять, что рассказ Севастьянова для него небезынтересен:

— Ах, это тот осваговец... Он порядочно погулял на воле, а? Вот видите, как мы еще скверно работаем.

— Однако! Ради нее пустился на такой риск? Она так его пленила? Занятно.

И сразу прервал, вставая:

— Хорошо. Я займусь ее делом в ближайшие дни.

— Да у нее и дела никакого нет,— возразил Севастьянов, считавший, что не все договорил,— она...

— В ближайшие два-три дня, вот так,— сказал Илья с той же мягкостью.— И если она хоть вполовину так невиновна, как в вашем изложении...

Он располагаяще улыбнулся. Прокурор улыбнулся добродушно и шаловливо.

Севастьянов собирался добавить что-то; но Илья нажал кнопку на столе — сейчас же в двери царпнул ключ, вошла секретарша. Илья бросил, уже не глядя на Севастьянова:

— Следующий.

И всё. И, в сущности, этого было вполне достаточно. К чему бы этой встрече быть продолжительной, а тем более взволнованной?.. Илья сдержал обещание, через три дня Зоя вышла на свободу.

Говорят, он вообще был в работе точен и исполнительен.

Он был талантлив, считал Семка; память исключительная. Ухитрился одолеть несколько языков, свободно говорил на них и читал. Ходил по комнате и наизусть шпарил «Фауста» по-немецки. У Марианны от благоговения закатывались глаза.

Ее благоговение благодаря Семке приняло гиперболические размеры. Прежде Илья был просто мужчина, для которого она покинула любимого папу-профессора и любимую старую гувернантку, и весь круг своих друзей и своих уютных привычек; но ознакомившись по Семкиному настоянию с творениями, формирующими нашу идеологию, она себе составила болезненно преувеличенное понятие об Илье, об его роли и

подвигах; окружила его неслыханным ореолом,— таковы были результаты ее чтений с Семкой, долженствовавших сделать из нее передовую женщину и борца. Так уж преломились эти чтения в ее неподготовленном мозгу. Семка иронизировал над результатами своих стараний, щура глаза, полные слез.

Бороду Илья отрастил, оказывается, в знак траура, когда не вышло с большим назначением в наркомат,— он же мог дурачиться по любому поводу. Потом борода надоела, возни много; сбрил... Он рвался в Москву. Горел нетерпением, ожидая, чтобы его отозвали обратно. Только в центре по-настоящему чувствуешь пульс жизни, говорил он. Не то чтобы он скучал в родном городе; вряд ли он и умел скучать; просто, вот именно, тянулся к пульсу — где громче, где горячеей.

## 57

Из письма Семки Городницкого к Илье Городницкому.

«...возишься с растратчиками, взяточниками и тому подобным ичадьем старорежимного ада. И, говоря объективно, весьма похвальная черта, что вечером запираешь всю эту дьявольщину в сейф и приходишь домой с шуткой...»

Ближайшая мишень — младший брат. Застрявший в детстве, как ты многократно и недвусмысленно давал ему чувствовать.

Приветствую шутку как орудие критики, как проявление высокой умственной организации homo sapiens'a, как отдохновение наконец... Ты шутишь — мы все трое бодро смеемся. Но нельзя жить, когда на каждом шагу подчеркивают, что ты нуль.

Шуточка, повторенная десять раз, прилипает как мушиная липучка. Человек ложится и встает с ощущением своей неполноценности. Его социальное самосознание отравлено этим ощущением. Работа валится у него из рук.

То, что тебе посчастливилось в гимназической шинели, желторотым пенцом, влететь прямо в пекло боя,— это, согласишься, случайная удача. Дар эпохи.

Югай тоже мальчишкой пошел воевать, и тоже комиссарил, и тяжело ранен под Ростовом, и награжден именовым оружием, однако Югай не смотрит сверху вниз на нас грешных — тех, на чью долю достались не столь громкие деяния.

Илья, но разве то, что делают мои сверстники, я в их числе,— не есть борьба?

У тебя повернулся язык спросить — как я ухитрился на этой ерунде нажать чахотку.

Предлагаешь меня «устроить». Тебе нравится «устраивать», удостоверить в своем влиянии — что достаточно твоего пожелания, и брата твоего «устроят», как «устроили» отца. Спасибо, я не хочу ходить на помочах. У меня свои ноги. Я люблю мою работу. Я вижу, как из многих усилий, таких же малозаметных твоему взгляду, как мои усилия, складывается результат, нужный советской власти и партии,— в этом смысл и счастье моего существования. Инструктор чего-то, что Илье Городницкому кажется игрой в куклы,— я отдаю этой работе всю мою кровь до капли.

Если это смешно — смейся!

Мы с тобой ни разу не поговорили на равных основаниях, как товарищи по борьбе. Ни разу ты не спросил, что я думаю по основным вопросам политической жизни. О серьезных вещах беседуешь только со своими друзьями. Стоит мне вставить слово, у тебя веселое удивление в глазах: как, Семка что-то произнес? Выразил свое мнение? Что же значит его мнение, если сам он ничего не значит? Вслух ты этого не говоришь,

ну еще бы. Но однажды, в ответ на некое мое замечание (оно касалось, ты безусловно не помнишь, специфических особенностей классовой борьбы в Англии), ты погладил меня по голове как маленького и спросил: «Что, детка?»

Илья, разница в возрасте у нас не такова, чтобы ты меня мог гладить по голове! Вообще не знаю, кому бы я разрешил подобную вещь. Позволь тебе сказать, что по ряду вопросов я мыслю более зрело и глубоко, чем ты. (Сужу по отдельным твоим высказываниям.) Начиная с 1921 года меня постоянно включают в комиссии по проверке политических знаний членов комсомола. Но тебя это не интересует, как все, что составляет собственно мою жизнь как комсомольца. Ты комнату, в которой я живу, называешь детской...

...Зачем нам жить вместе, скажи на милость?

Родство? Пережиток...

Я ухажу, Илья, из моей детской».

Так, или в этом роде, писал Семка брату.

Письмо не было отправлено. Во-первых, Семка, перечитав, обнаружил в нем бездны индивидуализма. Невозможно, сказал он, сплошь личные местоимения.

Во-вторых, он задумался: на все ли сто процентов он принципиален? Не продиктовано ли письмо его, Семкиным, отношением к Марианне, это было бы недостойно. И, задумавшись, он решал этот вопрос много лет. Но из детской ушел, не дожидаясь решения.

## 58

Зоя не вернулась в комнатушку за кухней.

Севастьянов приходил и рывком отворял дверь: пуста была комната и никаких перемен в ней, все так, как он, уходя, оставил.

Ночью не ложился: может быть — думал — она стыдится людей после всей этой истории; придет, когда ни одной души нельзя встретить.

Бодрствовал, прислушиваясь к стукам и шорохам, и засыпал у стола, опустив голову на руки. Света не выключал — до утра светилось окно, призывая ее.

Сколько-то ночей прошло и дней. Он перестал ждать.

Уже перестав ждать, услышал это сочетание имен: Зоя и Илья Городничий...

Пусть так. Он ведь все равно перестал ждать.

## 59

Когда-то Семкина койка стала лишней в комнате, и Севастьянов отволол ее на чердак.

Теперь он притащил ее обратно и поставил на прежнем месте.

Семка вошел и окинул взглядом дырявые стенки. Его горбоносое, без щек, лицо выразило, что он тронут. Но он сказал юмористически-напыщенно, подняв руку с тонкими, как карандаши, пальцами:

— Привет тебе, приют священный!

За Семкой пионеры, войдя гуськом, внесли книги, увязанные аккуртными стопками. (Сколько еще предстояло этим книгам странствовать! Сколько раз их увязывали и развязывали, втаскивали на верхние этажи, расставляли на полках, заколачивали в ящики, возили по железной дороге большой и малой скоростью! И от странствия к странствию их становилось все больше...)

Электрофикация и Баррикада в этот раз не сопровождали Семку. Они повибрировали замуж. Из них вышли жены добрые и домовитые — насколько домовитость была достижима в их неустроенном бытии.

Севастьянов и Семка сосуществовали в комнатухе за кухней так же мирно, по-товарищески, как и прежде. Принося домой хлеб и паке-тик с колбасой, один лаконично предлагал другому:

— Питайся. Краковская.

Они не мешали друг другу читать, писать, размышлять, уходить, приходить... Так было до отъезда Севастьянова. Близилось время новых больших событий в его жизни; время, когда ЦК комсомола заберет его в новую, молодую, боевую газету — «Комсомольскую правду», и станет Севастьянов разъездным корреспондентом «Комсомолки» и пойдет колесить по стране...

Илья Городницкий уехал раньше.

Влиятельные доброжелатели отзывали его; он вторично покидал родной город.

Севастьянов видел, как уезжала Зоя.

(Последнее проявление слабости. В Москве он ее не искал. Ни у кого никогда не спросил — не знаете ли, где такая-то...)

Он стоял в зале для ожидающих, возле бака с кипяченой водой, и смотрел через большое окно. По стеклу мороз набросал пунктиром листья и звезды; сквозь эту узорчатую кисею Севастьянов смотрел как на сцену. А его снаружи увидеть было нельзя.

Зеленый вагон был прямо перед окном, и между окном и вагоном — большая группа людей и в центре Зоя.

Она уезжала с Ильей Городницким и Марианной. Много народу пришло провожать — приятели Ильи, в том числе толстяк Фима, заведующий губздравом, — но никого не было из Зоиных друзей, ни Зойки маленькой, ни Спирьки Савчука, ни одного человека: всех она расшвыряла, не дорожила никем; верно, видела перед собой бесконечный путь и не-сметно встреч... Рядом с ней стояла рослая женщина в пуховом платке, с отекившим напудренным лицом и длинными бровями: ее мать. Горбуна не было...

Поодаль сутуло стоял Семка, уставив в Марианну сурово-безнадежный взор. Был и старик Городницкий — примирившийся со своими разочарованиями, по-прежнему франтом, с тростью, в котиковой шапочке. Близости с многообещающим сыном так и не получилось. Илья только устроил отца на должность товароведа, чтобы старик не портил ему настроение и анкету своим социальным неблагообразием.

— ...И роман с этой девочкой! — говорил впоследствии старик Городницкий, вздергивая плечи. — Как может человек такого положения как Илья заводить подобные романы! Девочка из домзак! Что за вздорная бравада! Я ему сразу сказал: ты с ума сошел!.. Считаю, — не без яда заключал старик свои восклицания, — что Илье при отъезде следовало отпустить бороду вдвое длинней, чем та, с которой он приехал.

Илья отрастил на этот раз не бороду — крохотные усики, с темными усиками вид у него был донжуанский, усики выдавали его томление, поглощенность собой, разброд его мыслей... Он говорил и вертелся, перебрасываясь от собеседника к собеседнику и нервно смеясь. Вдруг выключался, взгляд застывал, рука беспокойно пощипывала ниточку усов...

Среди мужских фигур Зоя была как Царь-девица из сказки в своей меховой шубке, в островерхой шапочке вроде тюбетейки, расшитой пушистой шерстью ярких цветов, румяная от мороза. По-новому причесана: пробор впереди и волосы туго затянуты от висков назад и немного вверх, от этого глаза казались еще более удлинненными, японскими, необыкновенно прекрасными. Ни страданья, ни раздумья не наложили пережитые тревожения на это лицо. Беспечная, стояла она, пританцовывая на каблуках высоких фетровых бот... Марианна в ее блеске меркла, исчезала. Но она не сдавалась, Марианна, держалась храбро и всем товарищам

Ильи, по очереди, давала свое объяснение текущих событий, как рассказал потом Семка.

— Да,— говорила профессорская дочка,— мы привязались к Зое. Зоя привязалась к нам. Мы берем ее с собой, чтобы она посмотрела Москву и московскую жизнь, она, бедняжка, ничего не видела... У Зои блестящие способности, но ей, к сожалению, почти не пришлось учиться, это нешлифованный алмаз, мы хотим дать ей образование.

Так пыталась она удержаться на гребне вала, который вдруг поднял и понес ее, Илью, ее немудренное комнатное счастье. Она осунулась, линии губ и подбородка стали жесткими; поблекли даже ее золотые волосы. Зоя смотрела на нее и улыбалась ласково и беспощадно.

Иногда эти ласковые лукавые глаза встречались с глазами Ильи... Как они мерялись взглядом, эти двое! Какой жар, какая бесшабашность! Кому из них предстояло сгореть в этом жару? «Ты сгоришь,— обещали нежно улыбающиеся глаза и губы Зои,— ты сгоришь, я уйду целехонькая...»

Раздался второй звонок. На перроне засуетились, прощаясь. Зоя поцеловалась с матерью, потом всем подала руку. Детская, чуточку неуклюжая и радостная была у нее манера — как-то издалека протягивать руку и при этом делать движение, словно вся она устремлялась к тому, с кем собиралась обменяться рукопожатием... Прощаясь с Семкой, что-то проговорила, Семка рассказал потом — велела передать привет всем ребятам; а Шуре, сказала, отдельно и очень большой...

Марианна вошла в вагон. За ней, весело оглядываясь через плечо, поднялась Зоя, потом Илья... Третий ударил звонок, тронулся поезд; рядом с ним пошли — замахали, закричали — провожающие. На площадке среди голов Севастьянов видел пеструю шапочку. Вагон проплыл мимо окна, площадка с пестрой шапочкой — как оборвалась... Севастьянов пошел с вокзала.

## 60

На этом вокзале он вышел из вагона спустя тридцать с лишком лет — взглянуть на места, где родился и рос.

Вокзал был новый. И площадь за вокзалом новая, чистая и нарядная, окаймленная пышными деревьями (те самые деревья, что сажали когда-то на субботнике?..), с целым полем астр и фонтаном посередине. На площади было просторно: пока Севастьянов сдавал на хранение чемодан и брал плацкарту на вечерний поезд, большая часть приехавших с ним уже схлынула. Можно было без труда сесть в автобус или взять такси, подождав несколько минут на стоянке. Но он пошел пешком — по неузнаваемой площади пошел в знакомом направлении на Коммунистическую.

На всем печать новизны; как во всех городах — новизна начиналась с неба и крыш. Крыши дыбились антеннами, а небо перечеркнуто было длинным, жемчужно-светящимся, неправдоподобно ровным и узким, как лента узким облаком, его сотворил человек, который в этой утренней высоте пролетел на самолете.

Машина поливала улицу, и, огибая медлительную машину, по мокрому асфальту прошелестел троллейбус. Прежде на Коммунистической была трамвайная линия, трамвай поднимался в гору от вокзала так медленно, что его можно было нагнать шагом, а к вокзалу, с горы, мчался что было духу, звоня и подвывая.

И вся Коммунистическая была новая, послевоенной постройки. Новые дома были красивы. Очень много стало зелени: деревьев, газонов. Полосы цветов вдоль тротуаров. За тополями, акациями, кленами белели балконы и колоннады.

Где находился «Серп и молот», теперь был скверик. Дети играли на песке.

Так же новы и светлы были улицы, вливающиеся в Коммунистическую. Они носили всё те же названия; с невольной нежностью Севастьянов читал: Лермонтовская улица, Мариупольский проспект, переулок Семашко...

И как толчок в грудь: переулок имени Югая. Синяя с белым дощечка на стене. Югай погиб в Отечественную войну. За два дома от этого угла в двадцатые годы было общежитие ответработников...

...Этот чистый, красивый город не был похож на город севастьяновской юности. Но чертеж города — сплетение его улиц, пусть асфальтированных, не булыжных, — был тот же наизусть известный чертеж, по-прежнему. Севастьянов мог бы с закрытыми глазами прийти с вокзала в дальний Пролетарский район, туда, где между парикмахерской и баптистской молельней была темноватая узкая комната, где они работали с Кушлей. Это был родной город, и сердце у Севастьянова билось.

Он подумал: в скольких книгах описано, как человек возвращается на старые места, и все ему кажется маленьким. А я вернулся и все нашел таким большим, несмотря на разрушения и утраты, какие были.

...Увидел вывеску: «Серп и молот» — на богатом доме, ничем не напоминающем тот ветхий трехэтажный дом... Почти машинально вошел в просторный, как в гостинице, вестибюль. Бархатные дорожки, лифт, дубовые вешалки... На стеклянной доске прочитал, что тут помещаются редакции четырех газет и журнала; в том числе указана была вечерняя газета. Множество отделов, редакторов, замов, завов.

Севастьянов поднялся на второй этаж, заглянул в три-четыре комнаты. Незнакомые люди оборачивались к нему; он тихо прикрывал дверь. В одной из комнат молодой человек с живостью сказал, увидя его:

— Вы не Протопопова ищите? Он просил подождать.

— Нет, — ответил Севастьянов. — Я не ищу Протопопова.

...Он не обнаружил квартала, где они жили с Семкой, где было «Реноме»: там несколько кварталов слили и всё застроили однотипными жилыми корпусами, корпус к корпусу...

...Прошелся по новой шеголеватой набережной. Ни рельсов, ни штыба на ней не было, а была автотрасса и аллея для пешеходов. К его услугам имелся речной трамвай, но Севастьянов только издали, с набережной, бросил взгляд на тот берег: бледной полосой, плохо различимой среди сверканья воды и небес, выглядел тот берег... Затем на автобусной остановке долго пришлось спрашивать — никто из ожидавших там людей не мог сказать, какой номер автобуса идет в бывшую Балобановку. Наконец одна пожилая женщина сказала:

— Это вам надо в Дзержинский район.

Севастьянов послушался и поехал в Дзержинский район.

Автобус вез его сперва по улицам, узнавание которых волновало — узнавание сквозь черты, наложенные новизной. Некоторые улицы, подалее от центра, изменились мало... Потом произошла такая вещь: напоминание о прошлом исчезло, а узнавание осталось; даже усилилось, стало ярче. Этих улиц здесь не было. Этих заводов здесь не было. Этих парков здесь не было. И в то же время он все это видел много раз, в разных концах страны, — это был до мельчайших деталей привычный глазу пейзаж новой нашей окраины. Привычный каждым фасадом, крапом, ларьком, каждой вывеской и рисунком каждой буквы на вывесках.

«Да ведь я давно проехал и Балобановку и Дикий хутор, — догадался Севастьянов, — если это действительно те места!» Автобус остановился: дальше была степь. Сразу за свежоштукатуренным светло-розовым домом начиналась степь. Севастьянов вышел. Постоял, поискал глазами:

нет ли признака, что тут где-то были на лице земли селения Балобановка и Дикий хутор? — Ни одного признака. Степь, запах полыни. Безмятежное покачиванье бессмертников. За спиной — наступающая громада, поглотившая кусок степи с рощами, балками и селениями.

Обратно он опять шел пешком, чтобы хорошенько осмотреть все, чего не было раньше. Шел и смотрел, и не заметил в своем подробном и требовательном осмотре, как отгорел день.

Спускалось солнце, когда он добрался наконец до Первой линии.

Он заранее задумал, что Первая линия будет завершением этого дня.

Издали, от угла, увидел дом Зойки маленькой и улыбнулся ему.

Дом был цел, и жалюзи выкрашены ярко-зеленой краской.

Того подворья рядом — с залитым помоями двором — не существовало. Его не существовало уже в тридцатом году, когда Севастьянов приехал из Москвы в командировку. А дом Зойки маленькой стоял тогда и стоит теперь между новыми домами.

Белые занавески на окнах. Звонok — белая пуговка. Те же камни крыльца, не знающие износу. Правда, стал этот дом совсем маленьким, таким маленьким, что кажется — можно его поставить на ладонь...

И, подходя к нему, Севастьянов вспоминал, как в тридцатом году, приехав в командировку, он поздно ночью пришел на Первую линию и сидел один на этом крыльце.

Он сначала навел справки в управлении дороги и ездил на станцию —скую, в железнодорожную школу. Нагрел туда в разгар уроков и был уверен, что застанет ее, а ему сказали, что она в отъезде, на селе, под Воронежем, работает по коллективизации. И хотя этого можно было ожидать — в тридцатом году много народу было мобилизовано на село, — но Севастьянов был обескуражен, даже поражен, он готовился к встрече и приготовился, и ждал этой встречи — хотя что, казалось бы, значила забытая детская дружба... Он шагнул от нее прочь и стал мужчиной, когда она была девочкой и жила в тишайшем, аквариумном мире. Они стали разными; гораздо более разными, вероятно, чем были. И наверно же у нее муж, ребенок. Зачем вообще встречаться, что они друг другу скажут после того расставанья. После шестилетней разлуки. Дома с зелеными жалюзи все равно что нет на свете...

Но он пришел к дому с зелеными жалюзи и присел на крыльце выкурить папиросу. В тридцатом году было дело, в конце лета, поздней ночью. В ночь на третье сентября; утром он должен был уехать. Первая линия спала. Севастьянов курил и думал, как хорошо ему было в этом доме; и это кончилось. Никогда никого не было роднее и теплее, чем она; и это кончилось.

Как они ходили вчетвером по этой мостовой и рассуждали о поэзии... и это кончилось, все разлетелось, и он здесь случайно, вот рассветет — его тоже не будет...

«И тут случилось чудо, маленькая. Много в моей жизни было чудес, и даже чудеса тускнеют от времени, а этому потускнеть не суждено... Я сидел на крыльце, и бог знает как далеко ты была, и я услышал шаги. Шесть лет не виделись и стали другими, а я издали услышал твои шаги, ясный перестук твоих каблуков в тишине, поступь легких ног Зойки маленькой. Я слушал, как приближаешься ты, и видел, как ты появилась, с чемоданчиком в руке, из черной тени акаций и споткнулась, и все медленней, медленней подходила, и остановилась, и прижала руку к груди...»

...— Нет, не жил, — сказал Севастьянов, — просто мне хотелось бы пройти по комнатам, если вы позволите.

Старуха в платочке, отворившая ему, все еще глядела на него с сомнением.

— Так, может, ваши близкие здесь жили?

— Да. Здесь жили мои близкие.

Она впустила его.

Было тесно от кроватей. Исчез прежний уют и прежние вещи. Исчезла дверь из столовой в Зойкину комнату, вместо двери стена с обоями, — но и тут сквозь все проступал знакомый чертёж, и было приятно, что эти стены стоят на месте. Пусть они стоят на месте.

— У вас большая семья, — заметил Севастьянов, идя между кроватями.

— Семья небольшая, — сказала хозяйка. — Мы пускаем абитуриентов. — Она произнесла ученое слово гордо и отчетливо. — Абитуриентов, знаете, которые приезжают держать в институт.

О доме заботились: со двора была пристроена терраса, обвитая диким виноградом. На террасе сидели, трапезничали девушки со стриженными и завитыми головами разных мастей.

— Это абитуриенты, — сказала хозяйка.

Два парня лежали во дворе под черешнями, обложившись книгами.

... — Благодарю вас, — сказал Севастьянов хозяйке. — Простите, что побеспокоил.

— Пожалуйста, пожалуйста, — радушно сказала она. — Конечно, интересно бывает вспоминать свои молодые годы.

Он простился и пошел на вокзал.

Вечерняя жизнь закипала на улицах. Шла молодежь, одетая легко и светло, по-южному. В кино «Гигант» окончился сеанс, разгоряченные толпы выливались из распахнутых дверей. Мужчины стояли в очереди у газетного ларька — ждали вечерку. В городском саду играла музыка, и у входа в сад продавали розы.

— Купите розочку! — сказала продавщица и протянула букет. Севастьянов приостановился, он явственно услышал голос, сказавший когда-то: «купи мне розочку!» Представилось — в этой молодой толпе идет и Зоя с розами в руках. Остыла его страсть к ней и зажила обида; может быть, Зои уже нет в живых; но он еще раз увидел ее в цветении и ликовании, с розами в руках...

На вокзале зашел на телеграф и в толчее, у почтовой конторки, написал телеграмму жене.

«Был на Первой линии, — написал он, — видел твой дом».

Послезавтра утром он будет обо всем ей рассказывать, и глаза у нее будут влажные, ее зеленые милые глаза.

Он написал номер поезда и вагона, чтобы она его встретила. Отправив телеграмму, взял из камеры хранения свой чемодан, сел в поезд и поехал в Москву.





---

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ

★

## ИЗ ЧУКОТСКОГО ДНЕВНИКА

### ПРАЗДНИК В ТУНДРЕ

С неделю до этого дули ветра,  
И солнце не вышло ни разу,  
А нынче, Первого мая, с утра  
Погода как по заказу.  
Белеют вершины в прозрачной тиши,  
Меж ними, в широком распадке,  
Где сетью проталин уклон мельтешит,  
Пасутся олени матки.  
Забавно глядеть на малышек-телят:  
Не прожив и суток единых,  
Они за мамами вслед семят  
На ножках своих комариных.  
Давай, несмышлениш, беги веселей  
И сил набирайся до лета!  
Дай бог, чтоб на этой промерзшей земле  
Хватило вам ласки и света...

Не много я праздников видел таких.  
Был стол наш обставлен нехитро:  
Две банки тушенки на четверых  
И браги домашней пол-литра.  
Ну что ж, если можешь, напейся пьян,  
Шуми, веселись и не сетуй.  
И я, выполняя намеченный план,  
За трапезой начал беседу.  
Мол, этот день отмечает весь мир  
И жители дальних селений...  
Но тут меня прервал бригадир:  
— Пойди посмотри оленей.  
Ты знаешь сам — мы не спали ночь,  
Все стадо вчера разбежалось.  
— Ну что ж, хорошо, я рад помочь,  
А вы отдохните малость.

Надев малахай, иду налегке.  
Но тут объяснить вам надо,  
Что означает на их языке  
«Пойти и проверить стадо».

Здесь нужен все время глаз да глаз,  
 Уж так в этом деле ведется:  
 Оставишь оленей хотя бы на час —  
 Полдня собирать придется.

Чертей вспоминая наперечет,  
 Забыв про жару и про холод,  
 Бежишь, а пот в три ручья течет,  
 А сердце стучит, как молот.  
 Потом за ними вслед по пятам  
 Плетешься обратной дорогою.  
 На сопку соседнюю взглянешь, а там  
 Еще одна тварь двурогая  
 Стоит, глядит на тебя с вышины,  
 Конечно, отлично слышит  
 Твой вопль истошный — и хоть бы хны,  
 И лезет, негодная, выше.

И, кожу сдирая с ладоней,  
 Пыхтя паровою машиной,  
 По острым камням в погоню  
 Ты лезешь до самой вершины.  
 А ярость в груди кипящая,  
 И ненависть — просто смертельная,  
 И будь она трижды кормящая,  
 И будь хоть четырежды стельная, —  
 Не в силах сдержать исступленную дрожь  
 (Ведь нервы не деревянные!),  
 Ее оттуда вниз как турнешь:  
 — А ну, пошла, окаянная!..

А стадо опять уже расплзлось —  
 Маячит вон там, в отдалении...  
 Уже истошилась последняя злость,  
 Уже на исходе терпение,  
 И держишься на ногах едва —  
 Спешу, не теряя мгновений...  
 Теперь вам ясно, что значат слова  
 «Пойти посмотреть оленей»?  
 Посмотришь разок, посмотришь другой  
 Таких лупоглазых, милых,  
 Потом шевельнуть ни рукой, ни ногой  
 И даже мозгой не в силах.

Я в этот раз с середины дня  
 «Смотрел» их почти до заката,  
 Пока сменить не пришли меня  
 Старик Гивелькут и Гальгата.  
 Как виноватый, пред ними стою.  
 Не скажешь же им обоим:  
 «Пойдемте, я речь докончу свою,  
 Потом состязанья устроим.  
 План проведенья уже готов:  
 Бег, стрельба из винтовки,  
 Борьба, затем вручение призов  
 В торжественной обстановке...»

Второе мая.  
 Подтаявший наст  
 Ведет по отлогому скату.  
 Быть может, в соседней бригаде бог даст  
 Отпраздновать нам эту дату.

Раньше я этот праздник встречал  
 Совсем по-другому, бывало,—  
 Плескалась Нева о гранитный причал,  
 Знамена кругом развевало...  
 Дворцовая площадь, салюты, огни...  
 А здесь — необжитая Азия.  
 Снега да камни, куда ни взгляни...  
 Неплохо — для разнообразия.  
 Да, да, хорошо, что это число  
 Встречаю, бродя по бригадам...

Постой, а куда же меня занесло?  
 Ведь стадо должно быть рядом...  
 Ошеломленно смотрю вокруг,  
 А солнце за тучами скрылось.  
 Попробуй найди, где север, где юг...  
 Задача... Скажи на милость...  
 Досада уже самого берет —  
 И дернул же меня леший!  
 Ну ладно, спокойно, иди вперед,  
 А главное — нос не вешай,  
 Будь счастлив, что не застигло пургой...  
 Ступаю походкою робкой.  
 Проходит час, за ним другой —  
 Все те же безмолвные сопки.  
 А спичек нет — не разжечь костра,  
 А небо уже потемнело...  
 И чтобы хоть как-то рассеять страх,  
 Твержу про себя то и дело:  
 «Ну ладно, спокойно, иди вперед,  
 А главное — нос не вешай...»  
 И вдруг я увидел... олений помет —  
 О счастье! Почти что свежий!

И сердце забилось неровно,  
 И тронулся шагом походным  
 Я в левую сторону, словно  
 По звездочкам путеводным.  
 И вот уже стадо сквозь сумрак видать —  
 Дорога к спасенью открыта!  
 Олешки! Родные!

Я их целовать  
 Готов был в рога и копыта...  
 А ну-ка, пастух, по-хозяйски встречай  
 Посланца районной культуры...  
 Оленье мясо, горячий чай  
 И мягкие, теплые шкуры...

Третье мая.  
 Дрожит рэтэм<sup>1</sup>,  
 Трясутся жерди креплений.

<sup>1</sup> Рэтэм — внешний шатер яранги.

Встаем и идем сквозь ревушую темь  
 В укрытье сгонять оленей.  
 Над тундрой опять ледяная гроза  
 Когтистую лапу заносит —  
 То плетью тугой полоснет по глазам,  
 То вбок, как пушинку, отбросит.  
 Стараемся стадо гнать напрямиком  
 По скользким уступам кочек,  
 И к каждой самке жметя бочком  
 Беспомощный, зябкий комочек.  
 А вьюга зализывает их след,  
 Скребется о землю, бесится...  
 Ну разве нельзя вам было на свет  
 Явиться попозже месяцем?  
 И столько теперь будет с вами возни,  
 Имели б хоть каплю понятия...  
 Ведь у меня ж из-за вас, черт возьми,  
 Срываются мероприятия!..

### ДЕВУШКА-КАЮР

То спуск, то наледь, то ропак,  
 А каюром — девчонка.  
 На дюжину своих собак  
 Покрикивает звонко.  
 Где надо — с нарты мигом скок  
 И за дугу потянет вбок  
 Проворными руками.  
 Я соскочу и не могу  
 Бежать, застряв в сыром снегу  
 Иль налетев на камень.  
 Барахтаюсь и сам не рад —  
 Лишь времени потеря,  
 Она же молча бросит взгляд —  
 «Сиди уж там, тетеря!»  
 В промозглый, сумрачный мороз  
 Покрикивает хрипло,  
 И прядка спутанных волос  
 Ко лбу ее прилипла.  
 Давно помочь бы надо ей,  
 А как — не знаю, хоть убей!  
 Четырнадцатый час ползем  
 По тундре многогорбой,  
 И я присутствую при сем,  
 Как писаная торба.  
 Ну был бы, скажем, я с брюшком,  
 С подагрой и с лысиной —  
 Сидел бы таким мешком,  
 Глядел бы независимо.  
 А тут — бессилие свое  
 Клянешь и смотришь на ее  
 Нелегкую работу,  
 Хоть становись в упряжку сам  
 К двенадцати вот этим псам  
 Тринадцатым по счету!

## НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Я чувствую, что мочи нет,  
А ветер дует, не слабея,  
И спутник мой, пастух Аймет,  
Кричит: «Не отставай, скорее!..»

Земля кружится как во сне.  
Валюсь на чуть заметном склоне  
И жадным ртом хватаю снег  
С горячей, преющей ладони.

Все мышцы налиты свинцом,  
Не надо ничего на свете —  
Лежать бы так вот, вниз лицом,  
И слушать, как взывает ветер,

Как сквозь шальной круговорот  
Протяжным стоном отдается  
Дыханье тех, кто не дойдет,  
И слезы тех, кто не дождется...

«Вставай!..» — Аймет меня трясет.  
Но разве этим он поможет,  
Когда ползет застывший пот  
Стальными иглами под кожу.

Тогда он, приподняв меня,  
Привязывает за кухлянку,  
Конец лахтачьего ремня  
Накинув на себя, как лямку.

А пальцы холодно свело,  
Но я не чувствую озноба.  
Идем и дышим тяжело  
И наконец ложимся оба.

Потом рывком встаем опять.  
Я, обхватив его за плечи,  
Ступаю вслед, за пядью пядь,  
Сплошному месиву навстречу...

Пройдет немало лет, но я  
Не смею позабыть об этом,  
Как мы добрались до жилья  
С моим товарищем Айметом,

Как он под крышей меховой  
На шкуры молча опустился...  
Он честно, поровну со мной  
Запасом жизни поделился.

\* \* \*

Она от страха сжалась в темноте,  
Та старая скалистая вершина,  
Когда над нею, с неба налетев,  
С надсадным ревом пронеслась машина.

Она забыла отдых и покой  
И вслушивалась в тишину устало,  
А утром солнце теплою рукой  
С нее росинки пота отирало...

\* \* \*

Последний луч спустился по пригорку.  
Ночную смену принимать пора.  
Пастух нашел за кочкой гимнастерку,  
У нарты позабытую вчера.

«Ну так и есть... Недоглядел... Ведь надо!..  
Теперь другую доставать изволь...»  
Ее самец, отбившийся от стада,  
Всю изжевал — олени любят соль.

г. Магадан.



---

С. ЗАЛЫГИН

★

## БЕЗ ПЕРЕМЕН

*Рассказ*

**Е**сть что-то общее в архитектуре старинных русских учебных заведений — мудрое, простое и возвышенное, что-то такое, что рано или поздно остановит вас и заставит стоять долго, неподвижно, молча.

Вы будете глядеть на эти здания, а они — на вас, вы ясно ощутите на себе взгляд не очень узких, но и не широких светлых окон.

Здания эти обычно не вздымаются ввысь ни башнями, ни шпилями — подобных украшений на них нет, но стоят они на земле так, что прилегающие к ним улицы, парки и даже реки, если они текут поблизости, и даже дали, если они отсюда открываются, — одним словом, все-все, что вокруг, все кажется немислимым без них.

Если здания и украшены чем — выступами, карнизами, пилястрами, иногда колоннами, так эти выступы, карнизы, пилястры и колонны совсем и не кажутся украшениями, надетыми на здания, они просто-напросто их неотъемлемая принадлежность, естественные черты их облика.

Здания эти не мрачны, но они серьезные, задумчивы. Они не отшельники, но немного замкнуты в самих себе. Они не горды, но как-то чувствуется, что доступны не для каждого. Они не высоки, но возвышенны.

Они, собственно, не так уж и стары: одни насчитывают едва век, другие — два, не больше, но этого достаточно, чтобы они передали в своем облике какие-то неуловимые черты седой древности, что-то от Новгорода, Пскова, Киева. Но еще больше, чем в прошлое, они как будто устремлены в будущее и вас тоже увлекают за собой в этом своем стремлении.

И, наконец, в них нет никакого чуда, зато все эти черты, вместе взятые, создают ясный, целомудренный и действительно чудесный облик.

Таковы Московский, Ленинградский, Тартуский, Киевский университеты, и Тимирязевка такова, и Ленинградский лесной тоже. И странно, что я — человек, который окончил столичный университет, а потом почти всю жизнь провел на кафедре другого, правда, уже не столичного, но тоже очень старинного университета, — впервые остановился вот так и так подумал об архитектуре старинных учебных заведений в далеком, совсем чужом для меня Томске...

С каких-то пор, года, верно, два или три тому назад, точно уж и не помню, вдруг потянуло меня в те самые края, по которым я много лет тому назад совершил свою первую экспедицию. Я гнал прочь это неожиданное желание, в нем не могло быть никакого научного интереса, поскольку я уже давно, ровно тридцать лет, не обращаюсь к геоморфологии Западной Сибири. Сразу же после смерти моего учителя Павлоза — не того всемирно известного Ивана Петровича Павлова, который создал учение о высшей нервной деятельности, физислога, а другого, Алексея Петровича, изучавшего, в частности, структуру Русской платформы, — я

тоже встал на его путь и с тех пор изучал платформы Европейской части Союза и, кроме того, побережья Крыма и Кавказа. По этим вопросам существует несколько работ профессора Самарина. Так это мои работы.

В моем желании вообще не было, кажется, никакого смысла, никакой логики, но все-таки я оказался в Новосибирске, на пыльном, пересеченном железнодорожными путями речном вокзале.

Я подивился, что в огромном красивом городе, расположенном на огромной и красивой Оби, все еще существует такой уродливый речной вокзал. Заняв каюту на пароходе «Механик Акимов», я семнадцатого июля отправился вниз по течению.

Все пароходы, которые идут из Новосибирска вниз, обязательно поднимаются по Томи до Томска. Потом они снова возвращаются в Обь и по Оби следуют к пристаням Нарым, Каргасок, Вартовское и еще до пристани Александрово.

Вот Александрово-то и было конечным пунктом моего маршрута, но в Томске «Механик Акимов» стоял шесть часов. Эти шесть часов я провел на проспекте Тимирязева...

Я бродил то по одной стороне проспекта вдоль ограды университета, разглядывая сквозь решетку огромный тенистый и тихий парк, то по другой стороне — вдоль корпусов Политехнического института...

Начало уже смеркаться, воздух был прохладным, тучи низко ползли над городом, и близость этих густых неторопливых туч ощущалась повлажневшим лицом, и даже кончики пальцев ощущали прохладу.

Влажным и прохладным был весь июль в Сибири и даже все нынешнее лето тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года к востоку от Иртыша, и, должно быть, поэтому университетский парк был весь вымыт, даже в сумерках он сиял необыкновенной чистотой каждого своего листочка, а березы, вероятно ровесницы Политехнического института, прикрывавшие его здания длинными повислыми и только чуть-чуть шевелящимися ветвями, тоже блестели и листвой, и молочнo-белыми стволами, и черными пятнами на стволах, и даже тенями, которые они бросали на асфальт. Тени эти были прозрачными, светлыми и казались все светлее по мере того, как сгущались сумерки...

\* \* \*

Так вот, поездка моя от Новосибирска до Александрова заняла десять дней — с семнадцатого по двадцать седьмое июля включительно...

Если положить, что срок сознательной жизни человека пятьдесят лет, — десять дней составят пять сотых процента этого срока. Все большее состоит из малого. Однако случается, что десять дней и сами по себе оказываются огромным сроком. Как-то за десять дней мне удалось написать книжку — небольшую, на три — три с половиной печатных листа, но все-таки книжку.

В другой раз в течение двух недель под Старым Осколом — в местах, казалось бы, уже давно исхоженных, изученных — я собрал полевой материал, на обработку и обдумывание которого ушло несколько лет.

Наконец, какое-то особое значение приобрели дни, проведенные в первой моей экспедиции, вот здесь, в Сибири. Может быть, потому, что это были дни молодости, дни устремлений, но они не только запомнились, — они многие годы питали мои силы, причем чем дальше, тем больше.

Такие декады, недели, даже дни — до предела напряженные, полные усилий и мыслей, на которые вы только способны, — в наше время каждый человек, вероятно, хранит в своей памяти очень бережно, как залог и доказательство своих потенциальных возможностей, своего торжества, своего права на необыкновенно красивую и значительную жизнь. Это своего рода современный талисман.



Когда ставишь перед собой трудные цели, когда устаешь очень, просто стареешь и вступаешь в сугубо деловые отношения со своим собственным организмом — со своими почками, со своим сердцем и печенкой, причем нарушить режим этих отношений часто бывает уже не в твоих возможностях, — когда, наконец, упрекаешь себя в напрасно потерянном времени, всякий раз обращаешься к нему. Помогает...

Однако те десять дней, которые я отпустил себе для поездки на пароходе «Механик Акимов», я ни с чем не сравнивал, не сопоставлял. Я не ставил на эти дни никаких целей. Даже просто отдохнуть, и такого намерения у меня не было, я решил, что еду только потому, что так мне хочется. Больше ничего.

Между тем я бы не сказал, что это было совершенно бессмысленное, бесцельное желание, потому что все время я чего-то ожидал от этих десяти дней, ожидал так же, как ожидаешь прихода поезда на вокзале, так же, как, вероятно, астрономы ожидают те минуты и секунды, когда в объективах их приборов должно появиться какое-то светило.

Однако, когда ждешь поезд, хорошо знаешь, какой именно поезд и ради чего ты ждешь, и когда смотришь в телескоп, тоже, безусловно, знаешь, что ты хочешь в него увидеть. Я же только ждал, а чего ждал и зачем — не знал.

Временами мне казалось, будто я слышу приближение того, что я жду, точно так же, как на маленькой станции, не видя еще поезда, уже слышишь его приближение по гулу рельсов, но только я обманывался каждый раз — мой поезд не появлялся на речном горизонте, окаймленном тонкими полосками лесов.

Думал я в эти дни разбросанно, обо всем, что видел вокруг себя.

Видел горизонт — думал о горизонте, видел реку — думал о реке, о ее прошлом, о ее настоящем... Старался определить словами, какого цвета вода в реке, перечислял весь спектр, но так и не находил названия ее темно-коричневым и в то же время светлым, солнечным оттенкам. Видел чаек — думал о чайках. Видел небо, чаще всего в тучах, — думал о небе и о тучах. Видел вокруг себя людей — думал о людях.

Когда думаешь обо всем — это значит, ни о чем не думаешь.

Но все-таки я чувствовал, что эти размышления о чем-то, эти ожидания чего-то имеют смысл, пока еще недоступный мне, а то, что они имеют начало, было совершенно ясно. Началом их были те часы, которые я провел на проспекте Тимирязева в городе Томске, в том месте, где проспект этот круто поднимается в гору. Влево — светлые, обмытые дождем здания Политехнического института, вправо — сквозь зелень парка белеют корпуса университета...

Сочетания букв ТПИ — Томский политехнический институт — и ТГУ — Томский государственный университет, — двух согласных и одной гласной, когда я встречал их раньше в книгах, в самых различных литературных источниках, всегда внушали мне чувство глубокого уважения и еще какой-то радости, удивления. Я начинал думать тогда о ТПИ и о ТГУ, начинал издали, от Северного полюса... Полюс, льды Северного океана — это две с половиной тысячи километров. Тундры — арктические, моховые и кустарниковые — почти тысяча километров. Все по тому же меридиану вниз темнохвойные леса тайги — еще полторы тысячи километров. И вот, наконец, первый деревянный город и в нем, на самой кромке нарымской тайги, — ТПИ и ТГУ. По всему свету они посылают отсюда свои научные труды, дают миру ученых, принимают в свои стены школьников и выпускают людей самых различных специальностей, чуть ли не всех специальностей, которые только существуют в науке и технике.

Потом воображение переносило меня в прошлое, я представлял себе, как по Сибирскому тракту, по грязи, подоткнув шинели, нарушив строй, шли солдаты, как звучали — «бим-бом, бим-бом» — колодников звонкие

цепи и как скрипели колымаги, которые везли первых ученых на кромку нарымской тайги в деревянный город Томск... Потом вспоминал, что ТПИ носит теперь имя Сергея Кирова, а ТГУ — имя Валериана Куйбышева...

А когда я, стоя на проспекте Тимирязева, думал о том, что первые ученые, приехавшие сюда на лошадях, каменщики, построившие эти здания, канцелярские служащие, составившие первые списки студентов, умерли, так, наверно, и не уяснив себе всего, что они совершили, мне казалось, что, будь я на их месте, я обязательно бы это понял до конца и всю остальную свою жизнь провел бы в сознании выполненного долга, с чувством спокойной гордости первооткрывателя.

После первого гудка, неторопливо прокатившегося над городом, засыпавшим уже на ночь, я взял такси и вернулся на пароход.

В моей каюте пахло водой реки, машинами, которые размеренно вздыхали в глубине трюма в ожидании третьего гудка, и еще слышались здесь запахи моей квартиры. В таком далеке от дома они были совершенно неожиданными и даже непривычными...

Я сел у окна и снова с необыкновенной силой почувствовал начало своего путешествия, начало новых мыслей, начало вот этого ожидания...

Теперь все, что я видел вокруг себя, я видел как будто сквозь тончайший полог, на котором проступали контуры ТПИ и ТГУ, я даже как будто и думал только сквозь их неясный, но осязаемый рисунок, который мог, однако, в любую минуту приблизить к глазам и рассматривать его в мельчайших подробностях, недоступных, кажется, никому, кроме меня...

Погода во время моей поездки была переменной, большей частью пасмурной. Это ничуть меня не угнетало.

Пожалуй, нет более задумчивой и своеобразной поры на северных реках, чем те вечера, в которые меняется погода...

Все в эти часы замирает, ждет чего-то от едва уловимых перемен, происходящих в природе. Земля тускнеет, на ней нет больше теней и яркого света, прибрежные деревья лишь едва-едва отражаются в реке, еще более робки в ней неясные оттенки облаков. Небо пустынно, облака там редки, бесформенны, солнце уже ушло, луна еще не пришла. Только две запоздалые чайки безмолвно выются в сером беспредельном пространстве.

Река, кажется, не течет в океан — она стремительно и бесшумно движется ему навстречу всей своей застывшей матовой массой. Только за кормой парохода вздымаются и снова падают волны...

Справа, слева, впереди река ограничена тончайшей каймой тальниковых зарослей, которая тоже вот-вот уплывет в океан, и тогда река исчезнет совсем, разольется, растворится в пространстве... Только где-то очень далеко, почти за пределами видимости, темнеет коренной берег.

Это все напоминает мне Прибалтику, Финский залив, тундру, океан, все это сразу вместе и еще какие-то виденные, но уже забытые дали, что-то неземное... Кажется, взгляд проникает на мгновение в самую глубину того пространства, в котором только что вспыхнула, погасла и снова вспыхнула далекая звезда...

Дни сменялись ночами, я не вел им счета, не жалел о напрасно потерянном времени, не хотел их торопить, эти дни и ночи, не мешал им сливаться во что-то одно. Если не спалось, я вставал, выходил на палубу, глядел на белую пену, клубившуюся там, где пароход рассекал ночную тьму, такую густую, что, казалось, можно, протянув руку, набрать ее в ладонь и сжать, как глину. Но и в этой тьме все-таки чувствовалась перемена погоды не то к ясным, безоблачным дням, не то к ненастью. Я уже говорил — весь июль нынешнего года в Сибири был таким изменчивым, вся природа как будто томилась в ожидании каких-то перемен.

Днем у меня возникали разговоры с пассажирами, все больше с разведчиками. Моя специальность сближала меня с этими людьми, кроме

того, на пароходе чуть ли не каждый второй или третий пассажир был разведчиком.

«Березовский газ», «нарымская железная руда», «сибирская нефть» — эти слова то и дело слышались в разговорах, а на пристанях, где, собственно, и пристаней-то не было, а пароход просто тыкался в желтый вязкий берег, на борт поднимались одни и сходили другие геологи, буровики, строители, геофизики.

В те времена, когда я бывал в здешних местах, — тридцать лет назад — коренного населения тут, вероятно, не было столько, сколько было сейчас одних только разведчиков.

Еще, помнится, в экспедициях тогда были одни лишь мужчины, все больше пожилые, а если студенты, так тоже народ уже взрослый, бородатый. Отпускать бороды геологам было тогда правилом неписаным, но обязательным.

Теперь же разведчики все молодые, и среди них — много девушек. В черных шароварах, в вязаных кофточках, они ходили по палубе, тоже говорили о сибирской нефти и еще — о мошках и комарах.

Было мне как-то страшно за этих юных и то робких, то чрезмерно веселых девчушек, за дело разведки полезных ископаемых, быть может самое трудное дело на земле, страшно, что оно доверено им. Однако же, когда большое, трудное, очень трудное дело делают совсем молодые люди, это значит — человечество растет. Вот-вот и спутники Земли будут изготавливать студенты на учебной практике.

Одна девушка, из тех, что были, на мой взгляд, чрезмерно веселы, с жесткими светлыми волосами, которые никак не поддавались завивке и все-таки были завиты, с узкими, прямо-таки китайскими, но тоже светлыми глазками, вытащила вместе с носовым платочком толовую шашку и потом долго искала ее на палубе под скамейками.

В мое время, когда я был на полевых работах, у нас не было тола, и мне теперь стало даже завидно: мне самому захотелось запросто носить толовые шашки в карманах, запросто вести разговор о новых способах сейсморазведки и гравиметрических съемках. Но я, читая курс геоморфологии, давно-давно уже отстал от практики разведочных работ.

Девушка нашла шашку как раз под моей скамейкой, извинилась, подобрала ее и ушла.

Я хотел было завести с этой юной разведчицей разговор, но не нашелся, с чего начать, и промолчал. Подумал только, что, если бы студенты, которым я читаю курс лекций и у которых принимаю экзамены, вдруг увидели мою нерешительность, они, наверно, были бы очень удивлены.

Потом воображение снова стало рисовать те же картины...

Около главного корпуса ТПИ тротуар спускается вниз по каменным белесым и уже выщербленным от времени ступеням. Верхняя ступень совсем уже стала тонкой и шатается.

Нет, вероятно, никакой возможности сосчитать, сколько студентов прошло по этим ступеням вверх и вниз, в какие уголки земного шара проложили отсюда пути молодые люди, сколько судеб со счастьем и несчастьем началось отсюда... И хотя разведчики, которых я видел на пароходе, были, конечно, из разных институтов и техникумов, я их всех мысленно представлял на этих ступенях. Одних видел зимой, в лютой мороз, как они бегут с книжками на лекции, для других выдавался тоже зимний, но погожий день с хлопьями снега, с куржаком на длинных неподвижных ветвях берез. Были и осенние дни с листопадом, с голубым-голубым небом, были пасмурные прохладные сумерки, точь-в-точь такие, которые меня застали на этих ступенях.

Должно быть потому, что мое воображение так легко переносило этих людей с палубы парохода в обстановку, которая на меня самого производила необыкновенное, неповторимое впечатление, все они казались мне

знакомыми, будто я их уже встречал когда-то, узнаю их, и они меня тоже вот-вот узнают.

Молодой человек, лет около тридцати, не больше, в зеленом непромокае, в сапогах, с полевой сумкой через плечо — одним словом, разведчик с головы до ног, — привлек мое внимание мрачноватым видом.

Он часами стоял на ветру на носу парохода, через очки с темной оправой глядел куда-то вперед, время от времени снимал потрепанную, неопределенного цвета кепку и снова потуже натягивал ее на голову, почти до самых глаз. Все время он молчал, ни с кем не обмолвился ни словом, и, видимо поэтому, мне захотелось завести с ним разговор.

С первых же слов он разочаровал меня тем, что был вовсе не из Томска: четыре года тому назад окончил разведочный факультет Московского нефтяного института. Однако вряд ли это только показалось так, но и в самом деле упоминание о Томске, о проспекте Тимирязева вызвало и в нем близкие мне чувства. Я угадал это, когда он не то спросил, не то просто сказал мне:

— Помните в Томске университет? А Политехнический?

Я кивнул, мы помолчали, с этого молчания и началось наше знакомство. Несколько раз на день встречались мы с ним на палубе, но знакомство наше не продвинулось далеко. Я узнал, что его фамилия Пахомов, что он геофизик и работает начальником партии в районе Александра. Я же и фамилии своей не назвал Пахомову.

Я вообще, кажется, не легко сблизаясь с людьми, здесь же знакомство было совсем случайное, мимолетное, и все-таки я подумал, что с первого же слова оно было мне дорого.

Я видел, что мрачноватость Пахомова происходила от избытка сил. По тайге он бродил уже несколько лет, запросто переносил лишения, руководил уже большим делом, таким делом, которого тридцать лет тому назад еще совсем не существовало, но ему все казалось, будто он не настоящий разведчик. Вот он и стал мрачноватым — это соответствовало его представлениям о том, каким он должен быть.

А был он вовсе не молчалив, этот молодой человек, наоборот, разговорчив, ничто его не удручало, все было в полном порядке у него на душе.

Откуда это стало мне известно? Очень просто: таким я и сам был когда-то, когда был действительно полевиком, разведчиком, когда бродил по этим же самым местам и больше, чем во все другие времена, мог быть доволен собой.

Я очень долго собирался обратиться к Пахомову с одним вопросом... Получалось все время так, что в наших разговорах для этого вопроса не было подходящего случая, и я уже начал бояться, что мы расстанемся, а я так и не соберусь задать ему свой вопрос. Все эти дни на палубе «Механика Акимова» я присматривался к разведчикам с тайной мыслью: задать кому-нибудь из них свой вопрос!

Наконец, когда Пахомов сделал какое-то неожиданное движение, такое, будто он собирается попрощаться и уйти с палубы, я спросил его, совсем не к месту и не вовремя:

— А не встречалась вам работа профессора Самарина с некоторыми прогнозами нефтеносности Западной Сибири? Опубликована в тысяча девятьсот тридцать третьем году, если не ошибаюсь...

Это «если не ошибаюсь» было сказано для того, чтобы не выдать себя: я, конечно, совершенно точно знал год издания своей первой печатной работы...

Покуда Пахомов морщил лоб, вспоминая, щурил глаза под стеклами очков, в голове моей пронеслось множество мыслей...

В отчетах экспедиции, возглавляемой инженером Васильевым, кажется, в тысяча девятьсот тридцать шестом году, впервые были указания

на присутствие пятен нефти в воде рек Западно-Сибирской низменности. Но они были очень кратки, отрывочны.

Я же проехал в лодке по Васюгану и Югану, по Парабели, по другим право- и левобережным притокам Оби и составил карту распространения нефтяных пятен.

Теперь, когда я слышал на палубе парохода «Механик Акимов», как разведчики говорили о сибирской нефти, мне казалось — я тоже причастен к этому открытию... Я даже был уверен в этом. Оно еще не совершилось, это открытие, но совершается: один за другим обнаруживаются признаки присутствия нефти в недрах низменности. Здесь не играет роли случай, удача или неудача дня, потому что мировая практика геологических разведок не знала еще такого грандиозного, широкого, планомерного наступления человека на недра земли...

Помню, когда много лет назад я впервые познакомился с учением академика Губкина о нефтеносности этого района, это было для меня словно вторым рождением. Как младенец, вскрикивая, делает первый вздох и потом уже дышит всю жизнь, так и я, помнится, тоже вскрикнул и тоже вздохнул воздухом, в котором существовала теперь новая истина...

Точно так же, как все мы не можем представить мир без Пушкина или без Толстого, так каждый из нас в отдельности не может представить себя без понимания некоторых положений и гипотез своей специальности. Мне же теория академика Губкина была тем дороже, что я все время чувствовал себя причастным к ней благодаря все той же карте нефтяных пятен, которая увидела свет около тридцати лет назад.

Я собирался тогда поехать в Западную Сибирь, поехать навсегда, оставить университетский курс геоморфологии, но намерение это не осуществилось по каким-то незаметным и до сих пор не совсем ясным для меня причинам. Только спустя годы оно вспыхнуло вновь — к тому времени, когда ученик Обручева и Губкина академик Усов создал сибирскую школу геологов и труды этой школы чем дальше, тем все больше и больше привлекали мое внимание, я бы сказал — поражали меня.

Правда, вместе с этим я все чаще думал, что ничего общего я с Западной Сибирью уже не имею, что пятна нефти, которые я наблюдал, ничего общего не имеют с ее глубинными запасами, о которых говорили и Усов и Губкин, что я занимаюсь платформами, а не равнинами, платформами европейскими, а не сибирскими, что давно уже я не геолог-разведчик, а геоморфолог, и уже не исследователь, а только лектор университетской кафедры.

Но чем чаще все эти соображения приходили ко мне, тем труднее мне с ними было согласиться. Когда я оглядывался назад, я чувствовал, что самыми счастливыми днями моей жизни были не те, когда я защитил докторскую диссертацию, и не те, когда вышел из печати мой большой труд по стратиграфии европейских платформ, и даже не те, когда меня впервые назвали достойным учеником моего покойного учителя Алексея Петровича Павлова, а те дни, в которые я, еще совсем молодой, снедаемый комарами, недосыпая, пользуясь светлыми северными ночами и даже не отдавая себе отчета, для чего и почему это нужно, двигался на лодке с хантом проводником по рекам Васюган, Юган, Парабель, по их притокам и отмечал на карте наличие таких нефтяных пятен.

Теперь, во время моей поездки на пароходе, в мире происходили события, на которых как бы отпечатывались огромные черные нефтяные пятна: на каждые двадцать беззащитных жителей Ливана, включая грудных младенцев, в этой стране появился один вооруженный американский солдат...

Всякий раз, когда глубокая тревога — не за себя, за весь мир, — охватывает нас, есть два средства, которые позволяют эту тревогу если не подавить окончательно, так подчинить своей воле: это работа и природа.

Погружаешься в работу и как будто ощущаешь ту точку опоры, которая начала было ускользать, оглядываешься вокруг на природу — на леса, на поля и небо, на реки — и замечаешь в ней какое-то свершение, что-то грядущее, что должно быть и будет светлее и разумнее прошлого.

У меня же в эти дни возникали в памяти светлые, едва заметные, похожие на изделия чьих-то необычайно искусных рук пятна и пятнышки нефти, виденные мною много лет тому назад в этих краях...

Вот о чем думал я, покуда Пахомов вспоминал и никак не мог вспомнить работу профессора Самарина...

Чтобы помочь ему в этом, я сказал:

— В работе есть упоминания о нефтяных пятнах в воде рек... Первое в литературе упоминание на этот счет.

И тут он уставился на меня и в то же время как-то решительно махнул рукой, усмехнулся:

— Ну и что же?

Это не было его вопросом ко мне и не было признанием того, что он не знает работы профессора Самарина, тем более — он не смутился по этому поводу — не было и ответом, но, тем не менее, этим своим жестом, выражением лица, этими словами он сказал мне все... Он подтвердил, что действительно пятна нефти на воде рек, которые я когда-то разглядывал, не имеют значения ни для него, ни для других, таких же, как он, разведчиков, что и я тоже давным-давно уже не имею к ним никакого отношения, и потом, когда Пахомов заметил еще, что после работ Усова, особенно после его труда «Фазы и циклы тектогенеза Западно-Сибирского края», на всю геологическую литературу о Западной Сибири нужно смотреть по-новому, — я не стал с ним ни спорить, ни соглашаться... Я почувствовал, что разговор наш окончен... И знакомство наше тоже окончено.

Пахомов сошел на пристани Лукашкин Яр.

Стоя один на носу парохода, я смотрел на берег, на машины буровой партии, которые расположились в ряд по высокому размываемому берегу, как раз против того места, куда уткнулся наш пароход, на склады горючего, выкопанные прямо в земле, на серые «балки» — дощатые жилища разведчиков, установленные на саях, на людей в зеленых плащах, вышедших к берегу по гудкам парохода...

Чуть выше по течению была и сама деревня Лукашкин Яр, и Пахомов шел туда, покачиваясь, почти с каждым встречным здороваясь за руку, а мне казалось, будто он поднимается все выше и все дальше уходит от меня по каменным ступеням на проспекте Тимирязева вблизи Политехнического института.

Следующая пристань была Александрово.

Хотя все здесь изменилось неузнаваемо — вместо нескольких избушек, которые стояли когда-то почти в самом лесу, раскинулся большой поселок с прямыми улицами, с двухэтажными домами, — все мне было здесь знакомо, оказывается. Точнее, я обо всем здесь что-то знал.

Пахло свежим лесом, и я знал — это потому, что в короткое северное лето жители спешат запастись дровами, высушить их под неярким солнцем, и вот дрова теперь пахли свежо, сочно... На еще новых домах крыши были уже серыми, потому что из года в год они не успевали просыхать от частых и нередко обильных дождей.

Между улицами в низинках и на лужайках бродили стреноженные лошади, все в хорошем теле, упитанные, гладкие, потому что по летнему бездорожью на них некуда было ездить.

Собаки были пестры, потому что они линяли в это время года, все, кроме белых пушистых лаек, линька которых уже прошла, а коровы бродили по деревянным тротуарам, потому что были сыты и почуяли запах

дымка во дворах: под защитой этого дымка, чтобы не мешали комары и мошки, хозяйки собирались доить своих коров...

На пристани возвышались горы ящиков и мешков — значит, уже начался завоз продуктов на зиму.

Все эти детали окружающей меня обстановки я потому, вероятно, так ясно видел, что среди них я как будто искал что-то потерянное, что-то нечаянно оставленное здесь много лет тому назад.

Что я здесь нечаянно мог оставить? Молодость? Или мечты, замысль?

Я ждал Александрово с нетерпением, это был конечный пункт моего пути, мне казалось, когда я сойду в Александрове на берег, будет утолено желание куда-то ехать, двигаться, встретиться с теми местами, в которых я начинал свою самостоятельную работу.

Однако не было успокоения, которое наступает, когда приезжаешь наконец туда, куда хотел приехать, и видишь то, что хотел увидеть.

Наоборот, ожидание стало теперь явственнее, ближе ко мне, слышнее...

Возвращался я из Александрова тем же пароходом, теперь уже не заговаривал с разведчиками о работе профессора Самарина, только слушал, как они строят прогнозы в отношении нефтеносности скважин, ругают Новосибирский трест за то, что тот расплывает средства по множеству объектов и без конца путает заявки на материальное снабжение.

Одного начальника буровой, южанина, приехавшего в Сибирь откуда-то из-под Баку, я выслушивал терпеливо и молча, немного возмущался вместе с ним по поводу того, что главный инженер треста перед самым завершением проходки обязал сменить диаметр с восьмерки на пятерку — то есть с восьми на пять дюймов — и эта экономия на самом деле принесла сотни тысяч рублей убытка.

Еще начальник буровой ругал Сибирь, говорил, что ни в какое сравнение она не идет с южными районами, а я думал, что этот человек, во всяком случае, знает, где ему лучше, где хуже, знает, чего он ждет: окончания договорного срока, после которого он вернется на юг.

На обратном пути «Механик Акимов» должен был стоять в Томске не шесть, а девять часов. Это обстоятельство меня по-настоящему радовало, я с нетерпением ждал, когда появятся наконец трубы, по которым издали легко угадать приближение Томска.

Трубы эти задымили на горизонте часов около двух дня, на Томи все чаще стали встречаться буксиры, и «Механик Акимов» обменивался с ними короткими приветственными гудками; еще ближе к городу грохотали земснаряды, они, по-видимому, работали не на углублении фарватера, а добывали со дна реки прекрасный строительный гравий. Мелкие катеришки солидно давали нам отмашку, иные из них имели, должно быть, очень мощные двигатели, судя по тому, что по реке они носились невероятно быстро и поднимали такие волны, что заметно покачивался наш грузный «Механик Акимов».

Однако, когда мы пришвартовались ко второму причалу томской пристани, я не сразу отправился на проспект Тимирязева, а стал ждать, чтобы город успокоился к ночи...

В моем представлении все старинные города Западной Сибири обязательно располагаются на плоскости, разбросаны широко, потому что свободной земли вокруг всегда было много, и улицы этих городов тоже широкие, дома деревянные, одноэтажные.

Томск же стоит на нескольких древних террасах, улицы идут здесь то в гору, то под гору, они очень узки, дома теснятся на них чуть ли не вплотную друг к другу. Дома действительно все больше деревянные, но двухэтажные, реже — с каменным первым этажом или полуподвалом и еще реже — каменные.

Как-то странно было знать, что именно в этом деревянном городке расположены здания университета и Политехнического института, стран-

но было все время чувствовать, что где-то здесь, рядом, среди этих простых, невзрачных, неблагоустроенных улочек, присутствует тот необыкновенный городской пейзаж, который произвел на меня самое сильное впечатление. Мне приходилось бывать во всех почти крупных городах России, Украины, Средней Азии, Кавказа, бывал я и во многих городах европейских стран, — но нет, ничего подобного я нигде не видел, не переживал.

На площади, пересеченной речушкой Ушайкой, я остановился у торгового здания с мемориальной доской в честь демонстрации 1905 года, впереди которой шел Киров, потом я отправился улицей Ленина до Железнодорожного института. Здесь тоже была доска, и она тоже была посвящена событиям пятого года — в этом здании тогда погибло более двухсот человек.

Теперь уже совсем немного оставалось до проспекта Тимирязева, кажется, я уже видел его, но я еще свернул в какую-то боковую улочку, в сторону от Томи, я все отодвигал мгновение, когда передо мной должна была воочию возникнуть та самая картина, которая столько дней не покидала моего воображения.

Вокруг Политехнического я бродил по Тимирязевскому и по Советской, по улице Кирова, по улице Усова — со всех сторон до поздней ночи. Гасли огни в корпусах института, все темнее становилось за его каменной оградой, все ярственнее проступали в темноте контуры одних зданий и все больше терялись в ней другие. Решетчатые калитки и ворота были как бы занавешены светлыми, вымощенными булыжником дорожками и тенями берез на этих дорожках... Было очень тихо вокруг, только изредка на улице Кирова звенел трамвай.

Посветив карманным фонариком, я прочел у входа в один из корпусов, что здесь, в Политехническом институте, с 1901 по 1912 год работал академик Владимир Афанасьевич Обручев и здесь же учился у Обручева, а потом до самой своей смерти, то есть до 1939 года, тоже работал академик Усов Михаил Антонович.

Я вспомнил этих людей — мне приходилось с ними встречаться когда-то на разных конференциях и совещаниях: Обручева — старика со светлой бородкой, в котором было что-то от тверского крестьянина, и Усова — человека необычайной трудоспособности и всегда, даже в последние годы жизни, чем-то напоминавшего мне студента.

Когда Усову было три года от роду, Обручев уже совершал свою знаменитую экспедицию в Каракумы, исследуя там различные типы песчаных барханов и уже тогда создавая свою теорию золотого происхождения пустынь.

Усов умер академиком в возрасте пятидесяти четырех лет, а спустя много лет после его смерти Обручев еще ссылался в некоторых работах на своего любимого ученика...

Необъятная жизнь Владимира Афанасьевича всегда поражала меня. Я помню один его доклад, в котором он очень просто, как о чем-то совершенно обычном, говорил: «Когда я был в пещерах Копет-Дага семьдесят пять лет тому назад, их контуры имели такие очертания... Спустя четверть века я застал там следующую картину... Наконец, в наши дни пещеры имеют следующий вид...»

Но теперь, на ступенях Томского политехнического института, куда мой современник впервые поднялся уже зрелым ученым более полувека тому назад, меня поразило другое: почему я миновал Томский политехнический институт, миновал после путешествия по рекам Васюган, Вах, Парабель, после того как составил карту распространения нефтяных пятен, в которую, казалось, так верил?!

В моей жизни совершалось много перемен — были экспедиции, поездки



за границу, была эвакуация во время войны,— но все эти перемены совершались помимо меня, я им подчинялся, но не создавал их.

Перемену же в своей собственной жизни, которую я должен был совершить, которая раздвинула бы передо мной мир далеко-далеко за те пределы, которыми я ограничивался годы и десятилетия, которая привела бы меня к тому значительному, что обязательно должно было быть в моей жизни и чего все-таки не было, которая потребовала бы от меня всех моих сил, всех способностей и такого напряжения, которого я так и не испытал никогда,— такой перемены я не совершил.

Не знаю, как это случилось, что я не совершил ее. Кажется, я не гнался за удобствами и благополучием, но, должно быть, этого было мало, надо было уметь еще гнать удобства и благополучие прочь от себя?

Я никогда не боялся Сибири, но, должно быть, этого тоже было мало, надо было горячо любить ее?

Мне никогда не были чужды увлечения проблемами геологии, но, вероятно, надо было чем-то жертвовать ради них?

Это были серьезные вопросы к самому себе, но все-таки это было прошлое, которое нельзя ни вернуть, ни переделать... Я же ясно ощущал себя в настоящем, как я стою сию минуту в темноте на ступенях Томского политехнического института и как я должен буду сейчас сойти с этих ступеней и пойти куда-то... Куда?

Две женщины, а в нескольких шагах за ними двое мужчин прошли по улице Кирова мимо меня. В темноте можно было различить только, что женщины одеты в темные платья, идут они близко друг к другу, должно быть под руку, мужчины же разного роста, один очень высокий, и оба в белых костюмах.

Женщины вели свой разговор, мужчины — свой, голоса были тихи, спокойны, неторопливы.

Муж и жена провожали своих гостей — тоже мужа и жену, новости все были сообщены, споры, если они были, угасли, все уже было сказано, и обе беседы — мужская и женская — стали теперь даже не беседами, а раздумьями вслух обо всем том, что говорилось между ними в минувший вечер.

Мужчины толковали о чем-то специальном — об учебных планах и программах, один — низкий голос — говорил, другой соглашался с ним, к женским же голосам я прислушался невольно и внимательно, потому что очень просто, очень спокойно и в то же время проникновенно они говорили о чьей-то жизни и смерти...

— Да-да,— подтвердила одна из женщин,— он знал, что не вернется... Я уговаривала его не ездить в эту экспедицию, послушаться врачей, а он только попросил меня получить за него посылочку из Москвы, если он в самом деле задержится... Но я чувствовала — он прекрасно понимает все...

— Я тоже это знала...— ответила другая, и больше я ничего уже не слышал, обе пары, одна за другой, скрылись в темноте...

Наступает иногда время, когда, что бы ни случилось, все-все, до самого мельчайшего случая, вдруг настойчиво, с неумолимой логикой, неопровержимо начинает подтверждать какую-то одну-единственную мысль.

Пятна нефти, которые я встретил на реках тридцать лет назад, подтверждали эту мысль, и теперешняя моя поездка тоже подтверждала ее, и разговор с Пахомовым, чувство обиды и неловкости, которое осталось от мимолетного знакомства, и картины дикой, неудобной, но величественной и гордой природы, открывшиеся с борта парохода, говорили мне то же самое, и впечатление, которое произвели на меня университет и Политехнический институт своей архитектурой, — это тоже было не просто впечатлением, это было призывом ко мне.

Только что услышанный мной случайный разговор двух незнакомых женщин о ком-то третьем, кого уже нет в живых, но кто, зная, что он не вернется обратно, все-таки отправился в экспедицию,— этот разговор тоже утверждал меня все в той же мысли.

Иногда я возвращался мысленно к своему прошлому. Кажется, я понимал, как это случилось, что тридцать лет тому назад я миновал Сибирь, миновал Томск и оказался вблизи своих родных мест, в Европейской части Союза.

Помнится, я получил в Александрове письмо, из которого понял, что передо мной открывается возможность занять кафедру. День, когда я уезжал из Александрова, был ясный, светлый, один из последних летних дней, за которым чувствуется уже осень, и что-то щемило у меня на сердце, что-то меня тревожило...

Ведь я знал, что щемило, что тревожило, знал в течение всех этих минувших тридцати лет, только успокаивал себя тем, что не знаю.

Меня привлекла кафедра, и я получил ее, стал читать курс, учить людей. Но в тот самый день, когда тридцать лет тому назад я уезжал из Александрова, я перестал быть исследователем, разведчиком, первооткрывателем и вот теперь не имел никакого отношения ко всем тем людям, которых встретил на пароходе «Механик Акимов», к открытиям, которые они совершали.

Когда я шел к пристани, я уже понимал смысл томительного ожидания, не покидавшего меня во все время этого путешествия. От самого себя я ждал решения.

Смогу ли я в пятьдесят пять лет совершить те перемены в своей жизни, которые я не совершил в молодости, когда был полон сил?

Вот что предстояло мне решить.



---

---

ГО МО-ЖО

★

## ЦВЕТЫ

### ПОЛИАНТОВЫЕ РОЗЫ (МЭИ ХУА)

Считали люди: красотою  
так одарила нас природа,  
Что мы цари в цветочном царстве,  
непревзойденные пока.  
Но труд людской, он непрерывен:  
что́ для него сезоны года?  
Кто будет первым, кто последним —  
решат грядущие века.

И все сравнения с нефритом,  
и первенство — пустое слово,—  
И славословия поэтов,  
и лесть легенд — какой в них толк?  
Свой алый стяг над миром новым  
мы водрузить теперь готовы  
Не для похвал и не для славы,  
а чтобы свой исполнить долг.

### МАГНОЛИИ КРАСНЫЕ (МУ БИИ)

Давно уж «кистью для письма»  
зовет нас весь народ.  
Листом бумаги служит нам  
лазурный небосвод.  
Чернилом красным, как заря,  
напоены цветы  
И пишут в небесах стихи  
во имя красоты.

Стихи готовы в добрый час,  
но не прочесть их строк:  
Все то, что написали мы,  
поэтам невдомек.  
Кто ж наши новые стихи  
оценит и поймет?  
Тот, кто растил нас и поил,—  
крестьянин-садовод.

### БАЛЬЗАМИНЫ (ФЫН СЯНЬ ХУА)

Чиновник старался —  
и думал, что он справедлив,  
На ранги и звания  
даже цветы разделив<sup>1</sup>.  
И нас посчитал он  
служанками у хризантем,  
И те — наши сестры —  
тогда огорчились совсем.

А сельские девушки  
думают — мы «ноготки»,  
Они вместо лака  
используют наши цветки.  
И ногти алеют,  
совсем как у дам городских,  
Во-первых — красиво,  
и дешево — во-вторых.

### БОРЦЫ (СЭН СЕ ЦЗЮЙ)

Ученый-ботаник вам скажет,  
что мы «Аконит».  
Блаженною осенью  
мы подымаем свой флаг.  
В Китае нас любят,  
и род наш весьма знаменит,  
Здесь нас называют  
забавно: «Монаший башмак»<sup>2</sup>.

Пусть мы ядовиты,  
но пользу приносит наш яд,  
Прописанный правильно  
умным, хорошим врачом:  
Растертые корни  
от многих хвороб исцелят —  
Вот это и есть  
диалектика в мире живом.

*Перевел с китайского Александр Гитович.*

<sup>1</sup> Автор имеет в виду китайскую книгу «Хуа цзин» («Канон цветов»), написанную в XVII веке неким Джан И, который, по сути дела, высмеивал в этой книге чиновничество и казенщину, царившие в Китае того времени. Цветы, упоминаемые в названной книге, занимаются местничеством и интригами, ведя борьбу за почетные звания и чины.

<sup>2</sup> «Сэн» — по-китайски значит «монах», «се» — «башмак», а «цзюй» — цветок.



---

---

М. АРМЕН

★

## ПЕСНЬ О МОЕМ ГОРОДЕ

### 1. «Лунный вой»

**Я** родился и вырос в маленьком армянском городке. Но маленьких городков так много везде, во всем мире, что я не уверен, представит ли себе читатель именно тот городок, в котором я жил, или другой, знакомый ему.

Попробую описать мой городок. Может быть, он и не был ничем примечательным, но я тогда не знал этого. Я любил его.

А теперь я люблю память о нем — грустной и умиленной любовью, какую мальчик, став взрослым, любит память о деревянной лошадке, сделанной отцом, — первой радости своей бедной жизни. Пусть она, со своими пуговичными глазами и хвостом из мочала, была лишь отдаленно похожа на тех великолепных скакунов, что продаются в игрушечных магазинах, и уж вовсе не похожа на живых коней... Но ведь мальчишкой он не замечал этого! Грустное разочарование пришло потом. А тогда это был настоящий конь!

Вот так и родной мой город: он был одноэтажный, дома его были сложены из черного туфа, припорошенного серой пылью, с плоскими кровлями, но он так наивно притязал на великолепие, так смущенно притворялся благоустроенным, так жалки были его потуги походить на большие города!

Улицы — и продольные и поперечные — были прямыми и довольно широкими. А оттого что дома были приземисты, улицы казались совсем широкими. Редкие прохожие терялись на них, что придавало улицам и вовсе пустынный вид.

Мало было и лавчонок, всё жилые дома. Только маленький базар посреди города был окружен торговыми рядами. Там же были сосредоточены присутственные места, несколько харчевен, кинематограф, городской театр. Я не знаю, что бы еще перечислить?

Несколько двухэтажных строений казались огромными. И уж совсем величественно выглядели церкви — православные с голубыми и золочеными маковками, григорианские, построенные в древнеармянском стиле — с остроконечными шатрами, католический костел... Десятка полтора. Мы их не любили: они словно для того и были поставлены, чтобы еще больше придавить к земле плоский городок.

По вечерам городок погружался в темноту. Маленькая электростанция питала редкие уличные фонари, и то лишь на двух-трех главных улицах да на вокзале. Большая часть тока шла на печатание местной газетки...

Да собственно, не очень-то и нужно было освещение: жители ранним вечером запирали двери и укладывались спать.

А уснув рано вечером, к полуночи непременно проснешься. Тебе покажется, что скоро утро. Но как же станет досадно, когда тут же по некоторым признакам поймешь, что еще полночи впереди!

Подходишь к окну, открываешь форточку, прислушиваешься. К чему? Чего ты ждешь? Чуда, что ли?

Тишина. Город спит. Над городом, над плоскими его кровлями, над пустынными улочками — неподвижный, холодный лунный свет... И ты в самом деле вздрагиваешь от этого света, как от холода.

Луны не видно. И собаки не видно. Но сидит она — не разберешь, близко или далеко, — подняв морду к луне, и воет, воет на нее.

Почему она воет? Но кто объяснит это странное явление? Не спит вот, глядит на луну и воет. В ее глазах мертвый свет луны, и кажутся они слепыми. А воет она по-особому — это даже имеет у нас свое название: «лунный вой». Как отчетливо и одиноко раздается он в ночной тишине! Прерывистый и однообразный, он нагоняет невыносимую тоску.

Смотрю я, и вдруг мне кажется, что я вижу перед собой темное полушарие Земли — маленькой, затерянной в мироздании. Часть ее поверхности освещена боковым светом луны. И в этом свете, перед лицом вселенной, лежит мой город — одинокий, спящий, а может быть, и мертвый. И только собака, верный наш друг, воет оттуда на космос, воет...

Я быстро захопываю форточку, бросаюсь снова в постель. Света! Тепла! Мне и городу! И людей! Много людей, которые бы бодрствовали, говорили, шумели, заглушая «лунный вой» собаки...

Каким откровением был для меня Эмиль Верхарн!

Воспитывался я на армянской, на русской литературе, читал и иностранных писателей. Но Верхарна я еще не знал.

Ни один человек ни до Верхарна, ни после него не воспевал с такой силой большой город со множеством улиц и площадей, заводов и фабрик, с вокзалами и пристанями, откуда то и дело отправляются в дальний путь поезда и пароходы. Видишь миллионы огней на улицах, площадях, набережных... Слышишь шум и гул города, а на фоне этой широкой, величественной симфонии — отдельные бесчисленные звуки: гудки паровозов и фабрик, звон колоколов мчащегося пожарного обоза, музыка ресторанов, баров и кабаков, стук молотов о наковальни... И все это во множественном числе. Верхарн был певцом множественных чисел.

На Верхарна я набрел случайно и неожиданно. Это было великое в моей жизни открытие. Я понял, что, просыпаясь в полночь и прислушиваясь к «лунному вою» собаки в ночном безмолвии, я жаждал шума больших городов. Глядя в открытую форточку на мой одноэтажный городишко под холодным светом луны, я мечтал о бесчисленных огнях больших городов. Вслушиваясь в трывистые выхлопы городской электростанции в сорок лошадиных сил, в дальний гудок проходящего через нашу станцию единственного ночного поезда, я бредил большими городами.

Кому на всю жизнь стать урбанистом, если не мне, жителю маленького, невзрачного городка? Я был и остаюсь поклонником большого города. И создать его мне всегда хотелось своими руками. Я был готов поехать в любую пустыню, чтобы строить там город. Работать, а потом и отдыхать в городе, где все кругом сделано человеком, где сама природа предстает не первобытной, а заново созданной людьми: парки и цветники, каналы и пруды, и где везде — люди, люди, люди...

Если б я узнал Верхарна до революции, это было бы для меня, жите-

ля маленького городка, настоящей трагедией. Я бы разлюбил мой городок — чахлый, дряхлеющий... Но это случилось в другое время. Уже два года, как в Армении установилась Советская власть. Город наш чинил свои прорехи и прибирался. Он больше не приходил в упадок, он даже не стоял на месте — он шагал вперед. И собирался он стать не городом-спрутом, а большим советским городом.

## 2. Лошадка

Я не могу вспомнить мой городок без Гоарик — первой подруги молодых лет. Я помню ее плохо, это даже странно. Конечно, напрягая память, я могу восстановить перед глазами многое: была она худенькая и светлая, бедно одетая... Но разве все это важно? Ни один взгляд ее не запомнил, потому что не на меня смотрела она, а на город, не я волновал ее, а город. И я, видимо, любил не столько Гоарик, сколько ее присутствие рядом со мной. Поэтому я так хорошо помню это — Гоарик рядом со мной. Стоит мне припомнить те дни, как она уже тут, я слышу ее дыхание и восторженный, приглушенный ее возглас: «Смотри, смотри!..»

И я смотрел туда, куда она смотрела, — на наш городок.

Как и я, она была влюблена в него. Ведь кто мы были? Дети погибающего народа. Нет ничего тяжелее, чем проклинать свое детство. А мы его проклинали...

И вдруг все изменилось. Мы с удивлением обнаруживали, что улицы могут не только разрушаться, как раньше, но и застраиваться. В домах тайлся теперь не тиф, а жизнь. А в керосиновых фонарях, давно пустых, заплескала керосин. И они радостно засмеялись светлыми точками своих огоньков, освещая улицы...

Ну, разве могли мы не влюбиться в наш город?

Я помню мечтательные вечера, проведенные с Гоарик. Начиналось с того, что свет и сумерки перемешивались. У меня все плыло перед глазами от этого полусвета, похожего на редкий туман. Сквозь него, как сквозь сон, проходили люди: мастеровые несли в фартуках покупки, рабочие — в замасленных куртках, которые в сумерках больше не лоснились, мои ровесники с книгами под мышкой... Все они шли домой. И шли другие, уже собравшиеся на прогулку, в кино, в театр... Эти шли неторопливо — ведь до настоящего вечера было еще далеко!

Усевшись у ворот, на стуле, вынесенном из дома, я читал книгу, не замечая, как наступала темнота. Прохожие, верно, удивлялись, как я разбираю буквы. Но это трудно, если сразу начинаешь читать в темноте, а если начал засветло, то можно читать до звезд.

Но вдруг толстая книга словно сама собой захлопывалась с глухим звуком «буф!» и выскальзывала из моих рук.

Я поднимал глаза. Передо мной стояла Гоарик.

— Не годится читать в темноте, — выговаривала она мне спокойно, — испортишь... книгу.

Я, немного обиженный, брал стул, и мы молча входили в дом. Но в комнате мы сразу забывали про книгу. Гоарик радостно подходила к моей бабушке, поднимала край ее платка над ухом и говорила, немного повышая голос:

— Здравствуйте, бабушка!

Старуха улыбалась и вместо ответа гладила ее по голове.

— Опять собираюсь увести вашего внука.

— Уводи, так уж полагается, — весело соглашалась старуха, и мы смеялись.

Я, уже совсем одетый, стоял у двери, но Гоарик, увлеченная разговором со старухой, не замечала меня. Наконец мы выходили, брали друг друга под руку и сворачивали на одну из улиц, ведущих к вокзалу.

Шагая на вокзал, мы молча, сосредоточенно смотрели в глубину улицы, потерявшей в сумерках свои подробности. Два ряда домишек тянулись прямо, поднимаясь на пригорки и спускаясь в ложбины.

Дома по мере нашего приближения выступали из темноты и вновь обретали утраченные подробности. Поравнявшись с ними, мы уже четко различали каждую мелочь: резьбу по красному туфу на чернокаменной стене; сетку белых линий на стыках черных камней; свод ворот из туфа двух цветов вперемежку; двустворчатые узкие парадные двери рядом с воротами — окна подковой...

Окна открываются внутрь, потому что снаружи на них — железные решетки. В квартирах, как и на улице, свет еще не зажжен. В окнах видны горшки с цветами и люди, что смотрят на улицу, — девушки, дети... В сумерках затуманены голубые лепестки, черные глаза, красные губы, зеленые листья, каштановые кудри... Все, кажется, онемело в ожидании, что вот-вот на улице произойдет что-то прекрасное. Но и без этого кругом так хорошо, так красиво!

А вот и настоящий вечер. На улицу выходят хозяева домов с табуреткой или стулом в руках. Жена поддерживает стул, а муж поднимается на него и зажигает прибитый к стене фонарь. Пусть это всего лишь пяти- или восьмилнейные керосиновые лампы, но на улице становится весело от их огоньков!

Кое-где на углах помещаются лавки — с одной, двумя или тремя витринами, иногда их больше. В них уже зажжены газовые рожки, кое-где есть даже электричество. Хлынувший на улицу свет ложится полами — по количеству витрин — на тротуары, мостовую и стены противоположных домов.

Встречаются торговые заведения и в середине кварталов, но все они в одно окно, и закрываются они рано. Тут же сапожные и портняжные мастерские, маленькие пекарни или мелочные лавочки.

Ставни на окнах закрыты. Однако мы — да простится нам это! — ухитряемся заглядывать в комнаты через щели. И открывается перед нами удивительная жизнь, в которой нет ничего тайного или плохого, но которую почему-то принято закрывать от посторонних глаз.

Мы видим семьи за вечерним чаепитием. Люди держат блюдечки на растопыренных пальцах и с присвистом тянут чай. Присвиста не слышно, но мы угадываем его...

Мы видим наших ровесников, склонивших головы над учебниками и тетрадами. Среди них мы иногда узнаем наших товарищей...

Мы видим бабушек и дедушек, которые рассказывают что-то, а внуки и внучки внимательно слушают. Иногда рассказывают внуки, а бабушки и дедушки слушают — еще внимательнее...

Мы видим женщин за шитьем или вязанием. Но почему-то они иногда сидят, опустив руки, смотрят куда-то и улыбаются. Перейдя к другому окну, мы понимаем: женщина слушает навесившую ее подругу...

Мы видим белесые клубы папиросного дыма и в нем — неясные очертания людей под светом большой висячей лампы. Собрание? Но нет, вот щедро накрытый стол...

Мы видим детей, спокойно спящих в постельках...

Мы видим мужчин, которые, покручивая бравый ус, целуют жен и зевают...

Мы видим все это. Мы давно забыли улицу, как будто сквозь щели сами проникли в квартиру, где свет и радость, покой и счастье. Но при



чужом поцелуе мы со смущением отскакиваем от окна и сразу оказываемся на улице.

Мы идем дальше. Всю дорогу до вокзала мы ничего не говорим друг другу — совсем ничего. Славим мы наш город молчанием: нам понятен этот общий наш язык.

Придя на вокзал, мы спешим в зал ожидания. Вот где горит электричество! Вот где полно народу! Вечером это самое бойкое место во всем городе!

На длинных скамьях, на сундучках и мешках сидят люди, беседуют, шумят, ожидая выезда. Иные — все больше дети — спят. Шум им не мешает. А нам он приятнее всякой музыки. Ведь это не шум ветра или воды, а голоса людей!

Под потолком горят лампочки: в середине — большая, по углам — поменьше. Кроме того, две лампочки горят на буфете в углу зала и одна в другом углу, над газетным киоском.

То и дело входят и выходят железнодорожники в форменных фуражках, с деловым выражением лиц. Они не встревожены, даже не озабочены, а спокойны — спокойствием мирного, нового времени. Каждый раз, когда они входят, ожидающие, особенно крестьяне, вскакивают с мест и, подойдя к ним, спрашивают, когда же придет поезд, хотя расписание и часы висят на стене, а опоздания не предвидятся.

Мы с Гоарик ходим по залу, задевая наваленные всюду вещи, спотыкаемся о чьи-то ноги, извиняемся, подходим к киоску, к буфету, хотя нам ничего не нужно. Собственно, мы тут вообще лишние. Но ведь мы лишние только в простом, обыденном смысле! А если вникнуть в суть поглубже, разве мы лишние? Надо же кому-нибудь созерцать все это, радоваться, что все живет, а не умирает, не исчезает! Если все люди заняты тем, что живут, и не замечают жизни, надо же кому-нибудь благословлять ее!

На платформе звонит колокол: поезд вышел с соседней станции и через четверть часа будет здесь. Что начинается тогда в зале!.. С первыми же звуками колокола люди вскакивают с мест, хватают свои мешки и сундучки, дети просыпаются и плачут, шум становится невыносимым, все бросаются к еще закрытым дверям на платформу. Напрасно кричат вокзальные служащие, что еще рано, что в поезде всем хватит места, — никому больше не сидится, все суетятся.

А мы с Гоарик смотрим на все это и смеемся. Почему бы нам и не смеяться? Это же не страшная тревога былых лет, не бедствие, и люди эти — не беженцы. Просто не привыкли еще они к железной дороге. Хотя она и существует давно, но многие из них впервые сядут сейчас в поезд.

Вдруг где-то снаружи слышится тяжелое и шумное пыхтение, прерывистое, как после бега. Это паровоз. Он не сердит, он просто устал.

Пыхтение становится все громче, проходит мимо окон, чуть-чуть затихает и разом прекращается. Всё. Поезд прибыл.

Народ валит на платформу. Выходим и мы с Гоарик.

Какая красота! Стоит длинный состав, пришедший из дальних мест. Стоит, похожий на ярко освещенную улицу. Во всех окнах свет. Правда, свет не электрический, в вагонах висят только фонари со свечками, но их много, много!

Из вагонов начинают выходить люди с вещами. Внизу, у ступенек, толпятся новые пассажиры, ожидая своей очереди сесть и уехать. В толпе происходят душераздирающие сцены. Жена с детьми прощается с главой семьи, плачет, убивается. А глава семьи уезжает на пять дней и всего-то за сто с небольшим километров. Но ведь он едет поездом! Глава семьи и сам сильно взволнован, но держится.

Не успевают еще сойти последние из прибывших, как новые пассажиры, потеряв терпение, бросаются вверх по ступенькам, в вагоны, шумя и обгоняя друг друга, словно спасаясь от наводнения или от чего-то еще. Снизу над головами передают веши, кричат последние наставления — не простудиться (хотя не зима), доехать поскорей (хотя известно, что подгонять поезд бесполезно).

Суматоха немного стихает. Теперь из вагонов показываются транзитные пассажиры — без шапок, распояской, в тапочках. В руках — эмалированные чайники: видно, идут за кипятком. Другие спешат в буфет. Третьи просто прогуливаются по платформе, чтобы подышать свежим воздухом да показать, какие они молодцы — не боятся отстать от поезда! Ходят они медленно, с небрежным видом и только иногда исподтишка с тревогой поглядывают на поезд: на месте ли он?

Как бы нам с Гоарик хотелось забраться сейчас в этот поезд! Поехать, все равно куда, увидеть другие города, увидеть мир, который так велик!

Когда-нибудь, конечно, поедem и мы, но нам бы сейчас, с этим поездом!..

Первый звонок уже был. Был и второй. Теперь раздается третий. Из вагонов никто не выходит: никто из провожающих не осмелился войти туда, боясь, что не успеет выскочить в последнюю минуту. А несколько смельчаков, которые все-таки заскочили в вагон на минутку, давно уже стоят опять на платформе, в толпе у дверей и открытых окон.

Неистовый свисток паровоза исторгает из уст провожающих последние возгласы, рыдания и напутствия. Поезд вздрагивает, медленно трогается. Но, оказывается, идет не он один: с ним вместе, так же медленно, идет и вся платформа. Мы с Гоарик тоже невольно двигаемся вместе со всеми. Поезд прибавляет ходу — и платформа тоже. Мы прибавляем шаг, мы бежим, но вагоны бегут мимо нас еще быстрее. Это больше и не вагоны уже, и нет у них больше окон. Мимо нас со стуком мчится что-то громадное, слитное, все состоящее из горизонтальных расплывчатых линий...

И вдруг эта громада сразу обрывается. Вместо поезда пустота... темнота... У наших ног край платформы, мы чуть не сорвались... Далеко впереди мерцает красный огонек уходящего поезда...

Мы долго смотрим на эту красную точку, пока она не исчезает. А потом, погрузневшие, медленно идем обратно. На платформе уже почти никого нет. Только что она была узкой, тесной, весело освещенной, многолюдной, а теперь она такая просторная и унылая, с открытым темным пространством перед ней!

В зал ожидания мы больше не заходим. Там уже пусто, свет на буфете и над киоском погашен, горит только одна лампочка под потолком, но и то не посредине, а в углу. Уборщица подметает пол.

Другого пассажирского поезда не будет до утра.

На темной маленькой площади перед вокзалом в этот поздний час стоит всего несколько фаэтонов в ожидании случайных пассажиров. Извозчики сидят на козлах с кнутами в руках. Зимой на извозчике толстый синий кафтан с золотыми пуговками на груди и на лопатках, подпоясанный красным кушаком. А летом — кумачовая рубаша, выпущенная изпод черной жилетки. На голове — шляпа, поля которой сбоку загнуты кверху. На козлах по бокам — фонари. В них мерцают тупые толстые свечки.

Фаэтонов в городе немного, но ведь и город маленький! Поэтому извозчики больше стоят, чем возят пассажиров. Они рады даже таким бедным седокам, как мы с Гоарик, позволяющие себе роскошь ездить раза два в неделю.

Извозчик, всегда возивший нас в город, замечает нас, нахлестывает лошадей и подъезжает. Мы садимся, и фаэтон трогается.

Как долго тащимся мы до центра города, как долго! И как однообразно шуршат колеса! Как мерно стучат копыта лошадей о мостовую! Как мерно подпрыгивают на спинах лошадей шлеи из тонких ремешков с блестящими бляхами, производя негромкий звук: бряк-бряк-бряк...

Ног лошадей мы не видим, а видим только, как сокращаются и растягиваются мышцы на их крупах, сокращаются и растягиваются еще и еще, беспрестанно и одинаково. Свет фонарей фаэтона падает на лошадиные крупы.

Мы с Гоарик неподвижно, словно в забытьи, глядим на улицу. Извозчик, видимо, понимает нас и не делает ни одного резкого движения, не произносит ни одного слова, не понукает лошадей, чтобы не нарушать очарования.

Мы глядим на родной наш город, на спящие дома, на вереницу мигающих в темноте фонарей над дверьми, на светлые витрины магазинов.

В глубине поперечных, более узких улиц уже полный мрак. Керосин в лампах, рассчитанный так, чтобы его хватило до десяти-одиннадцати часов ночи, выгорел, и они погасли. Тем ярче кажется нам свет угловых магазинов.

Нам особенно нравится тот квартал, где светятся рядом восемь витрин, не считая трех за углом. Это целая река света, которую наш фаэтон переплывает медленно, долго. С каким нетерпением мы ждем этого квартала! Вот мы подъезжаем, вот лошади озарились светом, вот и весь фаэтон купается в нем...

Но мы опять въезжаем в полумрак, едем еще долго, а потом наш фаэтон немного скорее катится под гору, мимо большого черного здания давно заброшенной старой бани, поднимается в гору, и наконец мы видим перед собой, ниже нас, недавно расширенную городскую площадь, освещенную электрическим сиянием витрин и уличных фонарей. Это центр нашего города.

Извозчик, который тоже как будто находился в каком-то оцепенении, встряхивается, покрикивает на лошадей, шелкает кнутом. Мы с Гоарик разом возвращаемся в этот мир, смотрим друг на друга, улыбаемся. Фаэтон шумно выкатывается на площадь и останавливается на углу одной из улиц. Мы спрыгиваем на землю, прощаемся, желаем спокойной ночи друг другу и нашему любимцу — городу и расходимся по домам.

Дожил ты до счастливых дней, парень!

Мечтал ты, парень, быть сытым, и вот ты сыт. Мечтал спать в мягкой и свежей постели, и вот ты лежишь в ней. Ложишься ты поздно, после кино, или театра, или хорошей прогулки по городу вместе с Гоарик. Да и другие люди стали позднее запираются в своих домах. На улицах, освещенных множеством керосиновых фонарей, ты теперь нередко видишь прохожих. Изменились дни твои, изменились и ночи, парень!

Правда, и теперь иногда тебя будит по ночам надоедливый «лунный вой» собаки, но тебе больше не грустно и не страшно. Под лунным светом город твой лежит усыпанный мелким бисером ночных огней. В тишине ночи ты мысленно слышишь безмятежное дыхание тысяч и тысяч жителей спящего большого — да, да, уже большого — города.

А какое оживление на далеком от твоего домика вокзале, парень! По ночам там проходят два товарных поезда, да еще маневрируют какие-то паровозы, их свистки то и дело прорезают ночь.

Люби его, парень, родной свой город, люби крепче — об этом ведь ты мечтал!

Выпало тебе счастье, парень, да еще какое счастье!

### 3. Грустное разочарование

В городе появились автомашины. То тут, то там стали мелькать они на улицах, блестя на солнце гладкими полированными кузовами. За день, однако, они становились матовыми от уличной пыли.

Мы с Гоарик часто видели их днем, а если сидели дома, прислушивались к их сигналам. Мы сразу полюбили их. Они были новым доказательством того, что город наш растет, благоустраивается, богатеет. Они сразу стали неременной принадлежностью нашего города. Следя за ними глазами или слухом, мы тихо бормотали про себя стихи из Верхарна, благословляющие большой город, то и дело пропуская слова и строки негодования, потому что они относились к городу капиталистическому.

Как-то долгое время мы вечером не встречали автомашин. То ли отдыхали они, как уставшие за день животные, то ли мчались по другим улицам. Но наконец настал тот день, вернее — вечер, когда одна из них появилась на нашем пути.

Шли мы тогда с Гоарик обычным путем на вокзал. Уже темнело. Шли мы, как всегда, медленным шагом, останавливаясь перед всем, в чем находили что-нибудь особенное, красивое.

Вот длинный плоский камень — лавочка у дверей дома. На нем, наверно, еще недавно сидели женщины и смотрели на прохожих, ожидая, когда вернутся с работы мужчины. Где-то далеко за городом заходило солнце, озаряя улицу прощальным светом. Но женщинам не было грустно, потому что это был час, когда возвращаются мужья и отцы, сыновья и братья, возвращаются живыми и невредимыми. А солнце — что? Оно прощается каждый вечер, но каждое утро возвращается. Разве может оно покинуть этот прекрасный, радостный мир?

А по утрам, когда уходят мужчины, опять-таки нет грусти на душе у женщин, ибо сразу приходит к ним солнце, щедрое, сверкающее, и говорит им, что нечего волноваться, ничего с мужчинами не случится плохого, не те времена! Они просто ушли строить новый мир и к вечеру непременно придут домой — не будь я солнце!

И нам с Гоарик не грустно. Стоим мы в вечерний час перед этим опустевшим камнем, но всем своим существом чувствуем солнце, что ушло и придет. А за стенами дома, за ставнями, мы чувствуем счастливую семью. Все дома!

Над дверью горит керосиновый фонарь. От него на тротуаре лежит полукруг света, лоснится лавочка. Озарены светом и мы. Правда, вокруг темно, но в нескольких шагах от нас другой фонарь, дальше — третий, десятый...

Вдруг сзади нас послышался знакомый сигнал легковой машины. Сразу появившись из-за угла, она понеслась навстречу нам. Улица утонула в слепящем белом свете, хлынувшем из двух фар. Он ударил прямо в нас, сделал видимыми до последней пуговицы и как будто поймал за чем-то недозволенным. Мы страшно смутились. Наверно, люди в машине смотрели на нас и смеялись.

Ошеломленные белым светом, мы хотели выйти из его широкого снопа, но свет вдруг сам отпрянул от нас. На одну секунду блеснуло боковое стекло машины, за ним мелькнул желтый свет лампочки, прикрепленной под потолком кабины, и в этом свете профиль шофера и еще какого-то человека.

Мы посмотрели вслед машине. Темнота в глубине улицы, стоявшая черной и плотной стеной, быстро редела и таяла под набегающим светом. Из темноты выступали стены, ворота, двери, окна, водосточные трубы... Все они внезапно освещались и разом гасли.

Уходя в направлении вокзала, свет наконец исчез.

Мы оглянулись вокруг себя. Где это мы?..

Мы стояли в свете керосинового фонаря, в свете, разбавленном темнотой. Вернее было бы сказать, что это была темнота, чуть облученная.

Такая же темнота, чуть выцветшая полукружием, стояла в двух шагах от нас, перед соседней дверью. А дальше — первозданный чистый мрак пустых полей или безлунного неба.

Куда же делась сверкающая огоньками улица? Что с ней стало?

Ничего. Просто по ней прошла автомашина.

Выйдя после отхода поезда на привокзальную площадь, мы в этот вечер не услышали шелканья кнута и к нам не подъехал знакомый нам извозчик.

В первую минуту это показалось странным, но мы сразу же поняли: ну что ж, нашел более выгодных пассажиров и уехал. Не обязан же он каждый раз возить нас.

Мы колебались: взять ли нам другого извозчика? Поймет ли он нас? Не будет ли он всю дорогу шелкать кнутом и ругать лошадей? Не будет ли погонять или придерживать их, нарушая мерное однообразие езды? Чего доброго, он еще остановится у старой бани, чтобы напоить лошадей у фонтана?

Мы стояли в нерешительности. Другие извозчики, увидев, что наш знакомый не подъезжает, и заметив, что его нет, все сразу тронулись к нам. Но Гоарик остановила их движением руки.

— Давай пойдем пешком, — сказала она.

Мы уже собирались идти, когда из вокзала вышли два человека. Один из них, средних лет, был нам знаком. Другого, видимо только что прибывшего, мы не знали.

Наш знакомый, ответственный городской работник, любил Гоарик, и это было нам известно. Но он любил ее безнадежной любовью человека, сознающего, что молодость его уже позади, ее не вернешь, не сделаешь жизнь лучше, счастливей...

Он скрывал свою любовь от всех, от Гоарик особенно. Говорил он с ней сдержанно, скупое, с легкой тенью грусти на лице. Особенно заметна была эта грустная тень, когда он встречал Гоарик со мной.

Я уважал его и его чувство, и мне становилось неловко оттого, что я молод, а он отяжелел под грузом трудных лет, что передо мной открыты все радости жизни, а ему, добывшему счастье для меня, досталась молодость бедная и тяжелая.

Заметив Гоарик, он обрадовался. Меня он не заметил или, вернее, не узнал. Тем не менее мгновенную радость свою он подавил сразу же.

— Гоарик?! — воскликнул он вопросительно. — Чего ты стоишь здесь? Тебе в город?

— Да.

— Так поедем с нами! — И, обернувшись к своему спутнику, представил: — Одна из лучших комсомолок города.

В эту минуту в темноте вспыхнули автомобильные фары. Легковая машина подъехала к ступенькам подъезда.

— Поедем? — обернулась ко мне Гоарик.

Тут только наш знакомый увидел меня. В одно короткое мгновение на его лице, открытом и усталом, появилось выражение грусти, но он сразу же приветливо поздоровался со мной и открыл дверцу машины. Посадил он нас на заднее сиденье, а сам с приездом человеком втиснулся в кабину рядом с шофером. Дверцу он закрыл тихо, беззвучно, как будто боясь, чтобы его не заподозрили в душевном смятении. Всю дорогу он говорил только с приезжим и шофером, деликатно не обращая внимания на нас.

Какой момент в нашей жизни! Мы впервые в автомашине! Вот сейчас она тронется с места, и мы поедем...

И тут произошло нечто невероятное.

Привокзальная площадь с окружающими ее домами, маленькая, но все же тяжелая, каменная, вдруг с легкостью волчка повернулась вокруг своей оси и подставила под автомашину улицу, ведущую в город. В следующую секунду мы уже были на этой улице и мчались с невероятной быстротой. Меньше чем в одну минуту мы проехали ровную часть улицы и спустились в первую низинку. Поднялись мы оттуда сразу же, как будто холмы и ложбины были просто ухабами на ровной дороге.

По обеим сторонам машины стояла темнота, но, когда мы смотрели вперед через головы сидевших перед нами людей, мы видели улицу, пронзенную таким стремительным светом, будто это была струя чистой воды, бьющая из пожарного шланга. Он смывал темноту с предметов, и мы их видели ясно и четко, как днем.

Мы промчались мимо каких-то семи-восьми слабо освещенных и не очень больших окон. Что это было такое? Неужели это были те восемь витрин, которые, как нам казалось раньше, были огромными и щедро освещали целый квартал? Яркий белый поток, брошенный автомобильными фарами, накрыл выплеснутый из магазина желтый свет.

Перед нами вдруг возникли слабые точки редких огоньков. Машина остановилась. Неужели это центральная площадь? Неужели мы уже приехали?

Садясь в машину, мы еще не успели расположиться как следует и вот теперь должны были выходить из нее... Мы смотрели вокруг, удивляясь, что мы не там, у вокзала, а уже в центре города.

Мы с Гоарик посмотрели друг на друга пораженные, ошеломленные. Произошло что-то большое, непоправимое. Произошло событие, о котором мы еще не в состоянии были дать себе отчет. Наш город уменьшился... За несколько минут он, большой светлый город, превратился в маленький темный городишко...

Но ведь не мог же он стать таким в несколько минут! Значит, он всегда был таким, а мы просто не замечали этого. И вот автомобиль за несколько минут прошел через него почти насквозь и доказал это.

Убедиться в этом: было очень тяжело. Очень! Мы упорствовали.

Первой заговорила моя подруга.

— Пойдем на вокзал,— сказала она.

Я не спросил ничего — я понял ее. И мы быстро-быстро, спеша, впервые не рассматривая ничего на улице, пошли на вокзал.

Был уже поздний вечер, почти ночь. Возле вокзала упрямо стояли два-три извозчика. Один из них был наш. Он отвез пассажиров в город и вернулся.

Он двинулся было к нам, но в нерешительности остановил лошадей. Ведь мы только пришли, захотим ли вернуться сразу же? Но я подал знак, и извозчик подъехал.

Мы сели и по обыкновению прижались друг к другу, по обыкновению посмотрели на фонари фаэтона, по обыкновению стали наблюдать, как свет скользит по двигающимся крупам лошадей. А потом, как будто растворившись в шорохе колес и в движении, мы стали глядеть на улицу.

Была минута, когда мы даже забыли нашу душевную тревогу. Но нам не суждено было поправить непоправимое.

Фаэтон катился медленнее, чем обычно. Казалось, извозчик знает все и нарочно едет медленно, чтобы вернуть нам длительность пути, улице — протяженность, фонарям — блеск, домишкам — очарование...

Но нам не надо было фальши. Зачем ехать нарочно медленно? Все равно, глядя на дома, мы замечали, какие они маленькие, мы видели,

как слаб свет керосиновых фонарей — и пятилинейных и восьмилинейных. Когда мы проехали мимо одиннадцати витрин, то обнаружили, что их свет был вдвое, втрое слабее, чем нам представлялось до сих пор.

А извозчик старался обмануть нас с возмутительной наивностью. Или, может-быть, он делал это неумышленно? Может быть, лошади устали, и он просто жалел их? Напрасно! С лошадьми ничего не случится, а нам ведь надо вернуть себе потерянную неторопливость, посмотреть на город теми же глазами, какими мы смотрели раньше. Поэтому Гоарик сказала извозчику:

— Погоняй, как всегда!

Извозчик удивленно обернулся. Это были чуть ли не единственные слова, которые он услышал от нас за все время нашего знакомства.

— А я разве еду не так, как всегда? — спросил он.

— Как всегда, — сказал я и посмотрел на Гоарик.

Мы поняли друг друга. Фазтон катился действительно как всегда. Это после автомобиля езда показалась нам такой медленной. Автомобиль открыл нам глаза. Мы напрасно взяли извозчика. Чего мы хотели этим добиться? Вернуть себе прежнее представление о нашем городе? Обмануть себя?

Нам было стыдно. Мы стали с нетерпением ждать конца этого затянувшегося, ненужного путешествия. Доехав до площади, мы быстро слезли и, даже забыв попрощаться друг с другом, пошли по домам.

А ты думал как, парень?

Это только в сказках счастье сваливается на человека сразу, в один прекрасный день. Конечно, в жизни бывает такой большой, поворотный день, когда решается судьба человека и всего народа, человека и класса. Это называется революцией. 29 ноября 1920 года она совершилась и в Армении — страна стала советской. Вопрос — жить или не жить тебе и твоему народу — решил я в твою пользу: жить! И жить свободно, счастливо!

Да, это был самый большой, самый решительный день в твоей жизни, парень! Он сделал возможным счастье. Но, чтобы добыть это счастье, надо еще много бороться и работать.

А ты думал не так, парень. Радость революции так наполнила твою душу, что ты вообразил, будто все уже добыто сразу, за один-два года...

Нет, парень, добыто еще очень мало. И невелико счастье, основанное на этом малом. Ты просто не знаешь еще, что такое счастье большое, настоящее.

Но оно будет, будет! Не горюй, что жизнь не сказка, и даже революция не превратила за два года твою страну в сказку. А ты вспомни, парень, что было с твоей страной перед установлением Советской власти... Но нет, не надо вспоминать — вспомнишь ты потом, когда все это станет далеким прошлым.

И не забывай, парень, что Советская Россия, по-братски протянувшая нам руку, сама еще тогда не вылезла из разрухи и бедности.

Так вот скажи, парень: возможно ли было превратить твою страну за два таких года в цветущий край? И чтобы в городах стояли многоэтажные дома, дымились большие фабрики и заводы, дышали тенью и покоем парки и скверы, асфальтировались тротуары и мостовые, мчались автомобили и трамваи?.. И чтобы в стране не осталось людей мерзких, людей подлых, мешающих нам?

Нет, парень, за два года это было невозможно. Конечно, я не хочу сказать, что это невозможно вообще. Вполне вероятно, что в будущем, когда вся Советская страна будет сильнее и богаче, другие страны, в которых произойдет революция, за два года добудут неизмеримо

больше счастья, чем добыли мы за свои первые два. Но это будет когда-нибудь, а пока...

А пока вот: маленький, неудобный городишко, без электричества, без транспорта, без парков и цветников, дома неудобные для жилья, улицы неудобные ни для езды, ни для пешего хождения, мастерские — для работы в них... Вот какой это городишко. И живешь ты как раз в нем!..

Ты не знал, парень, что он такой. Но осколок большого счастья — автомобиль — попал в твой город и открыл тебе глаза. Благослови этот автомобиль, парень! И, кто знает, если в самом деле тебе суждено стать когда-нибудь писателем, благослови его и своим пером, чтобы люди знали!

Восхищаться нашим городом мы перестали. Мы разочаровались в нем. Это было грустное разочарование. Напрасно наш знакомый извозчик ждал на вокзале постоянных своих пассажиров. Напрасно наша улица ждала энтузиастов керосиновых фонарей. Мы видели теперь наш городок таким, каким он был. Это было неприятно. Но это была правда.

Однако не только эту правду видели мы. Мы видели, что наш городок, словно упавший человек, делает первые попытки встать на ноги. Тут восстанавливают разбитый тротуар, там поднимают обвалившуюся стену... Не созерцать и восхищаться, а помогать надо нашему городу в его усилиях. Помогать добыть счастье своими руками...

Но, увь! Для нас обоих это пока выражалось в одном: хорошо учиться. И мы учились хорошо, проклиная каждый день, задерживающий наступление следующего дня. Мы спешили. Мы спешили строить наш город.

И вот как-то днем случилось нам с Гоарик идти по нашей улице, ведущей на вокзал. Дойдя до магазина в одиннадцать витрин, мы стали свидетелями удивительного зрелища: магазин ломали. Рабочие, с ломами и лопатами в руках, рушили плоскую крышу. Пыль стояла кругом. Глыба за глыбой обваливались потолки, стены. Из груд земли и камней торчали обломки сгнивших, источенных балок. Открылись глазу внутренние стены магазина, окрашенные в синий или розовый цвет, с белыми следами сорванных полок...

Улица лишалась лучшего магазина, лишалась одиннадцати витрин. А ломали не только магазин, но и три соседних дома по нашей улице и два — по поперечной. Эти дома мы знали хорошо! Знали и их жильцов. Не раз смотрели мы на них через щели в ставнях. Вот в этом жили дед и бабка с маленьким внучком. А в этой вот квартире жили мать с сыном. Вечерами мы видели усталую, измученную женщину, но она не отдыхала, а вечно была занята нескончаемыми домашними делами. Видели ее сына, помогающего матери и непрестанно, увлеченно, весело говорящего ей что-то. Может быть, заделывая щели в полу или стенах, он рисовал матери жизнь намного лучшую, которой еще нет, но которая скоро настанет.

И вот всех этих хороших людей — жильцов этих домишек — переселили куда-то, а квартиры их ломали. Но нам не было жалко ничего. Пусть ломают. Уж верно построят на этом месте что-нибудь получше.

Нашей провинциальной романтике пришел конец.

#### 4. Крылатый конь Пегас

Однажды ночью шел дождь. Я проснулся от его стука по плоской крыше, проснулся грустный, подавленный. По-видимому, во сне я долго слушал монотонный, унылый шум.

Мне и прежде случалось просыпаться от шума дождя. Но, прислушиваясь к нему, я чувствовал себя надежно. Ведь большой и благоустроен-



ный, как мне казалось тогда, город наш стоял под дождем уверенно и спокойно. На улицах по широким, молочного цвета абажурам электрических фонарей стекала дождевая вода, и казалось, что с них стекает не вода, а свет. Под фонарями дождь шел зримо, похожий на блестящие стеклянные бусы, нанизанные на черные нити, которые кто-то беспрестанно дергал и дергал.

По широким тротуарам торопливо шагали мужчины и женщины в блестящих черных плащах с поднятыми капюшонами. На каждом шагу встречались утопающие в электрическом свете рестораны, куда, смеясь, вбегали, спасаясь от дождя, люди — пары и группы. По мостовой мчались запряженные в фаэтоны лошади. Их копыта с цоканьем путались в струях дождя, блестевших над самым асфальтом, как серебряная трава. Дождь смывал пыль с гладкой шерсти лошадей, с поставленного верха фаэтонов, и они черно блестели под светом, и на них торчала серебряная колеблющаяся щетина дождя.

Что это было? Поэма Верхарна? Роман Золя? Или фильм о Москве?..

Нет, это был наш маленький городок, перевоплощенный моим воображением.

А на самом деле дождь поливал маленький темный городок, одноэтажные домики которого промокали насквозь. Немощенные улицы сразу превращались в грязь. Керосиновые фонари зачастую гасли от просочившейся в них воды. На площади и на нескольких центральных улицах, в полном безлюдье, без призора, мерцали одинокие красноватые точки слабых электрических лампочек, окруженные густой темнотой. Единственная столовая на главной улице закрывалась рано вечером, а единственное кино — еще того раньше...

Вот как было на самом деле.

Вдруг мне послышался тихий стук в комнате. Может, показалось?.. Нет, опять. Интересно, что это такое?

Я стал прислушиваться. Ну, конечно, ничего интересного не было. Просто протекает наша крыша...

Я встал с постели, подставил под капли жестяную банку и опять лег. Монотонно, через равные промежутки времени, капала дождевая вода. Казалось, что по банке кто-то щелкает пальцем. Но потом, когда в ней набралась вода, сухой звук падающих капель стал шлепающим. Отвратительный звук! От него возникало такое ощущение, будто я попал ногой в лужу или сел на мокрый стул. Лежа в постели, я мысленно бродил по нашей маленькой квартире, а потом и по всему городу в поисках надежного сухого места — и не находил его. Дождь проникал всюду и мочил все. Промокала насквозь одежда, в ботинках хлюпала грязная вода. Я попадал в лужи и спотыкался на неровных тротуарах.

И вдруг (может быть, я уже заснул и вижу сон?) навстречу мне быстро идет Гоарик. Вот она подошла, широким движением накинула на мою голову большую газету и сама тоже забралась под нее. Лицо Гоарик испещрено, словно веснушками, крапинками света. Я смотрю вверх — над нами мерцают какие-то слабые точки. Звезды? Нет, это светятся фосфорическим светом буквы в газете. Я начинаю разбирать их и читаю: на улице, ведущей на вокзал, на месте снесенного магазина и соседних домишек уже стоит трехэтажное жилое здание...

Вот радость!

— Пойдем посмотрим, Гоарик!

Я схватываю ее за руку, и мы торопливо идем. Свернув на улицу, ведущую на вокзал, мы еще издали видим дом, сияющий огнями. Мы прибавляем шаг. Мы бежим...

Вот и дом. Мы врываемся туда бегом, вдыхая запах свежей краски, поднимаемся по мозаичным ступенькам лестницы на третий этаж и отворяем дверь одной из квартир.

— Выйдем же на балкон,— торопит меня подруга.

— Какой еще балкон? — смеюсь я.— Наш город одноэтажный, и нет в нем ни одного балкона. Хотя, постой, мы же в новом доме, трехэтажном!..

Мы выходим на балкон и сразу же отшатываемся: перед нами и у наших ног, внизу, раскинулся необозримый город в бесчисленных огнях фонарей, окон, вывесок... Мы смотрим на город с десяти-, с двадцатиэтажной высоты. До самого горизонта, во все стороны, тянутся светящиеся пунктирные линии, вонзаются в небо башни из световых точек, где-то внизу сияют озера сплошного света, похожие на ковши с расплавленным металлом. Над площадями и улицами, заслоненными от нас темными силуэтами каких-то высоких стен, на небе стоит световая пыль: там городские центры с их скоплениями огней.

Вдруг я слышу рядом восторженный, глухой от волнения голос моей подруги:

— Смотри, смотри!..

Она показывает куда-то под ноги, под балкон.

Я отрываю взгляд от панорамы города и смотрю вниз. Сердце у меня замирает, голова кружится...

Мы висим прямо над улицей. Сияющие огнями отвесные стены уходят вниз, далеко-далеко, и кончаются сплошным светом витрин на первых этажах. Людские потоки текут по тротуарам в обоих направлениях, неторопливо, по-вечернему празднично. А посредине улицы мчатся, снуют взад и вперед машины, трамваи... Дождя, конечно, нет и в помине.

Неужели это сон? Неужели я сейчас проснусь и все это исчезнет?..

Нет, это не сон. Это мечта жителя провинциального городка, подогретая воображением стихотворца, еще не начавшего писать...

...Я так поверил в свою выдумку, что вскочил с постели, наскоро оделся и вышел на улицу.

Нет... С прежней силой шел дождь. Он отрезвил меня, и я увидел: он поливал плоский и неудобный наш городок. Ох, какой неудобный!

А дом, что строился на нашей с Гоарик улице, еще не был завершен — мы это знали. Мы сгорали от любопытства: как его строят, сколько там этажей?.. Но мы удерживались, ни разу не ходили смотреть на стройку, чтобы потом, когда дом будет готов, увидеть его сразу...

Я сразу промок под дождем и повернул домой.

Вечером знаменательного дня я зашел за Гоарик; она поспешно оделась, и мы вышли.

Как мы спешили! Как мы летели! Спотыкаясь в темноте на каждом шагу, мы старались выиграть хоть минуту.

Мы его увидели еще издали. Над плоскими крышами одноэтажных домов, над приземистым нашим городом, высился мощный многоэтажный корпус. Все его этажи сияли электрическими огнями, во всех окнах горел свет. Жители праздновали новоселье.

Мы зашагали быстрее, не отрывая от него взгляда. И вдруг мы заметили, что он постепенно погружается куда-то и чуть ли не скрывается из глаз. Что это? Не сон ли опять? Да нет, просто мы спустились в первую ложбинку.

Когда мы опять поднялись на горку, дом был уже близко, чуть не в двух шагах. Теперь он, конечно, был виден сверху донизу.

— Смотри, смотри!..

Нет, идти было уже невмоготу! Мы побежали. Улица перед нами была резко рассечена на темноту и свет. Мы вступили в полосу света, остановились на тротуаре напротив дома и взглянули на него — ошеломленные, очарованные... Раз, два, три... Пять этажей!..

Весь первый этаж занят магазинами. Двенадцать витрин по ведущей на вокзал улице и шесть — по поперечной. Стекла огромные и такие прозрачные, будто их и нет. Какие товары! На своих причудливых стеклянных, зеркальных, никелированных подставках, в ярком свете, они кажутся несказанно красивыми. Восемь витрин на нашей улице занимают три магазина — кондитерский, галантерейный и книжный. Остальные четыре витрины закрыты занавесками кремового шелка. Там ресторан, оттуда слышна музыка.

Над витринами четыре жилых этажа: светятся окна, балконные двери. Как будто какой-то могучий подъемный кран оторвал от земли целовеческое жилье и вознес его над одноэтажным городом. Темное небо, до вчерашнего дня висевшее так низко, чуть не касаясь земли, теперь поднято далеко ввысь.

Как стройно одинаковы окна и как в то же время разнообразны! Одни из них блестят ярким, почти белым светом люстр, другие — мягким, зеленым от абажура светом настольных ламп, третьи — розовым и голубым сиянием ночников...

Мы видим белые потолки с лепными карнизами, с большой розеткой посередине.

Мы видим золотистые обои на стенах одной из комнат четвертого этажа.

Мы видим в третьем этаже мягкую теплоту темно-красных ковров. Видим портреты.

Из одного окна смотрят вниз мужчина и женщина. Он — с гладким зачесом, в галстук, она — в халате с широкими рукавами.

Из другого окна доносятся звуки рояля.

Опершись спиной на перила одного из балконов, мужчина разговаривает с кем-то находящимся в комнате. В открытую балконную дверь видна узкая полоса уютной комнаты.

На другом балконе стоит чайный столик, вокруг которого сидят несколько мужчин и женщин.

Рядом с балкона удивленно смотрят вниз двое детей, один — ростом ниже перил, другой — чуть повыше.

На четвертом балконе сидит пожилой человек с военной выправкой, заложив ногу на ногу, и курит.

Сегодня первый день существования этого дома, а он уже обжит! — Смотри, смотри! — восторженно шепчет вдруг Гоарик.

Я смотрю, и сердце мое обливается радостью. Да это же они — дед и бабка с маленьким внучком в просторной комнате второго этажа! А там, на одном из балконов четвертого этажа, сидит она, знакомая нам женщина! Но мы с трудом узнаем ее. Самой наглядной ее приметы — измученного выражения — нет больше на ее лице. Смотрит она вниз со своей высоты и улыбается — по-настоящему счастливая. А рядом с ней стоит ее сын и взволнованно шепчет ей что-то на ухо. Может быть, обещает ей еще большую радость и еще лучшую жизнь?

Вот кто населяет наш дом — наши дорогие люди, давние знакомые мои и Гоарик! И как знать: они счастливее или мы, наблюдающие их счастье?..

А внизу, на улице, то и дело открываются и закрываются массивные, тяжелые на вид и легкие в движении двери магазинов, входят и выходят покупатели и просто любопытствующие.

Мы с Гоарик тоже успели побывать там, входили и в подъезды, поднимались по красивым и пустым лестницам, вслушивались в веселый шум новоселья за дверями. А теперь мы хотим посмотреть на дом с поперечной улицы.

Тротуар перед домом замощен широкими гладкими каменными плитами, он вдвое шире старых тротуаров. Скругленным углом он заворачи-

чивается на поперечную улицу. Угол дома тоже не прямой, а скругленный. Прямой угол отрезал бы ножом узкую темную поперечную улицу от широкой, а скругленный угол соединяет их, незаметно переводит одну улицу в другую.

Но это сделано не для пустого утешения глухой и безлюдной поперечной улицы: она и на самом деле приобщилась к радостной жизни большой улицы. На довольно большом расстоянии она щедро освещена, и это не отражение света большой улицы, а ее собственный свет, хлынувший из шести витрин двух оживленных магазинов — мануфактурного и гастрономического. А над магазинами — те же четыре жилых этажа.

Потоки света проникают в глубь улицы, как будто стараясь разбудить ее, уже уснувшую. Вслед за светом уходим в глубь улицы и мы, потом поворачиваемся и смотрим. И тут мы замечаем самое красивое в этом многоэтажном доме: его торцовую стену...

Казалось бы, нет там ничего красивого. Сложена она из простого, необлицованного камня, и нет в ней ни одного окна. Но кромка этой стены зубчатая, то есть она не закончена, а временно прервана и ждет продолжения. Дом должен строиться дальше с этой стороны, со стороны глухой поперечной улицы...

На торцовой стене, посередине, одна над другой, вырисовываются временно замурованные пять дверей. Они выходят в пустое пространство, в ночную темноту. Они ведут в комнаты, которых еще нет. Камень, бетон, стекло и электричество еще не отогнали тьму и пустоту, подступившие вплотную к этой стене.

Красивая стена! Темная, но с блестящим будущим!

Что — стена? Дом весь стоит, как большой осколок какого-то настоящего крупного города, осколок, залетевший в наш одноэтажный полутемный городишко. Может быть, он пришелец из будущего, предвестник и глашатай его? Его начало?..

И действительно, когда мы, остановившись на углу улиц, перед большим домом, приложив ладони ребром к лицу, отгородили многоэтажный светлый дом от темных улиц, нам показалось, что он не один, что за нашими ладонями стоят в ряд и другие такие же дома, что все улицы — большие, весь город — многоэтажный...

Да, дом этот был построен с расчетом на продолжение, с расчетом на будущее. Только слепой, посмотрев на эту громаду и одноэтажный домишко рядом с ним — ниже первого его этажа, — не увидел бы, что дом этот пришел, чтобы соскоблить с лица земли убогую провинцию.

Мы смотрим на него неотрывно, до боли в глазах. Больше всего нравилась мне и Гоарик тоже, конечно, грубая мужественность здания. Первый этаж был облицован диким камнем, верхние четыре сложены из розового туфа. Балконы — железобетонные. Крыша — железная.

Нет, не робкими шагами первого пришельца вошел он в наш город. Властным хозяином встал он на нашей улице. Пусть идут теперь дожди, снег, град, пусть дуют все ветры, ударит молния... Какие есть еще там стихии, пожалуйста сюда, если вам угодно, — ему ничего не страшно!

И нам с Гоарик ничего не страшно под защитой его мощных стен, его яркого света, музыки из ресторана и квартир, шума магазинов... Нам так приятно стоять возле него, прислониться к высоким и широким его стенам, почувствовать под ногами ровную твердую гладкость тротуара! И так неприятно смотреть из-под его стен на пустынную, темную улицу с одноэтажными спящими домиками! А ведь подумать только: еще вчера весь город был таким, в нем не было вот этого пятиэтажного гиганта, утопающего в свете, бодрствующего!

Стоит работать день и ночь, Гоарик, работать, не щадя себя, ради продолжения этого дома, ради создания других таких же, ради большого

города, который скрыт от нас дымкой близкого будущего. Но не оно придет к нам, а нам самим надо пробиваться к нему трудом...

А дом стоит и будет стоять. Мы смотрим на него еще раз, и еще, и еще и не можем оторваться, чтобы уйти наконец домой.

Как крылатый конь Пегас, дом унес меня и Гоарик в чудесную сказку — в действительность будущего. Мы побыли там недолго, совсем недолго, но и этого было достаточно, чтобы насквозь пропитаться будущим.

И вот мы опять вернулись в наш городок и смотрим на него пораженные. Мы протираем глаза, не веря им, как будто не наш городок был действительностью, а будущее — видением, а наоборот, будущее было действительностью, а городок — призраком прошлого, внезапно вставшим перед нашими глазами...

Скорее бы туда, в будущее!..

Вы, сегодняшние жители советской земли, особенно вы, кто родился после меня! Вы, ровесники молодости моей! Не смейтесь надо мной и моими согражданами за то, что строительство одного-единственного дома мы считали событием. Пусть вам выпала счастливая доля — с самого начала своей жизни ходить по новым улицам, мимо множества новых и строящихся домов. Но и мне, и мне выпала не менее счастливая доля — увидеть первый дом, построенный в нашем городе в советское время.

Он стоит и поныне и, право, выглядит не хуже тех, что были построены потом. Ну, может быть, и хуже чуточку, но разве в этом дело? Вы пройдете мимо него и не заметите в нем ничего особенного, а я вот прохожу каждый раз с волнением, ибо знаю, что он был первым, что весь наш новый город начался с него.

Наш новый город... Но почему я его называю так? Ведь наедине с собой я зову его Сбывшимся Будущим. Сбывшееся Будущее, а я живу в нем!..

А Гоарик? Где же теперь она? Ведь она тоже живет здесь, где-то рядом со мной! Но я не вижу ее. А может быть, и вижу каждый день, но не узнаю.

Гоарик! Ты слышишь меня? Мы уже пришли! И хотя дорога перед нами простирается все дальше и дальше, но мы уже пришли — пусть еще не к пункту назначения, но в тот город, о котором так долго мечтали вдвоем!



---

---

## СТИХИ ПОЭТОВ ГАИТИ

*Ниже печатаются стихи поэтов Гаити, принадлежащих к разным поколениям, придерживающихся различных политических убеждений и примыкающих к различным поэтическим школам. Эмиль Румэр (р. 1903) отдает предпочтение классическим формам стихосложения; прогрессивный литератор и активный участник борьбы за мир Ренэ Дегестр (р. 1926) пользуется свободным стихом. В той же свободной манере пишут и Жан Бриер (р. 1908) и Руссан Камилл (р. 1915). Талантливый поэт Жан Румэн (1907—1944), принимавший активное участие в борьбе за независимость Гаити и прошедший через тюрьмы и эмиграцию, оказал заметное влияние на современную поэзию Гаити.*

*Но в какой бы манере ни писали поэты Гаити, каких бы политических взглядов они ни придерживались, всех их объединяет горячая любовь к родной стране, ненависть к империализму и расовой дискриминации, глубокая вера в грядущее освобождение негров от гнета и эксплуатации.*

### ЭМИЛЬ РУМЭР

#### *Страдаешь ты...*

Страдаешь ты... Так знай, что многие смешной  
Найдут твою печаль и призрачной тревогу.  
«Коль друг твой изменил, к чему терять покой?» —  
Так будут говорить. Но ты своей дорогой  
Иди, не дорожа пустою мишурой,  
Борись и прочь гони тщеславие с порога.  
Ты негр. Будь этим горд. И, выйдя на борьбу,  
Будь честен, и тогда ты победишь судьбу.

#### *Оттого, что черна...*

Оттого, что черна, оттого, что скромна,  
Красота твоя людям подчас не видна.  
И не видят они этой грации стройной  
И не могут заметить огонь беспокойный,  
Что в глазах твоих знойных горит и сверкает...  
Ничего эти люди не видят, не знают...  
Я же знаю! И, в танце с тобою кружась,  
Счастлив я, что такой ты на свет родилась.

#### *Завещание*

Промчалась молодость, и больше мне не снится,  
Что в уличном бою с врагом я буду биться;  
Не вижу я теперь, когда смежаю веки,  
Что спас я край родной от тягостной опеки.  
Промчалась молодость, и жизнь моя прошла —  
Как хороша была! Как быстро отцвела!  
Но, презирая смерть, храню, как прежде, я  
Бесстрашие мудреца и гордость бунтаря.

## ЖАН РУМЭН

*Песни человека*

Я жаждал в печали моей  
узких улиц, ярких огней,  
ласки добрых и твердых стен.  
Все это было у вас —  
были улицы, стены, дом,  
жены в одеждах красивых,  
американское пиво  
и ром.  
Я брожу в лабиринтах ваших,  
вижу блеск разноцветных огней,  
и я бесконечно устал  
от жалобной песни моей.

И вот,  
печалью томим,  
с обнаженным сердцем моим,  
с тяжким грузом любви моей  
я стою у ваших дверей.  
Я стучался —  
открыли вы двери,  
говорил я —  
никто не верил  
и никто мне не подал руки;  
я только гримасы видел,  
я лютую ненависть видел,  
и мне на лицо обрушились  
железные кулаки.  
Я шатался от боли, а жабы,  
ядовитые, скользкие жабы,  
мне во мгле посылали проклятья  
из мутной своей реки.  
И тогда, одинокий и мрачный,  
я ушел, бредя наудачу,  
и за мной моя тень шагала,  
как верный товарищ мой.  
И стал я сильным и гордым,  
и руки мои над городом  
простираются черною аркой,  
врезаясь в сумрак ночной.

---

## ЖАН БРИЕР

*Встреча*

Я впервые встретился с вами  
в Нью-Йорке, осенью, возле камина.  
Воспоминания сердце мое наполняли  
и падали медленно и тяжело,  
как падают мертвые листья и пепел.  
Неясное чувство меня охватило,

и стало казаться,  
 что живу я в иной стране,  
 мечтами иными,  
 что среди безбрежных песков  
 усталость великая  
 в душу проникла мою.  
 Задыхающийся барабан в гвинейской ночи,  
 тяжелое, душное лето,  
 далекие реки, которые сняты мучительной жажде,—  
 весь этот оркестр минувшего  
 заглушал аккордом глухим  
 гул голосов и журчание смеха.  
 (В международном клубе это случилось  
 во время вечернего чая.)

Неожиданно взгляды наши скрестились,  
 словно две молнии, озарившие ночь тысячелетней тоски;  
 и мне показалось, что мы уже с вами встречались,  
 но где?  
 У пределов какой вселенной,  
 во власти какого страдания,  
 чьи объятия тайные все еще душат меня,  
 в каком краю, окутанном мраком,  
 произошла эта встреча?  
 И медленно,  
 среди неясного гула чужих голосов,  
 среди журчания смеха,  
 медленно,  
 как вспоминают утром приснившийся сон,  
 я раздвинул завесу веков  
 и вновь пережил  
 трагедию нашу.  
 Невольничье судно,  
 чья палуба залита кровью была,  
 невольничье судно привезло нас на рынок,  
 где торговали рабами.  
 Вы жили до этого на Золотом Берегу,  
 я — родился в Гвинее,  
 и встретились мы случайно.  
 Сон приглушил страдания ваши,  
 и, проснувшись, вы больше уже не рыдали.  
 Как будто вновь погружаясь в родную мне ночь,  
 на ваши тяжелые волосы  
 руку свою положил я;  
 и тогда  
 черный поток осторожно коснулся запястья,  
 на котором от цепи железной  
 остался страданья браслет.  
 На далеком неведомом острове  
 были нужны рабочие руки,  
 и белый человек,  
 чье лицо я больше не помню,  
 меня, не торгуясь, купил.

Волосы ваши хранили  
 прикосновенье пылающей черной руки.



Предо мною лежал  
мучительный путь по планете.  
Но прежде, чем раствориться в веках,  
я хотел навсегда вас запомнить,  
я хотел унести вас с собою  
в моих потускневших зрачках.  
К вам прикован был взор мой:  
вы были разбиты усталостью,  
сном тяжелым вы были разбиты,  
и ваши глаза,  
что могли бы меня полюбить,  
печально искали меня.  
Как траурный, черный лоскут,  
я поднял руку мою, чтобы с вами проститься,  
но в воздухе хлыст засвистел,  
и бессильно повисла рука.

Дни,  
моря,  
континенты,  
страны,  
годы,  
века...  
Осенью, возле камина, в одном из домов Нью-Йорка,  
в ваших огромных глазах  
я узнал былую печаль.  
Вы встали — и словно черная ночь распростерлась над нами;  
вы глядели на руки мои, что когда-то изранены были железом;  
я искал их след на ваших густых волосах.  
Нас обоих пронзило горькое чувство,  
и мы не могли продолжать  
тот безмолвный любви диалог,  
который был начат столетия назад  
на берегах,  
опустошенных насильем.  
Знаю:  
жизнь разлучит нас опять,  
снова лягут меж нами  
годы,  
страны,  
моря,  
континенты,  
снова будет томительный путь;  
но в конце его ждет нас прекрасный неведомый мир,  
где не будет рабов,  
где не будет бича предрассудков,  
где былая усталость моя  
снова встретится с хрупкой твоей красотой,  
что несет на себе вековую печать  
страданий,  
величия духа,  
тяжелого и грозowego молчанья.  
И там  
я снова увижу таинственный взгляд,  
который в шестнадцатом веке  
на вечер светлый и грустный  
в мире грядущем назначил свидание мне:

*Он нежно вас любил...*

Он нежно вас любил...  
 Он презирал все то, что поколенья  
 скопили для него:  
 власть,  
 почести,  
 богатство,  
 предрассудки.  
 Он нежно вас любил...  
 И если вырывался  
 он из объятий ваших,  
 то потому,  
 что раса искалеченных людей  
 страдала там,  
 где улица становится доро́гой,  
 а дом — сырой лачугой.  
 Веками угнетали эту расу  
 те поколения, которые любили  
 власть,  
 почести,  
 богатство,  
 предрассудки;  
 веками угнетали эту расу  
 те поколения, которые воздвигли  
 на муках и страданиях людей  
 свой праздничный дворец благополучья.  
 Он нежно вас любил...  
 И вырывался из объятий ваших.  
 Он жег со смехом побрякушки,  
 ему доставшиеся по наследству,  
 и дерзко издевался  
 над обществом богатых и трусливых.  
 И слышать приходилось вам не раз,  
 как горькие проклятья  
 срывались с губ его,  
 и видеть вы могли,  
 как складка грозная  
 у рта его ложилась.  
 Он в первом был ряду  
 тех, кто шагал на приступ,  
 чтоб одолеть  
 власть,  
 почести,  
 богатство,  
 предрассудки  
 и классы уничтожить навсегда.

## РУССАН ҚАМИЛЛ

*Надежда*

О заводы,  
стальные соборы!  
Машины трудолюбивые,  
машины быстрые  
с движеньями плавными  
и благотворными,  
машины черные,  
как моя кожа,  
машины, рассеянные по белому свету,  
три долгих столетья за вас, машины,  
я выполнял всю вашу работу,  
трудную вашу работу.

Стальные машины,  
добрые сестры,  
с сердцем из кокса  
и с грудью, в которой  
гудят киловатты,  
вольты трепещут;  
неутомимые,  
с медными нервами,  
дети любви и забот неустанных,  
невесты грядущего,  
пылкие, быстрые,  
или весталки  
нового храма;  
машины,  
отец мой трудом непосильным  
был в Сан-Доминго убит, уничтожен,  
мать моя  
умерла в Конакри,  
брат мой умер  
в Нью-Орлеане,  
моя сестра  
умерла в Сант-Яго.  
Погибли они  
от недосыпанья,  
от недосыпанья, недоеданья  
в те времена, когда я, машины,  
за вас выполнял всю вашу работу,  
трудную вашу работу.

Я — докер в Бруклине,  
я у топок  
потеею на всех океанских просторах,  
плантации Кубы вспаханы мною,  
проложены мною дороги в Алжире.  
Но если страданье мое сменило  
свое названье,  
свою одежду,  
то для меня никаких изменений:  
остался я тем же  
черным  
рабом.

Я раб,  
 хотя теперь вас, машины,  
 на всех широтах увидеть можно  
 и всюду теперь вы охотно готовы  
 измученным людям прийти на смену.  
 Я раб,  
 хотя ваши сильные руки,  
 железная грудь и широкие плечи  
 везде готовы прийти на помощь  
 моей усталости вековой.

Машины,  
 я тоже вложил немало  
 труда, чтобы шум рычагов ваших мощных  
 наполнил победно своим ликованием  
 тот мир,  
 в котором живет человек.  
 За все страдания  
 погибших братьев,  
 за все порывы,  
 пропавшие даром,  
 за трубные звуки грядущей свободы,  
 я тоже хочу танцевать, машины,  
 на празднике светлом, что будет кружиться  
 под ваш могучий и добрый оркестр.

---

## РЕНЭ ДЕПЕСТР

### *Я знаю слово*

Я знаю слово, в котором слышится трепет крыльев;  
 оно вызывает головокружение счастья,  
 оно воскрешает мгновенья, которым дано бессмертье,  
 оно раздувает парус моих мечтаний,  
 оно наполняет зрачки мои светом любви.

Я знаю слово, взятое из эпopeй;  
 оно парит над эмалью безбрежной равнины,  
 над ветром, в котором звучат незримые скрипки,  
 над холмами, чьи склоны размыты слепыми дождями,  
 над печалью цикад, притаившихся в травах высоких,  
 над соловьиною флейтой, поющей во мраке вечернем,  
 над неподвижным простором тревожных морей.

Я знаю слово, чью древность постичь невозможно;  
 оно презирает надутые важностью губы,  
 оно царит в голодных и нищих мансардах,  
 в тяжелом сне, прикованном к жесткой циновке,  
 среди многолюдья  
 и среди одиноких могил.

Я знаю слово, в котором история дышит;  
 в нем слышатся горны, звучавшие в утро пожара,  
 шаги бойцов, собиравшихся в чашах тревожных,

стон тростника, что оплакивал муки отчизны,  
голос глухой миллионов людей угнетенных,  
крики свободы, на крыльях бестрепетной смерти поднявшейся  
ввысь.

Я знаю слово, которым владеют по праву  
крестьяне в цепях  
и девушки в розовых платьях,  
седые жрецы  
и худые, бледные дети,  
люди и птицы,  
веселые птицы, чьи песни слышны на лугу.

Я знаю слово, в котором вся моя жизнь,  
мои надежды,  
моя печаль,  
мои вечера с любимой  
и топот коня моего,  
что летит по саваннам мира.  
Это слово  
жизнь мою наполняет смыслом,  
оно объясняет цвет моей кожи,  
оно объясняет огонь моих поцелуев,  
оно объясняет мое презрение к тем,  
кто страшится борьбы  
и бледнеет пред грозным размахом событий.  
Это слово — мое грядущее,  
это слово — моя любовь,  
это слово — мое наваждение,  
это слово — Гаити.

*Перевел с французского М. Кудинов.*



---

---

# ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

ЧЖАО ШУ-ЛИ

★

## ЗАКАЛЯТЬСЯ, ЗАКАЛЯТЬСЯ НАДО!..

**У**дивляется народ: отстаёт от всех «Вперед»!  
Есть земля, поля на диво в нашем кооперативе,  
Да людей не так уж много, оттого в душе тревога.  
Женщин мобилизовали, только пользы мало знали.  
Всех винить нельзя, конечно,— труд их нужный, безупречный,  
Я про тех, кого, обидно, что-то редко в поле видно,  
Кто трудиться не желает, труд других не уважает,  
Честью кто не дорожит, только в свой карман глядит.  
Скажем так: нога болит,— что ж в постели не лежит?  
На невестку все взвалила,— чем ей та не угодила?  
Или — против нормы взъелась. Ноет — дескать, не наелась  
И, как мужа дома нет, враз садится за обед.  
Если ж выйдет на работу — у нее одна забота:  
Свой карман. А нет — домой, притворяется больной.  
На покос не дозовешься, звать устанешь, надорвешься;  
Но бежит, коль будет знать, что сумеет куш сорвать.  
На собрания не ходит. От ликбеза нос воротит.  
Честный труд? А для чего? Знать не знает ничего.  
А скажи ей слово правды, сам потом не будешь рад ты,—  
Нашумит, забудет в набат, словно ты же виноват.  
Чтоб изжить болячки эти, пишем мы о них в газете —  
Кто читать еще не может, грамотный тому поможет.

Сочинил Ян Сяо-сы.

Вот такое, скажем, стихотворение, написанное крупными иероглифами на большом листе бумаги, было помещено осенью 1957 года в стенной газете сельскохозяйственного кооператива «Вперед». Собственно, ничего другого, кроме самого стихотворения, в этой газете и не было: в стране ширилось массовое движение по «упорядочению стиля», каждый имел право высказывать свое мнение устно и печатно и, при желании, даже выпускать собственную «дацзыбао» — «газету больших иероглифов», как прозвали тогда сведущие в политике люди эту форму критики и самокритики. Стихотворение появилось в конце осени — обстоятельство, может быть, и не существенное, но без него будет трудно разобраться в событиях, которые последовали затем в кооперативе «Вперед».

Ян Сяо-сы принес свою газету в середине дня, сразу после полдника, когда народ толпился у ворот правления кооператива и, в ожидании председателя, читал вывешенные за последние дни дацзыбао. Расчет у него был верный. Обгоняя и расталкивая друг друга, все кинулись читать его стихотворение, махнув рукой на остальные. Прошла минута, две, и скоро весь двор покатывался от хохота. И вовсе не потому, что Ян Сяо-сы, заместитель председателя правления кооператива, слыл в деревне мастером складывать занозистые «куайбань», которые было очень легко распевать под аккомпанемент барабанчика. Его газета вызвала всеобщий интерес совсем по другой причине. В стихотворении, которое сочинил он, критиковались две небезызвестные в кооперативе «Вперед»

особы — одна по прозвищу «Нога болит», другая по не менее ядовитому — «Не наелась».

Обладательнице прозвища «Нога болит» было лет за пятьдесят. Она имела уже женатого сына, нескольких внуков и, будучи человеком вполне здоровым, прекрасно могла бы присматривать дома за детьми, освободив невестку для работы в поле. Но это ее не устраивало. Невестка, по ее убеждению, не только должна была взять на себя все заботы по дому, то есть подметать двор, сметать пыль со стен, варить обед, мыть посуду, но и ухаживать за самой свекровью — подавать ей таз для умывания, выносить ночные горшки... Даже когда работа в поле сулила определенные выгоды, свекровь не упускала случая оставить невестку дома. Сама она, правда, не очень стремилась работать. В поле она выходила, только когда пшеница созревала и за время уборки можно было заработать не один десяток трудовней, но после жатвы упрости ее выйти на работу было уже немислимо. Она держалась своего правила: «Дому придет, когда приберешь к своим рукам все, что плохо лежит. От прочей же работы никакого проку нет».

Со временем в кооперативе раскусили ее: было принято постановление сдавать в общественный фонд всю собранную пшеницу, а трудовни насчитывать только по количеству сданных каждым цзиней<sup>1</sup>. Но тогда она вообще отказалась участвовать в полевых работах. То же самое произошло и во время уборки хлопка. Когда коробочки стали лопаться и за день можно было выполнить установленную норму в два раза, а то и больше, она, конечно, не отказывала себе в возможности «зашибить денгу». Но если она видела, что больше одной нормы ей не выполнить, на поле и духу ее не было.

Отговаривалась она всегда тем, что у нее, мол, нога болит. В молодости она действительно болела, и даже серьезно. Чирья на ноге долго не проходили и доставляли ей немало мучений. Но вот уже больше двадцати лет как от тех чирьев не осталось и следа. Пока она болела, за ней ухаживал муж. Вылечившись, она этого не забыла и всякий раз, когда ей нужно было упрости мужа что-нибудь сделать для нее, вспоминала о своей болезни, уверяя его, будто «корень боли» остался где-то внутри. «Боль» эту, разумеется, чувствовать могла она одна. Иди провь, правду она говорит или притворяется! Однако «боль» эта была со странностями. Веселилась ее душа — нога — нога не болела; плохое настроение — она места себе не находила от боли. Гулять собирается, к соседке поболтать, театр заезжий посмотреть — нога как нога, никакой тебе боли. На работу зовут — она слезами исходит, такие муки мученические терпит. Несколько лет после смерти мужа, пока ее сын был еще мал, никто не слышал, чтобы она жаловалась на боль в ноге. Но стоило ей женить сына, как боль вернулась, словно только и ждала этого дня.

В кооператив она вступила, как и все. Но вот что получилось после этого. Если работа была такая, что установленную норму легко удавалось перевыполнить, нога у нее не болела. Если же не удавалось, «корень боли» так давал о себе знать, что она ревмя ревела. Открыли в волости медицинский пункт, оборудовали на совесть: и доктора, и лекарства, и процедуры... А разобраться, что там у нее с ногой, все равно никто не мог.

Настоящее имя второй особы, известной в кооперативе «Вперед» по прозвищу «Не наелась», — Ли Бао-чжу. Она значительно моложе «болящей», ей всего лишь тридцать с чем-то лет, и, разумеется, требовать от нее можно куда больше, чем от первой. Да и разного склада они люди. К сожалению, ее преимущества перед «болящей» обернулись ей же во вред.

<sup>1</sup> Мера веса, примерно 0,6 кг.

Ее мужа зовут Чжан Синь. Заранее оговоримся — вступили они в свободный брак. Чжан Синь — скромный работяга, человек далеко не глупый, но совершенно безвольный. Когда они еще «крутили любовь», Ли Бао-чжу поставила ему условие: как только они сыграют свадьбу, в поле работать она не будет. Яснее не скажешь! На таких условиях никто бы в деревне после Освобождения жениться не стал, а он согласился. Поженились. И думаете, она довольна им? Как бы не так. Да она и не скрывает этого. Чжан Синю, говорит она, «до верхов не хватает, а в низах быть — перебрал чуток», что ж с такого взять, раз он не «кадровый»! Поэтому она считает его мужем «переходного периода» и мечтает приоткрыть «человека с умом», чтобы поскорее подать на развод.

Одно время Ли Бао-чжу имела виды на заместителя председателя правления кооператива Ян Сяо-сы, автора вот этой самой злосчастной дацзыбао. Но потом ей стало известно, что не кто иной, как Ян Сяо-сы, и дал ей прозвище «Не наелась», поэтому она с негодованием отвергла самую мысль женить его на себе. Однако и после этого она продолжала считать Чжан Синя мужем «переходного периода». Естественно, видеть в нем «родного человека» она не могла. Чтобы как-то оградить свою независимость, она выработала особую тактику своих отношений с ним. Тактика эта состоит в том, что, во-первых, ей необходимо удерживать в своих руках экономическую власть; все начисления по трудодням, заработанным Чжан Сином в кооперативе, переводились на ее имя, ею определялись расходы по дому, доходы мужа от побочных заработков она забирала себе, все денежные траты, не предусмотренные бюджетом семьи, утверждала и производила тоже она. Во-вторых, на Чжан Сине должны лежать все заботы по дому — правда, кроме приготовления еды и шитья одежды; Чжан Синь обязан был ежедневно носить воду и уголь, обдирать рис, убирать двор, выгребать золу и делать уйму разных других дел. В-третьих, контроль над потреблением должен принадлежать лично ей; что она хотела есть, то и готовила, что она готовила Чжан Синю, то он и ел. Точно так же обстояло и с одеждой: что ей нравилось, то она себе и покупала, Чжан Синь носил, разумеется, только то, что она соглашалась ему купить. Такая дальновидная тактика была выработана ею втайне от мужа, втайне она и проводила ее в жизнь. Проводила осторожно, исподволь, пока все пункты намеченной программы не были реализованы полностью, и Чжан Синь превратился в ее батрака, не поденщика, нет, а в самого настоящего батрака.

Но вот в кооперативе перешли к организованным заготовкам зерна и ввели нормы потребления на душу населения. И тут Ли Бао-чжу занула. Ей всего было мало — она-де никогда не наедается досыта, с таким мужем, как Чжан Синь, можно умереть с голоду... Небо, что только она не говорила!..

Как же она питалась? А вот как. Только уйдет Чжан Синь в поле, она прямо преображается. Энергии — хоть отбавляй. Наварит себе полный котел лапши, съест, потом засыплет в отвар горстку риса и принимает стряпать «обед» Чжан Синю — клейкую кашницу, которую тот должен съесть, когда вернется с работы. Правда, кашицы этой она готовила только две чашки, не больше. Для себя же, кроме лапши, она еще приготавливала сухарики, суша их прямо на огне, и прятала в сундук, чтобы съесть все до единого, пока Чжан Синь в поле. Если из бригады приходили звать ее на работу, она отвечала жалобным голосом: «Опять мобилизация! Сами видите — сил совсем нет! Да и откуда им быть, если не наелась. Что останется в пустом котле после Чжан Синя, тем и питаюсь. Какой я работник?!»

У притворщиков, как известно, нет-нет да и вылезают наружу «лошадиные копыта». Чжан Синь довольно часто находил в постели крошки от



сухарей; случалось, что и в чашке с клейкой кашницей замечал он одну-две лапшинки, попавшие туда неизвестно каким образом. Спросит у жены — та в крик. Вопит, развода требует... Поэтому он решил вообще не задевать ее больше, — закроет глаза, съест свои две чашки клейкой кашицы, заморит червячка и на этом успокоится.

Как-то раз вышел он со своей чашкой за ворота — с народом посидеть захотелось. Сидит, ест, слушает, о чем говорят соседи. В это время к нему подходит Чжан Тай-хэ, бригадир из третьей бригады (в которой он сам числился). Глянул бригадир в чашку и вдруг увидел лапшинку. А надо сказать, Чжан Тай-хэ был из той породы молодых людей, которые любят говорить загадками.

— Где это твоя научилась такому искусству — лапшу из риса вываривать? Вот так «Не наелась!» — воскликнул он под общий хохот.

После этого случая не было вечера, чтобы Чжан Синя не обступали со всех сторон шутники. Кто-нибудь обязательно вырвал у него куай-цзы<sup>1</sup> и начинал вылавливать плавающие в чашке лапшинки. Представьте себе, подобные счастливые случаи выпадали довольно часто.

— Вижу, правильно прозвали твою так, — сказал ему однажды Чжан Тай-хэ. — Где это видано, чтобы одной лапшинкой наесться!

Что же касается участия в производственной деятельности кооператива, то наша героиня ничем не отличалась от главной притворщицы. Захватив дома в свои руки экономическую власть, она старалась использовать ее так, чтобы накопить за время «переходного периода» побольше вещей и обеспечить себя на «будущее». Когда представлялась возможность «словчить», она работала — с оглядкой, заранее обдумав все, чтобы не оказаться опутанной вторым условием своей же тактики, но работала. Но как только выгодная работа кончалась, она тут же заводила старую песенку: «Не наелась!.. Какой я работник?»

Дацзыбао со стихотворением Ян Сяо-сы была вывешена, и не прошло часа, как шум во дворе правления кооператива достиг ушей «Не наелась». Испуганная, она выбежала на улицу. В последнее время ей вообще часто мерещились всякие страхи. Ей казалось, что вот-вот должно случиться какое-то несчастье. Сердце тревожно билось, словно оно и впрямь предчувствовало, что кто-то обязательно вывесит на нее дацзыбао — уж больно много появилось их в деревне, с тех пор как начали «упорядочивать стиль». Первым увидел ее Чжан Тай-хэ, который сразу сообразил, что нужно делать.

— Эй, народ, хватит шуметь! — закричал он, расталкивая толпу. — Сейчас я прочитаю всем. Слово в слово. Слушайте!

Поняв, что надумал Чжан Тай-хэ, толпа раздалась и охотно пропустила его к газете. Воцарилась тишина. Чжан Тай-хэ предупредил слушателей, что стихотворение написано на мотив известной всем песни, поэтому он обязан петь, а не читать. Захлопав в ладоши, подражая ударам барабана, он стал читать его громко, нараспев, делая в нужных местах паузы. Читал он, как заправский артист, и, когда кончил, в толпе дружно зааплодировали. Пока народ шумно выражал свое одобрение, посрамленная «Не наелась» постаралась незаметно улизнуть.

Но побежала она не домой, а к первой крикунье в кооперативе «Вперед». Справедливость требует отметить, что «Нога болит» никогда не была в близких отношениях с ней и держалась как бы в стороне. «Не наелась» платила ей тем же, хотя и подражала в упрямстве, втайне завидуя ее способностям. Кроме того, нельзя забывать, что «Нога болит» была значительно старше ее, прошла немалый жизненный путь и как-никак состояла в родстве с большим начальством: председатель правления кооператива Ван Цзюй-хай, партийный секретарь Ван Чжэнь-хай

<sup>1</sup> Палочки для еды.

и бригадир первой бригады Ван Ин-хай — все приходились ей родственниками и, как жену старшего брата, обязаны были величать тетей. Как вы думаете, имелись у нее основания держать себя по отношению к ним покровительственно? Безусловно, имелись. Чуть что она вихрем врывается в правление кооператива и поднимала там такой шум, что «Не наелась» даже немела от зависти... Пока Чжан Тай-хэ читал дацзыбао, то и дело украдкой поглядывая в сторону «Не наелась», та места себе не находила. Она вся дрожала от злости. Если бы не огромная толпа, в которой она не видела никого, кто бы мог замолвить за нее слово, она тут же набросилась бы на обидчика с яростной бранью. Но... ринуться в бой без мощных резервов у нее не хватило смелости. Вот почему она и решила сперва заручиться поддержкой.

— Тетенька,— заискивающим голоском обратилась она к великой притворщице, как только захлопнула за собой дверь.— Там про нас с вами кто-то мерзкую бумагу наклеил. Ругают нас на чем свет стоит.

«Нога болит» встретила ее появление сдержанно, словно уже привыкла выслушивать подобные речи.

— А ты не слышала кто? — все еще не очень веря сказанному, спросила она.

— Как кто? Во дворе правления яблоку негде упасть! С обеда крик стоит. Все ругают...

— Кто написал, спрашиваю?

— Ян Сяо-сы, чтоб ему сгинуть на месте, этому негоднику!

— Что же он написал, этот негодник, достойный сгинуть на месте?

— Много написал. Про то, что вы притворяетесь, будто у вас нога болит, что невестку заставляете дома сидеть и выносить за вас ночные горшки, что пшеницу воруете на кооперативном поле, что людей задираете без всякой причины, что горло дерете ночью и днем и никто слова сказать вам не может...

Подливая масла в огонь, «Не наелась» наговорила такого, чего в дацзыбао вовсе и не было. Но дело свое она сделала. Разъяренная притворщица побежала в правление кооператива искать Ян Сяо-сы, совсем позабыв, что у нее болит нога.

Председатель правления Ван Цзюй-хай, его заместитель Ян Сяо-сы и секретарь Ван Чжэнь-хай сидели в это время за столом, решив использовать час обеда для коротенького совещания. Речь шла о том, как увязать кампанию по «упорядочению стиля» с текущими сельскохозяйственными работами. Но тут в правление, как вихрь, влетела «Нога болит» и сразу нарушила весь порядок. Ее появление привело в замешательство толпу, читавшую дацзыбао, и кое-кому удалось протиснуться вслед за ней: всем хотелось посмотреть, что же будет дальше. Ни слова не говоря, «Нога болит» кинулась к Ян Сяо-сы с таким видом, словно готова была убить его на месте. Тот вскочил со скамьи и — в угол. Воспользовавшись этим, Ван Цзюй-хай быстро загородил тете дорогу своим огромным телом, и только это не дало совершиться преступлению.

— Драться собираешься? — крикнул Ян Сяо-сы из своего угла в лицо притворщице, сразу смекнув, чем вызван ее приход.— Есть закон правительства, запрещающий драться. Кто лезет в драку, тот нарушает закон. Не бойшься, что оштрафуют и еще посадят в тюрьму,— дерись! Но только попробуй хоть раз ударить. Я тебя в суд вызову! — Выговорившись, он повернулся к Ван Цзюй-хаю и сказал уже спокойно:— Чего ее держишь? Отпусти. Пусть только она посмеет ударить!

Как только «Нога болит» услышала, что ей грозят штрафом да еще отсидкой в тюрьме, вся сила в руках ее мигом испарилась. Лишь язык действовал по-прежнему.

— Кто тебе сказал, что я собираюсь драться?! Я хотела спросить только: это правительство разрешило тебе ругать человека ни за что ни про что? Отвечай!

— Когда я тебя ругал?

— А белая бумага с черными каракулями на стене? Ты что, ослеп?

— Что вы, тетя! — вмешался в перепалку Ван Цзюй-хай. — Назвал он вас там по имени и фамилии?

— А если и не назвал? — набросилась на председателя «Нога болит». — Можно человека ругать? Если можно, я теперь целый день рот закрывать не буду!

— Вопрос совсем не в том, назвали вас в газете по имени и фамилии или не назвали, — рассудительно заметил Ян Сяо-сы. — Давайте внесем ясность. Говори прямо, ругал я тебя там? Я признаюсь, написал про тебя. Но если там есть хоть одно слово неправды, тогда считай, что я ругал тебя. Иди, выбирай оттуда любое слово. Я допускаю, что в стихотворении есть ошибки, но имени твоего там нет. Если есть, пусть председатель сам предложит мне идти за газетой. Но, может быть, ты думаешь, что я не все написал про тебя, тогда я пойду и допишу. Могу и имя твое дописать, пожалуйста!

— А ты думаешь, раз выругал меня, как собаку, так мне радоваться надо? Иди, иди, дописывай! Другого от тебя я и не ждала. А еще заместитель председателя! Умеешь писать, так уж можешь простую неграмотную женщину со света сживать?!

— Тетя, да перестаньте же ругаться! — Секретарь Ван Чжэнь-хай поднялся со своего места. — Если имеете основания обвинять его в оскорблении, подождите собрания, оно скоро будет. Найдете человека, который прочитает вам дацзыбао, и, если найдете, что написано там неправильно, можете выступить перед всем народом. Нельзя ведь так — с бухты-барухты изничтожать человека. Кто собирается сживать вас со свету?

— Все вы. Заделались начальством и держитесь теперь друг за дружку. Могу я переговорить вас? Вот назло буду ругаться. Кто это на меня пачкотню такую развел в дацзыбао? Я его сама со свету сживу! Доконаю! Волки пусть сглодают его кости! Пусть всю кровь высосут, чтоб и блюдечка не осталось! Пусть...

— Да что вы, тетя, в самом деле! — добродушно улыбнулся секретарь. — Ведь дацзыбао председатель Мао велел вывешивать! Хоть бы слово какое-нибудь верное сказали! А то все ругаетесь. Совсем голову потеряли. Кооператив наш большой — думаете, не найдем на вас управу? — И вдруг повернулся к толпе, которая все прибывала и прибывала. — А ну, выходи двое! Отправим ее сейчас в волость!..

От толпы с готовностью отделилось человек пять-шесть, которые тотчас окружили крикунью со всех сторон. Двое подхватили ее под руки и поволокли к выходу. Но тут в спор вмешался Ван Цзюй-хай.

— Стойте! — истошным голосом закричал он, бросаясь к двери и задерживая доброзольных конвоиров. — По такому пустому делу — и беспокоить волостное правительство!

Члены кооператива давно уже имели зуб на крикунью и были не прочь как следует проучить ее хоть раз. Неожиданное вмешательство Ван Цзюй-хая многих обескуражило. Только то, что он был председателем, заставило их молча проглотить обиду. Крикунья же не на шутку струхнула, особенно когда увидела, что ее действительно собираются отправить в волость. Поэтому поддержка председателя успокоила ее. Убедившись, что обстановка несколько «стабилизировалась», она набралась духу и, подбадривая себя, сказала Ван Цзюй-хаю, как солдат, отступающий с честью:

— Не надо держать их. Пусть ведут! Посмотрим, завяжет мне волостное правительство рот или не завяжет!

Ван Цзюй-хай схватился за голову. Давно уже надо было свернуть это затянувшееся так некстати совещание, но у него язык не поднялся прикрикнуть на зарвавшуюся смутьянку.

— Тетя,— умоляюще заговорил он.— Уходите же, прошу вас. Нет неразрешимых дел. Нам сейчас нужно распределить, что кому завтра делать. Потерпите два дня, и мы все объясним, разъясним вам. Разберемся как-нибудь...

— Как это «объясним-разъясним»? Почему «как-нибудь»? Я требую, чтобы мне на все ответили. Понятно тебе?

— Хорошо, хорошо. На все ответим.

— погоди, председатель,— остановил его Ян Сяо-сы.— Как понять твои слова? Человек нашумел, сорвал нам важное совещание, и ты собираешься извиняться перед ним?

Тут «Нога болит» по-настоящему встревожилась: а что если Ян Сяо-сы и Ван Чжэнь-хай сейчас возьмутся за председателя и уговорят его отправить ее с понатыми в волость? Воспользовавшись минутным молчанием, она заговорила, лебезя перед Ван Цзюй-хаем:

— Я могу идти? Ты сам возьмешь на себя это дело, Ван Цзюй-хай, правда? Только тянуть с ним не надо, прошу тебя.

С этими словами она пулей выскочила во двор. Лишь на улице она вспомнила, что ни разу не захромала.

Председатель правления кооператива Ван Цзюй-хай был из крестьян-средняков. Еще до войны с японцами он зарекомендовал себя неплохим посредником в людских спорах. И действительно, никто в деревне не мог так улаживать конфликты, как он. Правда, за глаза кое-кто называл его «мастером замазывать щели», приятным «и нашим и вашим», но это нисколько не изменило доброго к нему расположения односельчан, и, когда в деревню пришла Восьмая армия, его выбрали старостой. Работал он старательно. Мобилизационные мероприятия, проводившиеся властями, осуществлял умело, держался с достоинством и ни на какие провокации врага не поддавался. Во время земельной реформы помещики несколько раз пытались его подкупить, но он оставался верен себе и всегда отвечал им отказом. За стойкость в борьбе с помещиками организация и вовлекла Ван Цзюй-хая в партию. При создании в деревне кооператива «Вперед» его кандидатура была предложена на пост председателя. Все эти годы парторганизация заботилась о его авторитете, поэтому не случайно, что на каждом выборах он неизменно оставался на посту председателя правления кооператива.

Ван Цзюй-хай хорошо изучил, как ему казалось, людей, с которыми ему приходилось работать, и держался той точки зрения, что использовать можно каждого, если будешь учитывать все черты его характера. К сожалению, он не понимал одной важной вещи, что даже люди, имеющие плохой характер, могут исправиться и обязательно исправятся, если с ними работать. К любителям спорить он всегда подходил с одной и той же установкой: споры лучше всего улаживать мирно и не возиться, отыскивая правых и виноватых, главное — завершить дело, а как оно будет завершено, это неважно. Он был глубоко убежден, что считаться «кадровыми» могут только те работники, которые, как и он, придерживаются такой «установки», всем же остальным еще нужно «закаляться и закаляться».

За примерами ходить недалеко. В 1955 году в партийной организации кооператива, да и многими беспартийными, высказывалось пожелание выдвинуть на пост заместителя председателя Ян Сяо-сы.

— Что вы, что вы! — отмахивался он.— Не выйдет! Ему еще надо закаляться и закаляться!

Этой точки зрения Ван Цзюй-хай держался долго, упорствуя даже на последних выборах, которые проводились в этом году. Однако

большинство высказалось в том духе, что Ян Сяо-сы, пожалуй, будет посильнее Ван Цзюй-хай, и при подсчете оказалось, что оба получили равное число голосов. Но и после того, как Ян Сяо-сы стал заместителем председателя, Ван Цзюй-хай старался обходиться без него.

— Молод еще! — говорил он всякий раз при распределении обязанностей. — Пусть поварится хорошенько в нашем котле, присмотрится к работе правления. Ему еще закаляться и закаляться! Войдет в курс дел — тогда другой разговор.

Или вот другой пример. В кооперативном уставе записано, что одним из заместителей председателя должна быть женщина. Чтобы женщина находилась на таком ответственном посту — это уж слишком!

— Женщине можно поручить запутать дела, — заявил он на партийном бюро, когда обсуждался новый устав. — Смешно даже говорить, что она справится. Откуда ей знать, с какой стороны подступиться к делу: разве понимает она, где дверь надо искать?

Но во всех других кооперативах женщины были избраны в правления, и ему ничего не оставалось, как перестать упорствовать. В результате вторым заместителем председателя правления кооператива «Вперед» на общем собрании была избрана Гао Сю-лань, работавшая в третьей бригаде.

Ван Цзюй-хай, конечно, делал различие между Ян Сяо-сы и Гао Сю-лань. Если на мужчину он еще возлагал кое-какие надежды, допуская, что тот рано или поздно «закалится, закалится», то Гао Сю-лань он вообще ни во что не ставил, не видя никаких перспектив ее роста. Вспоминал он о ней, только когда нужно было созывать правление и перед его глазами лежал список членов нового состава; во всех других случаях он даже и не вспоминал, что в кооперативе «Вперед» есть такой человек по имени Гао Сю-лань. Зато Гао Сю-лань не забывала его и часто напоминала о своем существовании. Уже в самом начале кампании по упорядочению стиля она вывесила свою дацзыбао, адресуя ее непосредственно Ван Цзюй-хаю.

Трудно рваться нам вперед в кооперативе —  
 Председатель Ван Цзюй-хай слишком субъективен!  
 Убежден, что он один может управляться,  
 Только он! А всем другим «надо закаляться».  
 И взвалил он на себя груз всех дел без меры,  
 Потому что у него никому нет веры.  
 Вот и тянет тяжкий воз, отдыха не знает.  
 А дела? Дела идут, дело ковыляет.  
 Что бы сразу разобрать — прав кто, виноват кто!  
 Он при споре — в стороне, лишь бы сладить как-то,  
 Чтоб довольны были все окончаньем спора.  
 В общем, правый суд — зачем? Лучше без разбора.  
 За такую благодать — правду кто докажет? —  
 Дармоед тебе спасибо, председатель, скажет.  
 При твоей улыбке-ласке горлодерам царство,  
 А невинный — пей обиды горькое лекарство.  
 Правда лбом о стенку бьется, кривда лезет в гору.  
 Кто вперед захочет рваться, потеряв опору?  
 Я надеюсь, председатель вывод сделать сможет —  
 Поворот крутой в работе и ему поможет.  
 Пусть себе опору ищет в силе коллектива  
 И работает на пользу кооператива.  
 Пусть послушает серьезно, что народ желает,  
 И в «листочек-одиночек» больше не играет.

Сочинила Гао Сю-лань.

Когда Ван Цзюй-хай прочитал эту дацзыбао, его охватила дрожь, особенно напугало его зловещее слово «субъективен», смысл которого он не очень понял. Но он умел держаться. Ван Цзюй-хай — не «Нога болит», которая после каждой дацзыбао поднимала такой визг, что хоть уши затыкай. Он постарался взять себя в руки и сказал отечески покровительственным тоном:

— Да-а, не думал я, что Сю-лань будет подавать такие надежды. Ребенком ведь считал! Закаляться, закаляться ей надо! Придет время, и можно будет поручить ей кое-какие дела по кооперативу.

Вот он какой человек — Ван Цзюй-хай.

Ян Сяо-сы побывал у него еще до того, как вывесил свою дацзыбао. Он хотел спросить его мнение и поэтому принес только черновик стихотворения, нуждавшийся еще в тщательной обработке. Однако вместо помощи Ван Цзюй-хай подверг затею Ян Сяо-сы критике.

— Какая у кого болезнь, таким лекарством и лечить надо, — сказал он ему назидательно. — К этим двум красавицам особый подход нужен, их такими пилюлями не возьмешь, кротостью действовать надо. Хочешь выпускать на них дацзыбао — выпускай, я тебе не могу запретить. Но, поверь моему опыту, они тебе такой скандал учинят, такой конфликт, что потом и сам рад не будешь. Сказать тебе правду, лучше всего вообще не упоминай их имен.

Ян Сяо-сы выслушал его внимательно, но пошел к Ван Чжэнь-хаю — мнением партийного секретаря он дорожил больше. Передав вкратце содержание разговора с председателем, он положил черновик стихотворения на стол.

— Боятся конфликтов, — сказал секретарь, даже не читая стихотворения, — тогда незачем проводить упорядочение стиля. Что же касается имен, то их можно и оставить и не оставлять. Все равно дознаются, кого ты имеешь в виду, когда прочитают.

Считаясь с авторитетом председателя, Ян Сяо-сы все же исправил две строчки в своем стихотворении, убрав имена критикуемых. В остальном никаких существенных изменений дацзыбао не претерпела.

Когда в правлении произошел скандал, Ван Цзюй-хаю пришлось применить силу, чтобы остановить свою разбушевавшуюся тетку. «Вот, говорил ведь этому юнцу, чтобы не делал так! — сокрушался он про себя. — Сам на скандал напросился. Что было послушаться меня!» Он полагал, что только его личное вмешательство предотвратило неминуемый взрыв. Не заговори он по-хорошему, предложив уладить спор мирным путем, притворщицу в самом деле могли бы отправить в волость. Ведь именно этого требовал от него народ. Поэтому он не удержался и в душе похвалил себя за умение находить выход из любых обстоятельств. «Посмотрим еще, умею я или не умею управляться с делами, Гао Сю-лань! Не будь я здесь, такое бы было!..» Но произошло то, чего он никак не мог предполагать. Как только скандалистка убралась восвояси, а люди разошлись по домам, обсуждая случившееся, секретарь обратился к нему с такими словами, после которых всякая мысль о том, что дело улажено, уже не радовала его.

— Вот что, брат. Люди высказали в твой адрес столько всего, что тебе следовало бы призадуматься. Почему ты такой беспринципный? Надо одернуть этих скандалисток, не знающих ни закона, ни совести. Как мы будем проводить упорядочение стиля, если позволим им и дальше безобразничать?

Слова секретаря нанесли рану в самое сердце Ван Цзюй-хая. Такой критики ему еще никогда не приходилось выслушивать. «Чего ты меня отчитываешь! — мысленно воскликнул он с обидой. — Сам заварил кашу, сами и расхлебывайте. Только сможете ли без меня? Посмотрим, утихнет ли пожар, если поведете дело по-своему!» Однако он почувство-

вал, что у секретаря тоже есть «характер», что Ван Чжэнь-хай, если захочет, сумеет разобраться в правых и виноватых, и смолчал, хотя внутри у него все пылало.

— Ладно, ладно, — наконец согласился он скрепя сердце. — Считайте, моя ошибка. А теперь хватит об этом, и так затянули совещание. Как же распределим работу на завтра?

Но только он заговорил о предстоящих делах, как слово опять взял секретарь.

— Погоди с этим. Отрывать хозяйственные работы от упорядочения стиля нельзя, обе кампании надо проводить одновременно. Скоро начнутся заморозки. Женщин у нас выходит в поле не больше половины. Остался еще несобранный хлопок. Стебли хлопчатника никто не выдергивает. Скотина простаивает взаперти, и никто землю не пашет. Если не проведем упорядочения стиля, ни за что не добьемся перелома.

— А разве я против? — обиделся председатель. — Но только упорядочивать стиль нужно не сразу, а постепенно, осторожно, я думаю, за день-два никакого перелома не добьешься. Самое неотложное сейчас дело — полевые работы. У меня такое предложение: надо по опыту прошлого года сократить нормы сбора семян хлопка на трудодень. В прошлом году с восьми цзиней до шести снизили. И в этом надо. Тогда сможем завтра мобилизовать большинство женщин.

— Значит, плохи наши дела, если приходится на опыт прошлого года оглядываться? — усмехнулся секретарь. — Сейчас можно собирать за день больше десяти цзиней. Неужели ты не понимаешь, что своим предложением наносишь ущерб интересам честных работников и даешь потачку рвачам. Те, конечно, заинтересованы в повторении «прошлогоднего опыта», сидят себе дома и ждут, когда ты им подкинешь этот лакомый кусок. Их интересуют личные выгоды, а не общественные. По-моему, такая отсталая идеология заслуживает осуждения, а не того, чтобы обсуждать здесь, следует ли сократить трудодень. В прошлом году уже снизили до шести цзиней. В этом снизим до пяти, тогда в будущем потребуют до четырех снизить, вот увидишь!

— Я с тобой согласен, — поддержал секретаря Ян Сяо-сы. — Как мы будем смотреть в глаза честным женщинам, если сделаем так? Ведь их у нас большинство, многие — передовики! Нет, это недостойный способ. Я даже не представляю себе, как мы будем рассчитываться с теми, кто честно работал все лето, если трудодень будет снижен. Месяц назад на трудодень давали двадцать цзиней, а ведь фактически многие собирали до сорока. Заниженную норму, конечно, легче выполнить, все пойдут, даже самые отсталые. А как с передовиками быть? Ставить их в худшее положение? Осталось третий, последний раз обойти хлопковые поля. Люди проработали уже больше десяти дней при норме восемь цзиней на трудодень. Так ведь от твоего предложения прямая выгода лодырям и расхитителям. Ты понимаешь, что говоришь?

— Хорошо, не будем снижать, — согласился Ван Цзюй-хай, подумав. — Но тогда надо сейчас же идти и поднимать народ. Мобилизовать надо всех, а кто пойдет — честные или лодыри — это уж не так важно. Главное, собрать весь хлопок. Ну как, беретесь? Жаль. Правильно говорил я, что по части проведения мобилизации у вас еще нет настоящей закалки. Молодые!.. Почему у нас плохо обстоят дела? Да потому, что только один я разговаривать с людьми умею. А вы!..

Ван Цзюй-хай сел на своего любимого конька и засыпал примерами. Одна, утверждал он, любит, когда ее хвалят, другая норовит увильнуть, когда с ней строго разговариваешь, тут нужно всегда наперед знать, с кем имеешь дело. Характер человека нащупать надо. Нашупашь, тогда веревки из него вей, во всем будет тебя слушаться, только слово

скажи... Он говорил бы и дальше, если бы его не остановил Ван Чжэнь-хай.

— Хватит, хватит! Буржуазную идеологию преодолевать нужно, а не уговорами заниматься. Тогда и мобилизовать человека с любым характером сумеешь.

Кто знает, сколько бы еще времени продолжалось это совещание, но тут позвонили из волостного правительства и передали срочную телефонограмму. Председатели правлений и секретари партийных организаций кооперативов вызывались в волость на очередной сбор. Оттуда все поедут в пригородный кооператив, чтобы присутствовать на собрании, где будет проводиться в виде опыта обсуждение практических вопросов упорядочения стиля работы. В телефонограмме было сказано, что явиться нужно, взяв с собой корма для лошади на двое суток.

— Как быть? — почесав пятерней затылок, спросил Ван Цзюй-хай.

— Ехать. Что за вопрос! — сказал секретарь.

— А полевые работы?

— Заместитель займется.

Председатель посмотрел с насмешкой на Ян Сяо-сы и сказал не без ехидства:

— Принимай дела, Сяо-сы. Производство передаю тебе. Вон и секретарь говорит, что отрывать хозяйственные работы от упорядочения стиля нельзя. Действуй! Как распределить все — теперь твоего ума дело.

— Почему же — есть еще и Гао Сю-лань! — возразил Ян Сяо-сы.

— Вот и договаривайтесь с ней, обсуждайте, что и как!..

Проводив председателя и Ван Чжэнь-хая в волость, Ян Сяо-сы сразу же отправился на поиски Гао Сю-лань и заместителя секретаря партбюро, чтобы посоветоваться, с чего начать. Решили вечером созвать общее собрание членов кооператива.

Народ собрался к назначенному времени, пришли даже обе скандалистки, никогда прежде не показывавшиеся на собраниях. Пристроились они позади толпы, но «голодная» тут же подтолкнула «болящую» в бок и зашептала заговорщицким тоном:

— Ну, скорей же! Начинай, пока они не раскрыли рта!

Подборенная «Нога болит» и не отказывалась, поэтому подстрекательнице быстро удалось вытолкнуть ее на середину двора и вернуться на прежнее место, где ее, как она думала, никто не увидит. Однако она ошиблась. Странную возню во дворе заметил Ван Ин-хай, бригадир первой бригады. Быстро сообразив, почему «Нога болит» с такой поспешностью рвется к помосту, на котором должен был сидеть президиум, он в два прыжка очутился впереди нее и, раскинув руки, чтобы не дать ей пройти, громко спросил:

— Тебе чего?

— Как чего? Ты же знаешь, что сегодня утром случилось в правлении. Сперва нужно разобраться в моем деле и выяснить, кто дал Ян Сяо-сы право надругаться надо мной. Если не разберемся, не дам проводить собрание, вот увидишь!

Мы уже говорили, что Ван Ин-хай тоже приходился ей родичем, так как был младшим братом ее покойного мужа. Однако не в пример своим двум братьям, Ван Цзюй-хаю и Ван Чжэнь-хаю, он был куда острее их на язык. Поэтому «Нога болит» несколько побаивалась его, хотя, пользуясь своим положением в семье, могла бы с ним не церемониться. Прекрасно понимая по ответу «тети», что та снова собирается затеять скандал, он пригрозил ей, не понижая тона:

— Не образумилась еще, притворщица? Где он тебя обидел? И вообще признавайся по чести, болит у тебя нога или не болит?

— Болит или не болит, тебя это не касается.



— Раз ты в моей бригаде, я обязан интересоваться, почему ты не выходишь на работу. Уши всем прожужжала, что нога болит. А как с собрания бежать, так за тобой в четыре ноги не утонишься. Забыла, что сегодня произошло в правлении? Человек написал на тебя дацзыбао. Подумай, может быть ты и в самом деле виновата. А ты такой крик подняла, будто тебя скорпион укусил. Что ж, кричи, кричи, сколько влезет. Но смотри! Если себя не переделаешь, все ворота тебе этими дацзыбао оклеят!

Угроза Ван Ин-хая подействовала, и «тетя» сразу стушеввалась. В толпе этим не преминули воспользоваться и тотчас оттеснили ее назад. Пришлось ей довольствоваться свободным местом рядом с «голодной», хотя в данных обстоятельствах это было не в ее интересах.

Ян Сяо-сы видел, какой успех имел ответ Ван Ин-хая. Опасность «тигровой атаки», по-видимому, миновала. Весело подмигнув Гао Сю-лань, стоявшей рядом с ним, он сказал ей тихо, чтобы никто не слышал:

— А наш председатель — того! Не прощупал он до конца характер этой притворщицы. Уверял меня, понимаешь, что ее каким-то особым лекарством лечить надо, кротостью действовать. Я смотрю, лекарство бригадира первой бригады куда сильнее действует!

Собрание открыл заместитель секретаря партбюро.

— Нашего секретаря и председателя сегодня срочно вызвали в во-лость,— сказал он.— Поэтому мы не имели возможности подготовить все как следует к собранию по поводу упорядочения стиля. После обеда мы тут с заместителями председателя поговорили и пришли к выводу, что вопрос насчет упорядочения стиля следует отложить до завтра, а сегодня договориться, кто где завтра будет работать. Поработаем, а вечером опять соберемся. Тогда и поговорим, как проводить упорядочение стиля. Думаем начать с обсуждения по группам, чтобы каждый имел возможность выступить с самокритикой. Но это, повторяю, решать будем завтра...

— А может быть, лучше сейчас объявить, кто будет завтра выступать?— раздался голос с места.— Хорошо бы заранее знать, кто начнет самокритику, подготовиться все-таки надо.

— Мы еще сами не договорились между собой,— пояснил заместитель секретаря.— Лучше действительно отложить до завтра, тогда и решим. Слово товарищу Ян Сяо-сы.

Речь Ян Сяо-сы тоже была немногословной.

— Так вот,— начал он,— скажу о полевых работах. Положение и так ясное, убеждать никого не собираюсь. Хлопок не убран. Стебли хлопчатника не выдернуты. Скотина взаперти стоит, землю пахать нет возможности. Еще несколько дней, и ударит мороз. Кончать надо скорее уборку хлопка. Следует разрешить каждому убирать хлопок самостоятельно, не в общем ряду. Остается последний раз обойти поля. В коробочках еще немало волокна, поэтому я думаю, что сделаю правильно, если предостерегу насчет хищений. Кое-кто, очевидно, собирается поживиться, раз есть возможность работать самостоятельно. Думают, что им удастся припрятать часть хлопка, поскольку рядом никого не будет. Пусть не тешат себя такой надеждой. Мы тут после обеда уже обсудили этот вопрос. Решили так. Завтра и послезавтра в поле выйдут все бригады во главе со своими бригадирами и помощниками бригадиров по работе среди женщин. Поведут всех организованно, хотя сбор хлопка и будет вестись по свободному выбору. Бригадиры выведут мужчин на участки, где весь хлопок уже собран, они выдернут оставшиеся стебли, расчистят поля и приступят к пахоте, после чего освободившихся отправят помогать на уборке. Чтобы предотвратить хищения, мы придумали такой порядок. Сами понимаете — дисциплина прежде всего. Во-первых, завтра утром бригадиры и их помощники приведут свои бригады к Южному пруду, где

поле уже вспахано; здесь распределим всех по участкам. Во-вторых,— это касается женщин,— убирать хлопок разрешается только на указанных участках; сами понимаете, это не исключает возможности производить работу свободно, но обязывает все-таки расчищать весь участок сразу, чтобы скорее подготовить его к пахоте. В-третьих, кто не придет к месту общего сбора или станет работать не там, где бригаде будет указано, пусть пеняет на себя: весь собранный таким путем хлопок будем считать похищенным и виновных оштрафуем согласно постановлению общего собрания. Кто не захочет платить, того отправим в суд для перепитания. У меня все. Собрание считаю закрытым.

Итак, собрание продолжалось не дольше десяти минут. Расходился народ неохотно. По дороге больше говорили о речи Ян Сяо-сы, а про скандал в правлении все как-то позабыли.

— Зелсные они совсем. Разве получится что путное, когда нет опыта? Дисциплина есть дисциплина. Но хоть сто правил объявляй — кто воровал, тот все равно воровать будет.

— Справятся ли бригадиры? В прошлом году тоже объявили, что можно свободно собирать хлопок. Так ведь кое-кому даже из помощников бригадиров удалось воспользоваться этим для своей выгоды. Думаете, не воровали они?

— Молодежь! Горячатся, конечно, малость. Но оштрафовать кое-кого действительно надо, тогда и другим неповадно будет.

— Зря горячатся. Все равно только два дня будут начальствовать. Правильно ли они делают — вопрос другой. Вернется Ван Цзюй-хай, и все опять будет улажено «по-хорошему». Не прав я, думаете?

Забеспокоились и те женщины, которые не отказали бы себе в удовольствии стащить какую-то толику хлопка, благо собрание разрешило собирать его там, где кто хочет.

— Он считает, поможет ему его дисциплина! Новые правила выдумал! Как только разобьемся на бригады, мы тоже пойдем, кто куда хочет. Посмотрим, будет ли кому-то время следить за нами!

— Выделят хороший участок, тогда пойдем. А если никакой выгоды не будет, чего нам за бригадиром ходить? Еще чего выдумал!

— Правой рукой собирается удерживать одну, левой — другую. Так на всех рук не наберешься.

— Наша бригадирша тоже не дура. Наплачется еще с ней!..

Как говорится, пока начальство новое, не сразу догадаешься, куда оно гнет. Толки есть толки. Можно говорить что угодно, а утром все равно должен прийти к Южному пруду, где назначен сбор.

Кто хотел прийти — конечно, пришел. Все собрались на уже вспаханном и проборонованном поле и чего-то ждали. Никто уже не плелся по дороге из деревни. Довольные Ян Сяо-сы и Гао Сю-лань переглянулись с заместителем секретаря партбюро. Пришли даже те женщины, которые обычно прикидывались большими или занятыми дома по хозяйству. Не видно было только двух небезызвестных особ по прозвищам «Нога болит» и «Не наелась» да еще двух-трех женщин.

— Пожалуй, дацзыбао серьезно задела их,— заметила Гао Сю-лань. Все трое усмехнулись, а Ян Сяо-сы сказал:

— Не будем больше ждать. Давайте объявим, что решили, и приступим к работе.

Он подошел к сидевшим в ожидании на поле людям, попросил бригадиров пересчитать своих — отдельно мужчин, отдельно женщин. Переключка долго не продолжалась, и скоро в руках Ян Сяо-сы были точные данные.

— Прошу бригадиров на минутку ко мне. Обсудить кое-что надо.

Пока бригадиры шептались о чем-то с Ян Сяо-сы, люди молча ждали.

Но вот там раздался смех, сначала тихий, потом громче, после чего бригадиры разошлись, но не на старые места, а, по указанию Ян Сяо-сы, поближе к дороге.

— Сегодня мы собрались так, как и договорились,— начал свою речь Ян Сяо-сы.— Я очень рад этому. Все эти дни бригадиры каждое утро ходили по дворам, мобилизуя народ на уборку, но проку от этого было мало. В поле выходили только те, кто и так все лето работал. У остальных всегда находились доводы не ходить. Одна говорила, что плохо себя чувствует, у другой — дети больны, третья жаловалась на то, что дома хлопоты не дают оторваться... Чего только не выдумывали, чтобы не пойти на работу! А сегодня, как услышали они, что разрешается свободно собирать хлопок, так от их занятости и следа не осталось. Не говорит ли это о том, что шкурническая идеология действует им во вред? Ведь когда первый раз обходили поля, собирая хлопок в коробочках, и за день можно было выполнить две нормы, все приходили дружно, как и сегодня. Подумайте: по-вашему, выходит, что обычную работу должны делать другие. Интерес появляется у вас, только если выгоду учуете. Думаете, мы не догадываемся, почему вы первыми вышли сегодня собирать хлопок? Но только сегодня не будет повторения того, что было в прошлом году, когда люди, своим потом поливавшие это поле,— а таких ведь больше! — дали обмануть себя несколькими бесчестным... Кто сегодня пришел работать, пусть запомнит: домой никого не отпустим. Женщины пойдут со своими бригадирами и будут обходить поле на своих участках по третьему разу. Норма остается прежняя — восемь цзиней грудодень. Мужчины, занятые перевозкой навоза на поля, занимаются своим делом. Остальные отправляются с женщинами собирать оставшийся хлопок и выдергивать стебли. Я кончил. Заместитель секретаря хотел сказать что-то.

Но заместителю секретаря не дали говорить. В толпе поднялась какая-то женщина и обратилась к Ян Сяо-сы.

— Заместитель председателя, я не собираюсь выдумывать. Честное слово, сегодня я не могу. Ребенок у меня нездоров, можешь сам пойти и проверить...

— Не пойду, — перебил ее Ян Сяо-сы. — Если ребенок нездоров, почему же ты пришла сюда?

— Я, честное слово, могла не прийти, но...

— Услышала, что разрешено собирать свободно!.. Раз не могла прийти, почему пришла? Весь день тебя зови — не дозовешься. Какой тебе интерес в поле торчать? А сегодня сама пришла, хотя никто не звал. Как же это так получилось? Вот об этом как раз и скажет сейчас несколько слов заместитель секретаря. Внимание!

Женщина покраснела, но ничего не ответила и покорно села на свое место. В толпе молчали. Было совершенно ясно, что полученный отпор подействовал кое на кого отрезвляюще. Больше никто не просил разрешения освободить его сегодня от работы. О том, чтобы украдкой улизнуть, не могло быть и речи — только теперь многие догадались, с какой целью Ян Сяо-сы выставил заслон из бригадиров на дороге. Если бы кто-нибудь набрался духу и попытался сбежать, его бы сразу заметили.

Наконец заместитель секретаря получил возможность выступить.

— Я скажу коротко,— обратился он к собравшимся.— Вчера вечером некоторые просили меня ответить, как мы начнем по группам обсуждение и критику, кто будет выступать и что критиковать. Говорили, чтобы можно было заранее подготовиться. Сейчас я отвечу на это. Критиковать будем тех, кто обычно на работу не выходит, а сегодня пришел. Учтите, они тоже должны будут выступить и объяснить, почему так делают. Каждому будет задан вопрос: «Почему ты думаешь только о себе, но не думаешь о кооперативе?» Чтобы облегчить нам дело, прошу учетчиков

в бригадах составить списки тех, кто раньше не выходил в поле, а сегодня вышел.

Списки были составлены в одну минуту.

— Ну вот, — сказал тогда Ян Сяо-сы. — Теперь никто не имеет права возвращаться в деревню без разрешения собрания. Кто попробует с полдороги убежать или же не придет после обеда, напишем дацзыбао и отнесем ее в волость.

— Участок нашей третьей бригады на северном конце деревни. Как дойдем туда, если возвращаться в деревню нельзя? — привстав, спросила Гао Сю-лань.

— Тай-хэ! — вызвал Ян Сяо-сы бригадира третьей бригады Чжан Тай-хэ, сидевшего возле дороги. — Бригаду поведешь вместе со своим помощником. Как только пройдете деревню, сделаете переключку. Уходить никому не разрешай. Всем ясно?.. А теперь можно расходиться. Каждая бригада действует самостоятельно.

Как и накануне вечером, речи нового руководства вызвали оживленные толки. Заговорили все сразу.

— Силен Сяо-сы! Где там Цзюй-хаю до него!

— И придумать мастер, и на своем настоять.

— Ты только смотри, как он расчихвостил эту лентяйку! Показал ей место!

— И совсем не один Сяо-сы. Они втроем все заранее обдумали.

— Цзюй-хай все со своими лекарствами возится, внутренние болезни изучает. А эти, оказывается, и руки в ход пускать умеют, до хирургии дошли. Даром что молодые!

— Лекарства его никуда не годятся. Не излечивают они от болезней.

— Да, жаль, «Нога бслит» не пришла, да и «Не наелась» тоже. То-то послушали бы!..

Пройдя деревню, бригадир третьей бригады пересчитал своих людей и повел дальше, к Абрикосовой сопке — невысокому холму посреди полей, на вершине которого росло одинокое абрикосовое дерево. Поле было ровное, спускалось оно от холма на юг, на север и на восток и занимало примерно двадцать му<sup>1</sup> — после создания кооператива оно стало таким, раньше здесь кругом были одни межи. В этом году его отвели под хлопок. На восточном и южном склонах, обращенных к солнцу, хлопок давно уже был убран, на северном предстояло пройти поле и тщательно осмотреть все кусты в третий, последний раз. Мужчины и кое-кто из женщин покрепче, вроде Гао Сю-лань, остались на южном склоне выдергивать стебли, а женщины послабее вместе со своим помощником бригадира отправились на северный склон, чтобы убрать оставшиеся на поле корбочки хлопка.

Женская бригада, будем называть ее так, пересекла южный и восточный склоны и уже должна была повернуть на север, как вдруг все увидели на поле четырех женщин, пришедших сюда раньше. Поглощенные сбором хлопка, те не заметили идущих и продолжали работать. Среди них были «Нога болит» и «Не наелась». Бригада прибавила шаг. Кое-кто уже собирался окликнуть работавших, как со всех сторон предостерегающе зашикали:

— Тише, ты! Бригадир не велел их звать! Испугаешь еще, и перестанут работать.

— А что, девушки, давайте сделаем вид, будто мы тоже пришли собирать хлопок? Пойдем не в один ряд, а вразброд, свободно. Так мы подойдем поближе, и они ничего не заподозрят... Мы будем собирать свое, а они свое.

<sup>1</sup> Мера земельной площади = 1/16 га.

— Пусть побольше соберут. Ведь все в общий котел пойдет!

— Видите, мы удивлялись на собрании, почему они не вышли, а они, оказывается, уже давно здесь.

— Вчера вечером «Не наелась» приходила ко мне сразу после собрания, — сказала одна из тех, кто в прошлом редко выходил на работу. — Советовала идти не к Южному пруду, а прямо сюда. Правду сказать, я побоялась...

Предложение «разыграть» притворщиц и их новоявленных подружек всем пришлось по душе. Все сделали вид, что собирают хлопок независимо ни от кого, и незаметно стали все ближе придвигаться к северному краю поля.

Что же заставило обеих скандалисток выйти в поле раньше бригады? Помните, когда «Нога болит», посрамленная своим же родственником, вынуждена была отступить с поля боя, она села рядом с «Не наелась», так как другого свободного места поблизости не было. Ну так вот. Сидели они тихо, ничем не выдавая своего присутствия. Но как только Ян Ся-сы заговорил о том, что завтра бригады будут заняты в поле на уборке хлопка и каждый сможет работать свободно, где ему захочется, «Не наелась» тут же придвинулась поближе к своей покровительнице и с жаром зашептала на ухо:

— Тетенька, на кой удалась нам его дисциплина? Кликнем несколько человек и чуть свет сами выйдем на поле. Пока они придут, у нас уже несколько цзиней на каждую в корзине будет. Он их к Южному пруду зовет, а мы на северное поле подадимся, к Абрикосовой сопке, никто нас и не встретит по дороге. Если они тоже придут к Абрикосовой сопке — ничего страшного, пусть работают с нами. Никто все равно не сможет сказать, что ворует, — у нас корзины, собираем хлопок, какие тут могут быть разговоры! А вся их дисциплина ни к чему. Не одна, так другая обязательно изловчится прихватить волокна себе. За ней другие потянутся. А заявить, что мы ворует, никто не посмеет!

«Нога болит» ни разу не прервала ее и, когда та кончила, сказала чуть слышно:

— Я тоже так думаю. При чем тут дисциплина? Нарушают ее все. Кого наказывать? Но лучше всего пойти вдвоем, не стоит других звать.

— Что вы, позвать обязательно надо, для страховки. Но только не много. Если пойдет много, так нам с тобой хлопка мало останется...

Так был выработан точный план. Удалось им уговорить пять женщин. Однако в последнюю минуту три отказались идти с ними, поэтому к Абрикосовой сопке их пришло всего четыре. Они осмотрели пять или шесть му поля, на котором еще не проводился третий сбор хлопка, как вдруг услышали голоса. Оторвались от работы, подняли головы, видят — приближаются женщины из третьей бригады. Быстро перекинувшись несколькими словами, они подались на другой конец поля. Бригада незаметно тоже передвинулась туда. Тогда они повернули назад. Вся бригада залилась веселым смехом.

— Чего смеетесь? — удивилась «Нога болит». — Вам можно, а нам нельзя? Ведь и вы о себе не забываете!

На это последнее ее замечание никто как бы и не обратил внимания.

— Когда это вы успели собрать столько? — наивным тоном спросил кто-то из третьей бригады.

— А кто мешал вам встать раньше?

«Нога болит» явно намекала на то, что бригада обходила все поле, а они собирали хлопок только там, где густо.

— Если уж вы себя не забываете, так тоже надо быть добросовестней и не оставлять после себя поле необработанным! — заметил кто-то из третьей бригады недовольным тоном.

— Сказано: свободно собирать! Какое тебе дело до того, как мы собираем? — огрызнулась «Нога болит». — Нас попрекаете, а сами прикидываетесь овечками: да вы-то разве не за тем же пришли сюда?

Никому не хотелось с ней связываться, чтобы не тратить зря времени. Лишь кто-то не утерпел и усмехнулся многозначительно. К счастью, «Нога болит» не заметила этого, иначе не избежать бы нового скандала.

— Передай остальным, чтоб перестали смеяться, — шепнула помощница бригадира своей соседке. — И еще одно. Если я уйду сейчас, боюсь, они шум поднимут раньше времени. Сбегай-ка лучше за бригадиром и Гао Сю-лань. Спроси у них, что нам делать.

Бригадир Чжан Тай-хэ, как мы уже говорили, был мастером говорить загадками. Но он еще отличался своими выдумками, и в этом деле не было ему равных в деревне. Как только он услышал, что «Нога болит» и «Не наелась» тут, радости его не было границ.

— Очень хорошо! — не без злорадства сказал он. — Разумно поступили, что сами пришли. Я знал, что эти не упустят случая. Вот что! Ты давай возвращайся и продолжай работать как ни в чем не бывало, а я сейчас. — Он обернулся к Гао Сю-лань и весело подмигнул ей. — Что скажешь, заместитель председателя? Пожалуй, тебе не стоит идти со мной. Сначала я управлюсь с ними, а потом тебя позову. Ладно? Только смотри, держись крепко, как подобает в твоём положении. Прижми их так, чтобы они и пикнуть не смели!

Гао Сю-лань все же не согласилась с его предложением.

— Мы оба только начали учиться руководить. Будем вести себя серьезно. Пошли вместе.

Когда они появились на участке женской бригады, их встретили совершенно недвусмысленные смешки по адресу нарушительниц. Девушки предвкушали, что сейчас произойдет что-то небывалое. Однако Чжан Тай-хэ, памятуя наказ заместителя председателя кооператива, сказал серьезным тоном, стараясь держаться как можно солиднее:

— Тихо, не смеяться! И вы там, неорганизованные! Хватит бегать по полю!

«Нога болит» тут же окрысилась:

— Сами объявили — собирать свободно. Не твое дело!

— Правильно, собирать свободно. Но кто вам позволил являться на участок третьей бригады? Это как раз мое дело. А ну-ка, сдайте мне сперва свои корзины!

— Я тоже в третьей бригаде! — взвизгнула «Не наелась». — Если разрешается другим собирать на нашем поле, мне тоже можно. Они вот тоже себя не забывают, а мне почему-то нельзя. Пусть тогда все сдают корзины, если сдавать!

— Тоже правильно, все сдадут.

С этими словами бригадир первым делом обезоружил четверых, то есть отнял у них корзины. После чего обратился к ним с грозным вопросом:

— Почему не явились на сбор к Южному пруду?

— А чего ты спрашиваешь об этом? Сам только что сказал, чтобы все сдали корзины. Почему они не сдают?

— Они собирают для кооператива.

— Мы тоже для кооператива.

— А кто вас просил?

— А их кто?

— Вот это — другой вопрос. Сейчас я вам объясню, кто их звал.

И Чжан Тай-хэ слово в слово повторил все то, что утром было сказано у Южного пруда. Четверка попавшихся с поличным дрожала от страха.

— Звали не для сбора хлопка, поэтому мы могли и не приходить, — наконец опомнилась «Нога болит». — Почему нам не объявили заранее?

— А для чего собирали людей к Южному пруду? Кто виноват в том, что ты не слушала? Объявлено было всем, куда идти.

— Выходит, зря только хлопок собирали! Ладно, выворачивайте наши корзины и отдавайте нам. Мы уходим!

Но не тут-то было. Молчавшая до сих пор Гао Сю-лань вышла вперед и встала рядом с бригадиром.

— Извините уж, но это не так-то просто отпустить вас. Порядок был объявлен заранее, чтобы все его знали и никто не нарушал дисциплины. Раз нарушение налицо, одним разговором дело не кончится. Ясно одно: хлопок, собранный самовольно, считается ворованным. Товарищ Чжан Тай-хэ! Отправьте весь этот хлопок в правление кооператива и тщательно взвесьте каждую корзину. Скажите кладовщику, чтобы он наклеил на каждую корзину листок бумаги и аккуратно написал на нем имя и фамилию владельца корзины, а также точный вес хлопка. Пусть обеспечит охрану корзин. Вопрос поставим на общее собрание членов кооператива и совместно обсудим, какие принять меры для наказания виновных.

Чжан Тай-хэ подхватил четыре корзины и, перекинув их за спину, направился к деревне. Сделав несколько шагов, он вдруг услышал истошный визг главной притворщицы:

— Сю-лань! Неужто ты скажешь, что мы в самом деле воровали? Честное слово, мы не знали, что вы сегодня утром измените свои планы.

— Мы ничего не изменили. Вчера на собрании товарищ Ян Сяо-сы самым вразумительным образом объяснил всем, что от кого требуется. Если кто не придет к Южному пруду, было сказано, весь собранный ими хлопок будет считаться похищенным. О чем же еще с вами говорить?! Мы не можем сами решать, что с вами делать. Передадим на обсуждение общего собрания. Оно будет решать. Если у вас есть что сказать в свое оправдание, скажете это перед всеми членами кооператива.

Весть о том, что «Нога болит» и «Не наелась» были пойманы с поличным, уже к полудню разнеслась по всей деревне. В бригадах об этом только и было разговору, когда люди снова вышли в поле. Почти все требовали отложить еще на один день групповые собрания по поводу упорядочения стиля и сегодня же созвать всех членов кооператива, чтобы окончательно решить вопрос, как быть с расхитителями хлопка. Большинство не без оснований опасалось, что с возвращением Ван Цзюй-хая трудно будет быстро и оперативно покончить с неприятным для всех делом. Опять начнутся «улаживания», «уговоры», попытки сделать так, чтобы «все были довольны». Оба заместителя председателя согласились с желанием масс. Договорившись с заместителем секретаря партбюро отложить групповые собрания на следующий день, они объявили, что общее собрание членов кооператива назначается на вечер.

И вот собрание началось. По первому пункту повестки дня — как были пойманы на месте преступления четыре расхитителя кооперативного хлопка — доклад должна была сделать Гао Сю-лань. Затем слово для признания вины и чистосердечного раскаяния предоставлялось попавшимся, после чего собрание должно было принять решение о мерах наказания.

Отвертеться виновным было невозможно. Четыре корзины с хлопком находились тут же, на кооперативном дворе. Председателя, любившего улаживать дела мирно, в деревне не было. Поэтому все они в конце концов честно признались в своей вине, кроме главной притворщицы, которая еще долго пыталась найти какую-нибудь лазейку, чтобы выпутаться из беды. Первыми выступили «соучастницы». Одна из них не была на собрании накануне вечером и, когда «Нога болит» пришла за ней, со-

гласилась выйти в поле, ничего не подозревая. Придя на Абрикосовую сопку, она никого там не застала. Отправляться на уже дважды убранный поле ей не хотелось, и она пошла вместе с остальными. Вторая повторила слово в слово то, что сказала первая, с той лишь разницей, что ее уговорила пойти на северный склон «Не наелась». После того как они всё рассказали собранию, поднялась еще одна женщина, сидевшая до этого ни жива ни мертва. Она заявила, что «Нога болит» и «Не наелась» уговаривали и ее пойти с ними, но у нее не хватило смелости на такой шаг. Она обратилась к «Не наелась» с призывом перестать упрямиться и честно признать свою вину перед народом. Понимая, что «большой ветер» только начинается, «Не наелась» подробно рассказала, как она сговорила с главной притворщицей, как ходила с ней уговаривать соседок пойти с ними «для страховки», на какое время был назначен выход в поле, куда было решено пойти и так далее. Из толпы ей задали вопрос: а почему это они ходили уговаривать женщин идти с ними?

— Не знаете разве нашего председателя? — удивилась она. — Чем больше виновных, тем у него меньше наказание. А сколько раз председатель вообще не наказывал? Только мы понимали: когда много людей — много не утатишь, придется с другими делиться. Поэтому лучше всего, решили, идти несколькими. И не страшно, и в корзину кое-что перепадет.

Она, оказывается, неплохо «прошупала» характер председателя!

Наконец дошла очередь главной притворщицы признаться. Председатель собрания Ян Сяо-сы сознательно оставил ее напоследок, зная, что она начнет выкручиваться. Вот и решил выпустить сперва тех, чтобы для этой осталось меньше шансов хитрить. Однако главная притворщица не мытьем так катаньем добивалась своего — то бранилась, то лебезила, но шум поднимала до небес!

— О чем мне говорить? — с хорошо разыгранной обидой обратилась она к собранию. — Вы что думаете, я воровала хлопок? Разве то, что я делала, считается воровством?

— Почему ты ставишь так вопрос? — крикнули из толпы. — Воровала ты или не воровала? Отвечай!

— Ну, воровала. Мне сам заместитель председателя велел так делать.

— Какой заместитель? — сдерживая себя, спросил Ян Сяо-сы.

— Ты! Кто вчера вечером призывал народ собирать хлопок? Прошла только одна ночь, и, смотрите, как заговорил! На попятную? Выходит, ты только брехать умеешь?

Тут она так неприлично выругалась, что народ даже слова не дал сказать Ян Сяо-сы.

— Ты что это себе позволяешь? — закричали на нее со всех сторон.

— Тебя на собрание признаваться вызвали или людей ругать?..

— Тихо! — перекрывая всех, закричал Чжан Тай-хэ. — Я вот что предлагаю. Даже если она станет признаваться, не слушать ее. Одно решение может быть — в суд!

— Правильно! — грянул дружный ответ.

И вот тогда-то «Нога болит» растерялась. Голова ее завертелась во все стороны, как барабанчик у разносчика товаров. От такого дружного требования растерялись и ее сын и даже невестка.

— Да говори же скорей, мама! — не выдержал сын. — Чего ты тянешь — на свою же голову?

Успокоить собрание Ян Сяо-сы удалось с большим трудом.

— Ну, теперь тихо! — пригрозил он пальцем толпе и повернулся к главной нарушительнице спокойствия. — Последний раз тебя спрашиваю: будешь ты говорить правду или не будешь? Отвечай немедленно, иначе сейчас же отправим. Церемониться нам с тобой нечего.



— А что г-г-говорить? — стала заикаться та с испугу.

— Что хочешь. Хочешь опять ругаться — ругайся!

— Н-н-не буду. Это я оговорилась, буду г-г-говорить всю правду.

— Ну как, разрешает собрание ей говорить? Пусть она скажет, а мы послушаем,— усмехнулся Ян Сяо-сы.— Ладно?

— Ладно! — согласилось собрание, и все снова уселись по местам.

«Нога болит» вздохнула несколько раз и сказала чуть слышно:

— Нечего мне оправдываться. Так или иначе, моя ошибка. Как было дело, Бао-чжу примерно рассказала. Вчера вечером, близко к концу собрания, Бао-чжу наклонилась ко мне и зашептала: «На кой сдалась нам его дисциплина, тетенька? Кликнем несколько человек...»

Но тут на собрании произошла вдруг заминка, поэтому лучше начать с ее причины. Собрание в пригородном кооперативе, на которое были вызваны председатель правления и секретарь партийного бюро, закончилось раньше, чем предполагалось, и те, несмотря на позднее время, поспешили отправиться восвояси. Увидя во дворе правления свет, они поняли, что там идет собрание, и свернули прямо туда, так и не заходя домой. Председатель еще издали узнал в женщине, стоявшей на помосте, главную притворщицу. «Нога болит» то поворачивалась к Ян Сяо-сы, то к собранию, из чего Ван Цзюй-хай заключил, что разбирается все тот же вопрос о злополучной дацзыбао. Даже не слушая, что там она говорит, он сгреб ее в охапку и стал довольно настойчиво выпроваживать со двора.

— Уходите вы отсюда, тетя, чтобы я вас больше не видел. Такой шум поднимать из-за какого-то пустяка! Через несколько дней я сам разберусь в этом деле и постараюсь уладить...

Вмешательство председателя, неожиданно появившегося на собрании, вызвало резкое недовольство собравшихся. Но когда они поняли из его слов, что он ни в чем не разобрался, раздался такой оглушительный хохот, какого в деревне никогда еще не слышали.

— Садись, председатель, отдохни с дороги,— предложил ему древний старик, сидевший возле помоста.— Тебе же не дано слово, почему полез на трибуну?

— Правильно, посидим в стороне и слушаем, что народ говорит, потом свое скажем,— потянул его за рукав секретарь.— Тебя же два дня дома не было — знаешь ты, что здесь люди делали?

С чувством неловкости председатель отошел в сторону и сел рядом с секретарем.

Зато «Нога болит» воспрянула духом, как только узрела Ван Цзюй-хая. Дальше раскаиваться она уже не собиралась. Покинула помост и направилась прямо к председателю, жалобно причитая по дороге:

— Видел бы ты, братик мой, что они тут натворили, пока тебя не было! Ведь они меня тут чуть в гроб не вогнали. Что они сделали с твоей несчастной тетей!..

— Нечего притворяться! — зашумело собрание.

— Ты устав нарушила! Никто тебе этого не простит!

— Уважаемые, прошу вас, сядьте! — взмолился председатель и вышел вперед, став рядом с Ян Сяо-сы.— Разрешите, я сперва вам отвечу. Неразрешимых дел, как вы знаете, нет...

— Сам садись! — оборвал его голос из толпы.— Мы не выбирали тебя сегодня в председатели собрания!

— Мы и без тебя сумеем управиться!

Секретарь не на шутку всполошился, как бы дело действительно не приняло другой оборот, и снова потянул Ван Цзюй-хая за рукав.

— Чего тебе приспичило это дело? Давай сначала слушаем, что люди говорят. Пусть собрание продолжается, а мы с тобой по-

сидим немного в комнате правления. Тебе действительно отдохнуть надо.— И повернулся к своему заместителю.— Можешь оторваться на минутку — заходи в правление. Расскажешь, что тут у вас произошло за два дня.

— Могу хоть сейчас,— с готовностью ответил тот.

Втроем они покинули собрание и зашли в комнату правления, где заместитель секретаря подробно рассказал, как Ян Сяо-сы и Гао Сю-лань придумали с ним мобилизовать женщин на полевые работы, как покритиковали тех, кто не имел особого рвения трудиться, как рас-пределили рабочую силу на уборке хлопка и, наконец, как «Нога болит» и ее сообщницы были уличены в хищении волокна.

— Завтра с хлопком можно будет закончить,— сказал он в заключение.— Сегодня после обеда всю скотину в поле вывели, расчищенные после хлопка поля уже вспаханы. Свободную рабочую силу по-прежнему используем на вывозке навоза, чтобы подготовить поля под озимой пшеницей.

С этими словами он встал и вернулся на собрание. Несколько минут секретарь сидел, задумчиво глядя в открытую дверь, потом сказал:

— Оказывается, умеют работать молодые! Можно, конечно, посмеяться над тем, как они все организовали. Ишь, какие законники выискались!.. Но в общем-то вопрос решен.

— Я смотрю, ненадежный этот их способ,— возразил Ван Цзюй-хай.— Какая это мобилизация! Нет, не смогли они нащупать характер каждого человека, не смогли. Насильно поднимать народ! Этак много не наработаешь!

— Ты уж молчи насчет своего умения. Не верь ты себе, что разбираешься в людях. Я иначе смотрю. Вот ведь молодые товарищи скорее тебя «нащупали», что представляют собой наши неприкосновенные особы. Разве это не правда? Возьми тех же женщин, которые отлынивали от работы. Ленъ у них в характере, желание прихватить себе что-нибудь. Разобрались наши молодые в этом, вот и вывели всех в поле. Да если бы они не нащупали эту черточку характера, смогли бы они переделать его? А ведь они и переделали! Подумай: ведь они настоящую выставку устроили, вытряхнули наружу всю чуждую идеологию и показали, что это такое. Захотят теперь эти женщины жить по-старому? Не думаю. Ты говоришь, что от такой мобилизации толку мало. Не верю. Ведь хлопок они убрали как раз с помощью этих людей! За два дня смогли убрать все поле. Плохо они сделали? Да если бы взялись «щупать» по твоему способу характер, боюсь, и за десять дней не управились бы — ведь людей было бы меньше!.. И давай заодно поговорим об упорядочении стиля. Люди сразу выявили двух главных шкурников — можно сказать, заводил в этом деле. А ты не только собираешься что-то разъяснить этим шкурникам, но и помогаешь им объективно. Не думаешь о женщинах в нашем кооперативе; об одной половине — забыл, что руководить ею надо, а другую отдал на откуп — пусть «Нога болит» и Ли Бао-чжу руководят ими! Брат ты мой, ведь ты старше меня, и я не должен был говорить с тобой так. Но я думаю, тебе самому не помешает «закаляться» и закаляться», как ты советуешь молодым товарищам. Тут я с тобой полностью согласен.

Председатель молчал — нечего ему было возразить секретарю. И тогда Ван Чжэнь-хай потянул его к выходу.

— Пойдем посмотрим, как собрание решило наказать расхитительниц.

Когда они появились во дворе, «Нога болит» со слезами на глазах умоляла Ян Сяо-сы смириться.

— Товарищ заместитель председателя, ну прошу тебя, позволь мне сказать всю правду. Честное слово, всю правду скажу!

Оказывается, собрание только приступило к разбору ее поступка. Когда она обвинила всех собравшихся, будто они чуть в гроб ее не вогнали, ей было категорически отказано в слове. Пока председатель и секретарь отсутствовали, обсуждался вопрос о наказании ее трех соучастниц, как поступить с ней — уже было выражено общее мнение: отправить в суд. При появлении председателя кто-то не без умысла, конечно, громко крикнул, чтобы «Нога болит» услышала:

— Зачем просишь, чтобы тебе разрешили признаваться? Теперь никакой необходимости в этом нет. Не видишь разве — председатель пришел!

— При чем тут я? — заметил на это Ван Цзюй-хай. — Пришел я или не пришел, поступайте с ней так, как решите. Тут меня некоторые называли «слишком субъективным». Это правда, признаю. Рассердились вы на меня за дело — не разобрался я в том, что у вас происходит, и полез со своими советами.

Воспользовавшись паузой, вызванной совершенно неожиданным выступлением председателя, «Нога болит» затараторила скороговоркой:

— Пусть только мне разрешат признаться, я признаюсь во всем, кто бы сюда ни пришел! Только разрешите!..

Она умоляюще смотрела на столпившихся возле помоста знакомых ей с детства людей, но те молчали, молчал заместитель секретаря партбюро, молчали оба заместителя председателя. Люди, в свою очередь, смотрели на председателя и секретаря, но те тоже молчали. Гнетущую тишину нарушил дрожащий голос сына виновницы всей этой истории. Он поднялся и робко заговорил, ни на кого не глядя:

— Товарищ председатель, я прошу за свою мать. Разрешите ей признаться. Или уже поздно?

Ян Сяо-сы взглянул на него потеплевшими глазами, потом посмотрел в настороженно притихшую толпу и спросил:

— Ну как быть? Решайте!

— Я вношу предложение, — раздался в темноте старческий голос. — Пусть уж она признается, но только глядя сыну в глаза.

— Если не захочет так, пусть сразу скажет. Упрашивать не будем, — поддержали его в толпе.

— Так как же, люди? — повторил свой вопрос Ян Сяо-сы.

— Ладно, пусть говорит.

— Пусть!..

Страх перед судом односельчан все еще не оставлял главной притворщицы. Больше всего боясь, что ее могут не простить, она рассказала все начистоту, не забыв ни одного из совершенных ею проступков. Поэтому ее признание звучало искренне, и никто в нем не усомнился. Когда она кончила говорить, решение было единодушным, его даже не обсуждали: оштрафовать из расчета пяти трудодней за каждый цзинь семян хлопка. Такому же наказанию подвергли и вторую притворщицу — «Не наелась». Главную же предупредили, что расплачиваться она должна не из доли сына, а из своего собственного трудового заработка.

Собрание закончилось. Секретарь вышел проводить Ван Цзюй-хая.  
— Вот тебе и лекарство по роду болезни! — рассмеялся он вдруг, вспомнив советы председателя. — Так что же, кротостью надо действовать? Выходит, не нащупал ты их характера, председатель. Если б не твои потачки, они давно бы уже перестали беситься. Вот я и думаю, тебе еще тоже надо закаляться и закаляться.

*Перевел с китайского Агей Гатов.*



---

П. Х. Х. БРАЙАН

★

## САПОЖНИК ИЗ ПЕНЗАНСА

*Английский писатель П. Х. Х. Брайан (р. 1913) прошел нелегкий жизненный путь. Переменил много профессий: был батраком на ферме и погонщиком скота, клерком и дровосеком, матросом и монтером, акцизным чиновником и водителем грузовых машин. В годы второй мировой войны служил в армии. Брайан пишет рассказы и повести.*

*Публикуемый ниже рассказ взят из изданного в Лондоне «Сборника современных коротких рассказов» (1956). На русский язык произведения Брайана переводятся впервые.*

Звали его Джон Пенрит. Его небольшая мастерская, выходящая узеньким фасадом на Пенрит-стрит, неподалеку от Маркет-Джу-стрит, была втиснута между универсальным магазином, принадлежавшим Немецко-швейцарской компании и отделением Аргентинского общества мясной торговли. Это был низенький, плотный, румяный человек лет шестидесяти, с белыми волосами и лукавым огоньком в глазах. Он считал себя методистом, потому что верил в бога, и консерватором, потому что верил в частное предпринимательство.

Кроме того, он был мастером своего дела. Это я понял, когда вошел впервые в его мастерскую и, стараясь сделать это незаметно, положил с виноватым видом на прилавок пару сильно изношенных коричневых ботинок с отстающими подошвами. Я стоял молча в ожидании быстрого пренебрежительного осмотра, сопровождающегося обычно высокомерным покачиванием головы, — я уже давно примирился с этим веками выработанным профессиональным приемом.

Но Джон Пенрит осматривал мои ботинки с выражением прямо-таки нежного интереса. Он разглядывал их со всех сторон, нюхал, мял, потирал.

— Замечательная кожа, — заметил он. У него была старомодная корнуэльская манера говорить — певучая и мягкая. — Сейчас такую не часто встретишь.

— Никак не пойму, где они сделаны, — добавил он немного погодя. — Могу ли я спросить...

— Их шил китайский сапожник, — объяснил я. — Шил давно, в далекой чужой стране. Он очень тщательно обрисовал мою ногу на бумаге, очень точно измерил мой подъем, щиколотку, обхват пальцев. Он снимал мерку по горизонтали, по диагонали и по частям... И конечно, когда я первый раз их надел, ботинки нещадно жали. Но кожу он поставил хорошую.

— Да, это хорошая кожа, — согласился со мной Джон Пенрит, многозначительно покачивая головой. — Настоящая кожа. Знаете, — продолжал он, — я часто думаю, что самой подходящей торговой маркой для современных обувных фабрик была бы сосновая шишка.

— Будь в 1857 году наша наука более передовой, — заметил я, — в Индии не было бы восстания: индусы и мусульмане не имели бы никаких оснований протестовать против древесины и бобовых жмыхов<sup>1</sup>.

— Это вы очень правильно заметили, — сказал он. — Итак, сударь, полагаю, вы хотите, чтобы я поставил на них новые подметки и каблуки?

— Да, пожалуйста.

— А что поставить на каблуки — подковки или резиновые набойки?

— Да что хотите.

Он вздохнул, не одобряя, по-видимому, моего легкомысленного отношения к делу, как-никак важному.

— Где вам придется главным образом ходить в них — по траве или по прибрежным камням? — спросил он.

— Думаю, что главным образом по камням.

— В таком случае набойку резиновую на одну четверть, — серьезно сказал он, делая пометку мелом на подошве. — Резина в большом количестве может оказаться предательской. Для ходьбы по скользким камням нет ничего лучше, чем кожа с кусочком резины для торможения. Стальные подковки хороши для травы. Немало людей сохранили бы себе жизнь, если бы больше внимания обращали на обувь.

— Когда будут готовы башмаки?

— В пятницу, сударь, непременно.

В течение двух месяцев, которые последовали за нашей первой встречей, я много раз виделся с ним. Сперва это были деловые визиты, так как он воскресил для меня еще три или четыре пары ботинок, которые я уже давно считал совершенно непригодными, но потом я стал раза два в неделю заходить к нему поболтать, закончив свои покупки на Маркет-Джу-стрит. У меня в Корнуэлле почти не было знакомых, он был холостяком и жил один в квартире над мастерской.

Он был мастером и, как все мастера, очень любил свое дело, хотя, по его словам, теперь редко шил ботинки и больше занимался починками. Родом он был из Маузолла и пятнадцати лет уже поступил в ученье к мастеру. Со своими уверенными, неторопливыми манерами, румяным лицом, искрящимися веселыми глазами он, казалось, распространял вокруг себя атмосферу прочности и постоянства, столь ценных в нашем неустойчивом мире, где царят неуверенность в завтрашнем дне, ненависть и зависть, где поклоняются быстроте, принимают фальшь за патриотизм и аплодируют мошенничеству.

Он был пережитком прошлого — прошлых идеалов и прошлых стандартов, такой же анахронизм, как индеец в Национальном парке в Калифорнии, наряженный в маскарадный костюм для развлечения туристов.

Только Джон Пентрит не наряжался для развлечения туристов, потому что хоть он и принадлежал к исчезающему племени, однако музейная ценность человека, который вряд ли когда-нибудь слышал о разнице между искусством и ремеслом, но всегда стоял за мастерство и высокое качество работы, еще не определена.

Его, конечно, никак нельзя было обвинить в незнании современной жизни. Он часто с тоской говорил о Корнуэлле дней своей юности.

— В мое время, — говаривал он, — в гаванях Ньюлина и Маузолла повернуться негде было — столько там набивалось рыбацких лодок. Замечательное зрелище, когда они вечером становились на якорь. Сотни парусов! Казалось, что лодки вытесняют воду из бухты. Прекрасный на-

<sup>1</sup> Намек на официальную версию английского правительства относительно причины Индийского восстания, которое началось якобы потому, что солдат заставляли носить амуницию и патронташи из свиной кожи.

род были корнуэльские рыбаки: гордые, отважные, выносливые. А посмотрите на них сейчас! Кто они? Мойщики в гаражах, мелкие букмекеры, гиды по пещерам, где якобы прячутся контрабандисты, попрошайки! Скверно, что и говорить! — Он неодобрительно качал головой.

— Корнуэлл после вторжения уже больше не тот, — продолжал он. — И во всем виноваты художники. Нахлынули сюда, селятся вокруг Сэнт Ива и Ньюлина. Их просто тысячи. Но чего я никак не пойму, это кому сдались их картины, тем более, что рисуют они все одно и то же. И еще я никак не пойму, почему они не рисуют своих развалин, а приезжают сюда, чтобы рисовать наши? Корнуэлл сейчас просто наводнен пришельцами. Вы бы не узнали старый Сеннен или старый Маузхолл. Чего там только не понастроили! И кто только там не живет теперь: не только художники, там и лондонцы, и бирмингэмцы, и поляки, и венгры.. Я слышал, что даже писатели появились...

Жаркий июльский вечер, на опустевшей улице лежат тени. Я стою, облокотившись о прилавок, и болтаю на разные темы. Мне кажется, однако, что разговор не интересует его, как обычно. Он выглядит озабоченным.

Я замолчал. Наступила пауза, которую он не пытался прервать.

Зазвенел колокольчик, и в дверь вошла неряшливо одетая девочка лет десяти.

— А, пришла, дочка! Замшевая пара миссис Монкс? Скажи своей мамочке, чтобы она в следующий раз не сушила туфли возле огня — мне пришлось немало потрудиться, чтобы размять их. Восемь шиллингов и шесть пенсов. Правильно! До свидания, деточка.

Девочка ушла, колокольчик звякнул, и снова наступила тишина.

Вдруг он сказал:

— Юноша, я закончил их!

— Что закончили?

Он помолчал. Потом сказал:

— Пойдемте со мной.

Он прошел в небольшую комнатку позади мастерской. Там стояли скамейка и стол, сплошь заваленные инструментами и обрезками кожи. Полки на стенах были заставлены ботинками и туфлями всех фасонов и всех степеней изношенности. В углу я заметил паяльник и газовую конфорку.

Он пошарил под скамейкой, вытащил оттуда пару сапог и с размаху поставил их на стол.

— Вот они! — просто сказал он.

Это были коричневые сапоги. Мне показалось сначала в угасающем свете дня, что это высокие лыжные ботинки или, быть может, полусапожки, какие носят лесорубы на Тихоокеанском побережье. Но они были без шнурков. На них были какие-то таинственные хлястики и длинные узкие разрезы. Самым примечательным в них были невероятно толстые подошвы — по меньшей мере полтора дюйма толщиной.

Я взял их в руки. Они были почти невесомы.

— Если уж эти сапоги будут пропускать воду, то я не знаю, какой черт ее не пропустит, — пояснил Джон Пентрит и добавил, указывая на зубцы возле каблука: — Видите? Водоотводное приспособление. Если даже вода попадет в них через верх — что не должно случиться, потому что я наладил передвижную перемычку, — то она выльется через этот клапан, действующий только в одном направлении.

Даже на мой непосвященный взгляд сапоги были превосходно сработаны, и кожа на них была, без сомнения, высшего качества. Но все же я не мог не подумать, что в наши дни, когда фабрики выпускают прекрасные охотничьи и болотные сапоги, вряд ли стоило терять так много вре-

мени и тратить столько труда и изобретательности на создание довольно-таки странных на вид водонепроницаемых кожаных сапог.

Я осторожно ответил:

— Чудесные сапожки, мистер Пентрит, но мне все-таки кажется, что было бы жалко ступить в них в воду.

— Юноша, — сказал Джон Пентрит, — сапоги, которые вы держите в руке, предназначаются вовсе не для того, чтобы передвигаться в воде. Они для того, чтобы ходить по ней.

Прежде чем я успел осмыслить это заявление, он взял сапоги и перевернул их подошвами кверху. Тогда я увидел, что толстые подошвы не были сплошными. В материал, напоминающий пластмассу, была вделана сложная система трубок, каналов и завитушек.

— Пятнадцать лет работы! — объявил он ровным голосом. — Испытания и неудачи! И вот теперь они готовы.

Может быть, подумал я, у пожилых людей — пусть даже добродушных и румяных — бывают и навязчивые идеи, причем во всех других отношениях они остаются нормальными и вполне безвредными. Я старался припомнить подобные случаи.

— Вопрос, как держаться на воде, разрешить было нетрудно, — продолжал он. — Даже лондонец сумел бы сконструировать два буйка, способных выдержать вес человека. Движение вперед — вот этот орешек раскусить было не так-то просто. Вы ведь, наверное, знаете, что буйки гидроплана и поплавки летающей лодки, и те неохотно отрываются от воды, даже если угол наклона самолета к траектории полета почти развернут. Но в своих сапогах я разрешил и эту проблему, хотя на это и потребовалось около десяти лет... Главным препятствием было буксование. Вы ведь знаете, как тянет назад, когда идешь по зыбкому песку или по обледенелой горке. Вот точно так же вели себя мои сапоги при первых испытаниях. Шагаешь быстро, а на самом деле стоишь на одном месте. С этим я бился немало лет, пристраивая всякие преградительные пластинки. Знаете, если дело доходит до того, чтобы смыть рубку рулевого или отломить огромный кусок от гранитного волнореза, вода оказывается очень плотной. В конце концов я все же добился своего при помощи целой системы перегородок и нагнетающих каналов. И вот, юноша, они закончены. Пойдем и испробуем их. Лучше показать на пенни, чем наболтать на фунт.

Он снял передник, надел кепку и завернул сапоги в старую газету.

Слегка ошеломленный, я последовал за ним из мастерской. Он перевернул кусок картона, висящий на дверях, на ту сторону, где было написано «закрыто», и запер за собой дверь. Молча мы отправились в гавань.

Начался прилив, и его шлюпка была в воде. Уже почти совсем стемнело, людей вокруг было мало. Скоро мы вышли из гавани в открытое море. Я примостился посередине, а Джон Пентрит, сидя на корме шлюпки, греб единственным веслом с кажущейся легкостью, свойственной уроженцам Корнуэлла.

Мы отошли от берега на полмили. Окончательно стемнело, луны не было, и на небе тепло светились звезды. Дул легкий западный ветерок. Чуть намечающаяся волна бежала по поверхности моря. Мертвая зыбь бережно покачивала шлюпку. Огни Пензанса, Ньюлина, Маразиона и деревушек Маунт Бэя, охватывавшие залив широкой дугой, мерцали вдаль.

Джон Пентрит перестал грести и осмотрелся.

— Мы отъехали уже достаточно далеко, — решил он. — Здесь нас никто не увидит... — И принялся расшнуровывать свои скромные черные ботинки.

Он развернул сапоги и стал неторопливо и осторожно натягивать их. Затем встал, внимательно огляделся по сторонам и... переступил через корму шлюпки.

И тут только у меня дошло до сознания, что он идет по воде вокруг шлюпки на большом расстоянии от нее.

Описав полный круг, он неторопливой походкой направился обратно ко мне, остановился футах в двух от борта и встал там, засунув руки в карманы и покачиваясь в такт спокойным вздохам океана.

— В полном порядке, — заметил он без всяких признаков волнения. — Хотите попробовать?

И прежде чем я успел собраться с мыслями, он шагнул в лодку, стащил сапоги и стал надевать их на меня.

В следующий момент оказалось, что я робко карабкаюсь через корму, цепляясь за руку своего инструктора и прислушиваясь к советам, которые он спокойным голосом дает мне.

— Не зарывайте носки, — сказал он, когда левая нога погрузилась в воду по щиколотку. — Ставьте ногу совершенно плоско.

Целую минуту я простоял, вцепившись обеими руками в борт лодки, напоминающая начинающего конькобежца, который боится оторваться от перил.

— Выпрямляйтесь! — безжалостно скомандовал мистер Пентрит.

Я отпустил борт и выпрямился, чувствуя себя очень ненадежно и судорожно дергаясь из стороны в сторону.

— Наклонитесь немного вперед. Идите! Для начала выше подымайте ноги.

Раскинув руки в стороны, я рискнул сделать один шагок. Ничего не случилось, и я попробовал сделать еще один... и еще. Через десять шагов я понял, что сохранять равновесие не представляет никакой трудности.

Я шел по морю. Физически я испытывал ощущение, будто бы иду по роскошному пушистому пружинящему ковру, и если вы можете представить себе, что идете по полу, застланному таким вот ковром, и что пол в то же время чуть колыхнется у вас под ногами, тогда вы поймете, что значит ходить по морю.

Потом наконец я осознал, что это за чудо, и буквально опьянел от восторга. Я ходил, я бегал, я прыгал, я скакал вокруг шлюпки на одной ноге, смеялся, кричал какую-то ерунду старому Пентриту и вообще вел себя, как шестилетний мальчишка, которому первый раз в жизни позволили поплескаться в воде.

Я, наверное, исходил по морю немало миль, в то время как мой инструктор неотступно греб позади меня. Когда мы обогнули Сэнт-Майкл-Маунт, меня ждало еще большее удовольствие. Там волнение было сильнее, океан медленно катил крутые частые волны фута в четыре высотой, и я долго резвился, бегая вверх и вниз, прыгая по покрытым белой пеной волнам, пока они не начинали грозить опрокинуться и рассыпаться, и пытаюсь — не всегда успешно — прокатиться на гребне девятого вала.

Наконец я залез через корму в шлюпку — задыхающийся, мокрый и изнемогающий от усталости.

— Это дает какое-то невероятное ощущение головокружительной веселости, радости бытия, — с трудом проговорил я через несколько минут, немного отдышавшись, в то время как он терпеливо греб к пристани. — У меня такое чувство, словно я победил океан.

Даже в темноте я различил его снисходительную улыбку, когда он ответил:

— Вы и правда победили.

На следующий день я проснулся поздно и после завтрака поспешил на Пенрит-стрит, где нашел его одетым во всегдашний грязный фартук и погруженным в починку совершенно изношенных грубых мужских



башмаков, как будто бы вчера не произошло никаких потрясающих событий.

— Что вы думаете делать? — спросил я его без обиняков. — Как вы собираетесь наладить сбыт, финансирование, приобретение патента и все остальное?

Он положил башмак и с отсутствующим видом посмотрел на меня.

— Я думал обо всем этом, — тихо сказал он. — Деньги мне не так нужны. Я уже стар, у меня кое-что отложено на черный день. До смерти мне хватит. Но старики — тщеславный народ. Мне очень хотелось бы оставить по себе какую-нибудь память, мне хотелось бы немножко улучшить жизнь на земле, возвеличить имя Пентрита, а может быть — кто знает? — и Корнуэлла... Вам, наверное, кажется это глупым, юноша?

— Нет, что вы! — запротестовал я. — Я прекрасно вас понимаю.

— Сапог Пентрита, — продолжал он, смотря в окно на людную улицу, — создан для хороших целей. Он откроет людям чудесные неизведанные территории, создаст новый здоровый спорт. Его будут благословлять жители болотистых мест и прибрежных районов. А на наших океанских пляжах я вижу веселые компании загорелых подростков, которые свободно резвятся на просторе, вдали от твердых узких лент шоссе и бензинной гари, и предпринимают прогулки к самым недоступным местам нашего побережья.

Я почувствовал, что во мне поднимается нетерпение.

— Конечно, но прежде, чем это станет возможным, вам необходимо пустить их в продажу в большом количестве. Что вы думаете предпринять на этот счет?

— Об этом я тоже подумал, — ответил он, и в голосе его послышалась старая насмешливая нотка.

Станный человек, подумал я, забавная смесь наивности и философской мудрости... В эту минуту звякнул колокольчик, и в мастерскую вошел человек.

Без всякого сомнения, это был американец. Он был среднего роста, полный. На голове у него была фетровая шляпа, поля которой были выгнуты не по-английски. Жилет он не надел, и длинный галстук свисал почти до пояса. Непроницаемое лицо было чисто выбрито и украшено очками с толстыми стеклами без ободков.

— Мистер Пентрит? — спросил он, протягивая пухлую руку.

Джон Пентрит пожал ее, ответив «да».

— Имею деловое предложение, — объявил американец без дальнейших церемоний, — только прежде, как насчет?.. — И он мотнул головой в мою сторону.

— Можете говорить совершенно откровенно, сударь. Этот молодой человек... мой друг.

— Прекрасно, — ответил американец, кладя на прилавок какие-то бумаги. — Вот что, мистер Пентрит, давайте говорить начистоту. Мы знаем, что вы имеете, и фирма, которую я представляю, поручила мне сделать вам наивыгоднейшее предложение: вы продаете все права без всяких оговорок. Пятьдесят тысяч фунтов, которые будут выплачены в долларах, где угодно и как угодно. Поздравляю вас, мистер Пентрит!

Джон Пентрит не выказал чрезмерного волнения, но все же довольная улыбка мелькнула на его лице.

— Что ж, сударь, я, так сказать, очень рад, что нашлись люди, которые настолько заинтересовались моим изобретением, хотя я и не буду вас спрашивать, откуда вы о нем узнали. Но прежде расскажите мне о своих планах. Когда вы думаете начать производство? Какое количество предполагаете изготавливать сначала? И вопрос цены тоже очень важен, потому что, видите ли...

Посетитель резко перебил его:

— Мы вовсе не намерены делать сапоги. На этот счет должна существовать полнейшая ясность, — решительно сказал он. — Нам просто нужны ваши модели, ваши чертежи и ваши права. Передайте их нам и подпишите вот тут. Пятьдесят тысяч фунтов, мистер Пентрит...

Сапожник медленно покачал головой.

— А на что мне пятьдесят тысяч фунтов? — спокойно спросил он. И добавил: — Всего хорошего, сударь.

Американец, стоявший с вечным пером наготове, казалось, онемел. Кое-какие его мысли я мог прочесть, и мне было почти жаль его. Это был широко распространенный тип дельца, представляющего большие корпорации и ведущего от их имени переговоры. По ходу своей карьеры ему, наверное, приходилось встречаться с китайскими банкирами, венецианскими помещиками, сиамскими купцами, средневосточными нефтяными шейхами, английскими бизнесменами и балканскими царьками в отставке, и он великолепно умел справляться со всякого рода проволочками, жадностью, лицемерием, притворным возмущением и напускной наивностью. Но еще никогда в жизни он не встречал человека, которому просто не нужны были деньги.

— Всего хорошего, сударь, — повторил Джон Пентрит тоном, который был любезен, но в то же время ясно указывал, что беседа закончена.

Дар речи вернулся к посетителю. Бледное лицо его побагровело. Он схватил свои бумаги и в полной растерянности ретировался к дверям, злобно бормоча:

— Вы еще узнаете, вы еще узнаете...

Затем он ушел.

Старик вздохнул и сказал:

— Вот те на! И кто бы мог придумать такое? — И затем: — Чертежи! А еще что? Все мои чертежи тут и больше нигде, — добавил он, постучав себя по голове.

— Мистер Пентрит, — начал я робко, потому что сам был не вполне уверен, что хочу сказать. — Вы знаете, что я думаю о ваших сапогах. И я уверен, что они послужат благородной цели в интересах всего человечества, как вы и говорили. Но вы должны принять во внимание и другие факторы. Быть может...

— Ах, юноша, — сказал он тоном легкого выговора, — вы склонны преувеличивать скверные качества людей. Вы принадлежите к поколению, выросшему — я признаю это — в более суровые и изворотливые времена, чем я, и это заставляет вас забывать о том, что в основе своей человек хорош. Сапог Пентрита по существу своему — хорошая вещь, и, как только человечество, которое тоже по существу своему хорошо, узнает о нем, оно с благодарностью примет его.

— Но...

— Подумайте о веселых компаниях, совершающих прогулки вокруг берегов Англии, — продолжал он спокойно, и убеждение и искренность, звучавшие в его голосе, не допускали дальнейших возражений, — подумайте о новом «спорте Пентрит» — о катании на гребне большой волны. Подумайте о миллионах китайцев, тонущих ежегодно во время своих наводнений... Ах, юноша, нужно больше верить в людей...

Он сказал, что еще не вполне ясно представляет себе, каким образом лучше продемонстрировать сапог миру и объяснить его настоящее назначение, и что он, так сказать, должен еще подумать над этим. Прежде чем я ушел от него в тот вечер, он попросил меня не говорить ни с кем про сапоги.

— Пойдут всякие слухи, — объяснил он, — а некоторые старые корнуэльцы (и я в том числе) склонны к суевериям. Уж одни наши ведьмы и прочая чертовщина чего только стоят... Нет, сапоги нужно препод-

нести по всем правилам первоклассной рекламы, как предмет испытанный, испытанный и проверенный.

На следующее утро я нашел у себя в почтовом ящике письмо.

«Дорогой юноша, вчера после вашего ухода я принял решение, как мне следует поступить в дальнейшем. Я решил, что будет неблагоразумно начинать производство сапог в маленьких количествах, особенно после таких коротких испытаний. Возможны ошибочные заключения, неприятности с властями из-за правил безопасности. Все это может задушить дело в самом начале. (Я не говорил вам раньше, но похоже на то, что Том Полгласс — тот, что дает напрокат лодки, — уже подозревает что-то, бедняга, судя по его вызывающему поведению в отношении меня.) Но все это не имеет никакого значения, так как я собираюсь продемонстрировать миру сапоги, пройдя в них до Нью-Йорка, через Исландию, Гренландию и Лабрадор. Путешествие я начну из Шэтланда. Я буду, конечно, выжидать каждый раз, чтобы установилась погода, и надеюсь встречать по пути рыбацьи суда, промышляющие в этих водах. Я уже закрыл свою мастерскую и выезжаю в Шотландию поездом десять пятнадцать.

Искренне ваш, Джон Пентрит».

Я знал, что он никогда прежде не ездил никуда дальше Бристоля.

В течение трех недель я с беспокойством просматривал газеты и слушал все радиопередачи. Но имя Джона Пентрита в них ни разу не упоминалось.

И вот однажды утром почтальон принес мне небольшой белый конверт, на котором карандашными каракулями было выведено мое имя. Внутри был вложен листок бумаги, вырванный из блокнота, на котором было написано:

«Милостивый государь, я познакомился с вашим другом и от него узнал ваш адрес. Следующие шесть дней я проведу в баре «Джордж», Эльверс Лэйн, Гримсби. С совершенным почтением, Эдвард О'Каллаган, помощник капитана тральщика «Лилли».

К семи часам вечера я уже был в Гримсби и сидел в баре «Джордж» вместе с мистером О'Каллаганом. Это был худой смуглый ирландец лет сорока пяти, который сообщил мне, что служит на английских тральщиках с восемнадцати лет. Он пожал мне руку и налил большую кружку крепкого пива.

— Должен сообщить вам печальную новость, — объявил он, поняв наконец, что дольше оставаться в тревожной неизвестности я не хочу. — Он... он не дошел до Исландии. Это мы выяснили, когда стали на якорь в Рейкьявике.

— Так... — пробормотал я, не зная, что делать дальше. Мы некоторое время молча пили пиво.

— Где же вы его встретили? — спросил я.

Мистер О'Каллаган поставил кружку и вытер рот.

— Мы находились приблизительно в девяноста милях к юго-востоку от Вестерхорна в Исландии, — начал он. — Вечер был прекрасный, тихий. Изредка налетал ветерок с востока, и на море была легкая зыбь. Мы не тралили, трюм был открыт. Матросы пили чай внизу. Я вышел из рулевой рубки покурить. Никаких особых дел у меня не было. Случайно я взглянул в южном направлении... — Он нагнулся вперед, и голос его перешел в напряженный шепот. — И что я увидел?..

Он положил обе руки на стол и не отрываясь смотрел прямо перед собой.

— Я увидел, что по воде, прямо к тральщику, идет человек, — сказал он раздельно. — Трубка выпала у меня изо рта, кровь застыла в жилах, волосы встали дыбом, и я не мог пошевелиться, как будто превратился в истукана, потому что кто же это еще мог быть, как не сам Иисус

Христос, а я, прости меня господи, благочестием не отличаюсь и еще не совсем подготовился к встрече с ним...

Он помолчал. Казалось, что он не вполне оправился от потрясения, вызванного этой встречей.

— Потом, — продолжал он, — я услышал голос человека, говорившего с корнуэльским акцентом, и понял, что это не может быть Христос.

Некоторое время он задумчиво потягивал пиво и наконец рассказал мне о Джоне Пентрите.

— Мы втащили его на тральщик, отвели вниз и хорошенько накормили. Он очень устал и был бледен, но в общем был в хорошем состоянии. Он провел у меня три часа. Замечательный старик! Болтал о том, как надо ловить рыбу, о том, какое благо принесут людям его сапоги, и еще о чем-то, что очень важно в человеке... Невероятная выдержка. Мы пытались отговорить его от дальнейшего похода, но он даже слушать не захотел, а был-то у него всего старый карманный компас и две странички из школьного атласа... Мы все вышли на палубу проводить его. Уже был поздний вечер — знаете, такой арктический полумрак, и голубоватая дымка, и холодная зеленая вода... Но прогноз погоды был хороший и устойчивый... Матросы суетились, помогая ему спуститься вниз по трапу. Этот старик чем-то их покорила. И забавно — не потому, что я придаю этому какое-то значение, — но только как раз в тот момент мальчишка юнга ткнул пальцем и сказал, что видел, как что-то длинное и черное скользнуло в северном направлении и моментально скрылось во мраке. Кит, подумал он, или, может быть, подводная лодка, но у зеленых юнцов головы вечно забиты всякими фантазиями... Старик снова отправился в путь. Когда он сошел с тральщика, грянуло троекратное «ура». Мы следили за ним, пока он не скрылся из виду. Но... он так и не дошел до Исландии.

Мы снова помолчали.

— Царствие ему небесное, — торжественно провозгласил мистер О'Каллаган, поднимая кружку. — Прекрасный был человек. Царствие ему небесное!

— Царствие ему небесное! — грустно повторил я.

Джона Пентрита нет. Но какова бы ни была его судьба, одно достоверно — и он и его сапоги навсегда исчезли с лица земли.

С тех пор как он отправился в свое первое и последнее путешествие, прошло много лет. Я часто думаю о нем, и тогда перед моим мысленным взором появляется крошечная одинокая фигурка на огромном пустынном океане. Это фигурка гордого мастера, которому не терпелось поделиться плодами своего изобретения с другими, фигурка безоружного победителя, хранящего в сердце чистую веру в людей. Она идет на северо-запад по спокойному морю при угасающем свете летнего дня, для того чтобы исчезнуть навеки в тумане, скрывающем горизонт.

*Перевела с английского В. Ефанова.*



## ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ

(Из воспоминаний участников Октябрьской революции)

Тридцать один год тому назад, накануне десятилетия Октябрьской революции, Историко-партийный отдел Центрального Комитета партии (Истпарт) обратился к большой группе партийных работников с просьбой заполнить «Анкету участника Октябрьского переворота». Материалы эти предназначались для сводной публикации в журнале «Пролетарская революция». Однако многие анкеты пришли с опозданием, и впоследствии все они поступили в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Извлечения из семидесяти одной анкеты были впервые опубликованы в 1957 году на страницах сборника «От Февраля к Октябрю». Всего же в Центральном партийном архиве хранится более 350 этих своеобразных исторических документов.

«Анкета участника Октябрьского переворота» — это всесторонне продуманный вопросник, задачей которого было оживить в памяти и воспроизвести детали величайших исторических событий периода подготовки и проведения Октябрьской революции и первых дней после установления Советской власти.

Четвертый вопрос анкеты был сформулирован таким образом: «Где, когда, при каких обстоятельствах пришлось вам столкнуться в период переворота с Владимиром Ильичем Лениным? Ваши воспоминания о его выступлениях и работе за это время».

Ниже приведены впервые публикуемые извлечения из двенадцати анкет по этому разделу. Составитель подборки и примечаний Б. В. Яковлев.

### ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

**Д**о приезда Владимира Ильича в Петроград я его не видел. Первая встреча была, когда он приехал в «пломбированном» вагоне. Мы его встречали на Финляндском вокзале.

Я в то время был депутатом фракции большевиков. Я его лично не знал, но когда красногвардейцы и мы выстроились в шеренгу, то увидели, что из вагона выходит человек пять и в первую очередь идет плотный мужчина в поношенном коричневом пальто... Осмотрев нас с ног до головы, он спросил:

— А сколько вас, красногвардейцев?

Рядом стоящий товарищ ответил, что всего по Питеру наберется тысяча шесть. Он сказал:

— Это мало! Надо втянуть в Красную гвардию не меньше чем сотни тысяч рабочих!

В. И. Ленин вышел из вокзала, стал на броневик и тут же приветствовал рабочих, так как почти все рабочие Выборгской стороны встречали Ильича. После митинга броневик и прожектора отправились с Выборгской стороны на Петроградскую, ко дворцу Кшесинской. В этом дворце находился в то время наш ЦК. Во дворец пускали только товарищей, активных по работе в партийных органах, и старых коммунистов. Я также присутствовал при первом докладе Ильича.

Ужиная, Владимир Ильич нервничал и торопил остальных поскорее кончать трапезу. Шутил и острил, что в «пломбированном» вагоне не подавали такой вкусной дичи, как здесь. Похваляли:

— Молодцы, накормили, теперь можно в бой идти.

Первые слова его были — оценка нашей революции и что должна делать наша большевистская партия:

— Революция у нас буржуазная. Министры Гучков и Милюков — представители капитала, а Керенский — это балаганная кукла, как ее заведешь, так она и будет танцевать... Наша задача разоблачать в печати меньшевиков и эсеров: Либеров, Данов, Черновых и компанию... Рабочий и крестьянин, а также солдат могут выиграть только при диктатуре пролетариата.

Ленин бросил лозунги:

— Вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов! Империалистическую войну необходимо ликвидировать, хотя бы это было материально и морально тяжело для России. Солдаты ждут мира во что бы то ни стало. Надо мир заключить с Германией, хотя бы сепаратный от союзников (Англии и Франции).

Доклад длился около часа. В этом докладе так много было дано Ильичем для оценки революции, что во всех присутствующих произошел необыкновенный прилив энергии к борьбе..

**Петр Смирнов,**

член КПСС с 1917 года, член Петроградского Совета, делегат II съезда Советов,

### ЛЕНИН В СМОЛЬНОМ

В сентябре 1917 года я... был делегирован на Всероссийский съезд Советов от Омского комитета партии большевиков.

В Смольном уголок, отведенный для большевиков, заметно оживлялся. Ежедневно шел слух, что заgrimированный Ленин находится в Смольном.\* При каждом новом слухе об этом меньшевики и эсеры как бы проглатывали аршин, говорили «да ну?» и как ошпаренные бежали прочь.

25 октября, получив известие, что красногвардейцы обстреливают Зимний дворец, я и товарищ Ноханович побежали к Смольному. Не доходя до него два-три квартала, мы встретили несколько бегущих к Смольному групп, которые на наш вопрос «в чем дело?» ответили:

— Ленин в Смольном!

У ворот Смольного наткнулись на расставленных часовых, а во дворе виднелись бронемашины и пулеметы. Предъявив делегатские билеты, мы вошли в зал, битком набитый народом, жадно слушающим действительно находящегося в зале Владимира Ильича.

В это время из многочисленных подъездов Смольного эсеры и меньшевики как пришибленные, торопясь, вывозили свои манатки. Многие из присутствующих пускали им вслед остроты, нечто вроде:

— Куда яблочко котиться — в Смольный больше не воротиться!..

Вновь избранный ЦИК Советов, в котором был и я, заседал почти непрерывно. В его состав входила небольшая группа эсеров. Остальные — исключительно большевики. Подхваченное ими эхо многотысячной толпы говорило, что снова создавать коалицию нельзя и лучше погибнуть, чем уступить...

Знарок пролетарской психологии, Владимир Ильич на слова Рязанова, произнесенные на одном из заседаний ЦИКа — «все союзы требуют пойти на соглашение с думским комитетом», — ответил:

— Вы, Рязанов, принесите это не от верхушек, а от фабрик и заводов.

На слова товарища Коллонтай, что за советскую агитацию ее чуть не побили почтово-телеграфные служащие, Владимир Ильич сказал:

— Кто из нас этому не подвергался, а если и побили бы, то революция от этого не остановится.

Перед ЦИКом стоял вопрос о посылке помощи Москве, на чем настаивал товарищ Ленин. Точно так же были необходимы меры против викжелевцев<sup>1</sup>, которые разбирали пути и мешали продвижению революционных войск.

<sup>1</sup> Викжель — Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного профессионального союза, избранный на I Всероссийском учредительном съезде железнодорожников в Москве в августе 1917 года преимущественно из эсеров, меньшевиков, «народных социалистов» и других соглашателей. После Октябрьской революции — один из

Товарищ Ленин заявил:

— Настал момент решительных действий не путем переговоров, а силой оружия. Если нужно будет арестовать Викжель, то это обязательно сделать и послать помощь Москве, памятуя, что двести интеллигентов ничто по сравнению с двадцатью матросами.

Геройский дух петроградского пролетариата под умелым руководством Коммунистической партии преодолел все темные силы врагов и удержал занятые позиции.

**Андрей Звездов,**

член КПСС с 1905 года, делегат Всероссийской конференции большевистских военных организаций и II съезда Советов.

### ДЕЙСТВОВАТЬ ЭНЕРГИЧНО!

Во время Октябрьского переворота мне пришлось встретиться с Владимиром Ильичем при следующих обстоятельствах.

Двадцать пятого октября в девять часов вечера после заседания фракции съезда Советов я получил приказание от Военно-революционного комитета отправиться на площадь Зимнего дворца и передать оперировавшим там частям во главе с Антоновым-Овсеенко о принятии всех мер к скорейшему занятию главного штаба и Зимнего дворца.

Мне выдали бумажку о том, что я назначаюсь комиссаром Главного штаба. Товарищ Садовский дал мне ордер на машину.

Я уже садился в машину, собираясь уезжать, когда меня нагнал Садовский и сказал:

— Подожди несколько минут Владимира Ильича, чтобы отвезти его на квартиру и дать ему возможность немного отдохнуть перед открытием съезда.

Других машин в это время не было. Действительно, через несколько минут спустился Владимир Ильич с Бонч-Бруевичем; кажется, с ним была и Надежда Константиновна, точно не помню. Все мы быстро сели в машину и поехали...

Узнав, что я еду к Зимнему дворцу, Владимир Ильич весь этот путь от Смольного до квартиры Бонч-Бруевича на Рождественской говорил о том, что восстание безобразно затянулось, что таким темпом революцию делать нельзя, нужно отбросить всякие разговоры и миндальничание и действовать энергично, исключительно оружием... Если мы не сумеем взять Зимний и арестовать заседавшее там Временное правительство до начала открытия съезда, то мы безусловно провалимся.

Ильич давал мне строгие указания разъяснить все это и втемашить в головы оперировавших перед Зимним товарищей и побудить их к скорейшему взятию дворца и штаба.

**Александр Падэрин,**

член КПСС с 1912 года, член исполкома Петроградского Совета.

### ОН НЕ ЗНАЛ КОЛЕБАНИИ

Ленина я встретил 25 октября в Смольном. Помню, как прежде всего меня удивил его вид. Я привык видеть его с усами и бородкой. Теперь он был брит и походил на финна. Весь он производил впечатление натянутой пружины, готовой к спуску. От него так и веяло решимостью и энергией.

Я помню характерную сценку. Ход переговоров о составлении правительства из представителей всех социалистических партий выводил Ленина из себя, так как некоторые большевики, опасавшиеся изоляции нашей партии и разгрома революции, готовы были, казалось, идти на такие уступки другим партиям, которые, по мнению Ленина, ставили под знак вопроса все завоевания Октября.

основных антисоветских органов. 1 ноября 1917 года В. И. Ленин говорил о Викжеле на заседании ЦК партии: «Ясно, что Викжель стоит на стороне Калединых и Корниловых. Колебаться нельзя. За нами большинство рабочих и крестьян и армии... Викжелю было предложено доставить войска в Москву, он отказал, мы должны апеллировать к массам, и они его сбросят» (Сочинения, изд. 4-е, т. 26, стр. 243).

...И вот поздно ночью он явился на заседание большевистской фракции ВЦИКа (помню, с ним был Сталин) и произнес энергичную речь. В ней он, между прочим, употребил фразу, вызвавшую неудовольствие многих присутствовавших:

— Для меня двадцать кронштадтских матросов, готовых идти до конца, важнее сотен колеблющихся интеллигентов.

Опять-таки он был решителен, напряжен и раздражен тем, что его не понимают, тем, что расхлябанностью могут погубить всю революцию. Разумеется, он победил...

Но больше всего впечатления произвел он на меня, когда читал с трибуны II съезда Советов декрет о земле. Не так его слова (они были просты и немногочисленны), сколько самое содержание документа, размах и смелость меры, которую теоретически мы все давно признавали, но которая теперь выступала перед нами в конкретной оболочке, в виде практического мероприятия первого Рабоче-крестьянского правительства, производили огромное, незабываемое впечатление.

Узкие стены закуренного зала раздвигались, открывались какие-то широчайшие перспективы, чувствовалось дыхание мировой революции, и скупые слова бритого рыжеватого человека небольшого роста, стоявшего на трибуне, звучали страшной силой и громким призывом во все концы земли.

Не знаю, как другие, а я этим декретом и чтением Ленина был потрясен, как никогда. И помню, как я сказал одному социал-демократу, склонявшемуся к меньшевикам, но тоже, видимо, взволнованному всей обстановкой заседания, в ответ на его скептическое замечание, вроде «выйдет ли что-либо из этого?»:

— Если даже нас побьют, то неужели вы не чувствуете, что с этого момента начинается новая полоса в истории?

Как-то впервые тогда фигура Ленина вырисовалась для меня во всем ее всемирно-историческом значении.

**Юрий Стеклов,**

член КПСС с 1917 года (в социал-демократическом движении с 1893 года), с октября 1917 года редактор газеты «Известия ВЦИК Советов».

## В ДНИ ПЕРЕВОРОТА

В дни переворота я увидел Владимира Ильича первый раз, кажется, 24 октября.

Мы сидели в одной из комнат нижнего этажа Смольного со Свердловым и Мининым. Ильич зашел в комнату, не помню с кем, и, сказав несколько слов Свердлову, ушел вместе с ним кверху. Меня поразила «новый» вид товарища Ленина,— в грубой кепке, теплом пальто, в тяжелых резиновых галошах и бритый, он так не был похож на Ленина, каким я его видел по приезду из-за границы.

В дни после переворота мне часто приходилось видеть Ленина и на заседаниях съезда, а после — на заседаниях ЦИКа и фракции ЦИКа. Меня поражала та уверенность, с которой Владимир Ильич разрешал самые сложные вопросы тактики первых дней борьбы, разбивая соглашательские попытки Зиновьева и Каменева и давая отпор эсерам. Его уверенность внесла бодрость в наши ряды и заставляла верить в успех революции.

Помню, на заседании ЦИКа, ночью, шли оживленные дебаты с эсерами по какому-то вопросу. Ильич подсел ко мне на диванчик около стены и начал расспрашивать про дела на Урале. Разговаривая со мной, он в то же время «одним ухом» ловил выступления эсеров, презрительно «фыркая» в наиболее «напористых» эсеровских местах. Скоро наш разговор прекратился, и Ильич (было уже поздно) задремал, положив голову мне на плечо.

Один факт из встреч с Владимиром Ильичем может дать характеристику взглядов Ленина на дальнейший ход революции. Когда я собрался в начале ноября на Урал, Свердлов привел меня к Ленину. Дав инструкции о работе на Урале по укреплению Октябрьского переворота, Владимир Ильич, обращаясь к Свердлову, сказал:

— А не начать ли нам с Урала кампанию против Учредительного собрания?



Потом, немного подумав, заключил:

— Не стоит — пусть соберется, а там посмотрим.

Еще одна деталь. После переворота в Питер частенько приезжали «ходоки» из деревни. Их пропускали сначала в Военно-революционный комитет, где устраивался «прием». Наличные члены ВРК садились за стол и в этой «торжественной обстановке» принимали крестьян. Часть крестьян это не удовлетворяло, и они просились «к самому». После предварительных разрешений Ильича крестьяне отводились к нему, где и беседовали «с глазу на глаз».

Обычно от Ленина крестьяне уходили веселые, успокоенные и готовые бороться «за большевиков»,

**Павел Быков,**

член КПСС с 1904 года, делегат II съезда Советов, участвовал в работе Петроградского военно-революционного комитета, руководил подавлением мятежа Владимирского юнкерского училища.

### «ОСТАВИТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ»

...Когда мною была конфискована огромная партия прокламаций черносотенного характера, направленных главным образом к опорочению личности Ильича, я спросил его, нужно ли все это сжечь или оставить. Он ответил, улыбаясь:

— Зачем же все сжигать? Нужно оставить для истории. Все же они умеют хорошо ругаться!

И взял себе в карман несколько прокламаций.

Не знаю, сохранились ли эти прокламации...

**Николай Дербышев,**

член КПСС с 1896 года, председатель Центрального совета фабзавкомов Петрограда, делегат VI съезда партии и II съезда Советов, в октябре 1917 года комиссар по делам печати.

### ГЕНИАЛЬНАЯ ПРОСТОТА

С Лениным я встречалась в Смольном, преимущественно во время моих сообщений ему о продовольственном положении.

Помню, как в последних числах октября сообщала ему о наших меньшевистствующих и злобствующих сотрудниках продовольственной управы, мешающих работать, и его быструю, резкую, категорическую директиву:

— Если будут саботировать, поставьте красногвардейцев!

Хорошо помню также, как его ироническая улыбка нередко сразу сбивала мое слишком напряженное настроение и тенденцию к преувеличению опасности. Я сразу начинала искать пути выхода из положения и обыкновенно выход находилась.

Врезалась в память та необычайная, гениальная простота, с которой он находил исход из всех запутанных положений. Помню также, как меня поражало то обстоятельство, что его ничуть не смущали вещи, которые нам казались грозными и тяжелыми.

Нередко слышала и его выступления в Совете. Осталось главным образом впечатление: вопрос обсуждался так и этак — на разные лады, а как только за него брался Владимир Ильич, исчезало все формальное и поверхностное и сразу становилось ясным существо дела в его простой, четкой, обнаженной от словесной шелухи сути.

**Мария Смит-Фалькнер,**

член КПСС с 1918 года (в революционном движении с 1905 года), в дни Октября работала по снабжению красногвардейских отрядов продовольствием, ныне член-корреспондент Академии наук СССР.

### СХВАТКА С ЭСЕРАМИ

Во время пребывания в Петрограде на III съезде Советов мне довелось работать в бюро фракции крестьянской секции ВЦИКа. Главное внимание здесь надо было отдавать разоблачению левозсеровской части ВЦИКа — ее скрытых стремлений к захвату себе преимущественного положения через делегатов крестьян.

Большевики пошли в открытую и решили согласиться, даже сами настаивали, чтобы распространить свое влияние и на крестьян, влить в состав ВЦИКа делегатов происходившего в Петрограде Крестьянского съезда.

Для предварительной обработки и завоевания этих делегатов их собрали в одном из залов Смольного. Со стороны большевиков выступал, помнится, товарищ Глебов-Авилов и, кажется, Подвойский.

С ними полемизировали левозсеровский комиссар земледелия (фамилию забыл) и Устинов. Последние развили по обычаю сильнейшую демагогию.

Сочувствие аудитории явно складывалось в пользу эсеров.

Посоветовавшись с товарищами, я пошел позвать товарища Ленина. Рассказ о складывающихся на Крестьянском съезде настроениях по виду как будто не произвел на Владимира Ильича никакого впечатления. Но он тотчас же направился вместе со мной.

Путь по целой анфиладе комнат и по длинному коридору почти в конец здания длился минут пять, но показался мне очень долгим — мне казалось все, что мы опоздаем и собрание кончится до нашего прихода победой эсеров.

По дороге я старался рассказать товарищу Ленину о том, что говорили перед собравшимися эсеры. Но Владимир Ильич как будто слушал и не слушал. Он шел весь уже с мыслями о собрании, то, что я ему рассказывал, видимо, было рассказывать ему излишним: он и без того, по-видимому, представлял ясно, о чем поют эсеры перед мужичками, и план предстоящего выступления был у товарища Ленина, очевидно, готов при первых же словах сообщения. Глядя на ходу сбоку на Ильича, я это понял по его прищуренным, устремленным вперед глазам, по его как бы каменному, застывшему в напряжении лицу и остаток пути уже больше ничего ему не рассказывал.

При приближении к залу я несколько поотстал от Ильича. Он тем же крепким и быстрым шагом дошел до подмостков и на минуту задержался сзади президиума. Вскоре настало время выступить и ему. Встретили Ильича мужички сдержанно, но к концу речи его уже не раз прерывали аплодисменты. После же выступления от настроений, навеянных эсерами, не осталось и следа. К союзу рабочих и крестьян сделан был огромнейший шаг вперед!

**Константин Денисов,**

член КПСС с 1907 года, участвовал в работе Московского военно-революционного комитета, позднее губпродкомиссар и член президиума Московского губисполкома.

### «РЕЗОЛЮЦИЯМИ РЕВОЛЮЦИЮ НЕ ДЕЛАЮТ»

В 1918 году, когда правительство еще было в Ленинграде, мне пришлось с Мураловым быть в Ленинграде (тогда еще Петроград), и мы с Мураловым решили пойти к Владимиру Ильичу.

Муралов мне говорит:

— Ты, как агитатор, войди, говори, а я буду, как Муралов, присутствовать.

Надо сказать, что мы, москвичи, были заражены немного «левым коммунизмом».

У нас с Владимиром Ильичем был любопытный разговор. Я начал с того, что московские рабочие и солдаты очень хотели бы повидать и послушать Владимира Ильича. Он нам ответил, что вот подпишет «похабный мир»<sup>1</sup> и придет.

<sup>1</sup> «Похабный мир» — полемическое название мирного договора, заключенного представителями Советского правительства с командованием германской армии 3 марта 1918 года в Брест-Литовске. Выступая 14 марта на IV Чрезвычайном съезде Советов с докладом о ратификации мирного договора, В. И. Ленин говорил, что если «армия знает,

Я сказал:

— Владимир Ильич! Нельзя ли без «похабного мира»?

Он говорит:

— А, вот как! Ну тогда я еще напишу декрет, что командующим морскими и сухопутными силами назначается Н. И. Муралов, а вы его помощником.

Я ему ответил:

— Подождите, Владимир Ильич, мы с Мураловым подумаем...

Он сказал:

— Ну что же, подумайте... я подожду...

И мы с Мураловым отправились в коридор Смольного и стали думать... Мы пришли к мысли, что, пожалуй, мир — это будет правильно. И решили пойти назад к Владимиру Ильичу и сказать, что мир — это будет выход. Опять вошли... Владимир Ильич спрашивает:

— Что придумали?

Я отвечаю:

— Пожалуй, мир — это будет выход.

Владимир Ильич и говорит:

— Резолюциями, товарищи, революцию не делают, а вот подпишу мир, приеду в Москву.

...Эта встреча с Владимиром Ильичем на меня произвела очень сильное впечатление. Помню, что ехали мы из Петрограда в Москву после этой встречи уже не «левыми коммунистами». И действительно, весь «левый коммунизм» с тех пор из меня вылетел.

Александр Мандельштам-Одиссей,  
член КПСС с 1902 года, в Октябрьские дни  
член ревкома Васманного района Москвы,  
позднее — комиссар штаба Московского во-  
енного округа.

### ПЕРВЫЕ ДНИ В СМОЛЬНОМ

...До Октября мне редко приходилось бывать в Смольном — центре меньшевистско-эсеровского Петербургского Совета. Но за последние перед переворотом дни, с укреплением там большевистской фракции, приходилось быть раз-другой.

Но как только приказами Военно-революционного комитета был брошен вызов правительству Керенского и пошли слухи, что разводят мосты, не помню уж как, я со своего красного Васильевского острова попала в Смольный, как и многие из нас, и оставалась там все первые месяцы, почти вплоть до эвакуации комиссариатов в Москву...

Тысячи людей потянулись туда, как к штабу революции, сердцу ее, за директивами, для связи, для охраны и защиты, по тысяче дел в Военно-революционный комитет, там заседавший, в ЦК партии, к Ленину.

Мы быстро организуем систему пропусков, изучаем бесконечные коридоры и комнаты Смольного, каждый день заполняющегося новыми учреждениями, расставляем дежурных на площадках...

В первые дни приходится направлять больше в комнату Военно-революционного комитета, но дальше дела усложняются, появляется все больше настойчивых требований связать товарища Ленина, непременно лично Ленина. Убеждаем, уговариваем, ругаемся. Понимаем, что от нашей бдительности многое зависит, что малейшая наша ошибка грозит бедой.

А товарищ Ленин там, в глубине, у руля революции. Он сердце и мозг ее. Бьется это сердце — и бегут волны революции по всему миру, работает мозг — и, как электрические токи, бегут всюду его идеи, статьи, указания, распоряжения и приводят в движение миллионы людей. И все чувствуют, что он сердце и мозг, гениальный рулевой, видящий далеко вперед, и смело идут за ним, бодро и весело, на смерть и к победе.

---

что она наверное попадет в ловушку, она должна отступить; она не может не отступить, хотя бы даже для прикрытия отступления понадобилось подписать похабный, поганый мир. — как угодно ругайте, а все же подписать его необходимо» (Сочинения, изд. 4-е, т. 27, стр. 159).

Припоминаю один из первых дней в Смольном. Керенский наступает, Гатчина в руках врагов. Мне передают:

— Товарищ Ленин просит собрать лучших наших агитаторов.

Быстро собираем их по Смольному. Вечер. Полутемная комната без мебели. Один стол, вокруг которого столпилось полдюжины товарищей.

Приходит Владимир Ильич. Он спокоен и по обыкновению приветливо улыбается. Он излагает положение дела.

— До сих пор против Керенского шли главным образом наши рабочие, необученные полки. К регулярным войскам мы еще не обращались. Рабочие проявляют небывалое героичество, творят чудеса,— но против регулярных войск этого мало; у нас там некоторая заминка, неудача. Надо рассыпаться по полкам, призвать их выступить, убедить, поднять, воодушевить и повести против Керенского...

Он говорит так спокойно, что никто не чувствует степени опасности момента. Через час наши агитаторы были в казармах, а через пару дней Керенский и его наступление были ликвидированы.

Так работал у руля наш Ильич, не спал, потому что было некогда, дальше не мог спать от возбуждения и переутомления. Только гений Владимира Ильича мог вынести такую работу. Он всюду в центре — в ЦК, в Совнаркоме, в Военном штабе... Выступления, переговоры, декреты. Часто один против всех убеждает своей непоколебимой, железной логикой и волей.

Он там, в глубине, и руководит всеми, часто даже в деталях. Вокруг него мы сетью связываем Смольный с районами. Работа кипит...

...Когда Совнаркому отвели помещение в левом крыле, отгородив его дощатой перегородкой, туда без особых пропусков не пускали.

В этом же крыле Смольного отвели комнату для работы А. В. Луначарского, с которым я была ближайшим образом связана по работе в Государственной комиссии по просвещению. Владимир Ильич выходил иногда в канцелярии Совнаркома или в коридор. В этом же крыле была и его квартира...

Однажды, узнав, что Надежда Константиновна больна, я зашла к ней. Она лежала одна с сильной головной болью, не подумав даже о том, чтоб достать лекарства, что тогда уже было возможно в Смольном. Она, как и Владимир Ильич, никогда не думала о себе и не только не окружала себя заботящимися товарищами, как делают другие, но отвергала их услуги, уверяя, что ей ничего не нужно.

Квартирка, в которой они жили тогда, состояла из довольно низкой комнаты с перегородкой, за которой едва помещались две кровати.

— Ведь здесь воздуха нет, как не болеть голове... Неужели не могли дать вам лучшую комнату? — протестовала я, так как низкий потолок давил.

Надежда Константиновна только улыбнулась своей мягкой, очаровывающей улыбкой. Она уверяет, что ей уже легче, и оставляет пить чай с каменными баранками, принесенными кем-то из товарищей в пакетике,— тогда лакомство, так как хлеба не было. Ильич, как и все в то время, порядочно голодал. Уже и тогда Владимир Ильич чувствовал себя плохо, не мог спать. Целый день он работал, а поздно вечером, часоз в десять, начинались заседания Совнаркома...

**Евгения Адамович,**

член КПСС с 1898 года, после Февральской революции секретарь Василеостровского Совета.

## ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

С Владимиром Ильичем мне приходилось много раз встречаться в Смольном после переворота — до образования Совнаркома и после, на заседаниях СНК.

В то время члены коллегий наркоматов допускались на заседания Совнаркома довольно свободно.

Вскоре после переворота, встретив меня в коридоре Смольного, товарищ Ленин намеревался отправить меня подгонять к Петрограду хлеб. После не раз спрашивал, как идут дела в Наркомпросе и как дела с писателями в связи с организацией литера-

турно-художественного отдела Наркомпроса по декрету о Государственном издательстве<sup>1</sup> и национализации наследия классиков русской литературы.

Особенно врезалась в память одна встреча. После какого-то заседания Владимир Ильич, Надежда Константиновна и я ходили по двору Смольного.

Была холодная звездная ночь. Полыхали и трещали костры, гудели автомобили, слышались выстрелы. Владимир Ильич был очень добродушен, посмеивался, глядел на пулеметы в окнах верхнего этажа Смольного, жадно вдыхал морозный воздух. На разные мои вопросы по делам Наркомпроса, улыбаясь, повторял:

— Я тут ничего не понимаю, ничего не знаю, вот она меня просвещает,— и указывал на Надежду Константиновну.

Сквозь улыбку и добродушие сквозила тревога, несколько раз он порывался вернуться в Смольный, но Надежда Константиновна, держа его за рукав, уговаривала:

— Володя, подожди еще, отдохни!

Чтобы не тревожить их, я уехал с запоздалым трамваем к себе на Петроградскую сторону.

Очень живо припоминаю встречу с Владимиром Ильичем во время открытия заседания Учредительного собрания. Когда говорил речь Чернов и происходил инцидент с Дыбенко, Ильич хмуро сидел на стулочках около трибуны, где собралось много большевиков. Был очень сосредоточен, молчалив, на вопросы товарищей отвечал сухо, кратко. Кто-то подошел (кто — никак не вспомню) и говорит:

— Может, хватит, поговорили достаточно?

Ильич, сдержанно усмехнувшись, проговорил:

— Успеем, посмотрим, нельзя нервничать! — и опять начал сосредоточенно слушать. Что-то писал в блокноте или записной книжке.

Вскоре я должен был ехать в Петропавловскую крепость и дальше Владимира Ильича наблюдать не мог.

Однажды с Владимиром Ильичем и Бонч-Бруевичем мы осматривали ту часть Смольного, в которой находились Совнарком и столовая. Ильич подробно допрашивал, где какая охрана, как она организована, кто стоит на страже, как с пропусками. В одну из тревожных ночей, когда ждали немецких аэропланов, Ильич расспрашивал меня, как дела в районах...

Зная, что я хорошо знаком с А. А. Богдановым, не раз спрашивал, где он, что делает, с большевиками или нет. Сильно ругал его за брошюру «Вопросы социализма»...

Помню также, как Ильич с балкона дворца Кшесинской выступал перед матросами в июльские дни. Тут же был товарищ Луначарский.

Боюсь воспроизводить речь, как бы не напутать, но помню хорошо: Ильич говорил с особенной силой и восхищался матросами.

Последние шли как-то особенно стройно и гордо. Как будто говорили: скоро сумеем взять власть в свои руки!..

**Павел Лебедев-Полянский,**

член КПСС с 1902 года, депутат Петроградского Совета, член ВЦИКа и коллегии Наркомпроса.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА

...Первые дни строительства наших революционных органов. Ильич собрал нас, первых комиссаров пролетарской власти, чтобы разъяснить нам наши задачи.

Особенно памятна его речь о революционном терроре. Я нигде не встречал записи этой речи, а речь эта стоит быть записанной.

Владимир Ильич говорил, что пролетариату чужд террор как метод борьбы, как способ навести ужас на своих врагов. Террор такого грандиозного большинства, каким являются рабоче-крестьянские массы, над буржуазным меньшинством, излишен и бесцелен. Но если упорно сопротивляющиеся кучки врагов революции прибегнут к террору

<sup>1</sup> «Декрет о Государственном издательстве» был принят Центральным Исполнительным Комитетом 29 декабря 1917 года.

для восстановления потерянных прав, ответный террор, массовый террор, сотрет их с лица земли.

Бессонные ночи, вся тяжесть и ответственность работы по созданию первого аппарата революционной пролетарской власти не уменьшили его бодрости, не ослабили блеска его повелительных гипнотизирующих глаз.

После следовали многие встречи, съезды, доклады, заседания. Особенно памятно заседания Совнаркома.

Длинный большой стол в одном из кремлевских залов, к узкому концу которого придвинут письменный стол В. И. Ленина; за столом — народные комиссары, на диванах, у стен, расположились их заместители, члены коллегий наркоматов.

Поражала изумительная деловитость заседания, где председательствовал Ильич. После дня напряженнейшей работы, весь вечер, а иногда до часу и позднее ночи, руководил он прениями, не упуская ни одного дельного предложения, ни одного оттенка мыслей и в то же время не давая никому уклоняться в сторону. Благодаря этому в несколько минут решались важнейшие вопросы.

Особенно обращало внимание умение быстро формулировать предложения, которые тут же стенографировались. Ведя во время заседания такую напряженнейшую работу, Ильич ухитрялся писать ко многим из присутствующих ряд записочек по самым разнообразным делам, в которых запрашивал, указывал, давал директивы. Кто не получал этих ильичевских записок, которые он писал и вне заседаний и которые развозились самокатчиками во всякое время дня и ночи!

Вот эта-то неутомимая и беспощадная по отношению к организму работа еще больше подточила его силы, чем пуля эсерки. Поэтому и для всех нас слишком рано, недопустимо рано, пришла последняя встреча, когда в Колонном зале Дома союзов все мы пришли попрощаться с ним.

Изумило меня, каким маленьким, хрупким в своем защитном френче казался этот великан воли и действия, когда навеки закрылись его глаза. Эти глаза придавали ему столько властности и могущества. То, что осталось от его тела, пролетариат, многомиллионные массы населения нашей страны вместе со всеми угнетенными остальных стран похоронили в Великой могиле с почетом, которого не удостоился ранее ни один герой, ни один властелин в мире.

**Вацлав Миллер,**  
член КПСС с 1905 года, активный работник  
Петроградской группы социал-демократии  
Польши и Литвы, депутат Петроградского  
Совета с марта 1917 года, в дни Октября  
комиссар арсенала Петропавловской крепо-  
сти.



---

---

## ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА

*1918 год. Прошел первый год Советской власти. Каждый его день был наполнен беспримерным подвигом сплоченных партий рабочих и крестьян, строивших новую жизнь.*

*Первую годовщину Октября молодая Советская республика встречала окруженная фронтами, в холоде и голоде поднимая из разрухи народное хозяйство. 7 ноября и город и деревня повсюду демонстрировали преданность Советам, непоколебимую решимость отстоять завоевания социалистической революции. Об этом со всей непосредственностью говорят публикуемые ниже документы.*

*Большинство таких документов — приветственных телеграмм, резолюций, писем, поступавших в те дни из всех уголков страны, — хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР в фондах ВЦИКа и СНК.*

*Документы со ссылкой на архивные источники публикуются впервые. Публикация подготовлена В. А. Кондратьевым.*

### Москва.

6 ноября 1918 года. В Большом театре собрался Чрезвычайный 6-й Всероссийский съезд Советов.

Съезд открывает Я. М. Свердлов. Он говорит:

«— Ровно год тому назад открылся Второй съезд Советов, передавший власть в России в руки рабочих и крестьян. Тот съезд открывался под звуки выстрелов, под грохот оружейных залпов, которые раздавались около Зимнего дворца...

В первом пункте порядка дня стоит годовщина революции. Само собой разумеется, что когда каждый из нас начинает оглядываться назад, как прошел этот год, перед ним прежде всего вырисовывается одна характерная, яркая фигура, и каждый из нас связывает всю нашу революцию с этой фигурой, с именем нашего вождя товарища Ленина...

И первое слово в день празднования годовщины социалистической революции я предоставляю товарищу Ленину.

Товарищ Ленин подходит к трибуне, и весь театр встает как один человек и бурной овацией приветствует вождя...»

(«Известия ВЦИК Советов», 9 ноября 1918 года).

Владимир Ильич Ленин сказал:

«...В тот день, когда мы чествуем годовщину революции, следует бросить взгляд на тот путь, который прошла она. Нам пришлось начинать нашу революцию в условиях необыкновенно трудных, в которых не будет находиться ни одна из дальнейших рабочих революций мира, и поэтому особенно важно, чтобы мы попытались осветить в целом пройденный нами путь, посмотреть, что за это время достигнуто и насколько мы подготовились за этот год к нашей главной, настоящей, к нашей решающей, основной задаче...

И вот, товарищи, задавая себе вопрос, что мы сделали в крупном масштабе за этот год, мы должны сказать, что сделано следующее: от рабочего контроля, этих начальных шагов рабочего класса, от хозяйничанья всеми средствами страны мы подошли вплотную к созданию рабочего управления промышленностью; от общекрестьянской борьбы за землю, от борьбы крестьян с помещиками, от борьбы, которая носила общенациональный, буржуазно-демократический характер, мы пришли к тому, что в деревне выделились пролетарские и полупролетарские элементы, выделились те, кото-

рые особенно трудятся, те, которых эксплуатируют, поднялись на строительство новой жизни; наиболее угнетенная часть деревни вступила в борьбу до конца с буржуазией, в том числе со своей деревенской кулацкой буржуазией.

Дальше, от первых шагов советской организации мы пришли к тому, как справедливо заметил открывавший съезд товарищ Свердлов, что нет в России такого захолустья, где бы советская организация не упрочилась, не составляла бы цельной части Советской конституции, выработанной на основе долгого опыта борьбы всех трудящихся и угнетенных.

От нашей полной беззащитности, от последней четырехлетней войны, которая оставила в массах не только ненависть угнетенных людей, но и отвращение, и страшную усталость, и измученность, которая осудила революцию на самый трудный, тяжелый период, когда мы были беззащитны перед ударами германского и австрийского империализма,— от этой беззащитности мы пришли к могучей Красной Армии. Наконец, самое важное, мы пришли от международного одиночества, от которого мы страдали и в Октябре и в начале текущего года, к такому положению, когда наш единственный, но прочный союзник,— трудящиеся и угнетенные всех стран, когда он, наконец, поднялся...»

(Соч., 4-е изд., т. 28, стр. 117—119).

На улицах Москвы развешаны объявления:

«Объявляется для всеобщего сведения, что празднование годовщины Великой Октябрьской революции начинается с 12 часов дня 6 ноября по гудкам и продолжится до позднего вечера 7 ноября.

День 8 ноября является обычным рабочим днем и всем служащим и предприятиям предписывается начать работу в обычное время.

Октябрьский комитет».

(ГАОР Московск. обл., ф. 66, оп. 3, д. 468, л. 10).

### Петроград.

«Торжественное празднование годовщины Великой Октябрьской революции началось в 12 часов ночи, когда население красного Питера было оповещено о наступлении великого дня 25-ю пушечными выстрелами с верков Петропавловской крепости...»

(«Известия ВЦИК Советов», 9 ноября 1918 года).

Так начинался первый день первой годовщины первого в мире рабоче-крестьянского государства.

В Москве и Петрограде состоялись военные парады и массовые демонстрации трудящихся.

### Кострома.

«7 ноября в память Октябрьской революции [в] Широковской волости в 12 час. дня был собран 4-й Костромской убор[ный]<sup>1</sup> отряд около штаба отряда. Со своим хором певчих, заранее подготовленных, и с красным флагом, который был приготовлен за неимением красной материи из рубашки политического комиссара 4-го отряда, с надписью «РСФСРеспублика», а на другой стороне — «Умрем, но не отдадим власть капиталистам, долой соглашателей, как меньшевиков, так и правых эсеров», затем построенными рядами двинулись с революционными песнями к волостному исполкому...

Политический комиссар 4-го отряда тов. Благов выступил с речью, что такое Октябрьская революция и как власть перешла в мозолистые руки рабочих и крестьян, и что такое Коммунистическая партия и как она подходит к социализму, и что такое социализм, и что такое сейчас мобилизация и с кем Красной армии приходится бороться.

...Была принята резолюция единогласно:

— Устроить в память Октябрьской революции двухклассное училище при с. Широкове, Ветлужского уезда, Костромской губернии, на которое имеется фонд 60 тыс. рублей;

<sup>1</sup> Так назывались отряды, сформированные для участия в уборке урожая.



— Устроить при волостном исполкоме библиотеку и просить Ветлужский исполком о помощи в литературе и

— просить тов. Ленина и весь Совет Народных Комиссаров о проведении шоссейной дороги от Ветлуги до с. Широково, в чем и мы, крестьяне Широковской волости, предлагаем все свои силы к устройству вышесказанной дороги. Просим Совет Народных Комиссаров субсидировать нам на устройство шоссейной дороги в память Октябрьской революции. Это с нашей стороны, крестьян, будет вечная память о революции. Какой бы крестьянин ни поехал, будет помнить Октябрьскую революцию, потому что мы, крестьяне, много сот лет купаемся в этой проклятой романовской грязи и в память Октябрьской революции шлем вечное проклятие дому Романовых, вместе со всеми царями и плутократами, и всемирной буржуазии и так далее.

После всего этого был устроен концерт при волостном исполкоме при участии 4-го Костромского отряда и населения Широковской волости.

Торжество кончилось в 12 часов.

Политический комиссар 4-го уборного отряда Федор Благов.  
Председатель Исполкома Груздев».

(ЦГАОР, ф. 130-СНК, оп. 2, д. 471, лл. 11—12. Автограф. Заверен круглой печатью Широковского волостного правления с двуглавым орлом).

### Брянск.

«Срочно. ВЦИК, Свердлову.

Рабочие и беднейшее население Брянска в день великого праздника години диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства стройными рядами, крепко спаянные, единым порывом победе над вековым врагом — буржуазией всего мира, на 15-тысячном митинге шлют привет вам — вождям бедняков — и заявляют, что никакой другой власти не может быть в мире кроме власти Советов рабочих и беднейших крестьян. За власть Советов отдадим все.

По первому вашему зову брянские рабочие пойдут для того, чтобы победить.

Пусть будет бесконечное число годин красного праздника Октябрьской революции.

Председатель Совдепа — Фокин.  
Тов. председателя комитета коммунистов —  
Большаков».

(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 98, д. 10, л. 10. Телеграфный бланк).

### Рязань.

«Москва, Кремль, Ленину. Рязанский губисполком шлет Красной Москве на имя тов. Ленина бесплатно два вагона хлеба ко дню годовщины Октябрьской революции».

(Госархив Рязанской обл., ф. 4, св. 5, д. 33, л. 71).

Сапожковский уездный исполнительный комитет постановил:

«Ко дню торжеств Октябрьской революции послать бесплатно один вагон хлеба в Рязань на имя председателя губисполкома для раздачи беднейшему населению и Красной Армии Рязани».

(Госархив Рязанской обл., ф. 4, св. 4, д. 47, л. 46).

### Тула.

«В те дни, когда мы праздновали годовщину Великой Октябрьской революции и затем нашей Советской милиции, смерть сразила в наших рядах семерых товарищей.

При подавлении кулацкого мятежа убит милиционер Богородицкой Советской уездной милиции (Тульская губ.), при разгоне поповско-помещичьих и кулацких банд в Зарайском уезде убит милиционер Коломенской Советской милиции (Московской губ.), а в селе Базарном — Карабулаке двадцать милиционеров 5-го участка Саратовской Советской уездной милиции, вооружив горсть своих верных союзников — деревенских бедняков, оказали отчаянное, геройское сопротивление трехтысячной лавине кулаков и белогвардейцев, восставших против Советов и завоеваний рабоче-крестьянской революции. И славная смерть на своем посту была уделом пятерых из этих героев.

Но все же отряд не забыл, что «поддержка будет, смена — никогда», и держался

с упорством обреченных. И поддержка пришла. Прибывший отряд милиции из Саратова приступил к энергичной ликвидации мятежа...

В жестокой борьбе с врагами рабочего класса и трудового крестьянства в наших рядах возможна новая убыль. Будем же тверды и непреклонны в этой борьбе...

Зав. рабоче-крестьянской обороной Тульской губернии».

(ЦГАОР, ф. 393-НКВД, оп. 6, д. 120, л. 54 об.)

### Новгород.

«Общее собрание дер[евенских] комитетов бедноты по поводу годовщины Великой революции постановило послать привет Совету Народных Комиссаров и товарищу Ленину с выражением полной готовности защищать Советскую Россию от наймитов англо-французского капитала, а также от всей союзной буржуазии.

Мы смеем надеяться, что всякая контрреволюция будет задушена рукою бедняка-пролетариата. Все гады контрреволюции будут уничтожены.

Да здравствует Великая Октябрьская революция!

Да здравствует народно-рабоче-крестьянская власть!

Да здравствует товарищ Ленин — великий вождь пролетариата!

Лухско-Георгиевская волость Новгородского уезда».

(ЦГАОР, ф. 130-СНК, оп. 2, д. 468, л. 98. Телеграфная лента).

### Сольвычегодск.

«Мы, граждане Тимошинской волости Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губернии, собравшись на митинг в количестве 400 человек в Великий день пролетариата и трудового крестьянства — праздник годовщины Октябрьской революции, приняли единогласно следующую резолюцию:

В 1917 году 25 и 26 октября старого стиля была сломлена твердыня буржуазного строя и, взяв власть в свои руки, рабочий класс и трудовое крестьянство стали твердо и энергично пробивать дорогу Революции, чтобы прийти к светлому будущему — социализму, несмотря на провокации меньшевиков и эсеров, которые громили своими речами, что Советская власть продержится не более двух недель, нельзя брать в свои руки власть, а нужно вместе с капиталистами и эксплуататорами управлять Россией.

Но спрашиваем эсеров и меньшевиков: где ваша правда? У вас правды нет, и вы ложью прикрылись и ложью пугаете темные массы народа, которые по неосознанности своей еще верят вам. Пролетариат, и беднейшее крестьянство, и Красная армия, и Красный флот — все категорически заявляют, что меньшевики и эсеры не есть вожди революции, а вожди контрреволюции. И мы говорим — не место вам с нами, идите в станы Дутовых, Красновых, Семеновых и других.

Мы только верим истинным борцам Революции и вождям социализма — народным комиссарам в лице товарища Ленина.

Да здравствует Совет Народных Комиссаров!

Да здравствует Центральный Исполнительный Комитет!

Да здравствует Красная армия и Красный флот!

Да здравствует социалистическая революция в лице Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов!

Председатель митинга Щатрозский».

(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 10, л. 104 об. Рукописный подлинник).

### Новоузенск.

Рабочие и крестьяне Новоузенского уезда обратились во ВЦИК с поздравлением: «Родные товарищи!

Целый год революционный пролетариат и беднейшее крестьянство держат в своих руках власть. Светлый праздник, единственный праздник торжествуем мы сейчас.

Человечество еще не переживало той радости, которой мы теперь живем. Мы вспоминаем 25 октября 1917 года и чтим память товарищей, честно павших на доблестном посту борьбы за социализм.

Мы душой с Вами, дорогие товарищи пролетариат всего мира и революционная Красная армия. Мы вместе со всеми товарищами — коммунистами живем в светлый

момент, когда австро-венгерский пролетариат подает нам руку помощи, становясь вместе с нами на борьбу с эксплуататорами...

Копии передать пролетариату Австрии, Германии, Болгарии, Франции, Англии и Америки.

Председатель уездного исполкома Тупиков»,  
(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 10, лл. 39—40.  
Телеграфная лента).

**Вятка.**

«Москва, председателю ЦИК Свердлову, председателю Совнаркома Ленину, центральному мусульманскому комиссариату.

Трудящиеся мусульмане города Вятки горячо приветствуют годовщину пролетарской революции, которая дала в руки крестьян земли и рабочим — фабрики и заводы, а угнетенным мусульманам, вообще народностям, право на самоопределение, зашатавшая положение империалистов всего мира и этим давшая возможность для борьбы со своими угнетателями многомиллионным мусульманам Индии, Персии, Турции и Афганистана, и давшая мир России и приблизившая таковой всему миру...

Правление Вятского мусульманского общества». (ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 10, л. 48. Телеграфный бланк).

**Казань.**

В газете «Красные всходы» (Ядринский уезд) напечатана статья:

«В день празднования годовщины Революции мы должны сделать подсчет нашим силам...

Год назад Ядринский уезд почти не знал слова «большевик»... Теперь наша партия разбудила деревню. В каждом селе, в каждой деревушке организуются ячейки сочувствующих РКП(б).

Жизнь кипит, народ потянулся к книге, к газете, к просвещению.

Мы считаем нужным поместить ниже список тех сел и деревень нашего уезда, где в настоящее время организованы ячейки, с указанием числа членов последних:

дер. Стреля-Слобода	— 41
с. Б. Чурашево	— 38
с. Б. Чиганары	— 54
с. Никольское	— 37
дер. Анаткасы, Тораевской вол.	— 32
дер. Тойшево	— 27...»

и далее в статье перечисляются еще 22 чувашские деревни с более чем 560 членами ячеек.

(Газета «Красные всходы», 4 ноября 1918 года).

**Пермь.**

«Москва, Ленину.

В день годовщины Великой Октябрьской революции заседание всех пролетарских организаций Уральской области от имени Красного Урала передает привет великому вождю коммунистической революции, любимому вождю российского пролетариата товарищу Ленину.

Оглядываясь на пройденный за дни революции путь, мы не можем отделить от прошлых дней борьбы, побед и поражений своего лучшего, всегда верного пролетариату вождя.

Чувство бодрости, уверенности в торжестве нашего дела — дела коммунизма вселяет нам то, что товарищ Ленин и теперь, как всегда, с нами, на своем славном посту главы первой в мире социалистической республики.

Да здравствует товарищ Ленин!

Да здравствует вождь мирового коммунизма!»

(ЦГАОР, ф. 130-СНК, оп. 2, д. 468, л. 17. Телеграфная лента).

**Пенза.**

Крестьяне села Н.-Пойма Чембарского уезда Пензенской губернии писали В. И. Ленину:

«...Горячее искреннее чувство признательности к Вам не есть позорное раболепное пресмыкательство, в чем Вы абсолютно не нуждаетесь. Но мы прекрасно понимаем и сознаем, что истые вожди народа опираются на массы и в их поддержке они черпают новые и новые силы и большое воодушевление для дальнейшей плодотворной работы на пользу и благо трудящихся масс».

(ЦГАОР, ф. 130-СНК, оп. 2, д. 469, л. 79. Телеграфный бланк).

**Восточный фронт.**

Штаб 2-й армии доносил:

«Президиуму 6-го Всероссийского съезда.

День годовщины Октябрьской революции 7 ноября в 17 часов штурмом взят Ижевский завод».

(ЦГАОР, ф. 130-СНК, оп. 2, д. 467, л. 108. Телеграфный бланк).

Из штаба 1-й армии телеграфировали:

«Президиуму ЦИКа.

От лица 1-й армии шлем сердечный привет и горячие поздравления с великим праздником годовщины великой русской революции. Горим желанием силой оружия и своего революционного долга и стремления как можно скорее окончательно закрепить власть Советов рабочих и крестьян и смести с лица земли врагов Великой российской социалистической революции...

Командующий армией — Тухачевский.

Политкомдив — Медведев».

(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 8, л. 44. Копия).

На имя ВЦИК получено письмо:

«Я, красноармеец разведывательного 1-го красного коммунистического полка красных орлов.

Спешу благодарить Вас за полученные мной и моим товарищем сегодня от Вас подарки в день нашего праздника 7 ноября, как-то: пару теплого хорошего белья, какого я раньше и не нашивал, работая в Екатеринбурге на мельнице братьев Макаровых в качестве масленщика, получая ничтожное жалование, и еще получил от Вас пять штук конфет, катушку ниток, два носовых платка, кусок мыла, пять конвертов, пять листов бумаги, тысячу спичек, три пачки папирос по 20 штук, еще рукавички, жестяная пустая баночка под чай, да еще книжки для чтения, записная книжка и карандаш, где я буду записывать свои военные приключения, еще бинт. Все это в хорошем мешке. И очень Вас за все это благодарю.

Все эти предметы меня здесь очень радуют. Сознаю, что у меня есть друзья и товарищи, там, где-то далеко-далеко в Петрограде, и думают со мною одну думу — как бы помочь мне, а я — как бы помочь им.

И мне поэтому легче и веселее драться с белыми и чехами, с которыми мне уже приходилось сталкиваться в боях раз до десятка, пожалуй, и того больше. А сейчас нахожусь в заводе или селе Баранчинском, по железной дороге Кушва—Тагил—Екатеринбург.

Пишу Вам свою благодарность и с нетерпением жду распоряжения нашего начальника пойти куда-нибудь в разведку и разгонять и наводить панику и страх у противников Советской нашей власти...

Писал это письмо пеший разведчик Алексей Поморцев».

(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 10, лл. 97—98 об. Автограф).

Такие же вести шли и из других частей Красной Армии. Вот еще одна из них:

«Мы, окопники молодой Красной социалистической армии труда 2-й роты 1-го крестьянского полка, проводили годовщину великого торжественного праздника Октябрьской революции под сырым осенним дождем, грохотом пушек, треском пульметов, винтовочными выстрелами белогвардейской сволочи.

Но мы не падаем духом, ибо надеемся на московских и петроградских рабочих, как со стороны физической, так и материальной поддержки. И вот, в день годовщины пролетарской революции мы получаем от Москвы и красного Питера рабочие подарки, которыми очень довольны, что нас не забывают наши товарищи рабочие в тылу, а потому шлем Вам привет и горячую благодарность.

Будьте спокойны, проявляйте энергичную свою работу в тылу по устройству экономического хозяйства молодой коммунистической России...»

(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 10, л. 112. Копия).

### **Владикавказ.**

Чрезвычайный комиссар Серго Орджоникидзе телеграфировал:

«Москва. Ленину, Чичерину. Царицын — Сталину. Срочно. 9 ноября.

Годовщина Октябрьской революции была отмечена торжествами, каких давно не видали [во] Владикавказе.

На площади Свободы при громадном стечении народа, залитой солнцем, красными цветами бесчисленных знамен, устроен был парад владикавказскому гарнизону и смотр революционному пролетариату.

Чрезвычайный комиссар Орджоникидзе вручил от Российского Совнаркома красные знамена владикавказскому гарнизону и ингушской Красной армии. Среди моря знамен бросалось в глаза знамя трудовой группы поволжских [казаков].

На праздник революционная Ингушетия прислала для приветствия конный отряд коммунистов. Торжественное настроение и уверенная бодрость наполняли сердца многотысячной массы, прошедшей великую годовщину с огромным подъемом и блестящей организованностью. Город украшен красными знаменами, ночью улицы были иллюминированы.

В станице Михайловской, недавно нами взятой у казаков-контрреволюционеров, расположенной у самого фронта, состоялся парад казачьей Красной армии, ведущей геройскую борьбу с контрреволюционными бандами казаков. В параде приняли участие затеречные части чеченцев и отряд осетин из села Заманкул.

Парад принимал тов. Орджоникидзе, вручивший от Российского Совнаркома красные знамена казачьей Красной армии чеченцам. Затем состоялся митинг и казачья джигитовка казаками-красноармейцами.

Была вынесена следующая резолюция:

«Заслушав доклад тов. Орджоникидзе, мы, казаки революционных станиц, заявляем, что кроме Советской власти никакой другой власти быть не может. Мы заявляем, что сегодня, в день годовщины Октябрьской революции, мы тесно спаялись с нашими братьями красноармейцами, осетинами-корменистами и чеченцами. Вместе с ними рука об руку мы пойдем вперед развенчивать контрреволюционеров, полковников и генералов. Мы вместе пойдем освобождать трудовое казачество от гнета царских офицеров.

Да здравствует союз трудовых масс казаков, крестьян, рабочих. Смело вместе к всемирной социальной революции!»

...В ночь на 25 октября состоялось соединенное заседание Терской области Нарсовнаркома, Владикав[казского] Совдепа с представителями народов, которое решило отпустить 13 миллионов рублей на постройку [по] всей области народных домов, а во Владикавказе — рабочие дома имени Октябрьской революции. Решено создать библиотеку имени товарища Ленина, при которой открывается отдел Октябрьской революции с включением всех книг тов. Ленина.

Соединенное заседание постановило послать следующие телеграммы тов. Ленину и тов. Либкнехту:

«Соединенное заседание Терского областного народного Совета Совнаркома и Владикавказского] Совета рабочих, крестьянских [и] армейских депутатов приветствует российский пролетариат и его вождя тов. Ленина в день великого торжества рабоче-крестьянской революции 25 октября. Мы, народы Терской области, мы, рабочие, крестьяне и казаки Терской земли, напрягаем все усилия к тому, чтобы всем нам совместно с вами отпраздновать тот час, когда с нашей борьбой сольется борьба всех народов мира против хищников международного империализма.

Да здравствует мировая пролетарская революция».

«Товарищу Либкнехту. Москва, Чичерину.

Соединенное заседание высших органов Советской власти Терской республики и представителей ее народов просит передать вырвавшемуся из когтей насильников немецкого пролетариата Карлу Либкнехту свой далекий горячий привет».

(ЦГАОР, ф. 130-СНК, оп. 2, д. 467, лл. 104—107. Телеграфная лента).

#### Ростов-на-Дону.

Террор белогвардейщины не мог сломить революционный дух рабочих и крестьян Дона.

«Срочная. Москву Ленину, Свердлову. 6 ноября 1918 г. Через Курск.

Донское бюро и Ростово-Нахичеванский комитет коммунистов от имени организованных донских рабочих, крестьянской и казачьей бедноты шлют из подполья пролетарский привет революционному юбиляру в лице VI съезда Советов.

В этот великий день мы даем клятву перед Российским социалистическим пролетариатом, что скоро соединимся с ним, что скоро на развалинах контрреволюционного гнезда воздвигнем красный коммунистический стяг Советов.

Всероссийский пролетариат! Ждем от тебя — старший и сильный товарищ — помощи нашему делу.

Да здравствует победоносный Российский пролетариат и его Советская власть!

Донское Бюро, Ростово-Нахичеванский комитет коммунистов».

(ЦГАОР, ф. 1235-ВЦИК, оп. 93, д. 8, л. 70. Копия).

#### Украина.

В дни годовщины Октябрьской революции в селах и городах Украины распространялись листовки Коммунистической партии.

«25 октября 1917—7 ноября 1918 г.

Крестьянин-бедняк!

Исполнился год, как у власти стал ты. Исполнился год, как ты сбросил со своей шеи свору паразитов, которая вековечно сидела на ней, пила твою кровь.

Исполнился год, как ты взял в свои руки землю от князей, помещиков, кулаков, попов; вместе с твоим братом рабочим взял от грабителей-капиталистов фабрики, заводы, банки.

Год тому назад ты ушел от грабительской войны, потому что не хотел и не мог убивать своих братьев — австрийских, немецких, болгарских солдат — ради кармана английских и французских буржуев. Твоя власть раскрыла перед всем миром разбойничьи тайные договоры царского и Керенского правительств о дележке земли и народов между кровопийцами-капиталистами.

Когда, год тому назад, ты взял в свои мозолистые руки руль управления Россией, злобные, напуганные буржуи и их прихвостни яростно кричали по всем углам: как он смел сесть в мягкие кресла министров! Он не умеет держать в корявых пальцах министерской ручки! Он глуп, он все погубит!

Шайка этих паразитов не договаривала о том, что министерские кресла сделаны из твоих костей и обтянуты твоей кожей, что пальцы твои корявы и мозолисты оттого, что ты добываешь из земли хлеб для всех. Они кричали о гибели и измене России и о твоей глупости, потому что знали, что ты настолько умен, что сумеешь погубить ихнее, буржуйское дело.

Теперь они больше делают, чем кричат. Поддерживаемые английскими, американскими, французскими и т. д. братьями помещиками, капиталистами, они кольцом окружили Советскую Россию и мечтают задушить ненавистную власть мозолистых рук.

7 ноября исполняется годовщина рабоче-крестьянской власти. И она не валится, не слабнет, а все растет и укрепляется, на зло и страх буржуям всего мира. Она не может не расти и не укрепляться, потому что тобой сказано: тот, кто не трудится — не ест, не имеет права жить. Тобой сорваны покровы обмана и лжи, которыми опутывала тебя буржуазия, дурманили попы в церквях и школах. Ты яснее и яснее видишь, куда тебе идти и что делать.

7 ноября исполняется год твоего пути, свободного и самостоятельного. Тебе на поддержку поднимаются трудящиеся всего мира. Вместе с тобой они будут радоваться и праздновать годовщину твоей власти, годовщину великих дел, годовщину начала нового мира.

7 ноября будет праздником трудящихся всего мира. В этот день светлее будет по конурам и темным закоулкам рабочих улиц Лондона, Парижа, Пекина, Берлина, по домам деревенских бедняков Украины, Сибири, Дона...

Агитац[ионно]-полит[ический] отдел».

(ЦГАОР. печ. изд. № 6162. Типографский экз.).

\* \* \*

Первую годовщину Октябрьской революции приветствовали передовые люди всех стран мира.

Газета «Правда» напечатала воззвание китайских рабочих, собравшихся на совещание в Петрограде:

«...Китайские рабочие в России волею судьбы оказались ныне в среде авангарда мировой революции, они должны помнить, что судьба революции Китая тесно связана с судьбой русской рабочей революции, только в тесном единении с русским рабочим классом возможна победа революции в угнетенном Китае.

Да здравствует солидарность русского и китайского пролетариата!

Да здравствует единение рабочих всего мира!»

(«Правда», 15 декабря 1918 года).

Радио Ташкента приняло радиogramму из Индии. Вот ее содержание:

«Вожди русской революции! Индия поздравляет вас с великой победой, одержанной вами в интересах демократии всего мира.

Индия дивится благородным и гуманным принципам, которые вы провозгласили, взяв власть в свои руки. Индия молит провидение укрепить вас в стойкости этих высоких идеалов. Но вместе с тем Индия опасается за длительность вашего успеха, ибо доселе Англия держит в рабском состоянии 350 миллионов населения Индии. Мы думаем, что вы добьетесь осуществления ваших мировых стремлений.

Во имя успехов ваших благородных задач Индия предостерегает вас от дружбы с Англией. Вам надо выбирать одно из двух. В грязном соседстве трудно держать свой дом в чистоте. Знайте, что Англия не потерпит бок-о-бок со своими важнейшими колониями демократическую Россию, основанную на провозглашенных вами принципах. Имейте в виду, что Англия не остановится ни перед какими самыми трудными, невероятными усилиями, чтобы удушить вашу новую социалистическую Республику. Если вы хотите добиться успеха, хотя для этого потребуются много лет, вы не должны допускать никакого компромисса (соглашательства).

Независимость Индии должна быть частью и даже самой главной частью вашей программы, как бы это трудно ни казалось на первый взгляд.

Никакое господство демократии невозможно на свете без освобождения Индии, а полное освобождение Индии означает разрушение британского империализма.

Вы сами лучше знаете, в чем заключается политика России.

С искренним приветом

Народы Индии».

(ЦГАОР, ф 130-СНК, оп. 2, д. 469, л. 50. Заверенная копия).



---

---

# ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

А. МАСЕВИЧ

*Доктор физико-математических наук*

★

## НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСТРОНОМОВ

*(Заметки делегата Международного астрономического съезда)*

### НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОГРЕССА

**А**вгуст этого года был особенно богат событиями в научной жизни. Не успела в Москве закончиться очередная ассамблея Специального комитета Международного геофизического года, о которой ее участник, американский ученый Дж. Симпсон, сказал, что она вновь подтвердила принципы интернационального сотрудничества и обеспечила продолжение этого сотрудничества, как спустя три дня открылся десятый съезд Международного астрономического союза.

В эти дни у входа в здание Московского университета на Ленинских горах, где проходили научные заседания съезда, развевались флаги тридцати пяти стран, приславших около тысячи своих делегатов. В залах и аудиториях слышался многоплеменный говор, повсюду можно было встретить оживленно беседующих людей со значком участника съезда — металлическим прямоугольником с изображением здания МГУ на фоне звездного неба.

Международное сотрудничество ученых имеет огромное значение для развития любой области науки. В астрономии необходимость этого общения ощущается особенно отчетливо. И это понятно.

Процессы, происходящие на Солнце, оказывают большое влияние на жизнь Земли, на состояние верхних слоев ее атмосферы, погоду, климат. Для правильного понимания этих явлений нужно вести непрерывное наблюдение за Солнцем, необходимо сотрудничество астрономов различных стран. Для этого создана целая сеть специальных станций («службы Солнца»), расположенных по всему миру. Только сопоставление всех данных наблюдений позволяет делать действительно научные выводы о природе нашего дневного светила.

Астрономы в странах северного полушария лишены возможности изучать значительные участки неба, окружающие Южный полюс мира. А между тем подсчеты звезд, туманностей, далеких звездных систем — галактик, разумеется, должны проводиться для всего неба. Значит, усилия ученых должны быть объединены.

Тысячи специалистов следят за полетом искусственных спутников Земли. Ясно, что построить точную теорию их движения, произвести правильный учет эффекта торможения земной атмосферы и так далее — всего этого можно достигнуть лишь при условии организации наблюдений в самых разнообразных точках орбиты спутника, то есть по всему земному шару. И здесь международное сотрудничество является настоятельно необходимым.

А составление астрономических каталогов, карт и атласов? Ведь это дело также требует объединения наблюдений, производимых в разных странах.



Именно в силу этих особенностей астрономии еще более ста лет назад начали стихийно возникать идеи организации международных совместных работ. В 1919 году был создан Международный астрономический союз (МАС), призванный координировать и планировать астрономические исследования во всем мире и способствовать международному сотрудничеству. Первый съезд МАС состоялся в 1922 году в Риме, на нем присутствовало тогда всего лишь 83 астронома. Десятый — московский — был самым многочисленным за всю историю МАС.

В последнее время астрономическая наука развивается особенно бурно. Одна из главных причин тому — всестороннее применение новой техники: запуск искусственных спутников Земли и ракет для исследования космического пространства, использование гигантских телескопов и радиоастрономической аппаратуры для изучения физических процессов на отдаленнейших небесных телах. В наши дни астрономия характеризуется существенным воздействием на развитие других наук, астрономические наблюдения позволяют открывать новые, не известные ранее свойства вещества в недрах звезд и разреженных туманностях.

Вот почему потребность в международном сотрудничестве для дальнейшего прогресса в астрономии становится все более осязаемой.

Непосредственный обмен мнениями, личные контакты всегда способствуют установлению взаимопонимания ученых, будят мысль, позволяют особенно четко выявить то главное и основное в изучаемой проблеме, на что необходимо направить усилия исследователей для ее успешного разрешения.

Во время десятого съезда происходили заседания свыше сорока комиссий, где обсуждались важнейшие вопросы космогонии, радиоастрономии, астрофизики и других областей астрономической науки. Мы услышали очень много интересных сообщений. Немало было и споров и разногласий, но любопытно отметить, что очень часто в результате столкновения, казалось бы, противоположных точек зрения удавалось сообща найти, так сказать выкристаллизовать, общие направления дальнейшего исследования, наметить программу таких будущих наблюдений, которые сыграют роль окончательного критерия в споре. Дух взаимопонимания и творческого сотрудничества — вот что явилось залогом успеха в работе съезда.

## В ГЛУБИНАХ КОСМОСА

Астрономия давно перестала быть наукой, изучающей только положение и движение небесных тел, состояние далеких звезд и звездных систем. Ныне астрономы успешно решают проблемы происхождения и жизни небесных тел.

Где и каким образом возникают звезды, как они развиваются? Всегда ли наше Солнце было такой звездой, как сейчас, что ждет его в будущем? Одинаков ли путь развития всех звезд? На эти вопросы ответить не так уж легко. В самом деле, поставить какой-либо опыт, предпринять прямое вмешательство в ход явления или хотя бы просто воспроизвести условия, при которых образовалось то или иное небесное тело, — невозможно. Следовательно, исключена возможность и непосредственного изучения этого процесса. К этому надо добавить поистине «астрономические» периоды эволюции звезд, исчисляемые миллиардами лет. Таким образом, астрономии приходится всегда сталкиваться с колоссальными масштабами пространства и времени, соблюдать величайшую точность измерений. Все это ставит космогониста в несравненно более сложные условия, чем любого другого естествоиспытателя. У астронома есть лишь одно преимущество — возможность наблюдать одновременно большое количество звезд, находящихся на различных стадиях развития. Наблюдения эти имеют очень важное значение, так как являются той основной «экспериментальной» базой, на которой строятся космогонические гипотезы. Разносторонность сведений о звездах и звездных системах позволяет не только делать выводы о направлении развития, основываясь на хорошо изученных законах природы, но и предсказывать новые, еще не открытые явления.

Центральным научным событием съезда явился симпозиум, посвященный новейшим данным наблюдений и эволюции звезд. В нем приняли участие почти все делегаты и многочисленные гости. Обсуждалась так называемая диаграмма Герцшпрун-

га — Ресселла. Как известно, каждая из бесчисленного множества звездных систем имеет свои особенности. Поэтому выявить закономерности развития Вселенной в целом можно лишь при условии установления общих черт в самых разнообразных формах движения материи. Диаграмма Герцшпрунга — Ресселла помогает раскрыть эти закономерности, исходя из связи светимости звезд (полное количество излучаемой ими энергии) с их цветом, характеризующим температуру поверхности звезды. На такой диаграмме все изученные звезды располагаются по определенным направлениям или последовательностям, как их называют в астрономии. Каждая такая последовательность представляет собой группу звезд, имеющих общие свойства, одинаковое внутреннее строение и подчиняющихся одним и тем же закономерностям. Диаграмму Герцшпрунга — Ресселла часто называют диаграммой состояния звезд. Она действительно позволяет делать заключения о массе, возрасте, происхождении, тенденциях развития той или иной звезды и даже целой группы звезд.

На симпозиуме присутствовал тепло встреченный всеми участниками датский ученый Эйнар Герцшпрунг, который еще в 1907 году построил первый вариант этой диаграммы. Конечно, тогда она выглядела значительно более простой, чем сейчас.

Внимание исследователей в первую очередь привлекают звезды, изменения в которых происходят относительно быстро. Такими являются, например, горячие звезд-гиганты, очень относительно расходующие свои запасы энергии; они излучают в среднем в десятки и сотни тысяч раз больше энергии, чем Солнце, хотя их массы лишь в десять — двадцать раз превосходят массу Солнца.

Узнать, как протекает развитие таких звезд, — это один из основных вопросов современной теории звездной эволюции. Ведь за время существования нашей Галактики огромное число таких звезд должно было значительно изменить свои внешние признаки, перейти в другое состояние. Однако они не могли исчезнуть совсем и могут наблюдаться теперь как небесные тела другого типа. Есть все основания предполагать, что звезды эти неустойчивы. С их поверхности происходит непрерывное истечение вещества, в результате чего звезда постепенно меняется, превращаясь в обычное устойчивое светило вроде нашего Солнца. Изучение таких звезд позволяет судить о возможной генетической связи между звездами, казалось бы, совсем различных типов.

Звезды-карлики эволюционируют сравнительно медленно. В течение миллиардов лет такая звезда практически не меняется. Но и среди них существуют, как было обнаружено недавно, неустойчивые звезды, на поверхности которых происходят вспышки, бурное выделение энергии. Это небесные тела, встречающиеся в так называемых Т-ассоциациях — молодых образованиях, возраст которых составляет всего лишь несколько миллионов лет. Значит, и среди звезд-карликов есть молодые и старые, есть свои пути развития.

В последние годы большое внимание уделялось изучению шаровых звездных скоплений — компактных шарообразных звездных групп, которые, по-видимому, являются очень старыми образованиями. Диаграммы Герцшпрунга — Ресселла, построенные для этих скоплений, отличаются по виду от соответствующих диаграмм для других, более молодых звездных групп. Таким образом, появилась возможность исследовать более поздние стадии эволюции звезд, когда в их недрах весь водород уже преобразовался в гелий и источником энергии являются другие ядерные реакции. При этом центральные части звезды сжимаются, а оболочка, наоборот, расширяется настолько, что обычная звезда типа Солнца превращается в громадную звезду — красный гигант. Изучение этих последних этапов жизни звезды имеет очень большое значение для другой важной проблемы современной астрофизики — проблемы происхождения химических элементов, которой была посвящена специальная дискуссия на съезде.

## НОВАЯ ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Спектральный анализ позволяет определить относительное содержание того или иного химического элемента в Солнце и других небесных телах, в межзвездном газе; состав Земли и метеоритов мы можем определять непосредственно. Больше всего в известной нам части Вселенной водорода и гелия. Все остальные элементы встречаются примерно в таком же соотношении, как и в Земле.

Из теории внутреннего строения звезд известно, что в обычных звездах типа нашего Солнца (а таких звезд в нашей звездной системе подавляющее большинство) происходит преобразование атомных ядер водорода в гелий. Освобождающаяся при этом энергия и является источником их излучения. Температура и плотность в недрах этих звезд недостаточны для того, чтобы могли образовываться более тяжелые элементы.

В связи с этим встает вопрос: как и когда возникли в звездах такие химические элементы, как калий, кальций, сера, железо, свинец, повсюду встречающиеся в космосе?

Долго считали, что образование тяжелых элементов произошло в отдаленные времена, тогда, когда звезд еще не было, а вещество всей известной нам части Вселенной находилось в особом, очень горячем и уплотненном состоянии и затем охладилось и расширилось. Впоследствии возникновение элементов будто бы прекратилось. Правда, сторонникам такой гипотезы отодвигать очень далеко эти «отдаленные времена» было нельзя, так как тяжелые элементы, например, уран или торий, как известно, радиоактивны, самопроизвольно распадаются и, значит, время их жизни ограничено. Эти элементы, поскольку мы их встречаем и теперь, должны были образоваться не далее как десять миллиардов лет назад. Таким образом как бы устанавливался верхний предел возраста нашей звездной Вселенной.

На протяжении последних десятилетий создавались различные теории происхождения химических элементов в звездах. Предпосылкой служило представление о некотором особом дозвездном состоянии вещества. Находились и такие авторы, которые проблему радиоактивных элементов рассматривали как прямое доказательство «акта творения мира». Однако ни одна из этих гипотез не смогла объяснить действительно наблюдаемое содержание различных элементов в космосе. Расхождения между теоретическими выводами и практическими наблюдениями были слишком разительны.

Разобраться во всем этом физикам помогли астрономы, на основании изучения шаровых звездных скоплений обнаружившие поздние стадии эволюции звезд. Появилась новая теория происхождения элементов. Суть ее в следующем.

При переходе от обычной звезды к красному гиганту температура и плотность в ее центральных частях настолько возрастают, что становятся возможными ядерные реакции, в результате которых образуются элементы тяжелее гелия. Расчеты показали, что на определенных этапах развития звезд в них могут постепенно возникать все элементы, вплоть до самых тяжелых, например, калифорния. Образовавшись в одной или нескольких звездах, элементы распространяются в космосе и входят в состав других небесных тел. Для этого они должны быть выброшены и рассеяны. Одним из возможных способов такого выброса элементов в космос являются вспышки так называемых сверхновых звезд.

Время от времени (примерно раз в триста лет) в нашей и других звездных системах происходят грандиозные катастрофы. Первоначально малозаметная звезда вдруг становится ослепительно яркой. Через некоторое время блеск ее спадает, и звезда становится опять такой же, какой была. Что же случилось? Оказывается, что в результате грандиозной вспышки из звезды выбрасывается значительная часть ее вещества, которое постепенно рассеивается в пространстве.

Остатки одной такой сверхновой звезды, вспыхнувшей в нашей звездной системе в 1054 году, мы наблюдаем и поныне. Это так называемая Крабовидная туманность. Наблюдения показывают, что она расширяется со скоростью 1300 километров в секунду и является мощным источником радиоизлучения. По скорости расширения можно подсчитать, что примерно восемьсот лет назад все вещество этого небесного тела должно было быть сосредоточено в самом его центре, то есть как раз там, где, по описанию китайского летописца, появилась необычайная «звезда-гостья».

Новая теория происхождения химических элементов имеет много преимуществ. Прежде всего из нее следует, что возникновение элементов в звездах не только не прекратилось с давних времен, но процессы их образования продолжают непрерывно на протяжении всей жизни нашей и других галактик. Нет никакой необходимости предполагать какое-то особое дозвездное состояние Вселенной. Происхождение элементов — закономерный процесс, связанный с определенным этапом в развитии звезд.

### СУТКИ УДЛИНЯЮТСЯ?

Когда говорят о равномерном вращении, то обычно в виде примера приводят вращение Земли. В течение долгого времени период вращения Земли рассматривался как стандарт времени.

Но вот наука дала в руки человеку сверхточные кварцевые и особенно молекулярные и атомные часы. И что же оказалось? Как теперь установлено, в действительности планета наша вращается неравномерно. Наблюдается постепенное замедление скорости ее вращения, медленное увеличение длины суток. Причиной тому являются главным образом приливы в океанах и морях. Выяснено, что за столетие сутки удлинняются примерно на пятнадцать десятитысячных доли секунды. Это так называемое вековое изменение.

Равномерность вращения Земли нарушается еще и вследствие сезонных метеорологических процессов движения атмосферных масс. Так, например, зимой большие массы воздуха притекают к Сибири, образуя сибирский антициклон. Дополнительная масса воздуха, скапливающаяся при этом над Сибирью, достигает 14 миллиардов тонн. Летом вся эта масса рассеивается. Сезонные колебания продолжительности суток составляют 0,001 — 0,0005 секунды.

Недавно были обнаружены и неправильные, иногда внезапные изменения вращения Земли, доходящие порою до четырех тысячных доли секунды. Французские, а также японские ученые установили, что за время с 1955 по 1958 год продолжительность суток увеличивалась нерегулярно до 0,00043 секунды. Зарегистрировать такие ничтожные изменения можно только с помощью часов, идущих идеально равномерно. Такими являются часы, использующие колебания атомов.

Причина нерегулярных изменений вращения Земли пока еще окончательно не установлена. По-видимому, она связана со строением самого земного шара.

### ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА

Процессы, происходящие на поверхности Солнца, — образование пятен, вспышки и другие — обычно сопровождаются выбрасыванием потоков электрически заряженных частиц — корпускул, усилением интенсивности коротковолнового излучения Солнца, всплесками радиоизлучения. Потоки корпускул, вторгаясь в земную атмосферу, вызывают полярные сияния, магнитные бури, нарушение радиосвязи на Земле.

Новые сведения о строении атмосферы Солнца удалось получить с помощью радиотехнических методов. Имеющаяся в распоряжении астрономов радиоаппаратура позволяет выделять радиоволны разной длины, приходящие от сравнительно малых участков солнечной поверхности. Исследования показали, что строение атмосферы Солнца очень неоднородно. В одной и той же области могут, оказывается, сосуществовать в весьма тесном соседстве друг с другом горячие и сравнительно холодные массы вещества. В связи с этим приходится несколько пересмотреть наши представления о состоянии равновесия атмосферы Солнца.

Советскими, французскими, чехословацкими астрономами получены ценные данные о связи солнечной активности с гидрометеорологическими процессами, происходящими на Земле. Солнечная активность в значительной степени определяет характер циркуляции воздушных масс в земной атмосфере, а это, в свою очередь, влияет на погоду, климат, обмеление водоемов. Так, например, установлено, что наивысший уровень воды в Каспии совпадает с вековым минимумом активности Солнца.

### МАЯКИ ВСЕЛЕННОЙ

Одна из объединенных дискуссий участников съезда была посвящена переменным звездам — цефеидам.

Эти небесные тела представляют особый интерес для астрономов, так как они, расширяясь и сжимаясь — пульсируя, меняют свой блеск строго периодически. Период этот колеблется от нескольких десятков минут до многих лет. Между блеском и периодом его изменения существует вполне определенная зависимость. С помощью этой зависимости удается определять расстояние до далеких звездных скоплений и других галак-

тик, в которых наблюдаются цефеиды, изучать строение нашей Галактики. Недаром цефеиды часто называются небесными ориентирами.

Зависимость между блеском и периодом его изменения для цефеид была установлена в начале нашего века по многочисленным наблюдениям этих звезд в ближайших к нам звездных системах — Магеллановых облаках. Еще совсем недавно эта зависимость считалась весьма надежной. Однако наблюдения последнего времени показали, что на самом деле цефеиды значительно ярче, чем предполагалось. Следовательно, расстояния, измеренные по старой зависимости, в действительности раза в два больше, чем считалось ранее.

Открытие это имело очень большое значение. Оно означало, что изученная нами часть Вселенной должна быть как бы вдвое раздвинута, а целый ряд расчетов, основанных на существовавших ранее значениях расстояний, требует пересмотра. Цефеиды произвели своего рода «революцию» в представлениях о масштабах во Вселенной. Но этим дело не ограничилось. Дальнейшие исследования показали, что просто удваивать расстояния нельзя. Оказалось, что цефеиды в разных звездных системах ведут себя по-разному и вместо одной зависимости (период — блеск) их существует несколько.

Изучение переменных звезд ведется почти во всех обсерваториях мира. Каждая вновь открытая и исследованная звезда классифицируется и получает обозначение. Все данные сводятся в единый каталог, издаваемый в СССР. Это большое международное поручение — составление и издание полных каталогов переменных звезд, а также ежегодных дополнений, которые давали бы новые сведения и предохраняли каталоги от «старения», — советские астрономы взяли на себя еще в 1946 году.

В 1948 году вышло первое издание этого каталога. В нем содержалось описание одиннадцати тысяч переменных звезд. В дни работы десятого съезда вышло второе издание каталога, в котором описано уже пятнадцать тысяч переменных звезд.

### СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На заседаниях различных комиссий съезда много внимания уделялось новым методам исследования, результатам работы вновь вступивших в строй телескопов.

Интересные данные о неустойчивых звездах-жарликах получены с помощью крупнейшего в мире менискового телескопа системы Максутова, установленного несколько лет назад на Абастуманской обсерватории Академии наук Грузинской ССР. На фотографиях, полученных с помощью этого телескопа, открыто около трехсот нестационарных звезд.

Успешно работает новый радиотелескоп Пулковской обсерватории. Этот инструмент способен принимать радиоволны длиной от двадцати сантиметров до двух-трех метров. Телескоп обладает большой разрешающей силой, то есть способен разделять находящиеся близко источники радиоизлучения.

Новым методом в астрономии является применение электронно-оптических преобразователей — специальных устройств, преобразующих излучение небесных тел в потоки электронов. С помощью электронно-оптических преобразователей можно регистрировать излучение очень слабых звезд и туманностей, которые не воспринимаются фотопластинкой. Недаром им дали название «усилители яркости».

Электронно-оптические преобразователи позволяют обнаруживать космические объекты, настолько холодные, что излучение их уже не воспринимается ни глазом, ни пластинкой. Это так называемые инфракрасные звезды. Благодаря усилителям яркости можно значительно снизить время экспозиции, а это очень важно, когда изучаются быстро движущиеся или меняющиеся детали, например, на поверхности Солнца.

Теперь в астрономии начали использовать телевизионную технику. Во время предыдущего съезда МАС в Дублине ирландские астрономы демонстрировали участникам съезда на экране телевизора Луну и туманность Андромеды. Большим преимуществом применения телевидения в астрономии является возможность значительно повысить контрасты (между фоном и объектом, между соседними деталями). Это особенно ценно при изучении Луны и планет. Телевидение применялось для изучения Марса во время его противостояния. В Советском Союзе телевизионная установка успешно работает в Пулковской обсерватории.

Новый этап в развитии астрономии открыли искусственные спутники Земли: Они позволили исследователям выйти за пределы земной атмосферы для изучения явлений, происходящих в космосе.

Земная атмосфера играет роль своеобразного фильтра. Она полностью поглощает коротковолновое излучение Солнца; частицы воздуха взаимодействуют с частицами космического излучения, в результате чего космические лучи, изучаемые на Земле, значительно отличаются от космических лучей, падающих на границу земной атмосферы; она задерживает микрометеоры, которые испаряются, не достигая в большинстве случаев поверхности Земли.

Все эти явления играют видную роль в природе, и изучение их весьма важно для астрономической науки. Хотя общая энергия коротковолнового излучения Солнца сравнительно невелика (она в десятки тысяч раз меньше энергии, излучаемой Солнцем в видимом свете), влияние ее на верхние слои атмосферы очень существенно благодаря высокой активности этих лучей. Имеются все основания предполагать наличие непосредственной связи вариаций интенсивности коротковолнового излучения Солнца с процессами в ионосфере. Точно так же существует прямая связь между явлениями, происходящими на поверхности Солнца (особенно вспышками), и усилением коротковолнового излучения. Излучение это связано также с физическими процессами, протекающими в солнечной короне. Исследование этого участка спектра Солнца представляет поэтому особый интерес для астрономов и геофизиков.

Не менее существенен вопрос о составе и интенсивности первичной составляющей космических лучей. Изменения интенсивностей космических лучей связаны с активностью Солнца и рядом процессов, протекающих в космическом пространстве. Изучение состава первичных космических лучей позволит проверить существующие гипотезы происхождения космического излучения, которое, как предполагается, связано со вспышками новых и сверхновых звезд, даст ценные сведения о космической распространенности химических элементов, что, в свою очередь, связано с проблемой образования элементов.

Чрезвычайно интересны результаты изучения космических лучей с помощью второго и третьего советских искусственных спутников Земли. Изменения интенсивности космических лучей, зарегистрированные аппаратурой второго спутника, отличаются от вариаций, наблюдавшихся в тот же период времени наземными станциями. По-видимому, существуют два типа вариаций: вариации, вызываемые действительным изменением числа первичных космических частиц, и вариации, вызываемые так называемым «земным излучением» — частицами с большими энергиями, возникающими вблизи Земли и движущимися вокруг нее. Это могут быть вторичные частицы, испускаемые Землей под действием космических лучей. Источником их могут быть также корпускулярные потоки Солнца. Такое же явление «ореола» из атомов и электронов высоких энергий может наблюдаться вокруг других небесных тел, обладающих магнитным полем, под воздействием корпускулярных потоков звезд.

Для будущих межпланетных путешествий необходимо изучить вопрос о так называемой метеорной опасности, то есть о количестве мелких частиц — микрометеоров, движущихся в межпланетном пространстве с различной, подчас весьма большой, скоростью. Такие частицы могут при известных условиях нанести повреждение космическому кораблю. Вопрос о количестве микрометеоров важен также и для гипотез происхождения нашей солнечной системы. Результаты опытов, проведенных советскими и американскими исследователями с помощью искусственных спутников, показывают, что метеорная опасность меньше, чем это предполагалось по теоретическим расчетам.

Искусственные спутники — это своеобразные летающие лаборатории, значительно расширяющие наши «земные» возможности. Передатчики, установленные на спутниках, позволили в течение длительного времени принимать радиосигналы из областей ионосферы, ранее недоступных для наблюдений. До сих пор основные сведения о ней получались с помощью радиоволн, посылаемых с Земли и отраженных от самых низких ее областей. При своем движении по орбите спутник проходит через разные слои ионосферы, вплоть до самых высоких.

На основании этих наблюдений советские ученые пришли к выводу, что высота «границы» атмосферы, то есть зоны, где она соприкасается уже с межпланетной средой, составляет примерно две-три тысячи километров. С помощью приборов, установленных на третьем спутнике, проводятся прямые измерения характеристик верхних слоев атмосферы — ее химического состава и концентрации заряженных частиц в ней. Теперь мы знаем, что на высоте 242 километров в каждом кубическом сантиметре находится около полумиллиона заряженных частиц, а в 795 километрах от поверхности Земли — в три раза меньше.

Наблюдения за полетом спутников ведутся во всех странах. Они дают много ценнейших сведений. С научной точки зрения особенно интересны изменения блеска спутника, которые дают возможность определить период его вращения и ориентацию в пространстве.

Научные наблюдения, которые уже проведены и еще будут проводиться на спутниках в течение Международного геофизического года, являются новым, чрезвычайно эффективным методом познания природы.

О своих опытах использования аэростатов для фотографирования Солнца рассказали на съезде французские и американские астрономы. С 1952 года в Медонской обсерватории (Франция) проводятся полеты на аэростате, к корзине которого прикреплен телескоп с фотокамерой для фотографирования Солнца. Подъемы совершались до высоты в семь тысяч метров. Фотографии солнечного диска, сделанные на такой высоте, отличаются особой четкостью, позволяют исследовать тонкие детали на поверхности Солнца.

Еще более интересные наблюдения осуществлены в США. На высоту в 25 километров был поднят 12-дюймовый телескоп, оборудованный приборами наведения на Солнце и автоматической фотокамерой. Получено более восьми тысяч снимков солнечного диска, на которых обнаружены не известные ранее детали строения структурных образований солнечной поверхности — солнечных гранул.

Интерес к проблемам астрономических наблюдений с помощью баллонов, ракет и спутников очень велик. И понятно почему — этим исследованиям принадлежит будущее.

Десятый съезд Международного астрономического союза прошел в исключительно непринужденной, дружеской и деловой атмосфере. Хочется привести такой эпизод. Присутствовавшая на съезде вдова знаменитого французского популяризатора астрономии Камилла Фламариона в беседе с журналистами отметила, что рабочая обстановка съезда сделала ее моложе и напомнила ей те годы, когда она занималась научными исследованиями вместе с мужем. Несмотря на свой преклонный возраст (ей уже восемьдесят лет), г-жа Фламарион не прекращает общественной деятельности — она является издательницей научного журнала «Журналь д'астрономи».

Участниками съезда установлено много новых научных связей, много выявлено новых путей дальнейшего штурма космоса. Подведены итоги большой научной работы за три года. Астрономы разъехались по своим обсерваториям, воодушевленные успехами международного общения.



---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

## ФЛАГ НЕ БУДЕТ СПУЩЕН

Италия

...Если ведьму уколеть иголкой, ей не будет больно и у нее не покажется кровь; если же капля крови и выступит у нее на коже, если она и закричит от боли, то это только для того, чтобы получше обмануть христиан. Коммунисты как сыр в масле катаются и купаются в золоте (разумеется, московском), если же они испытывают финансовые трудности и открыто говорят об этом, то только для того, чтобы получше обмануть либералов и демо-христиан...

«Контемпоранео» («Современник»), ежемесячник, посвященный вопросам культуры, литературы, искусства, № 1—2. Апрель—май. 1958. Год издания 1-й. Рим. Издательство Паренти. Главный редактор Антонелло Тромбадори.

★

Эта неотразимая логика — завоевание эпохи охоты на ведьм — во всем блеске проявилась и в откликах итальянской буржуазной печати на прекращение издания прогрессивного еженедельника «Контемпоранео», вместо которого с апреля этого года начал выходить ежемесячный журнал под тем же названием. Хотя в редакционной статье, напечатанной в последнем номере старого «Контемпоранео», недвусмысленно поясняется, что отказ от выпуска еженедельника вызван «постоянным увеличением бремени издержек производства (бумага, типография, цинкография и т. д.), бойкотом со стороны большой рекламы, невозможностью расширить источники финансирования и т. д.», — этому не верят ни католические и демо-христианские газеты от «Пополо ди Рома» до миланской «Италин», ни саррагатовская «Джустития», ни римская «Воце Републикана», ни болонская «Ресто дель Карлино».

Впрочем, оно и понятно — всяк на свой аршин мерит! Ведь в Италии нет или почти нет периодических изданий, которые существовали бы лишь на свои собственные доходы: большинство газет и журналов пользуется прямой или косвенной поддержкой мощных финансовых групп и издательских трестов. Тому пример «Мондо», который сначала субсидировало крупное издательство «Эдигориале Домус», а теперь — граф Карандини, или «Эспрессо», купленный «Фиатом» через подставное лицо, или «Селе-Арте», который почти целиком содержится компанией «Оливетти», закупающей, а затем бесплатно распространяющей тысячи экземпляров этого журнала, уже не говоря о реплайной прессе, подкармливаемой из секретных фондов. К тому же, как известно, одну из важнейших статей бюджета буржуазных периодических изданий составляют поступления от всякого рода рекламных объявлений и проспектов, помещаемых на их страницах крупными предприятиями. И так как сытый голодного не разумеет, им трудно понять положение «Контемпоранео». А между тем стоило его редактору обратиться за заказом на такие объявления к одному промышленнику, похвалявшемуся своими прогрессивными взглядами в вопросах культуры, как он получил весьма характерный ответ: «Мне кажется, будет правильно ответить вам официально так же, как отвечают в подобных случаях многие другие коммерсанты. Я — промышленник, а ваше издание представляет интересы рабочего движения. Вы боретесь за то, чтобы такие люди, как я, переменили профессию. Почему же вы хотите делать это на наши деньги? «Мондо» стоит на других позициях. Этот еженедельник борется против крупных монополий, но не против промышленников средней руки» и т. д. и т. п.

«Приведенный эпизод, — пишет по этому поводу «Контемпоранео», — поучителен для тех, кто разглагольствует о свободе печати при капиталистическом строе, а также и для тех, кто, участвуя в революционном рабочем движении или сочувствуя ему, забывает, витая в облаках, сколько крови и слез стоит свобода и самое существо-



вание той прессы, которая выражает развитие общества и личности по пути прогресса, по пути социалистической революции».

Приняв за неоспоримую истину, что ведьма кричит от боли только для того, чтобы обмануть христиан (на то она и ведьма), буржуазная пресса пустилась в фантастические домыслы, чтобы дать такое объяснение превращению еженедельника «Контемпоранео» в ежемесячный журнал, которое отвечало бы ее хрупким надеждам. Так, «Эуро-лео» (от 9 марта) усматривает в этом событии ни более ни менее, как «кризис коммунистической печати», являющийся результатом «политического и идейного поражения, которое принудило коммунистов отказаться от дискуссии с противниками и прервать контакт со своими оппонентами перед лицом того факта, что авангард, отправившийся во вражеский лагерь, чтобы захватить пленных, оказался почти целиком рассеянным и захваченным в плен». Поистине, курам просо снится!

На эту тираду, где что ни слово, то передержка и подтасовка, нельзя ответить убедительнее, чем это сделал новый «Контемпоранео» (№ 1—2) в обзоре печати, и потому пусть не посетует на нас читатель за длинную выдержку.

«Может статься,— говорится в статье,— тот или иной из наших собеседников, вначале примыкавших к общему лагерю левой интеллигенции, впоследствии показал себя более близким и более приверженным к традиционной культуре со всеми ее соблазнами, чем к трудной и суровой борьбе за новую культуру, но это не значит, что он был или хотя бы стал в силу этого нашим противником. Может случиться — и действительно случилось, — что некоторые интеллигенты из числа коммунистов, растерявшись перед лицом новых фактов, поддались миражу «преодоления» марксизма и невольно стали пособниками идеологической мистификации так называемого неокapитализма; но это значит только, что они были не сильны в марксизме и, быть может, в будущем извлекут урок из своих ошибок. Имели место и такие факты, когда кое-кто из наших интеллигентов, делавший вид, что хранит в глубине души бог весть какое богатство революционных устремлений и идей, которые держались им в тайне до XX съезда КПСС, предался неумеренному расточительству этого клада, выставляя таким образом напоказ присущее ему в действительности убожество мысли, которому так приличествовало молчание. Все это так. Но говорить на этом основании о «политическом и идейном поражении» — значит проявлять поверхностность и легкомыслие. Мы не порываем контактов ни с одним итальянским интеллигентом, искренне стремящимся разобраться в проблемах новой, демократической и социалистической культуры, какими бы сложными ни были эти проблемы. И главное, мы не можем согласиться с тем, что обмен мнениями и полемику по идеологическим вопросам следует изображать как войну, в которой захватываются пленные и гибнут люди; в этом обмене мнениями и в этой полемике от пленных нет никакой пользы, поскольку они остаются «пленными», а если люди «гибнут», значит они изначально были погибшими людьми и, следовательно, тоже никому не нужны. События последних лет могут лишь побудить нас к более глубокому изучению и разработке марксистской культуры как к незаменимому средству для подхода во всеоружии к новой обстановке».

Но поистине комический эффект вызывает напечатанная в «Коррьере делла Сера» пространная и странная статья Индро Монтанелли под заголовком «Капитализм потерял союзника». По мысли Монтанелли, этот союзник не кто иной, как... «Контемпоранео». Поскольку «Контемпоранео», как известно Монтанелли, предоставлял свои страницы для широких дискуссий, в которых принимали участие и деятели культуры, весьма далекие от коммунистов, и поскольку, как ему чудится, в этих дискуссиях «созревала ересь» и среди самих коммунистов, он полагает, что буржуазия должна была поддержать этот еженедельник ради успешного распространения в массах буржуазных взглядов. «О чем же, наконец, думает итальянская буржуазия? — возмущается Монтанелли. — И как она рассчитывает подорвать позиции коммунизма? Почему крупные капиталисты, всегда готовые потратить миллиарды на ежедневные газеты, которые читаются только ими самими да их супругами, то есть проповедуют веру обращенным и, более того, кардиналам, не желают потратить ни лиры на рекламу, чтобы поддержать единственные издания, имеющие доступ в храм неверных?»

Но итальянская буржуазия, в отличие от Монтанелли, прекрасно понимает, что к чему, и вряд ли последует его совету. «Мы полагаем, — пишет «Контемпоранео», — что

она все же не так глупа и непредусмотрительна, как ее хотят изобразить. Если промышленная буржуазия дает свои деньги, к примеру, Индро Монтанелли, а не «Контемпоранео», то поверьте, сынор Монтанелли, у нее есть на это веские причины. Мы согласны, капитализм вынужден обходиться такими союзниками, каких он находит. Согласны, он, возможно, предпочел бы других, не столь сумасбродных, не столь безграмотных. Но за наименее лучшего мирясь с тем, что есть, он все же умеет отличать союзников от врагов.

Статья Монтанелли вывела из себя саррагатовскую «Джустицию», которой «чуть было не захотелось высказаться в защиту обвиняемой» (то есть итальянской буржуазии). Как раз это не может нас удивить: «Джустиция» не впервой высказываться в защиту буржуазии. Но перед бесценным советом, который и она, со своей стороны, дает капиталистам, меркнут даже пожелания Монтанелли: если буржуазия хочет добиться какого-нибудь конкретного результата в борьбе против коммунизма, пусть она обратит свои миллиарды «не на субсидирование органов одиночек-вероотступников, а на содействие улучшению экономического положения трудящихся классов». Да, если буржуазия прислушается к этому совету, она будет спасена! «Что «Джустиция» принимает близко к сердцу спасение промышленной буржуазии, это всем известно, — замечает «Контемпоранео». — Но не всегда голова соразмерна сердцу. Бывает и так: широкое сердце, но куриная голова. И вот капитализму дается сногшибательный совет отказаться от прибылей и сверхприбылей, чтобы спасти себя как капитализм!..»

Можно было бы привести еще немало откликов, подобных советам «Джустиции», но пощадим читателя. Заметим только, что, при всей своей враждебности и явной предвзятости, даже они свидетельствуют о той почетной роли, которую на протяжении пяти лет играл «Контемпоранео» в общественной и культурной жизни Италии. Без сомнения, он будет по-прежнему играть ее и в качестве ежемесячного журнала.

В редакционной статье, напечатанной в последнем номере еженедельника, говорится: «Флаг «Контемпоранео» не будет спущен. Мы будем продолжать наше дело, будем, как и раньше, стимулировать свободное критическое исследование, поддерживать все новаторские тенденции в современной культуре, вырабатывать новые отношения между культурой и жизнью, культурой и социалистической революцией». Уже первые номера нового, ежемесячного журнала позволяют судить, остается ли верен «Контемпоранео» знамени своего предшественника.

Стихи Назыма Хикмета в переводах Вельсо Муччи, сравнительный анализ трех новых фильмов — японского, американского и англо-американского — в их отношении к пацифистской идеологии, литературный портрет Агостино Джемелли, католического мыслителя и общественного деятеля, дискуссия о творчестве американского художника Джексона Поллока, статьи и заметки о поэтике Гельдерлина, о Брехте в Италии, об актуальности Вольтера, о проблемах художественной иллюстрации, о молодом итальянском скульпторе Аугусто Пересе, о творческом вечере поэта Евтушенко в Союзе советских писателей, о недавней речи папы Пия XII и южном вопросе, о драматургии Диего Фаббри, об издательстве Мондатори, об архитектуре и градостроительстве в Голландии и в Италии, об экономической концепции Оливетти и так называемом «комунитарном движении», — уже один этот далеко не полный перечень дает представление о широте кругозора и разносторонности интересов нового «Контемпоранео», который не оставляет без внимания ни одной области искусства и общественной мысли и стремится откликнуться на все сколько-нибудь значительные или примечательные события итальянской и международной культурной жизни. На 176 страницах «Контемпоранео» помещено так много разнообразного, серьезного и интересного материала, что его трудно охватить в нашем отклике. Остановимся поэтому лишь на «творческой трибуне» журнала и некоторых заметках из раздела «Идеи нашего времени».

В связи с выставкой картин недавно скончавшегося американского художника Джексона Поллока, имевшей место в марте этого года в Национальной галерее современного искусства в Риме, «Контемпоранео» организовал дискуссию о его творчестве, в которой приняли участие искусствоведы Антонелло Тромбадори, Антонио дель Герсино, Дуилио Моросини и Дарио Микакки, художник Ренато Гуттузо и писатель Вельсо Муччи. Картины Джексона Поллока у нас неизвестны, но вряд ли читателя обогатило бы описание этих непонятных и крикливых полотен: они отнюдь не принадлежат к наи-

более ценным и значительным произведениям современной западной живописи. Однако дискуссия, или, вернее, собеседование, поводом для которого они послужили, имеет несомненный интерес, ибо затрагивает многие общие проблемы теории и истории искусства.

Все выступавшие с известными оговорками сошлись на том, что творчество Джексона Поллока нельзя назвать иначе, как эпигонским; что в нём эклектически сочетаются формальные тенденции экспрессионизма, сюрреализма, Пикассо и мексиканской настенной живописи; что, во всяком случае, сомнительное достоинство его произведений отнюдь не соответствует шумихе, поднятой вокруг выставки итальянскими модернистами. Однако сама по себе эта шумиха, контрастирующая с равнодушием, проявленным критикой к первой выставке Поллока в 1950 году, довольно знаменательна. По мнению Тромбадори, успех выставки 1958 года отражает упадок и испорченность вкуса широкой публики после нескольких лет антиреалистического наступления, облегченного ослаблением идейной борьбы и критической работы, проводимой прогрессивной интеллигенцией.

Быть может, в известной мере это и так, но мы подозреваем, что здесь есть некоторое смешение газетных восторгов с симпатиями широкой публики: трудно поверить, что у нее способны вызвать искреннее восхищение такие полотна, как «Аромат», где можно разглядеть автопортрет Поллока, только обладая зоркостью и воображением Ренато Гуттузо, которому нам остается поверить на слово. Едва ли не ближе к истине Антонио дель Герсно, который видит в этой шумихе скорее признак слабости, нежели силы антиреалистического направления. «На мой взгляд,— замечает он,— ответ на этот вопрос нужно искать прежде всего в банкротстве абстракционизма как метода, пригодного для живописи нашего времени. Я полагаю, что не случаен громкий резонанс, который получила выставка Поллока именно в тот момент, когда послевоенный абстракционизм выдохся и отлился в академические формы, в формы «изящной» живописи, столь «беззубой» в сравнении с нашей драматической эпохой, что он не может уже больше представлять альтернативу неослабному натиску реализма. В тот момент, когда становится явной несостоятельность неоабстракционизма, на первый план выдвигается абстрактный экспрессионизм, который существует не со вчерашнего дня, но который — не случайно — с недавних пор приобретает более широкий резонанс, то есть популяризируется, распространяется в массовом масштабе».

В статье Дуилио Моросини о Джеконе Поллоке, опубликованной в газете «Паэзе», автор, между прочим, задается вопросом: если бы, по счастью, такой талант, как Поллок, пошел по пути реализма или развился бы на почве иной культуры, нежели американская, не создал ли бы он что-либо значительное? В своем выступлении Антонелло Тромбадори, отвергая эту постановку вопроса, справедливо указывает, что талант не есть качество, поддающееся абстрактному определению как нечто существующее само по себе, до и независимо от художественного творчества, что единственным мерилom таланта является то, что он выражает, и что поэтому «талант Поллока — это картины Поллока». Чтобы быть художником, замечает Тромбадори, разумеется, необходимо обладать врожденной способностью схватывать формы и краски действительности и владеть палитрой, но эту одаренность нельзя смешивать с талантом, который проявляется только в том, что и как изображает художник. Там же, где нельзя ответить на этот вопрос, где нет перехода от избранной темы к формальному выражению, по существу нет художественного творчества, а значит, нет таланта. «Краски в склянке или тюбике сами по себе всегда прекрасны. Все краски природы прекрасны. Но в процессе изображения меняются и краски из склянки или из тюбика, будучи сопоставлены с красками природы: они становятся живописью и могут претвориться в хорошую или плохую живопись. Иначе говоря, вступает в действие момент сознания и творческого выбора. Это риск, которому Поллок почти никогда не подвергает себя».

Тромбадори выступает здесь как против эстетических концепций, **освящающих** безграничный субъективизм художника (краски из тюбика претворяются в живопись, только будучи сопоставлены с красками природы!), так и против теории подсознательного как субстрата художественного творчества, возводящей в принцип «автоматическое письмо» (решающее значение имеет момент сознания и творческого выбора!).

Крайности сходятся. Тезис «абсолютной свободы» художника парадоксальным образом смыкается с вульгарным извращением материалистической эстетики, доводящим детерминизм до фатализма и оправдывающим разложение искусства разложением общества. Этому извращению и дает далсе горячий отпор Тромбадори, отстаивая идейность и партийность искусства: «Именно по причинам теоретического порядка я не соглашусь с теми, кто говорит: поскольку капиталистическое общество неизбежно является носителем разложения и духовной опустошенности, что еще может делать художник, как не отражать, подобно зеркалу, то, что происходит вокруг? Я считаю, что мы не можем довольствоваться механическим применением теории отражения. Есть — и мы боремся за то, чтобы он давал себя знать,— субъективный момент, активность, выбор, суждение художника. Вопрос в том, каково содержание этого выбора, какова идеологическая направленность этого суждения, этой активности. С этой точки зрения, искусство есть также познание и борьба. И я бы сказал, что именно в нашу эпоху художник достоин этого имени только в том случае, если он не просто отражает действительность, подобно зеркалу, а отражает ее в соответствии с известными устремлениями и идеалами, которые позволяют ему схватывать конфликты и противоречия действительности, ибо он отстаивает свои убеждения, борется, принадлежит к определенной партии: партийность входит в его мировоззрение и в его концепцию искусства».

С тех же чуждых догматизму позиций творческого осмысления и применения марксистской теории подходит к проблемам эстетики и Вельсо Муччи. В своем содержательном выступлении он, в частности, раскрывает и развивает некоторые положения Антонио Грамши, нередко искажаемые узким и упрощенным толкованием. В своих «Тюремных тетрадах» Грамши подчеркивает, что литература не порождается литературой, надстройки — надстройками, если оставить в стороне то, что наследуется в силу инерции и пассивности. Они возникают «не посредством партеногенеза, а благодаря вмешательству мужского начала, истории, революционной практики», которая создает нового человека, то есть новые общественные отношения. «Это верно,— замечает Вельсо Муччи,— но верно также и то, что история, это мужское начало, порождает новое искусство не на голом месте, создавая все заново и все собственными силами, как если бы доселе не существовало ни единого признака художественного творчества и каждый отдельный художник всякий раз оказывался бы в положении гипотетического пещерного человека, который должен изобрести не более и ни менее, как искусство. Это была бы позиция крайнего идеализма, и Грамши, конечно, не стоит на такой позиции. В действительности история порождает новое искусство, бросая новые семена в историю художественного творчества. Это справедливо применительно к большим художникам, которых немного. Но что сказать об эпигонах, о маньеристах, хотя бы и одаренных? По отношению к ним справедливо то, что Грамши говорит о надстройках, порождаемых надстройками лишь в силу инерции и пассивности. Если при рассмотрении творчества художника мы не будем должным образом учитывать необходимость предварительного исследования его художественных и культурных источников, то может случиться, что, обращаясь к эпигонам, мы будем поистине смехотворным образом стараться любой ценой найти историю и реальность в таких произведениях, где очень мало истории и реальности, зато много унаследованного в силу инерции и пассивности. Конечно, мы можем сказать, что рассматриваемая эпоха столь мрачна, что это находит свое отражение даже в опусах маньеристов и эпигонов, хотя бы в форме бегства от действительности. Но вместе с тем следует признать, что в этих произведениях отразилось не столько реальное зло эпохи, сколько творческое бессилие данного художника, неспособного отразить и обличить печальную действительность своего времени. Все это в известной мере справедливо и применительно к Джексону Поллоку...»

Эта мысль Вельсо Муччи, на наш взгляд, тем более заслуживает внимания, что и в нашем искусствоведении (как и в литературной критике) подчас не учитывается в должной мере относительная самостоятельность развития надстройки, с особой силой подчеркнутая в известных письмах Энгельса девяностых годов, что ведет к рецидивам вульгарной социологии.

Высокий теоретический уровень, отличающий дискуссию о Джексоне Поллоке, характерен и для других материалов, опубликованных в первом номере «Контемпоранео».

Но не менее характерны для них острая актуальность, непримиримость ко всем и всяческому идеологическому кунштюкам, за которыми кроются реакционные поползновения, партийный, боевой тон.

Тому пример — статья Д. К. Ферретти, посвященная издательству Арнольдо Мондадори. В связи с пятидесятилетием этого издательства, одного из крупнейших в Италии, со страниц буржуазной печати раздался дружный хор славословий по адресу «Большого Арнольдо», когда-то безвестного типографа, сделавшего «поистине легендарную» карьеру и оказавшего «неоценимые услуги» итальянской читающей публике. На все лады превозносились неослабная энергия этого человека, его просвещенность и вкус, добротность и изящество всех его изданий от самых роскошных до самых экономичных, его покровительство талантам, его заслуги в деле популяризации классиков и выдающихся современных писателей, как итальянских, так и иностранных. И многому в этих дифирамбах нельзя отказать в справедливости. Но, как показывает Ферретти, «поистине легендарная» история издательства Мондадори отнюдь не исчерпывается просветительством и меценатством. Во всяком случае, «просветительство» это, сопровождавшееся подавлением и вытеснением конкурентов и завоеванием монопольного положения на книжном рынке, имело, при всей своей сложности и кажущейся противоречивости, определенную идеологическую направленность, которая и стяжала «Большому Арнольдо» признательность итальянской буржуазии.

Мондадори всегда избегал компрометировать себя политически, что, впрочем, не помешало ему в свое время пойти на такие «уступки» фашизму, как издание некоторых писаний самого Муссолини и великого множества посвященных ему апологетических «трудов» и биографий, роскошного альбома «Дуче в Ливии», фашистского еженедельника «Темпо» и т. д. и т. п., — «уступки», обеспечившие ему выгодные государственные заказы и весьма ценную благожелательность столпов режима.

Быть может, было бы легковесно говорить на этом основании о симпатиях Мондадори к итальянскому фашизму, но как бы то ни было, шаг за шагом проследив его деятельность на протяжении полувека, легко убедиться в том, что он при всех обстоятельствах руководствовался (и руководствуется) не одними только коммерческими соображениями, но и известного рода литературной политикой. Так, замечает Ферретти, нельзя считать случайным тот факт, что в каталогах первых лет существования издательства не фигурирует ни один из тех писателей, которые на рубеже двух столетий примыкали к течению «веризма», стремившегося к правдивому, реалистическому изображению жизни народа, или по крайней мере выдвигали требование морального и культурного обновления, — ни Верга, ни Роветта, ни Капуана, ни Бертолацци, ни Прага. Мондадори начал издавать некоторых из них лишь много лет спустя, когда их литературная борьба уже отошла в прошлое. Зато он усиленно популяризировал в то время писателей реакционного лагеря, в особенности группу авторов, так удачно прозванных Грамши «внучатами падре Брешиани» — того самого иезуита Антонио Брешиани, реакционного романтика прошлого века, для которого «все патриоты были мерзавцами, подлецами, убийцами и т. д., тогда как защитники трона и алтаря, как в то время говорили, — сплошь ангелочками, сошедшими на землю, чтобы явить здесь чудо». И эти «внучата падре Брешиани» — Бельтрамелли, Ойетти, Панцини, Готта, ла Сарфатти, Анджело Гатти, Фраккиа и другие — не только пользовались явным предпочтением Мондадори, но и нередко занимали в издательстве руководящие посты.

Не случайно и после второй мировой войны, отдав дань веяниям времени и продемонстрировав «широту взглядов» изданием таких произведений, как «Народ в подполье» Луиджи Лонго и «Как закалялась сталь» Николая Островского, Мондадори не замедлил обратиться к литературе совсем иного рода. Едва «прояснилась» политическая атмосфера и начала поступать американская «помощь» (Мондадори перепала, кстати сказать, завидная доля этих субсидий), «Большой Арнольдо» показал свое подлинное лицо. Новый этап его «плодотворной», «благородной», «заслуживающей всеобщего признания» деятельности характеризуется не столько изданием произведений Кафки, Джойса, Хемингуэя, Сартра и т. д., сколько четко выраженной тенденцией к всемерному распространению погромной, антикоммунистической литературы, в изоби-

лии поставляемой писателями типа Артура Кестлера и Оруэлла и их итальянскими собратьями Сиане, Гатто и т. д., в сочетании с мемуарами и сочинениями Геббельса, Чиано, Черчилля, Трумэна, Эйзенхауэра, Витторио Муссолини, в совокупности как бы синтезирующими «атлантическую политику» и оживление монархо-фашистских элементов. Вдобавок, если когда-то Мондадори находил полезным заигрывать с чернорубашечниками, то теперь он завоевывает благорасположение черных сунан. И вот появляется «Энциклопедия католика», одна за другой выходят книги таких клерикалов, как Де Гаспери, Папини, Джузеппе Риччотти, а представитель иезуитов становится официальным консультантом издательства. Да, «Большой Арнольдо» — просветитель и меценат особого рода!

В истории издательства Мондадори, которую буржуазная пресса сделала «понсти-не легендарной», «Контемпоранео» сумел отделить истину от легенды, показав, как это издательство-монополист проводит культурную политику монополий.

В подтверждение нашей общей характеристики нового ежемесячника мы могли бы равным образом сослаться и на статью Гвидо Нери «Картель Вольтера», в которой он разоблачает попытки похоронить великого глашатая свободомыслия и свобододолюбия или превратить его наследие в катехизис либерального консерватизма, и на критическую статью Антонелло Тромбадори о книге Альберто Моравиа «Месяц в СССР», и на отповедь Рино даль Сассо клерикальной печати в заметке «Бог тебя видит», короче, почти на любую статью в журнале.

Когда полгода назад старый «Контемпоранео» писал, что его флаг не будет спущен, мы в это верили. Теперь, ознакомившись с новым «Контемпоранео», мы это знаем.

К. НАУМОВ.

## О ТОМ ЛИ СПОР?..

*Англия*

«Отор» («Автор»), еже-квартальный журнал. № 4, лето 1958 г. Год издания 68-й. Лондон. Издатель «Соснайти оф оторз».

★

Судьба романа — вот одна из самых «ходовых» тем, обсуждающихся в последнее время на страницах английской литературной периодики. Эту проблему рассматривают в различных аспектах и писатели и критики. Одни скорбят о былом величии английского романа, ныне, мол, дышащего на ладан; другие утешают себя и своих читателей ссылками на весьма значительное число книжных названий, появившихся в Англии; третьи, потрясая кулаками, произносят гневные филиппики в адрес радио, кино и телевидения — этих будто бы смертельных врагов романа, выжидающих лишь подходящего момента, чтобы нанести ему последний удар.

Многие английские писатели, судя по всему, серьезно обеспокоены судьбами литературы своей страны, пытаются осмыслить существенные вопросы литературной жизни. Но далеко не все высказывания на эти темы способствуют выявлению подлинной картины, не все помогают правильно понять главную причину «кризисного состояния» английского романа. А такое состояние, несомненно, налицо, хотя в последние годы в Англии появился ряд романов (таких, например, как «Тихий американец» Г. Грина, «Не хочу, чтобы он умирал» Д. Олдриджа, «Ракетная горячка» К. Маккензи и другие), которые представляют бесспорный интерес и привлекли к себе внимание не только английского читателя, но и за рубежом. В самом деле, могут ли помочь делу размышления и прогнозы, построенные на чисто литературных категориях, рассматривающие литературные проблемы в полном отрыве от жизни, от окружающей действительности? К сожалению, участникам подобных споров невдомек, что любые рассуждения о специфике жанра, экскурсы в далекое прошлое и предположения, относящиеся к столь же далекому будущему, оторванные от реальной действительности, схоластичны и бесплодны. Как выгодно отличалась от этих дискуссий известная книга Ральфа Фокса «Роман и народ», рассматривавшая литературные проблемы в свете важнейших явлений жизни народа!

Трезвый, реалистический анализ положения мы находим пока лишь в статьях критиксв-марксистов, в частности в трудах видного английского литературоведа профес-

сора А. Кеттла. Но их работы, как правило, не находят себе места на страницах английских буржуазных изданий. Резко выступая против тенденции рассматривать литературу как фактор, существующий вне времени и пространства, против всяких «теорий», ставящих литературу над обществом, марксистская критика дает энергичный отпор всяким попыткам использования литературы реакцией. Отмечая важность привлечения к борьбе против угрозы войны самых широких писательских кругов, эта критика вместе с тем подчеркивает недопустимость непринципиальной, расплывчатой политики в вопросах идеологии.

В последнее время в печати появились высказывания некоторых английских литераторов, отнюдь не причисляющих себя к марксистским критикам (К. Тинэн, Л. Андерсон и другие), по поводу общего состояния культуры в Англии. С тревогой констатируют они усиливающиеся явления упадка и стремятся дать отпор попыткам мракобесов вроде Колина Уилсона провозгласить панацией религиозное мировоззрение, возврат к средневековью. Такие встревоженные голоса прозвучали, в частности, в вышедшем в 1957 году сборнике «Декларация» рядом с вещаниями того же Уилсона и его коллег.

Некоторым литераторам, правильно оценившим опасность, которая грозит из лагеря реакционных идеологов фидеизма и мракобесия, в то же время трудно увидеть пути к выходу из тупика, чему немало способствует их настороженное и нередко явно недружелюбное отношение к литературе, неразрывно связавшей себя с народом, его борьбой и стремлениями. Но при всей противоречивости взглядов этих литераторов их тревожные сигналы о том, что застывшая в консерватизме культура, далекая от запросов и особенностей времени, обречена на прозябание, весьма характерны. Они вступают в противоречие со статьями, написанными в узколитературном плане и не выходящими из замкнутого круга оторванных от жизни литературоведческих концепций.

Совсем недавно свою лепту в обсуждение судеб романа внес и журнал «Отор», с которым читатели «Нового мира» уже немного знакомы<sup>1</sup>. Он обратился, по словам редакции, к «ряду известных писателей» с просьбой высказаться о перспективах романа. И вот в последнем своем номере под рубрикой «Будущее романа» он предоставил слово нескольким романистам, одному критику и даже — проявив в этом смысле «новаторство» — книгоиздателю, книготорговцу, библиотекарю.

Надо сказать, что «новаторство» журнала этим — увы! — и ограничилось. Большинство участников обсуждения, за очень небольшим исключением, не рискнуло выйти за магический круг «литературных тем». И если мы сочли все же нужным привлечь внимание к этой дискуссии, то лишь потому, что ее участники внесли несколько новых небезынтересных штрихов в картину состояния современного английского романа.

Возможно, что это случилось даже помимо их воли. В общем-то, им или, во всяком случае, большей части из них, судя по всему, очень хотелось бы сделать хорошую мину при не столь уж хорошей игре. Но как бы то ни было, иные из их высказываний весьма примечательны хотя бы тем, что дают представление о создавшемся своеобразном порочном круге: снижение критериев оценки и уровня романа привело к ухудшению, даже разращению вкусов покупателей книг, а это, в свою очередь, в соответствии с законом спроса и предложения сказалось — и, разумеется, отнюдь не благотворно — на характере литературной продукции. В итоге картина получается явно неутешительная для тех, кто склонен утверждать, будто в британском литературном королевстве ничто не прогнило.

Впрочем, предоставим слово самим участникам обсуждения, имея при этом в виду, что их критика буржуазной литературы, которую в целом они приемлют и считают единственно возможной, исходит «изнутри», а не «извне», и, надо сказать, их «свидетельские показания» отнюдь не служат «защите» этой литературы.

В обсуждении затрагиваются общие проблемы романа, проблемы романа исторического, психологического, научно-фантастического, а также вопросы издания и распространения книг. И что характерно: о каком бы вопросе ни заходила речь, почти все выступающие, начав во здравие, как-то незаметно для себя кончают мотивами явно заупокойными.

Вот, например, писательница С. В. Веджвуд, автор ряда исторических исследований

<sup>1</sup> См. статью «Автор, гонимый, книга», 1956, № 7.

(«Оливер Кромвель», «Тридцатилетняя война» и другие), констатирует не без удовольствия, что «перспективы исторического романа в настоящее время хороши», что «нынешний бум вокруг серьезного исторического романа пока не проявляет каких-либо признаков спада». Этот жанр романа, «всегда являвшийся почтенной разновидностью эскепистского чтива для романтически настроенных читателей (любопытная характеристика исторического романа! — В. Р.), в предвоенные годы вышел из моды в литературных кругах», но теперь «мода изменилась, и он... утвердил себя как жанр, в котором не должен стыдиться выступать ни один из начинающих честолюбивых авторов и ни один из старых писателей с установившейся репутацией».

С. В. Веджвуд ограничивается этим заявлением, не пытаясь объяснить чем-либо «возрождение моды» на исторический роман, хотя у нее были все основания предположить, что одна из причин этого — стремление многих писателей уклониться от трудных тем современности и укрыться от них в дебрях «эскепистской литературы».

Но любопытно другое. Начав на «оптимистической» ноте, Веджвуд заявляет затем: «Сейчас наблюдается широкое использование (в исторических романах. — В. Р.) эротических и садистских эпизодов из прошлого». В последнее десятилетие, продолжает она, привлечение исторической тематики для граничащих с порнографией романов приняло наибольшие масштабы и производится с «неприкрытой откровенностью».

То же самое признает и известный романист и поэт Роберт Грэйс (автор книг «Жена лорда Мильтона», «Сержант Лэмб из 9-го полка», «Клавдий-Бог» и других). С горечью он пишет: «Романы недавнего времени усеяны подробными описаниями в модернистском стиле сцен сексуальной распущенности — мода, начало которой было положено романом Кэглин Уинзор (нашумевшее полупорнографическое «историческое» произведение «Навсегда Янтарь») и доведенная с тех пор до уровня искусства».

Оба автора сходятся на том, что в большинстве современных исторических романов главная роль принадлежит одной лишь исторической бутафории. «Во многих, даже серьезно задуманных исторических романах, — говорит Веджвуд, — заметна тщательная забота о точности деталей, но, кроме этого, в них нередко трудно что-либо обнаружить». По ее словам, героиня романа о средневековье появляется в наряде, отвечающем эпохе, но «мысли ее неотличимы от мыслей любой героини современных развлекательных журналов».

В заключение Веджвуд заявляет: «Все возрастающий поток слабых и бесцветных исторических романов... неизбежно приведет к ухудшению репутации исторического романа как жанра».

О современном «психологическом романе» пишет романист и критик Уолтер Аллен. По его словам, этот жанр развивается под знаком фрейдистского психоанализа. «Современная литература изобилует... персонажами, являющимися жертвами своих родителей, молодыми людьми, которые слишком любят своих матерей и слишком ненавидят своих отцов»; короче говоря, он отмечает в современном романе нагромождение патологических мотивов.

Любопытно, что при этом Аллен, хотя и в туманной форме, намекает на влияние американских литературных направлений. Так, ссылаясь на роман американского писателя М. Левина «Принуждение» как на образчик «психоаналитического романа», Аллен указывает, что в основу сюжета книги положено сенсационное «дело Леопольда и Леба» — двух юных американцев, совершивших убийство своего товарища. «Это, — замечает Аллен, — увлекательная и хорошо документированная история болезни. И только. Но ведь история болезни не является романом».

Одному из проявлений американских литературных влияний в Англии целиком посвящена статья книгоиздателя Д. Гамильтона. Он отмечает усиленное проникновение в Англию американских «вестерн», то есть романов, посвященных Дальнему Западу. Начало повышенному спросу на эти книги было положено еще в годы войны, когда в Англии находилось много американских солдат. С тех пор и поныне в Англии переиздается немалое число американских книг вроде «Храброго ковбоя» и «Дока Холлидэя» (похождения одного из известнейших «десперадо» — разбойников западных штатов). Среди персонажей такого рода книг Гамильтон перечисляет наряду с ковбоями, торговцами скотом, индейцами также и «проститутки, игроки в азартные игры, жулики и громил».



Писатель Майкл Иннес поделился своими соображениями по поводу так называемого «триллера» — романа сенсационных приключений. Он характеризует «триллер» как роман, где «упор делается на изображение возбуждающих и волнующих действий, сенсационных инцидентов и все время поддерживается атмосфера напряженности». Иннес стремится доказать превосходство «триллера» над простым детективом и скорбит о том, что до недавнего времени «авторы детективных романов могли создавать свои клубы, на вступление в которые авторы «триллеров» не смеют пока претендовать». Теперь, по мнению Иннеса, шансы «триллеров» повысились, поскольку детективу грозит «истощение», ибо «сюжеты могут оказаться исчерпанными». А эта опасность якобы отнюдь не грозит «триллерам».

Предоставим авторам этих родственных жанров сражаться между собой за пальму первенства и перейдем к высказываниям других участников обсуждения. Писатель Джон Уиндхэм, касаясь научного-фантастического романа, жалуется на то, что «очень большая часть нашей читающей публики способна верить лишь в то, что ей привычно и хорошо знакомо». Но особенно интересно следующее его многозначительное признание: «Недавно наше мышление претерпело самое сильное потрясение, какого оно не знало на протяжении столетий. Это случилось в Хиросиме. За одну ночь наука в восприятии широкой публики утратила всю свою кроткую благотворность и превратилась в страшное чудовище, упрятанное в клетку с весьма ненадежным запором».

Увы, нельзя не вспомнить, что сам Уиндхэм в некоторых своих книгах, написанных уже после Хиросимы, запугивал читателей фантастическими сценами якобы неизбежной гибели человечества (например, в романе «День трифидий» изображал нашествие на землю кровожадных растений «трифидий», а в другом романе живописал вторжение на землю таинственных чудовищ из морских глубин).

Среди выступлений, посвященных общим вопросам романа, любопытно признание критика В. Притчетта. Он считает, что для английского романа эра значительных произведений кончилась в двадцатых годах. Что же касается современного романа и тем более романа будущего, то им все больше придется считаться с «воздействием средств массовой культуры — прессы, кино, телевидения и радиовещания, воспитывающих у публики вкус к прямому, драматическому изображению; она желает видеть людей в действии, а не анализировать их поступки и размышлять о них...» «Я,— продолжает Притчетт,— ожидаю постепенного притока талантов в драматургию, особенно если индивидуализм отомрет вместе с упадком капитализма».

К сожалению, Притчетт предельно лаконичен и не развивает этой своей мысли, хотя читателям было бы интересно узнать, что он понимает под «упадком капитализма». Нельзя не заметить, однако, что, подчеркивая роль «зрительного элемента» и отказ от размышления, он обрекает роман будущего на урезанное, обедненное существование. Ведь трудно предположить, что побудительные мотивы, движущие людьми, их мысли, их внутренний мир, так живо интересовавшие гигантов мировой литературы прошлого, перестанут волновать читателя будущего, какого бы развития ни достигла техника. Однако крайняя лапидарность высказываний английского критика ограничивает возможность творческого спора.

Отметим также любопытное замечание Притчетта о привнесении в английский роман «нового материала, исходящего от индийских и африканских писателей, а также и авторов из Вост-Индии и Азии».

Если Притчетт и другие писатели высказываются более или менее отвлеченно, то книготорговец Дж. Хор выходит на трибуну, вооружившись бухгалтерскими книгами и щелкая костяшками счетов. Не тратя времени на велеречивые обтекаемые фразы, он переходит прямо к делу. Он отмечает, приводя соответствующие цифры, что издание романов становится все менее выгодным. Покупатели книг, по его словам, почти не проявляют интереса к творчеству какого-либо определенного писателя. «В моей книжной лавке так редко слышится теперь вопрос: «Есть ли новый роман такого-то?» Когда же такое случается, об этом говорят как о большом событии». На книжном рынке, заявляет он, «читающая, или, верней, покупающая книги публика проявила антипатию ко многим произведениям беллетристики, появившимся со времени войны, и в результате все больше наблюдается поворот читательского интереса от романа к биографиям, мемуарам, истории, книгам о путешествиях и приключениях». Почтенный книготорговец

свидетельствует, что в его магазине новые романы составляют лишь четыре процента (!) всех книг, хотя он не держит ни учебников, ни технических или медицинских книг. Считается, говорит он, что «романов слишком много». В результате «шансы, которые мог бы иметь серьезный роман, оказываются сметенными потоками дрянной халтуры, носящей тоже имя романа». Поэтому книготорговец и смотрит на роман весьма косо. «Ведь если он (книготорговец. — В. Р.) приобретает книгу о разведении гардений, об астрономии или по ирландскому вопросу, то он знает, что она долго может простоять на полке, но в конце концов будет продана за первоначальную цену... Между тем большинство романов, и в том числе даже превосходных, уже через три месяца в коммерческом отношении становится покойниками». Свое выступление он заканчивает советом романистам «прислушаться к тому, что интересуется среднего разумного читателя».

Наконец-то вспомнили о читателе и его интересах, и первым сделал это продавец книг!

Но в полный голос заговорил о читателе — и его выступление прозвучало диссонансом в общем хоре — шеффилдский городской библиотечарь Джон Беббингтон. Он решительно отменил рассуждения об упадке романа как жанра. Важно, подчеркнул он, «чтобы романисты поняли, что будущее романа во многом зависит от них самих». Беббингтон отметил растущие требования читателей библиотек (подчеркивая, что это, в основном, люди, не могущие позволить себе покупать книги). «Примечательно для критического подхода читателей публичных библиотек, — пишет он, — что их внимание привлекает прежде всего сюжет и характеристика героев. «Почему, — спрашивают они, — так мало писателей умеет сегодня создать интересный сюжет? Почему в огромном множестве романов люди кажутся безжизненными, нереальными?»

Итак, вопреки мнению маститого критика, рядовых английских читателей продолжают интересовать как поступки, так и характеры героев.

Беббингтон говорит о читателях, но его слова обращены прежде всего к писателям. Он напоминает им замечание ныне покойного старого английского писателя Джойса Кэри, много писавшего о незаметных «маленьких людях» из «низов»: «Книга должна передать ощущение реального мира и реальных персонажей». В современной же английской литературе, по мнению Беббингтона, «слишком много скучных романов, порожденных бесплодным, отвлеченным умом...» Как бы полемизируя с пророками, возвещающими неминуемую гибель романа, с носителями теории «чистого искусства» и с любителями «психоаналитического романа», он заключает свое выступление словами: «О будущем романа можно не беспокоиться, если только оно будет обращено к реальной жизни и реальному человеческому опыту, если роман в равной мере завоеует сердце и ум читателя».

К этому заявлению мало что можно прибавить. Оно глубже проникает в существо дела, чем иные полные риторики и мнимого глубокомыслия рассуждения известных литераторов. Человек — герой книги и человек — читатель этой книги, — вот о ком писатель должен думать прежде всего. И, разумеется, не просто человек «на голой земле», но человек в его общественных связях и отношениях.

Эту простую истину многие литераторы Англии все еще склонны считать посягательством на их творческую свободу, полагая, что писатель, отличаясь якобы от простых смертных, может либо развлекать их с помощью «триллеров» и детективов, либо живописать «патологию подсознания» в «психоаналитических романах», равнодушно взирая на борьбу миллионов людей за свое счастье, за самую свою жизнь. Но действительность все более властно стучится даже в наглухо запертые писательские кабинеты. Об этом в какой-то мере говорит нам и литературная дискуссия на страницах буржуазного английского журнала.

Вл. РУБИН.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## ПЕРВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ...

**Д**вадцать с лишним лет назад вышла в свет задуманная А. М. Горьким книга «День мира». Собственно, это была книга о двух мирах — о мире только что победившего социализма и мире капитализма. С особым интересом читатели обращались к страницам, посвященным Стране Советов. Пестрая мозаика репортажных заметок, газетных сообщений давала документально точное представление о труде и быте советского человека, о его свершениях и помыслах. А в своей совокупности эти факты всего лишь одного дня жизни социалистической страны являли широкую и радостную панораму бытия нового, утвердившегося на земле общества.

Если бы подобное издание появилось сейчас, безусловно оно было бы неизмеримо богаче еще более яркими фактами. И не потому, что предвоенные годы бледнее нынешних, — нет, они тоже во многих отношениях замечательны. Но время идет вперед, и наша бурно прогрессирующая страна поднялась на новую высоту. Вырос сам советский человек, прошедший суровую школу войны. Немало потрудился он, вновь поднимая свое хозяйство, и вместе со своим государством вступил в пору могучей зрелости, когда любая задача и любое дело по плечу.

И вот уже какой месяц с неукоснительной точностью летит по своей орбите — третий по счету — советский искусственный спутник Земли.

И вот уже не один год дает энергию первая в мире атомная электростанция. «Мирный атом» находит все более широкое применение в народном хозяйстве; уже спущен на воду первый в мире атомный ледокол.

И спутники и атомные станции — как бы наиболее концентрированное выражение могущества нашей науки, техники, промышленности, успехов всего нашего народа. Но разве не сказочной былью является освоение целинных земель, ведь за две-три весны было поднято свыше тридцати миллионов гектаров. А какой громадный труд вложен в создание гидростанций на Волге, Днепре, Ангаре, как далеко шагнула за последние годы вся наша социалистическая экономика!

И все это — дело рук советского человека, раскрепощенного революцией, хозяина своей жизни, строителя нового общества, которое, в свою очередь, придает ему особую силу, ибо это самое прогрессивное, самое жизнеспособное общество. Оно развивается на строго научных основах, им руководит Коммунистическая партия, выверяющая маршрут в будущее по надежному компасу — марксистско-ленинскому учению.

Огромным возбудителем творческой энергии всего нашего народа явился XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Съезд открыл еще более широкие горизонты перед страной. Наш народ переживает сейчас мощный подъем активности и необычайный прилив сил. Дух новаторства, смелого поиска новых путей, пронизывает всю жизнь советского общества. Уже после съезда — в сущности, в самое последнее время — были проведены (и частично еще проводятся) огромной важности мероприятия, в осуществлении которых принимают участие миллионы людей, ибо они затрагивают интересы миллионов тружеников.

Это дальнейшее совершенствование организации управления промышленностью и строительством, означающее новый этап в осуществлении ленинского принципа демократического централизма в руководстве хозяйственным строительством, позволившее гибко сочетать единое социалистическое планирование нашего хозяйства с его конкретными особенностями в различных районах страны.

Это целая серия поистине исторических решений по сельскому хозяйству, которые тотчас же вызвали горячее ответное чувство у колхозного крестьянства. В нашей деревне проявляется сейчас необычайный энтузиазм, колоссальный трудовой и духовный подъем, неизмеримо повысилась материальная заинтересованность колхозников в общем артельном труде, когда они стали полновластными хозяевами мощнейшей сельскохозяйственной техники.

В мае этого года были обнародованы новые важные решения — Пленум ЦК КПСС широко, по-государственному поставил вопрос о необходимости всестороннего развития химической промышленности, с тем чтобы химия смело вторглась в другие отрасли хозяйства, заняла подобающее ей место во всей нашей социалистической экономике.

И, наконец, на очереди — перестройка работы средней и высшей школы. Она потребует немало труда и времени, но зато даст колоссальный эффект — приблизит обучение к нуждам народнохозяйственной жизни, повысит практическую, деловую выучку наших кадров.

Так на всех участках строительства коммунистического общества новое победоносно прокладывает себе путь, кипучая народная инициатива в дружном согласии со смелыми начинаниями партии творит настоящие чудеса. Свидетелями этому мы являемся каждодневно и в особенности в последнее время. Недавно страна узнала о том, что в январе 1959 года будет созван внеочередной XXI съезд КПСС. Подготовка к партийному съезду совпала со встречей великого праздника — 41-й годовщины Октябрьской социалистической революции. Патриотические чувства, вызванные столь значительными событиями, придали социалистическому соревнованию особенно широкий размах. Слова «досрочно», «перевыполнено», «новые повышенные обязательства», «сверх плана» давно уже вошли в наш обиходный лексикон, но так часто, как в последнее время, они, пожалуй, никогда не появлялись на страницах газет.

На XXI съезде партии будут обсуждены и утверждены контрольные цифры развития народного хозяйства на 1959—1965 годы. План на семь лет — поистине самый грандиозный из всех великих планов созидания! Съезд явится вышкой, с которой народ вместе с партией далеко заглянет вперед. Как реальная цель недалеких лет, встает перед нашей страной главная экономическая задача: догнать и превзойти самую передовую капиталистическую страну — США — по уровню промышленного производства на душу населения.

Такова советская действительность — светлая, радостная, окрыляющая. В такой обстановке — обстановке всеобщего политического подъема — начинают свою работу съезды писателей союзных республик, призванные решить наиболее существенные вопросы нашей литературной жизни. Особое место среди этих съездов займет Первый Учредительный съезд писателей Российской Федерации.

Съезд писателей России — праздник советской культуры. В большой семье народов русский народ — первый среди равных — пользуется заслуженной любовью и уважением. Это он впервые в мире поднял знамя пролетарской революции, знамя социализма. Русский народ внес огромный вклад в строительство социалистического общества и, в частности, помог ранее угнетавшимся народам встать на ноги, преодолеть вековую экономическую и культурную отсталость.

Поистине велики заслуги русской культуры и науки. В мировой литературе и искусстве русская литература занимает виднейшее место. Еще мало создано исследований о влиянии нашей литературы на литературы Востока и Запада, но бесспорно то, что это влияние было велико и многообразно. То же самое можно сказать и о русской советской литературе. Ныне, когда возник лагерь социалистических стран, метод социалистического реализма стал международным явлением. Этот метод привлекает немалое число зарубежных писателей, художников и в странах капитализма. Русская советская классика — а она насчитывает не один десяток книг — горячо любима множеством читателей.

Однако до самого последнего времени Российская Федерация не имела своего творческого писательского союза. Такое положение, конечно, нельзя было считать нормальным. Чтобы исправить это положение, был создан Оргкомитет Союза писателей РСФСР.

Уже первые месяцы деятельности Оргкомитета показали, сколь плодотворна сама идея создания писательского союза РСФСР. Значительно расширились наши представления о литературной жизни в республиках, краях и областях, стали известны новые имена талантливых прозаиков, поэтов, драматургов. Появились новые литературно-художественные журналы в областях: «Дон», «Подъем», «Урал» и другие. Союз призван объединить все литературные силы Федерации на единой идейно-художественной платформе партийности литературы, метода социалистического реализма.

А силы эти значительны. В свое время А. М. Горький писал, что старая наша литература была по преимуществу литературой Московской области. Урал, Сибирь, Волга оставались вне поля ее зрения. Культурная революция охватила всю нашу страну, все ее самые глухие уголки. Навсегда ушло в прошлое понятие «провинция» как синоним бескультурья, духовного одичания. Все это, конечно, самым плодотворным образом сказалось на литературе — прежде всего на широте охвата ею действительности. «Если б я писал отчет о значительных книгах, созданных «духом» революции за десятилетие — 20-й—30-й года,— продолжал Горький,— мне пришлось бы растянуть эту статейку от Эривани до Архангельска, от Минска до Владивостока через Киев, Харьков, Новосибирск, заглянув и в Ташкент, и в Ростов, и во все другие пункты, где более или менее энергично создается новая, советская литература. Пришлось бы назвать десятки книг, не прочитанных критикой или прочитанных невнимательно и торопливо, осужденных несправедливо».

Это было написано чуть ли не тридцать лет назад, однако последнее замечание писателя и доныне еще сохранило значение вполне современного упрека нашей критике. Еще сделаны только первые шаги, сказано лишь первое слово о крупном значении творческой работы писателей, живущих в краях и областях необозримой Российской Федерации.

Если при жизни Горького нельзя было представить литературное движение в стране без участия так называемой областной литературы, то теперь это и подавно невозможно. Устарело само понятие «областная литература». Многих из писателей можно считать областными лишь сугубо формально, по прописке. Они давно уже популярны, их книги переиздаются большими тиражами и у нас и за рубежом и существенно влияют на общий успех всей нашей литературы, на весь наш литературный процесс. Как можно было бы судить, например, о современном советском очерке, если бы мы не взяли в расчет страстные боевые произведения В. Овечкина и Г. Тропольского, С. Залыгина и А. Калинина, — ведь именно они задали тон в нашей очерковой литературе! Насколько обедненной выглядела бы наша крупная проза без «сибирских романов» Г. Маркова, С. Сартакова, К. Седых, А. Коптелова, С. Кожевникова! Многообещающие имена, серьезные таланты, ищущие, вдумчивые художники — они

есть почти всюду. Плодотворно трудятся в областях и краях талантливые прозаики В. Закруткин, В. Фоменко, Г. Коновалов, Е. Горбов, Н. Кочин, О. Маркова, К. Урманов, И. Василенко, поэты Н. Рыленков, Л. Татьяничева, И. Рождественский, М. Шестериков, К. Лисовский и многие, многие другие.

Российская Федерация — добровольный союз многих национальностей. Наряду с краями и областями в нее входят пятнадцать автономных республик, шесть автономных областей и десять национальных округов. Чувство семьи единой, взаимная помощь и общая забота о дальнейшем развитии литературы — вот что объединяет русских писателей и представителей национальных литератур в рамках Союза писателей Российской Федерации.

Национальные литературы — преимущественно литературы молодые, часть из них возникла только после победы Октября. Стало привычным при этом ссылаться на удэгейцев, но ведь это действительно потрясающий факт: народ, насчитывавший несколько сот человек и обреченный, казалось бы, на полное вымирание, не только воспрянул к жизни, но и обрел свою новую культуру, свою письменность, свою художественную литературу. Маленький народ удэге выдвинул из своей среды большого писателя Джанси Кимонко. Свои литераторы, свои летописцы больших исторических перемен появились и у других народов. Это тувинец Салчак Тока, автор книги «Слово арата», переведенной на многие языки, первый чукотский писатель молодой Рытхэу и ряд других самобытных художников слова. Невиданный расцвет переживают и более «старые» литературы, такие, как бурятская и якутская, чувашская и мордовская, татарская и башкирская, карельская и марийская. Исторически они появились до революции, но зрелости достигли лишь в советское время. С серьезными успехами приходит, например, к съезду литературная Татария. В ее активе произведения Г. Баширова, К. Наджми, А. Абсалямова, С. Баттала и других. В сравнительно короткой еще, но уже замечательной истории татарской литературы наряду с именами ее основоположников Г. Тукая, М. Гафури и Х. Такташа ярко сияет бессмертное имя поэта-героя Мусы Джалиля.

Очевидно, что Первый Учредительный съезд писателей РСФСР позволит нам лучше разобраться в литературной «географии» нашей федерации. Полнее станет общая картина литературной жизни в столице и на местах, яснее творческие возможности литературы, а следовательно, и перспективы ее дальнейшего развития. Но съезд писателей — меньше всего мероприятие парадного свойства. Его задача — заложить основы российского Союза писателей, не только организационные, но и идейно-художественные.

Вместе со всеми советскими писателями литераторы Российской Федерации видят свое призвание в том, чтобы служить своим пером народу. Главная задача советской литературы четко определена в известном партийном документе — выступлении Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». Этот документ призывает писателей, деятелей искусств пристальнее вглядываться, глубже изучать и ярче отражать жизнь народа — творца истории.

Сколько замечательных тем для художника открывает современность! То, что происходит в наши дни, — трудовой подвиг советских людей, создающих коммунистическое общество, мужественная борьба народов за мир, блистательный взлет науки и техники, — все это, без сомнения, будет волновать не одно поколение поэтов, писателей, художников. Какое же волнение должен испытывать писатель-современник! Ему дано быть свидетелем великих свершений и за ним — первое слово.

Не случайно в предсъездовской дискуссии внимание литераторов и читателей было обращено в основном на такие проблемы, как «литера-

тура и современность», «литература и жизнь», «литература и строительство коммунизма». Многие из выступавших перед съездом в печати, на читательских конференциях справедливо отмечали, что художественное открытие нового человека — главнейшая и поистине историческая заслуга советской литературы. А поскольку большое, умное, талантливое искусство обладает счастливой особенностью делать художественные образы спутниками многих людей, то и с нами и с нашими зарубежными друзьями давно уже в походе Левинсон и Кожух, Корчагин и Давыдов, молодогвардейцы и Зоя, Воропаев и Батманов, Журбины и Мартынов и многие другие герои. То, что эти образы созданы за сравнительно небольшой срок, еще раз подчеркивает новаторскую активность нашей литературы, ее яркий общественный темперамент, прочную, глубокую связь с народом. Читатель любит книги советских писателей, верит им, учится по ним жить. Эта любовь и вера — лучший ответ ревизионистам, которые пытались поставить под сомнение успехи советской литературы и даже самый метод социалистического реализма, как якобы нетворческий, догматический, спущенный литературе «сверху».

Напротив, благодаря высокому творческому потенциалу, кровному родству литературы с жизнью у нас создались особые, невиданные ранее взаимоотношения между читателем и писателем, народом и литературой. Книги советских писателей играют огромную роль в судьбе советского человека, литература стала активным участником общенародной борьбы за коммунизм. Вот почему в нашей стране интересами литературы живут не одни писатели, но и миллионы читателей. Вот почему партия и народ так высоко ценят писательский труд. Как отмечалось на XX съезде КПСС, деятели нашей литературы и искусства являются верными помощниками Коммунистической партии в осуществлении великих задач строительства нового общества и коммунистического воспитания трудящихся.

Равняясь на жизнь, писатели создали и опубликовали в предсъездовские месяцы ряд произведений, посвященных сегодняшнему дню. Вокруг этих произведений завязался оживленный предсъездовский разговор. И это не случайно. Именно такие книги стоят на большой магистрали движения литературы вперед.

Неверны рассуждения некоторых писателей о так называемой дистанции, которая-де нужна художнику, для того чтобы отойти от событий и попристальнее взглянуть в них; тогда-то, мол, и появятся настоящие художественные произведения. В предсъездовской дискуссии мелькала и другая неверная мысль: неважно, дескать, о чем и о каком времени роман написан, важно лишь, чтобы там были высказаны современные взгляды, идеи...

Нет, современность — это понятие определенное. Это наши нынешние дни, это насущные вопросы строительства коммунистического общества, это то, чем сейчас живет и дышит народ. Что же касается «теории» дистанции, то она также не выдерживает критики и опровергается всем ходом развития литературы.

«Если уже писать, то только тогда, когда не можешь не писать», — заметил однажды в своем дневнике Л. Н. Толстой. Но что сильнее может воодушевить писателя, как не окружающая его жизнь со всеми ее радостями и печалью, победами и неудачами, конфликтами, поисками, находками. Разумом и сердцем это понимали и чувствовали наши великие предшественники. Не случайно творчество Пушкина и Грибоедова, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Тургенева, Островского и Чехова явилось вершиной мировой литературы XIX столетия. Оно было современным в высоком смысле этого слова, в нем полно и всесторонне отразились жизнь и развитие русского общества на протяжении многих десятилетий. Разговор с современниками о современности писатели не откладывали на

будущее. Для них не существовало никаких теорий дистанции. Вспомним, к примеру, что во всем почти необозримом по своему жизненному охвату творчестве Чехова (за исключением двух-трех произведений, которые автор никогда не включал в свое собрание сочинений) нет буквально ни одного рассказа, пьесы, повести, в которых бы не отразилась та или иная сторона современной писателю действительности.

Глубоко серьезное отношение к жизни, особенно к жизни народа, умение ее анализировать и воссоздавать в типических, совершенных по форме художественных образах — одна из самых замечательных традиций русской классической литературы. Эта традиция, как эстафета, перешла к советским писателям. Основоположник социалистического реализма М. Горький был одним из самых великих летописцев современности. Его книгу «Мать» В. И. Ленин назвал «очень своевременной», и это было, по признанию самого писателя, крайне ценным для него комплиментом. От книги «Мать» ведут свою идейно-художественную родословную десятки и сотни произведений, созданных советскими писателями. В них разная мера таланта, художественной изобразительности, но все эти книги объединяет одно стремление — постичь человека в новом, советском обществе как активного творца этого общества. Само создание этих произведений писатели расценивали как форму своего посильного участия в общем, всенародном деле.

Именно так, в гуще самой жизни, рождались лучшие книги советских писателей. И это не только не мешало им стать высокохудожественными произведениями, а, напротив, только усиливало их эстетическое воздействие на читателя. Разве не факт, что лучшее из написанного о коллективизации или о годах первой пятилетки появилось как раз в те годы или сразу же после них по горячим следам событий? То же самое и с произведениями о Великой Отечественной войне: наиболее сильные из них были написаны или начаты, когда еще грохотали орудия, и пришли к читателю как живые свидетели и участники боев. Множеством примеров литература подтверждает неоспоримое положение: именно на почве современности ярче всего раскрывается талант художника, проявляется его мастерство.

В предсъездовской дискуссии справедливо говорилось о том, что подлинно художественное отражение действительности несовместимо с примитивизмом и конъюнктурщиной, с легковесным, поверхностным решением ответственных задач литературы. Ничего, кроме компрометации темы, примитивные, конъюнктурные «произведения» не приносят. В интересах нашей литературы, ее авторитета следует решительно отвергать подобные подделки под актуальные книги. Актуальность, своевременность произведения должна всегда сочетаться с высоким художественным мастерством — только такое произведение примет читатель.

Отражение современности в литературе ничего общего не имеет и с пассивной регистрацией жизненного материала. Жизненное правдоподобие Н. Добролюбов считал необходимым условием, но еще не достоинством произведения. «О достоинстве, — писал он, — мы судим по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся». Поэтому от писателя, работающего над современной темой, требуется умение подняться над отдельным фактом или событием и увидеть его смысл, его значение и место в ряду других жизненных явлений. Лишь при этом условии жизненная конкретность изображения обретает свой смысл, свою философскую, идейную направленность и целеустремленность. И тут особенно важна идейная позиция писателя, его принципиальность, способность видеть новое в жизни и активно поддерживать это новое, замечать недостатки в жизни и активно бороться с ними.



Известно, что при работе над современной темой отдельные наши писатели порой впадали в крайности: или умилялись всем, что происходит вокруг, и подменяли сладкогласием реальное изображение жизни, или, завидев неполадки, уже не видели за пятнами солнца и, впадая в панику, чернили действительность. И та и другая крайность — не что иное, как проявление одностороннего, неправдивого, недобросовестного освещения советской жизни в литературе. Народ и партия решительно против тех, кто тенденциозно подбирает отрицательные факты и, злорадствуя по этому поводу, пытается охаять наши советские порядки. Мы также против тех, кто штампует сусальные картины, ничего общего не имеющие с истинной реальностью.

Идейная закалка, марксистско-ленинская вооруженность, четкость и ясность мировоззрения должны стать неотъемлемыми качествами писателей. Партийность позиции художника — важнейшее условие правдивости его творчества. Лишь слабостью и шаткостью идейных позиций можно объяснить боязнь некоторых писателей затрагивать в своем творчестве большие темы современности. Странно, например, звучат опасения некоторых литераторов — не вернет ли нас вспять, к временам бесконфликтности, призыв воспеть социалистическую действительность, показать во всем величии облик героя, творца коммунизма. Но что может быть общего между героической темой и бесконфликтностью, лакировкой? Эти понятия несовместимы ни в одной из точек. Героизм немислим вне борьбы и, значит, вне больших, масштабных конфликтов. Бояться же лакировки в таком случае — значит бояться собственного бессилия, неумения раскрыть значительный конфликт, становление земного, нехудожественного характера. Странно звучат и другого рода опасения, когда, отталкиваясь от очернительства, писатель уже не решается вывести в своем произведении отрицательные персонажи и пишет по принципу: «все хороши, всё хорошо». Выпалывать из жизни чертополох — это ведь тоже задача художника.

Утверждение идейных принципов нашей литературы, ее успешное развитие в русле социалистического реализма позволит писателям создать образы наших современников, которые еще ждут своего художественного воплощения в искусстве. Показать героизм наших трудовых будней — а значит, показать совместное, дружное творчество партии и масс — дело нелегкое, как всякое историческое дело.

Борясь за широкое вторжение в литературу современности, нельзя умалять значения произведений, написанных на исторические темы. Полноценные высокохудожественные книги о прошлом, в особенности об истории советского общества, играют огромную воспитательную, патристическую роль. Это не книги «второго разряда», «второго плана», в них оживают славные примеры героизма нашего народа, замечательные революционные традиции, они помогают формировать и развивать лучшие черты характера. Поэтому было бы просто глупостью в какой-либо форме и степени третировать историческую тему.

Но основной струей литературного потока, разумеется, была, есть и будет современность, совершающаяся на наших глазах жизнь. Современная тема должна стоять в центре внимания издательств и журналов. Журнал «Новый мир» видит свою задачу в том, чтобы современность определяла линию журнала как наиважнейшую, ведущую. Весь опыт советской литературы убеждает, что наибольшую общественную значимость имеют те произведения, в которых полно раскрывается время, отражается наиболее существенное, важное в деятельности народа.

В предсъездовской дискуссии были затронуты многие стороны литературной жизни. Немало горьких упреков было высказано по адресу нашей критики, до сих пор плохо помогавшей росту писательских сил на

местах. Seriously обсуждались и чисто организационные вопросы, связанные с организацией Союза писателей РСФСР.

Роль и значение наших творческих союзов трудно переоценить. Это активные, боевые коллективы, крепко сплоченные на принципиальной основе. Надо, чтобы в этих коллективах была настоящая дружба, чтобы там повседневно проявлялась товарищеская забота о творческом росте каждого писателя.

Пример такого вдумчивого, бережного отношения к искусству, к творчеству мастеров самых различных индивидуальностей недавно еще раз показала партия в постановлении ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца».

Это постановление — еще одно свидетельство постоянной заботы партии о дальнейшем расцвете нашей литературы и искусства.

Совсем недавно, в своем приветствии Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков, Центральный Комитет КПСС вновь призвал работников искусства «отобразить в произведениях искусства грандиозные события наших дней, коренные изменения, происшедшие в нашей действительности, особенно за последние годы, показать советского человека во всем богатстве его духовной жизни и созидательной деятельности. Вместе с тем работники искусства должны обличать пережитки старого в сознании людей, проявления косности, эгоизма, местничества, влияния собственнической идеологии — все то, что мешает нам в строительстве коммунистического общества».

Умение и дерзание, мастерство и смелость — вот что требуется от писателей, когда они приступают к решению важной для себя задачи, к созданию впечатляющего образа современника. Решить эту задачу под силу нашим писателям. Эта вера в силу всей нашей многонациональной литературы отражена Центральным Комитетом Коммунистической партии Советского Союза в отчетном докладе XX партийному съезду: «Искусство и литература нашей страны могут и должны добиваться того, чтобы стать первыми в мире не только по богатству содержания, но и по художественной силе и мастерству».



В. СОКОЛОВ

★

## У ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЫ РОССИИ

**Е**сть своя карта России у географов, у геологов, у энергетиков. На каждой карте — значки условных обозначений, флажки свежих открытий, «белые пятна» неразведанных мест, пунктиры будущих дорог. И только у литераторов нет такой карты. Вернее сказать — не было.

Сейчас ожила литературная карта России. Окончательно уходят в небытие легенды о существовании где-то там, «за тридевять земель», какой-то особой «областной литературы», якобы имеющей своего особого читателя и требующей «особого подхода». До чего же цепко держатся иной раз в литературном обиходе понятия расплывчатые и двусмысленные — такие, как «средний писатель» или «областная литература».

Кто такой «средний» писатель? Вчера так снисходительно именовали, скажем, Павла Нилина — сегодня это имя называют одним из первых, когда говорят о наиболее значительных произведениях последних лет. К «средним» долгие годы внутрилитературная субординация относил Ефима Дороша, а сейчас его «Деревенский дневник» по праву вошел в число лучших книг о нашей жизни последних лет. Или, если придерживаться той же классификации: куда отнести Владимира Тендрякова — к молодым, средним или ведущим? По возрасту и литературному стажу — сравнительно молодой, по известности в кругу читателей — один из ведущих... Видимо, понятие «средний» если и имеет какой-нибудь смысл, то только единственный: средний писатель — это тот, кто, не надеясь на чудо, идет в искусстве дорогой труженика и, постоянно совершенствуясь, заставляет людей верить, что главное, высшее из достижений его таланта еще впереди.

Примерно та же двусмысленность окружает и понятие «областная литература». Иные, произнося два этих слова, деликатно намекают на серость некоторых областных

альманахов и не всегда доброкачественную продукцию областных издательств. Верно, много еще печатается плохих стихов, повестей и пьес, но почему только их иметь в виду, если и «Тихий Дон», и «Разгром», и десятки других отличных книг писались в свое время не кем иным, как областными писателями!

Внимание к творческой жизни ростовчан, туляков или саратовцев, к их печатному органу — отнюдь не проявление некой «частной благотворительности» по отношению к той или иной группе писателей. В этом внимании, в товарищеской критике и поддержке проявляется коллективная забота всей нашей литературы о своем будущем. К той же цели направлена и борьба с «областничеством» в литературе, с желанием иметь «хоть плохонькое, но свое», со скидками на «местную тему» и «местного автора» — вся та работа, которая развернулась в период подготовки Первого Учредительного съезда писателей Российской Федерации.

В дни подготовки съезда я побывал на широком межобластном совещании писателей в Туле, на большой творческой дискуссии в Саратове, в различных городах Сибири. Наблюдения и выводы от этих поездок (в чем-то, наверное, субъективные и не бесспорные) оставались в блокноте.

Сейчас, в период создания единой республиканской организации писателей, на первый план выступили, естественно, давно наболевшие организационные вопросы, или, если попытаться определить их точнее, — организационно-творческие. Они в первую очередь и фиксировались в моем блокноте.

Вот несколько страничек из него.

### В ТУЛЕ

Тула и Орел издавна считаются «писательскими» городами, однако пульс творческой деятельности в них, литературные тра-

диции за послевоенные годы чрезвычайно ослабли. В Туле, Орле, Калуге нет еще отделений Союза писателей, не сложились профессиональные писательские коллективы. Показателен и другой факт: из всех созданных в областях литературных журналов наибольшие трудности пока что испытывает «Подъем» — орган литераторов двенадцати областей Центральной России.

Все это отнюдь не означает, что нет в этих городах людей пишущих и печатающихся не только на «литературных страницах» газет, но и в местных альманахах, выходящих и в Туле, и в Орле, и в Калуге. Надо лишь ясно представить себе те особые дополнительные трудности, которые вынуждены были преодолеть эти литераторы, работавшие без постоянной профессиональной поддержки и критики, без того, что принято называть «творческой атмосферой». Так долгие годы работал ныне всеми замеченный талантливый прозаик Евгений Горбов, живущий в Орле, не легче сложилась судьба молодых, но уже немало потрудившихся писательниц из Тулы — Натальи Парыгиной и Марии Казаковой. С теми же трудностями сталкивались и альманахи этих городов, не имевшие собственного опыта и не получавшие помощи со стороны.

Как скорее покончить с этим кустарничеством, как создать крепкий писательский коллектив, поднять на новый уровень деятельность альманахов — все эти проблемы, естественно, и оказались в центре внимания на первом же писательском совещании в Туле, куда вместе с литераторами Орла, Рязани и Калуги была приглашена Оргкомитетом группа москвичей. Основой для творческой дискуссии послужили последние номера местных альманахов.

Судьба у этих альманахов разная. «Литературная Тула» существует уже давно, а «Литературная Рязань» успела выпустить лишь второй свой номер. Что же касается Калуги и Орла, то там вообще писательские сборники не издавались уже два года. Впрочем, литературная жизнь этих городов явно обгоняет издателей. В дни совещания в Туле калужанин В. Нарожнов прочел артистам Тульского драматического театра свою пьесу о подвиге комсомольцев-людиновцев, и театр радушно встретил молодого драматурга. Тогда же почта доставила из Воронежа свежий номер «Подъема» с новым романом Е. Горбова «Дом под тополями». Произведение это, безусловно, при-

надлежит к заметным в литературе явлениям. Посвященный в основной своей части описаниям предвоенной и — в меньшей мере — военной жизни, он привлекает тщательностью и глубиной психологических характеристик, умением анализировать сложные взаимоотношения людей и тонкие душевные движения. При всем том есть в этом романе известная композиционная неслаженность, незавершенность. И думается, что в обстановке творческого сотрудничества эти очевидные просчеты были бы легко устранены еще до появления романа в печати. Е. Горбов и В. Нарожнов откровенно рассказывали в «кулуарах» тульского совещания, сколько дополнительных трудностей и неудач в работе возникает из-за отсутствия профессиональной поддержки, отсутствия той литературной среды, которая всегда прибавляет силы пишущему человеку, оттачивает его вкус, помогает в творческих поисках.

К деятельности «на новом уровне» готова в этих городах уже довольно значительная группа литераторов-профессионалов. Лучшее свидетельство тому — немногочисленные, но неизменно обращающие на себя внимание удачные альманахи. В «Литературной Туле» это прежде всего повесть Н. Парыгиной «Дни весенние». В ней писательница развивает свою излюбленную тему — тему воспитания молодых рабочих. И если первая повесть Н. Парыгиной была обнаженно дидактична, излишне «педагогична», что ли, по отношению к юным героям, то теперь она пишет гораздо вдумчивее, не спрямляя «углов» человеческого характера. Правда, пока что, с точки зрения психологической достоверности, писательнице больше удаются сугубо личные, «семейные» темы, но и «Дни весенние» и только что вышедшая новая книга Н. Парыгиной «Внук шахтера» заставляют верить, что ее дарование в сочетании с трудолюбием приведет к значительным успехам в изображении современной рабочей молодежи.

Среди поэтических удач «Литературной Тулы» обращают на себя внимание не только стихи более опытных поэтов, таких, как А. Елькин и В. Лазарев, но и первые произведения начинающих — Н. Акулиничева, А. Брагина. В орловском сборнике, кроме интересного рассказа «Борода Аарона» Е. Горбова, убеждают в литературной одаренности авторов и очерк В. Петропавловского «Товарищ из Москвы» и стихи

И. Швеца. В «Литературной Рязани» успешнее других выступают поэты — и такие, уже давно печатающиеся, как А. Левушкин, и более молодые — Е. Маркин, Н. Поваренкин. Радует успех совсем еще юного рязанца Е. Осипова, дебютировавшего в таком трудном и слишком легко эксплуатируемом жанре, как басня.

Скромны литературные силы Калуги, но и здесь пьесы В. Нарожнова, проза Н. Усовой, стихи Н. Панченко, Б. Обновленного, М. Просвирина кладут начало профессиональному творчеству молодых. Одним словом, «маленькая, но семья!..» А если свести всех под одну крышу, то не такая уж и маленькая.

Но тут и возникает самая сложная проблема — как начать, вокруг чего объединить эти небольшие и слабые пока еще группы литераторов, каждая из которых заметно проигрывает из-за своей обособленности? Хорошо, когда у «колыбели» молодого писательского коллектива оказывается такой «крестный отец», как М. Шолохов. Так было в Ростове, где целая плеяда широко известных ныне прозаиков и поэтов прошла через великолепный литературный университет своего знаменитого земляка. Примерно так же быстро организовался и окреп сильный отряд писателей Крыма, когда туда переехал П. Павленко. Среди туляков, орловцев, калужан нет сейчас такого писателя, который мог бы помочь им проходить школу литературного мастерства. Значит, организуя в начале должно стать что-то иное. Что же?

Это, как мне думается, общий для всех журнал.

Меня спросят: «Как же так? Хорошего альманаха добиться не могут, а вы им советуете журнал создать?»

Действительно, литературные альманахи Тулы, Калуги, Орла еще мало кого удовлетворяют. Но, думается, беды их во многом возникают из-за невозможности создать в каждом городе опытную, квалифицированную редколлегия (просто не хватает сил), из-за того, что альманах, лишенный какой-либо организационно-технической базы, с неизбежностью формируется в значительной мере из так называемого «самотека».

Журнал, объединяющий три области, на мой взгляд, гораздо более действенно и реально поможет собрать и сплотить разрозненные пока литературные силы. Для тако-

го объединенного журнала уже легче сформировать опытную выскательную редколлегия. Здесь начал бы действовать и такой важный фактор, как организаторская и направляющая роль редакции, обладающей соответствующими материальными возможностями.

Могут сказать: «Но ведь есть уже «Подъем», пусть с ним держат связь...» Что касается «Подъема», то, наверно, следует признать: идея охватить одним журналом сразу двенадцать областей Центральной России оказалась трудновыполнимой. Во всяком случае, на тульском совещании все в один голос утверждали, что ни с одним из представленных здесь городов «Подъем» связи еще не установил. Да и кто не знает: когда двенадцать хозяев отвечают за одно дело, — и всякая ответственность пропадает и дело движется плохо. К тому же и «хозяева» уж очень разнохарактерные.

Правильное развитие любого творческого коллектива (и тем более молодого) лучше всего стимулируется критикой — своей, профессиональной, литературной критикой. Именно отсюда приходит и ясность перспективы, и ощущение «локтя» товарища, и понимание «общего уровня», достигнутого всей литературой, — это одинаково необходимо отдельному литератору и целой писательской организации.

Добиваясь решительного подъема в творческой деятельности областных писательских коллективов, желая эффективнее помочь появлению новых книг — и прежде всего хороших книг о современности, — Союз писателей РСФСР должен с первых же дней своего существования позаботиться о воспитании и закреплении на местах постоянных кадров критики. Пока что таких профессиональных критиков на все множество местных, областных писательских организаций России насчитываются единицы. М. Котов в Саратове, Б. Рясенцев и Н. Яновский в Новосибирске, А. Абрамов в Воронеже, А. Абрамович в Иркутске, В. Рымашевский в Ярославле — вот все или почти все «полпреды» критического жанра на местах. Как правило, в областных журналах и альманахах критикой занимаются преподаватели университетов и пединституты. К сожалению, такая критика обычно не носит систематического характера и не может служить поэтому организующим, цементирующим началом в писательском коллективе.

Нет такого «начала» и в Рязани, и это внушает серьезную тревогу за завтрашний день молодой и многообещающей писательской организации.

Немногим богаче критикой и Тула. Объединенные же критические силы трех альманахов выглядят, на мой взгляд, уже гораздо внушительнее.

Итак, думается, что именно журнал литераторов трех областей, в каждой из которых еще только складывается писательское объединение, может в данном случае сослужить хорошую службу при решении различных творческих и организационных задач, в том числе и такой сложной задачи, как создание на местах постоянного актива профессиональных критиков.

Сколько-нибудь существенных дополнительных затрат и расходов бумаги такой журнал не потребует — скорее наоборот: став изданием более популярным, чем альманахи, он, думается, избавит издательства от тех значительных убытков, которые приносит сейчас каждый из нынешних областных альманахов.

А главная «прибыль» от такого журнала — появление и возмужание сначала межобластного, а затем, может быть, и трех самостоятельных писательских коллективов, прошедших в журнале серьезную профессиональную школу и способных самостоятельно расти и развиваться.

## В САРАТОВЕ

Саратовская писательская организация, крупнейшая в Поволжье, значительно старше и опытнее, чем рязанская или тульская. Сил у нее несравненно больше — за год работы, кроме очередных номеров «Новой Волги» и детского альманаха, саратовцы положили на стол читателям двадцать одну новую книгу.

Много это или мало? Думается, что немало. Да к тому же среди авторов новых произведений читатель с радостью находит хорошо известные ему имена Г. Коновалова, Г. Боровикова, В. Бабушкина, Б. Озерного, Е. Рязановой, И. Тобольского. С понятным интересом откроет он и первые книги молодых саратовских литераторов — сборник рассказов Галины Ширяевой, стихи Николая Краснова. Словом, итоги одного литературного года в Саратове выглядят довольно внушительно.

Хорошо и то, что здесь сейчас активно и успешно трудится большой отряд детских прозаиков и поэтов (их в Саратове, пожалуй, больше, чем где-либо в республике, не считая Москвы и Ленинграда). Недаром добрую половину «продукции за год» составляют детские книжки. Повесть Е. Рязановой «На пороге юности» (изданная теперь не только в Саратове, но и в Москве), несомненно, заинтересует молодых читателей. Манера письма этой писательницы во многом публицистична. Сильные стороны ее дарования ярче всего проявляются в решении острых жизненных проблем и столкновений. Когда привычные рамки «школьной повести» не сдерживают, не приглаживают эту публицистичность, повествование у Е. Рязановой становится увлекательным, точнее всего отвечая характеру детей «среднего и старшего школьного возраста».

Еще заметнее успех первых рассказов Г. Ширяевой. Ширяева пишет о детях, о школьниках, но рассказы ее предназначены для взрослого читателя. В этих рассказах много психологических находок, точно увиденных деталей, много размышлений над сложными вопросами повседневной, будничной жизни — выбор пути после школы, воспитание в семье и т. д. Думается, что после чтения этих рассказов каждый невольно начнет многое переосмысливать заново и в своей жизни, в своих отношениях с детьми.

Новые произведения наиболее опытных и «маститых» писателей Саратова — Г. Коновалова, Г. Боровикова и других — свидетельствуют, что творчество каждого из них обогатилось свежими красками. Но почему же эти произведения — повесть для юношества Г. Боровикова «Пантушка», пролог к новому роману Г. Коновалова и произведения других писателей — не вызвали горячего интереса на обсуждении, где подводились итоги литературного года в Саратове? Скромный по размерам зал библиотечного техникума, в котором проходило первое заседание, был полупустым. Откуда этот холодок? Да еще где — в Саратове, городе, переполненном читающей молодежью, технической и художественной интеллигенцией, в городе давних и крепких литературных традиций?!

Ища ответа, вечером, после обсуждения, я снова перелистал новые книги саратовских литераторов, еще пахнувшие типографской краской, два свежих томика «Новой Волги». Вот «Пантушка» Г. Боровикова —

повесть о смышленном деревенском паренке, не побоявшемся выследить и разоблачить коварных врагов молодой Советской республики. Время действия — начало двадцатых годов... Вот «Раздумье» Г. Коновалова, однотомник, куда вошло все, что писалось этим серьезным прозаиком и давно и совсем недавно. Повесть, открывающая эту книгу, так и называется — «Вчера»: она тоже отсылает нас к воспоминаниям о далеком детстве в деревне. А всю вторую половину книги занимает роман «Раздумье» — это хорошо известный читателю «Университет» Г. Коновалова, претерпевший весьма существенные и, по-моему, весьма полезные изменения и в сюжете и главным образом в языке повествования. Время действия здесь: апрель 1939 года — начало Отечественной войны... Все о прошлом — близком или далеком, но о прошлом. Трудно рассचितывать на страстный, заинтересованный разговор о главном, о том, что всех волнует сегодня, если большинство саратовских писателей, в чем-то совершенствуясь и набираясь опыта, за последнее время почти ничего не писало об этом самом главном — о современности.

И в альманахе «Новая Волга» и во всей обильной прошлогодней продукции литературного Саратова решительно доминируют произведения, посвященные прошлому нашего народа. Это и «Дни великих событий» В. Бабушкина — о революционных боях в Саратове, и «Незабываемое» Ф. Леоновой — о гражданской войне в Сибири, и «Черные дни миновали» С. Федулкина, где в центре повествования жизнь и борьба дореволюционного крестьянства, и пролог к новому роману Г. Коновалова — о первых годах революции, и отрывки из поэмы В. Богатырева о Чапаеве... Хорошо, конечно, что в год сорокалетия Советской власти писатели стремились в своих произведениях отобразить пройденный путь, но жаль, что дальше первых лет революции литературная летопись нашей жизни у саратовцев не двинулась.

Пустой затеей было бы сомневаться в правомерности любого индивидуального творческого замысла и советовать писателю: пиши о том, а не об этом! Но когда при подведении общего итога выясняется, что наиболее волнующие сегодня и читателей и писателей темы оказались обойденными, тут есть над чем задуматься. Ведь сегодня — и здесь, в Саратове, на улице Вольской или на проспекте Кирова, и в Туле на

Красноармейской, и в Москве на Арбате, за семейным столом или на рабочем собрании — люди связывают свою частную жизнь с решением коренных проблем времени: с переменами в деревне, в промышленности, в школе, с трудностями и радостями воспитания детей, с тревожными событиями за границей. И когда одна книга дает пищу для таких размышлений, а другая обходит наиболее острые проблемы современности, то становится понятным, какой из этих книг отдаст предпочтение читатель.

Конечно, сама по себе современность темы и идей автора еще недостаточна для успеха книги. И в этом смысле абсолютно прав Г. Коновалов, после взволнованного выступления которого и развернулась в Саратове настоящая дискуссия.

— Мы часто только фиксируем жизнь, — заявил он, определяя «общий грех № 1».

Признание серьезное и тревожное. В самом деле: мы не забываем из статьи в статью напоминать писателям о правде жизни, но как часто еще узко понятая автором правда жизни не превращается в правду искусства.

Взять, к примеру, повесть Фаины Леоновой «Незабываемое», опубликованную в «Новой Волге». В основу повести положены исторические факты, личные воспоминания. Начинаящего автора трудно обвинить в незнании жизни: Леонова пишет о том, что сама пережила, о людях и событиях, известных ей до мельчайших подробностей. Но произведения искусства из этого все-таки не родилось. В основу повести положены события, которые не могут не волновать, — борьба сибирских партизан с белогвардейцами и интервентами, расстрелы, гибель героев. Однако рассказано обо всем этом упрощенно, малохудожественно. Ни одного сколько-нибудь законченного образа в повести Ф. Леоновой не создано. Опытные писатели из редколлегии «Новой Волги» должны были бы серьезно помочь автору-непрофессионалу. Но в том-то и беда, что борьба за мастерство, поиски новых тем и средств их выражения для многих саратовских литераторов свелись за последнее время к чисто «домашним занятиям» — заметно ослабла их коллективная ответственность за свой альманах, за то общее представление, которое складывается об их работе у читателей.

Характерен и другой пример. Виктор Тимохин — не новичок в литературе, его стихи и очерки не раз печатались в «Новой Вол-

ге» и выходили отдельными сборниками. Недавно издана его книжка «Подвиг Зинаиды Львовой». Жизнь столкнула саратовского литератора с судьбой незаурядного человека: стрелочница Зинаида Львова со станции Князевка, что неподалеку от Саратова, ценой собственного увечья спасла жизнь пятилетнему малышу, вытолкнув его из-под надвигающегося паровоза. Подвиг простой и скромной женщины взволновал всех; о нем много писалось в газетах, Зинаида Львова была награждена орденом, тысячи людей со всех концов страны и даже из-за рубежа присылали ей взволнованные письма. Благодарна и увлекательна задача литератора, взявшегося написать о таком героическом проявлении человеческого духа.

Но докапываться до главного — до существа человеческого характера и подвига героя — В. Тимохин не стал, он пошел более легким путем, последовательно рассказывая все, что ему удалось узнать о случившемся, — авось простая арифметическая сумма фактов и сведений заменит художническое проникновение в тему. Но — не заменила! Мы находим в книге целый ворох писем к героине, среди которых немало действительно ценных и волнующих человеческих документов, а рядом с ними — весьма «близкий к тексту» пересказ железнодорожных инструкций, с которыми автор, несомненно, ознакомился («бдительность и внимание — вот что требуется от стрелочника» или «не точно выполнишь распоряжение дежурного по станции — тут тебе и авария может случиться»); и тут же взятый напрокат журналистский штамп мистической «предопределенности» подвига: в это утро и «небо улыбнулось широкой, ясной улыбкой», и сама Зина «сегодня какая-то особенная, какая-то весенняя»... Автор очерка не сумел отобрать, типизировать богатый жизненный материал, не сумел его глубоко понять, осмыслить. А ведь писательская задача — «тащить понятое время». Именно — понятое! И понятое так глубоко и верно, что читатель с удивлением «открывает» в себе самое и в окружающей жизни то, чего не замечал раньше. Пятое время — наверно, это и есть одно из главных составных качеств в мастерстве художника.

Ведь подлинное мастерство — это, конечно же, не просто «техника», это пульсирующая мысль, нашедшая свое единственное, целиком вместившее ее слово. Вспомним, как в «Анне Карениной» художник Михай-

лов сердито размышляет над комплиментами Вронского его мастерству и технике: «Он часто слышал это слово техника и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания... Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылучить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания».

Думается, что первопричина упреков в несовершенстве, в художественной слабости отдельных произведений, напечатанных за прошедший год в Саратове, лежит не в том, что автор такого произведения неряшливо выражается, не овладел техникой, не отточил своего мастерства, а в том, что он неряшливо, часто очень приблизительно мыслит, неточно, неглубоко видит.

Пролог к роману Г. Коновалова, «Пантушка» Г. Боровикова, последняя повесть Е. Рязановой и стихи И. Тобольского, книги Н. Краснова, Б. Озерного, рассказы Г. Ширяевой — свидетельство больших творческих возможностей саратовцев. По своему плодотворный, но слишком затянувшийся период «переучета накопленных ценностей», очевидно, кончается — крупнейший в Поволжье писательский отряд Саратова со всем накопленным жизненным и художественным опытом должен приступить к освоению важнейших тем современности.

## В ИРКУТСКЕ

Сибирь молодеет и обновляется. Начавшись на стройках и на целине, этот процесс постепенно находит все более широкое отражение во всех областях сибирской жизни, в том числе и литературной. Процесс далеко не всегда безболезненный... Недавно в Новосибирске (где, кстати, собралась сейчас наиболее многочисленная из русских писательских организаций) на очередных выборах значительно обновился состав правления творческой организации. Событие это вызвало немалые споры и даже обиды. А собственно, сам по себе этот факт не содержал ничего обидного, кроме признания одной объективной истины: выросло уже и заявило о своих правах новое поколение



сибирских писателей. Естественно, растет и авторитет тех, чьими голосами все чаще и заметнее говорит с читателем о самых настоящих, самых важных проблемах современности литература сегодняшней Сибири. В Новосибирске это С. Залыгин и В. Лаврентьев, П. Ворониц и А. Иванов, А. Никульков и Л. Чикин, несколько еще более молодых прозаиков, поэтов, драматургов. С новым поколением в большинстве писательских организаций связывают сейчас и новые надежды и новые тревоги.

С иркутской «Молодой Ангарой» я познакомился два года назад. Собственно, никакого формального объединения под таким названием и не было — были авторы одной скромной книжицы, сборника стихов «Молодая Ангара». Все они без труда уместились в тесном гостиничном номере, и, хотя не все они были студентами, во всем их внешнем облике, в остроумных репликах, в дружеской перебранке было что-то сугубо студенческое. Это общее определило и характер их первой коллективной книжки — в ней было мало стихов законченных и совершенных, но прекрасно чувствовалось общее стремление всех авторов: открыть заново мир, в который вступало, в котором все больший вес приобретало их юное поколение. То был год, когда в Братск прибывали первые эшелоны новоселов, а в самом Иркутске готовились перекрыть плотину первой на Ангаре ГЭС. Далекий сибирский край жил переменами...

И вот минуло два года. Не все, кто был тогда с нами, стали поэтами: одних потянуло к себе «главное дело» — учительство или геология, другие почувствовали недостаточность своего таланта и бросили писать стихи. Но у большинства из тех, кто тогда лишь начинал печататься, уже вышли собственные сборники, появились поэмы, пришло к ним и первое читательское признание. Петр Реутский выпустил книгу и стал членом Союза писателей, Анатолий Преловский тоже имеет теперь свой сборник. Иван Харабаров поступил в Литературный институт и выпустил первую книжку, Владимир Петонов прочно вошел в большую и славную семью бурятских поэтов. Самые старшие из «молодых» — Виктор Киселев и Марк Сергеев — успели выпустить уже несколько вещей, попробовали свои силы не только в поэзии, но и в прозе и, вступив в Союз писателей, ныне состоят в числе редакторов уже не скромного сборника юных, а вполне солидного иркут-

ского альманаха, с недавних пор именуемого «Ангара».

Впрочем, «Ангара», пожалуй, уже не альманах, хотя еще и не журнал. Новая редколлегия этого областного издания попыталась несколько упорядочить те «стихийные» отношения с читателем, которые существуют у всех альманахов: «Ангара» решила выходить не как попало, а твердо — раз в квартал — и поэтому смогла объявить подписку для своих постоянных читателей. Строгий график выхода и ответственность перед подписчиками дисциплинировали всю работу над альманахом; заметно улучшилось его оформление, повысилось качество печати, разнообразнее стали выглядеть его отделы и рубрики, хотя бумажные и денежные фонды остались прежними и не нашлось, как и прежде, штатной единицы хотя бы для одного постоянного сотрудника. Трудностей и хлопот прибавилось, но, думается, «Ангара» с ними справится.

Конечно, решающее слово будет принадлежать читателю, которого вся эта организационная перестройка интересует лишь постольку, поскольку она отражается на главном — качестве и разнообразии произведений. Видимо, и здесь, в основном, результаты разумных перемен не заставят себя долго ждать.

На обложке первого номера обновленного альманаха — многообещающий список того, над чем работают и что собираются представить на суд читателей уже в этом году писатели Иркутска. Этим обещаниям можно верить, если, конечно, новая «Ангара» не переймет дурную привычку старых московских журналов: печатать совсем не то, что было обещано в начале года. Пишут в Иркутске много. За последние два года здесь были опубликованы новые романы Г. Кунгурова, Л. Огневского, В. Тычинина, повести И. Дворецкого, П. Петрова, Н. Печерского, В. Мариной, первые книги молодых прозаиков и поэтов А. Ермолаева и В. Козловского, П. Реутского и А. Преловского, новые стихи Инн. Луговского, Ю. Левитанского, две пьесы и «Очерк из истории театральной культуры Сибири» П. Маляревского, пьеса А. Самсония, очерковые сборники С. Бройдо, А. Смирнова, детские книги А. Кузнецовой, Л. Кукуева, М. Сергеева, наконец, книга почти уникального для областных изданий жанра — «Критические статьи и очерки» А. Абрамовича. За то же недолгое время вышел

из печати добрый десяток сборников. Восстановлено в памяти читателей незаслуженно забытое имя интересного прозаика-иркутянина И. Гольдберга. В первых номерах «Ангары» Конст. Седых напечатал продолжение «Даурии» — роман «Отчий край».

Многие ли из названных здесь имен и книг знакомы читателям? Боюсь, что немногие. И виноваты в этом отнюдь не только сами иркутяне. Все еще остается в силе вреднейшее правило книжной торговли, по которому книга, изданная в областном издательстве, не выходит за пределы своей области. Мало осведомлены и скучно пишут о литературной жизни в областях центральные газеты и журналы. Да и все мы не очень любопытны там, где надо поискать, покопаться, выйти за рамки привычного круга интересов...

Впрочем, сами литераторы Иркутска не склонны свою неудовлетворенность сделанным отнести за счет объективных обстоятельств или недостаточного внимания к их работе, они отлично понимают, что интерес к книге, где бы она ни вышла, в конечном счете определяется ее собственными качествами. Сейчас часто и вполне справедливо критикуют отдельных писателей и целые коллективы литераторов за отход от наиболее трудных для творчества, но и наиболее интересных для читателя, наиболее плодотворных для развития искусства тем — тем современности. Этот единодушный упрек и требование безусловно справедливы. Будущие решающие успехи таких литературных коллективов, как, скажем, новосибирский или саратовский, лежат именно здесь, на повороте к темам современности. А вот для Иркутска это требование необходимо уточнить.

Добрую половину, а то и три четверти всего длинного списка недавно изданных и издающихся в Иркутске книг занимают крупные прозаические произведения, написанные на материале еще не остывшей действительности. Фундаментом для «Ангары» Ф. Таурина послужило строительство Иркутской ГЭС, для повести А. Ермолаева «Строители» — рождение Ангарска, для романа «Над нами солнце» Л. Огневского — труд горняков Черемхова, для «Года жизни» и «Большой Сибири» В. Тычинина — новаторство в промышленности, для «Наташи Брусковой» Г. Кунгурова — сегодняшняя жизнь научного коллектива... Каждая из этих тем, живая, острая, подсазанная временем, могла по-настоящему взвол-

новать читателей, если бы авторы сумели их воплотить в художественно полнокровные произведения. Однако успех книг оказался более скромным, чем можно было ожидать, если судить по их темам и замыслам. И именно потому, что так случилось не с одним-двумя, а с целой группой талантливых литераторов, живущих и тесно «взаимодействующих» в одном коллективе, мы можем говорить о чем-то общем, сдерживающем рост и достижения этого коллектива.

В чем же кроется это общее? В недостатке мастерства, позволяющего воссоздавать крупные характеры современников. Вот та ступенька, о которую споткнулись на своем подъеме авторы названных мною повестей и романов. Чтобы не растягивать доказательств, сошлюсь на подробнейший анализ и выводы одного из иркутян — критика А. Абрамовича — в его интересной статье «Герой нашей литературы» и, в частности, на его очень точное наблюдение над романом В. Тычинина:

«Когда начинаешь разбираться, почему роман «Большая Сибирь» остался неотмеченным читателями и критикой, возникает настоятельная необходимость разговора о мастерстве, ибо именно в этой области прежде всего обнаруживаются просчеты писателя, реальные недостатки его произведения. Казалось бы, все имелось в его распоряжении: и запас жизненного материала, и понимание важности творческой задачи, и искреннее стремление хорошо изобразить близких, родных ему героев. А умения додумать до конца историю жизни каждого характера, умения художественно воплотить свой замысел у автора не хватало. Явления действительности и характеры, требующие подробного анализа, ярких доказательств, раскрываются в романе с такой поспешностью, быстротой, что сложная, противоречивая жизнь оказывается в произведении упрощенной, обедненной. Такой существенный недостаток обнаруживается прежде всего в характере главного действующего лица Михаила Туманова».

Просчеты Ф. Таурина в его романе «Ангара» несколько иного характера. Таурина нельзя упрекнуть в поспешности характеристик своих персонажей или в невнимании к их жизни. И все же ощущение неполноты в раскрытии интересного замысла остается. В чем тут дело? А в том, что второстепенные для романа сюжетные линии во многом вытеснили и заслонили основную тему

произведения. На интимных переживаниях и взаимоотношениях своих героев писатель сосредоточил все свое внимание, и получилось, что за многочисленными любовно-бытовыми коллизиями потускнело главное, ради чего написана «Ангара», — дело героев. И это тем более обидно, что Таурин писал, живя среди своих героев — строителей Иркутской ГЭС, он так же, как и Тычинин, превосходно знал тот богатейший материал, который должен был лечь в основу романа. Увлеченность автора второстепенным, неглавным вызвана, видимо, тяготением к так называемой «занимательности» за счет снижения идейного звучания романа. А это, в свою очередь, нарушило композицию всего произведения, оно стало рыхлым, расплывчатым.

В откровенных разговорах с писателями-сибиряками мне не раз приходилось слышать фразу. «Сегодня нельзя писать так, как писали мы десять, даже семь лет назад...» И это говорилось не в том элементарном смысле, что, мол, год от году надо работать лучше, — подразумевались какие-то новые требования к творчеству, которые раньше так настоятельно не ощущались. Ведь теперь писатели Сибири, как и весь их край, оказались на вышке всенародного обозрения. Уходит в прошлое экзотика отдаленности, обособленности здешних мест и событий, побеждают темы и проблемы всей нашей жизни с ее типичными делами и судьбами. И, конечно, проследить за могучим движением современности удобнее всего на его узловых этапах. Вот почему нам так дороги и ценны в творчестве иркутских писателей их «отправные точки»: и Иркутская ГЭС, и строительство Ангарска, и крупный научный институт, и большой производственный коллектив.

Высокая точка обозрения действительно — необходимое, но еще недостаточное условие для полного успеха. Мало поместить героя на передовую линию сегодняшней борьбы, в гущу наиболее типичных для времени обстоятельств, не менее важно, чтобы характер героя не уступал в своей масштабности этим обстоятельствам, был способен вобрать и выразить все их противоречивое единство, все их богатство. Правда жизни в искусстве, правда современности — это не только правда обстоятельств, но и проникновенная правда характера, правда разгаданных людских судеб. Именно этой стороной и оборачивается к иркут-

ским писателям всеобщее требование полнее и больше писать о современности.

Характерно, что большинство претензий к последним книгам иркутян, к их героям начинается как раз с того места, где остановился писатель: они адресованы не к тому, что написано, а к тому, что не написано, вернее недописано, не вошло в поле зрения автора. Не хватает полноты биографий действующих лиц, разнообразия их переживаний и впечатлений от всей жизни (а не только той, которая строго укладывается в «основную сюжетную линию»), второстепенных деталей и «необязательных» подробностей — тех самых «солей» и «примесей», без которых живая родниковая вода искусства превращается в химически чистую, дистиллированную воду. Если для журналистского очерка достаточно проследить за одной чертой характера героя, объясняющей и иллюстрирующей ту проблему, анализу которой посвятил себя автор, то для самого короткого рассказа требуется полнота характера — ей подчинено в писательском творчестве все остальное.

Это «большое дыхание», эта свобода и широта повествования приходят в процессе обогащения жизненным, душевным опытом, в процессе неустанной профессиональной учебы. Для Иркутска такая учеба вдвойне необходима: здесь не только молодежь, но и писатели более старшего возраста — такие, как Ф. Таурин, Л. Огневский, В. Тычинин, — пришли в литературу сравнительно недавно, без какой-либо профессиональной подготовки. Не только «молодой» «Ангаре» надо набираться опыта, а и «старшей», может быть, в чем-то и переучиваться.

Всю плодотворность таких совместных усилий, «взаимообогащения» хорошо используют соседи иркутян — красноярцы. Я присутствовал на их недавнем творческом семинаре. Формально это был «семинар молодых», а фактически «учителя» и «ученики» весьма успешно обогащали друг друга. Многие из здешних молодых писателей обладают университетскими знаниями, высокой культурой, ясным представлением о современных повышенных требованиях к литературе. Этот новый, высокий уровень культуры и вкуса становится общим критерием жизни красноярской писательской организации, в которой молодые литераторы, еще не ставшие ее равноправными членами, но уже почувствовавшие силу и поддержку профессионального кол-

лектива, набираются жизненного опыта, овладевают «секретами» мастерства старших.

В числе руководителей красноярского семинара были и иркутяне: поэт Инн. Луговской и драматург П. Маляревский. Краснояры охотно и благодарно перенимали опыт того и другого писателя. Позже, в Иркутске, я поинтересовался: почему у себя «дома» Луговской и Маляревский или, скажем, Константин Седых, писатель с весьма разносторонним и большим опытом, не проводят таких семинаров? «Что вы, они в Союзе почти не бывают, даже на творческих «пятницах» не присутствуют...» Отчего же так разобщенно живут младшее и старшее поколения «Ангары»? На то существует, мне кажется, несколько причин.

Наладить такое творческое «взаимодействие», заинтересовать в нем всех и получить при этом реальную пользу от каждого, создать в отделении Союза деловую и вместе с тем непринужденную обстановку — все это не так легко. Привлечь молодых к Союзу писателей, включить их в орбиту творческих споров неплохо умел Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Сейчас, после его смерти, этот интерес к молодым как-то поостыл. А жаль! Поэт Марк Сергеев пишет сегодня больше, чем он писал во времена «Молодой Ангары», его успехи заслуженно отмечались на нескольких совещаниях поэтов. И все-таки, перечитывая новые стихи М. Сергеева, трудно отделаться от ощущения: вместе с несомненной опытностью и уверенностью пришла в его поэзию какая-то успокоенность, головой проверенная уравновешенность чувств и слов. Уж больно он «деликатен» и ровен в своих последних стихах! Все гладко и средне — без риска, без падений, но и без взлета... Мне давно знаком и дорог «Багульник» Анатолия Преловского — тоненький сборник его первых стихов. Как первые, они хороши и интересны: это этюды, о которых, быть может, и забудешь, но не раньше, чем встретишь у того же поэта более зрелые и совершенные картины. Но вот передо мной новые стихи А. Преловского, и это опять чаще этюды, чем законченные картины. В наш век трудно двигаться вперед одному — надо чувствовать локоть товарища, мерить свой шаг по идущим впереди.

Но «идущие впереди» — далеко от молодых, а тут еще добавляется почти полное отсутствие «среднего звена». И не то чтобы обеднела талантами иркутская земля, нет,

в каждом поколении она их дарит щедро, но вот беда: как уедет молодой литератор набираться опыта и знаний в Москву, так там и остается. Особенно удобным «перевалочным пунктом» оказались Высшие литературные курсы. Уехал И. Дворецкий — остался, поехал Ю. Левитанский — тоже. Собирается ехать Петр Реутский, а в Иркутске уже размышляют: нужно, позарез нужно нам позаимствовать у огромного коллектива столичных литераторов их опыт, да поди знай — наберется наш Петр этого опыта и умения, да с ними в Москве и останется... Для читателя вроде бы и все равно, где напишет Реутский или Левитанский свою лучшую книжку — в Москве ли, в Иркутске. А для писателей, работающих и овладевающих мастерством далеко от Москвы, это совсем не так безразлично: ведь в багаже, с которым возвращается такой посланец после нескольких лет столичной учебы в родные места, всегда есть долгожданные «подарки» для всех членов единой писательской семьи — для «младших» и «старших».

В совместных усилиях всех поколений, в их взаимодействии и взаимообогащении большой коллектив писателей Иркутска скорее достигнет высот мастерства.

\* \* \*

Проблемы мастерства, характер современника, освоение новых тем, приток молодежи — на всем этом был сосредоточен основной интерес литературных дискуссий, обильно предшествовавших Первому съезду писателей РСФСР. Съезд и явится, очевидно, логическим завершением этих дискуссий. Конечно, никто не ждет от съезда исчерпывающих рекомендаций по мастерству или точного рецепта по освоению современных тем. Плодотворность предсъездовских дискуссий в другом: детальное и всестороннее обсуждение творческих проблем обнаруживает общую для большинства областных коллективов сумму организационных проблем, решить которые съезд может и должен. Возможностью таких конкретных решений и рекомендаций нельзя пренебрегать.

Скажем, та же проблема дальнейшего существования областных альманахов. Найти здесь наиболее гибкое, наиболее универсальное решение — это значит завоевать новые читательские аудитории, сломить холодок недоверия, который еще иногда мешает новому талантливому произведению

найти прямую и кратчайшую дорогу к читателям. Или вопросы приема в Союз. Не проанализировав их глубоко, не распутав несколько «запутанных историй», трудно понять, что же все-таки сдерживает приток и рост писательской молодежи. А весь узел проблем, связанных с деятельностью местных издательств? За каждым таким «прозаическим» вопросом скрывается тропинка к самым возвышенным проблемам литературного процесса. Решения всех наболевших вопросов и ждут от съезда областные писательские организации, ждут сотни и тысячи писателей, пославших своих делегатов из всех уголков могучей России.

Ожила наша литературная карта. И не только потому, что за месяцы подготовки съезда в Пензе и в Рязани, в Кирове и Курске зажглись огни новых писательских организаций. Сегодня и литературная ответственность и читатели гораздо лучше себе

представляют, как живут, что пишут, чем волнуются писатели больших и малых городов России. Гораздо больше говорит теперь читательскому уму и сердцу каждый такой огонек, каждый значок на этой карте. Писательский коллектив какого-нибудь сибирского города перестает быть для москвичей «нерасчлененным целым» — все чаще и все больше неравнодушных к искусству людей начинает узнавать даже самых далеких и скромных писателей «по голосу». Процесс этот ширится и крепнет — и благодаря полезной активности Оргкомитета и главным образом благодаря тому, что сама литературная жизнь на местах стала активнее, значительнее.

Вот в этом, пожалуй, и состоит первый ободряющий итог того подъема, который переживают областные творческие коллективы сейчас, в канун съезда писателей Российской Федерации.



Г. ВЛАДИМОВ

★

## ДЕРЕВНЯ ОГНИЩАНКА И БОЛЬШОЙ МИР

**К**оличество новых произведений художественной литературы, выпускаемых центральными и областными издательствами, публикуемых в журналах и альманахах, за последние годы заметно увеличилось. Это очевидно и без специального подсчета: в каждом повременном издании и на каждом книжном прилавке постоянно встречаются новые имена, новые названия. Разумеется, в потоке книг есть произведения различных жанров. Однако бросается в глаза все большая склонность ряда прозаиков к крупным и даже колоссальным масштабам. Никогда раньше не появлялось столько многотомных романов. Иногда самостоятельно выпущенное произведение впоследствии начинает дорабатываться, обростать пристройками. Есть даже такие парадоксальные случаи, когда первая вышедшая в свет книга становится последней — сперва второй, потом третьей частью исторического романа-эпопеи, уходящего все дальше в глубь времен и в принципе бесконечного, как бесконечна сама история. Книга, привлекая внимание современностью темы и материала, растягивается все больше в сторону «предыстории» нашего времени, повествование о наших днях рискует стать лишь эпилогом.

Конечно, и так построенное произведение может быть интересным и талантливым; но нельзя не заметить, что в такой «архитектуре» есть нечто сомнительное, заставляющее предполагать, что не одно лишь стремление к полноте жизненной картины порождает ее, что, может быть, первоначальный идейный и художественный замысел писателя был недостаточно ясным и что писатель, почувствовав это, старается возместить свой просчет, исправляя границы, прирезывая к взятому и использованному ма-

териалу то то, то это. Возможна и другая, более внешняя причина — соблазн крупной формы. Критики слишком часто хвалят писателей именно за «эпопейность», и автор небольшого романа или повести стыдится появиться на люди со столь «незначительной» работой, начинает всемерно увеличивать свою вещь. Опыт показывает, однако, что литературное произведение, перегружаемое излишним и потому художественно безразличным материалом, имеет все шансы утратить часть своих первоначальных достоинств.

Как бы то ни было, отсечение на задний план небольшого романа и повести (назовем их: «тургеневского типа»), небывалое увлечение формой «толстого» романа, «романа-эпопеи», стало проблемой, в которой нужно разобраться.

Не претендуя в этой статье на художественную характеристику всех романов такого рода, появившихся в последние годы, мы хотели бы уяснить себе некоторые из их основных черт на примере одной из наиболее значительных книг — на примере романа Виталия Закруткина «Сотворение мира». Первая книга этого романа вышла в свет два года тому назад, она уже имеет своего читателя, о ней есть уже и критические отзывы — следовательно, мы будем говорить о книге известной, и читателю легче будет самостоятельно — что чрезвычайно важно — проверить правильность наших рассуждений. Еще важнее, что книга, избранная нами для анализа, относится к числу самых заметных произведений последних лет, что ее автор имеет заслуженную хорошую литературную репутацию. При том же, как мы постараемся в дальнейшем показать, этот роман В. Закруткина характерен для литературного явления,

о котором идет речь, решительно во всем — начиная с выбора темы.

Тема романа Виталия Закруткина «Сотворение мира» в общей и краткой форме выражена в заглавии, но более полное и точное ее определение — дело нелегкое. Основной материал взят автором из жизни советской деревни Огнищанки в 1921—1927 годы; есть, однако, в романе и Москва с ее выдающимися деятелями, учреждениями, съездами, выставками, с изложением решаемых в центре специальных проблем, характерных для периода перехода от гражданской войны к мирному строительству; есть Берлин, Константинополь, Лондон, Генуя, Нью-Йорк, Калифорния, Алеутские острова и еще много местностей, городов; есть судьба различных классов и общественных слоев, борьба политических партий в Советском Союзе и во всем мире, множество людей, различных по национальности, по общественному положению и взглядам, людей, носящих известные в истории имена, людей неизвестных, а то и вовсе безыменных. Здесь так много всего, что можно, пожалуй, сказать — общее ощущение темы этого романа верно выражается эпитафией: «И слышал я как бы слово многих народов, как бы шум вод яростных, как бы грохот громов... И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Величественное зрелище крушения старого мира и становления мира нового, переживание этого процесса, как некоего великого единства, охватывающего весь мир и все народы, — это и есть основная тема последнего романа Виталия Закруткина.

Однако только мироощущения или душевного настроения, каким бы оно ни было высоким и сильным, недостаточно для романа. Даже в «Откровении св. Иоанна», откуда взят эпитаф, помимо переживания, есть еще много, пусть фантастических, но все же конкретных картин. А «Сотворение мира» В. Закруткина — не «откровение», а исторический роман, притом чрезвычайно обширный: его 743-я страница всего лишь «конец первой книги». Поэтому и картин здесь должно быть много больше.

Есть, однако, кроме этого естественного в произведении большого масштаба обилия лиц и картин, один важный критерий, на основании которого, собственно, и решается вопрос о том, насколько автору удалось справиться с необходимой в большой эпической форме полнотой объектов. Это имен-

но критерий необходимости — необходимости именно этих лиц, отношений, событий, фактов, описаний в данном произведении для максимального развития идеи и для возможно многостороннего, художественно-реалистического изображения данной стороны, данного отрезка жизни. С этой точки зрения мы будем судить об идейно-художественных достоинствах и недостатках романа «Сотворение мира» (не ставя перед собой задачи всестороннего разбора всех его линий и образов). Сама по себе, как говорят, «населенность» романа так же мало может быть поставлена в заслугу или в упрек, как и больший или меньший объем произведения; все решает конкретный анализ содержания. И при этом очень важно определить те стороны произведения, в которых больше всего выявилось его содержание и обнаружилось лучшие способности писателя, ибо удачи писателя зачастую помогают нам вернее понять также сущность и причины его неудач.

Итак, начнем с характеристики нескольких наиболее удачных персонажей и сцен.

Уже на первых страницах романа «Сотворение мира» есть сцена кулацкого самосуда. Всего на четырех страницах резкими чертами вырисовываются и картина классово-вой борьбы в деревне того времени и человеческий облик ее участников: «красного героя» — демобилизованного красноармейца, крестьянина-бедняка Комлева, кулака Антона Терпужного (у которого Комлев зарезал овцу, чтобы спасти от голодной смерти жену и детей), председателя сельсовета Ильи Длугача и всей еще неясно, смутно настроенной толпы, которая может и поддержать кулака, потому что он опирается на «извечный» закон частной собственности, но может встать и на сторону бедняка, потому что ведь и детям бедняка жить надо, а кулак его жене за работу не заплатил, и потому еще, что этот бедняк, поддерживаемый новой властью, близкий к ней, также начинает уже становиться силой, вызывающей уважение колеблющихся людей.

Интересно, что между представителями крайних социальных групп, при всей ожесточенности борьбы, еще остается нечто от «патриархальности» дореволюционной деревни: Антон Терпужный, требуя убийства Комлева, называет его Колей, а тот, оправдывая себя и обвиняя Терпужного, еще называет своего убийцу дядей Антоном. Этот оттенок в деревенском быту сохраняется

целые годы. Уже много позднее, после того как столкновения Терпужного с защитниками нового строя еще умножились, он вместе со всеми односельчанами ездит, скажем, в город на ярмарку. И вообще бытовые отношения между ними — в промежутке между схватками, в которых выражается и очередной этап борьбы за советизацию деревни и возрастающая ненависть, — остаются более или менее нейтральными и мирными. Можно было бы увидеть здесь недостаток последовательности в характеристике действующих лиц (мы покажем на других примерах, что такой недостаток в романе «Сотворение мира» есть); но нам кажется, что в этом случае автор правдиво изобразил некоторые реальные стороны сложных и запутанных форм общественной жизни, не сводя их целиком к одним лишь основным принципам и линиям.

У Виталия Закругкина нередки такие положения, при которых ни в одном из действующих лиц истина не выражается во всей своей полноте и в самом своем совершенном и законченном виде. Правда коммунизма встает из всего сплетения интересов, стремлений, идей. Уже в приведенной сцене самосуда предсельсовета Илья Длугач по способу действий очень далек от установленных советским законом форм борьбы: он грозит кулаку, в случае неуплаты штрафа за избивание Комлева, до полу-смерти отодать его самого шомполами на сходе. И в то же время ясно не только то, что в существе дела Илья Длугач совершенно прав, но и то, что в своем положении, да еще при необходимости решать дело в одну минуту, он почти не имел средств действовать более точно.

Правда, никак нельзя, придя к такой мысли, на ней и успокоиться, признать и неправильное правильным. Нечего скрывать, что во взглядах и психологии Длугача немало мешающего той самой Советской власти, которую он чистосердечно и самоотверженно защищает. Это видит, например, предволполкома Дологов, политически грамотный и обладающий партийным опытом человек. Он ругает Длугача за то, что тот зачисляет в кулаки крестьян, не эксплуатирующих чужого труда, а лишь своим умением и прилежанием достигших известной зажиточности; сам Длугач говорит об одном из них, Тимофее Шелюгине, что «правда, Тимоха в Красной Армии два года служил и сам по себе чело-

век аккуратный...», — и все-таки берет на себя смелость на основании своего убеждения, что у того «середка кулацкая, значит он чего угодно может натворить», обвинить его в поджоге общественных запасов сена, принуждать его вместе с кулаками бесплатно работать на полях коммуны. Узость общественных суждений, неумение разобрататься в каждом из людей, с кем он должен иметь дело, оценка их только «по категориям» иногда вовлекают Длугача в серьезные ошибки, в которых он сам с сокрушением сознается: «оскользаюсь, как кабан на льду».

Было бы, однако, неверным считать, что Илья Длугач — человек сомнительный с партийной точки зрения, или же объяснить его склонность к левацкому радикализму одними (скажем, к слову, очень хорошо обрисованными в романе) особенностями его личного характера: порывистостью, импульсивностью, нетерпением. Конечно, личные особенности человека в некоторой мере делают его более или менее пригодным для выражения тех или других общественных тенденций; но все-таки сами эти тенденции — прежде всего общественные по своей природе. В данном случае это одно из проявлений той мелкобуржуазности, которую Коммунистическая партия, организуя широкие массы на борьбу за Советскую власть, за построение социализма, должна была посредством долгого и терпеливого воспитания и просвещения преодолеть даже в слоях, из которых социалистическая революция черпала свои резервы. Таким образом, Илья Длугач — фигура не только колоритная, но также помогающая понять тот отрезок нашей истории, которому роман В. Закругкина посвящен. Мелкобуржуазные тенденции проявляются в Длугаче не в собственнической форме (собственности, страсти к накопительству в нем совсем нет), а в своего рода партизански-анархических чертах. Этому горячему и искреннему революционеру предстоит еще немалый путь, пока воспитание и самовоспитание дополнят его классовый инстинкт коммунистической сознательностью.

Трудно сосчитать, сколько раз Длугач «оскользается», но при этом он не выглядит ни смешным, ни глупым. Полуграмотный мужик, бывший батрак и конюх, он — волею революции — стал в своей Огнищанке и судьей, и прокурором, и следователем, и организатором первых коммун, и первым миссионером ликбеза, и прорабом коллек-



тивных строек. Он не все одинаково умеет, но он исполнен неугасимой веры в коммунизм и обладает тем искусством, каким особенно отличаются ставленники революционной власти: он умеет появляться вовремя, когда необходимо повести за собой или предотвратить катастрофу, когда поднимает головы и обрезы притаившееся кулачье, когда озверевшая толпа убивает жердями своего односельчанина «за украденную овечку», когда, наконец, какой-нибудь Андрей Ставров, парень в расцвете ума и сил, растрчивает и то и другое на узком поприще собственного хозяйства.

В. Закруткин изображает борьбу за социалистическую переделку экономики и сознания людей, различные виды и оттенки трудностей, которые вставали перед Коммунистической партией. Вот, например, городской трудящийся человек — Платон Иванович Солодов. Он не только горожанин, но и чистокровный пролетарий, да еще и участник первой русской революции: «В свое время, плавая на прославленном мятежном броненосце, он вместе с товарищами восстал против царя»; «вместе с другими матросами «Потемкина» он был судим военно-полевым судом, два года отсидел в крепости, потом вернулся в родной город и стал работать мастером на механическом заводе. Хозяин завода, немец Юст, предупредил Солодова: «Ты хороший механик, я тебя помню, но если ты хоть немножко будешь делать революцию и портить моих рабочих, я тебя буду закатывать в Сибирь, на вечную каторгу».

Как же после этого живет Солодов?

«Не столько угроза всесильного Юста, сколько жизненные события заставили Солодова целиком отдаться заводской работе. Он и на броненосце не отличался особой активностью, а тогда, после крепости, решил: «Куда там мне революцию делать! Характер у меня неподходящий, смиренный...»

В 1917 году нашлось еще новое основание для его аполитизма: «Теперь царя не было и, по мнению Платона Ивановича, можно было оставить политику, ибо это «скучное и мудреное дело, от которого лучше стоять подальше...»

Солодов впервые появляется за двести страниц до конца книги, а по масштабу и темпу романа В. Закруткина двести страниц — это слишком мало, чтобы чей-либо образ (или характер) успел развиваться. Но как эпизодическая фигура первой книги

Солодов дополняет еще одной чертой общую пеструю картину того «человеческого материала», который нашел себе место в романе. При своей профессиональной умелости, личной честности, любви к труду, к заводу Солодов будет, конечно, полезным членом коллектива и помощником партии в ее великой работе по индустриализации страны. Но возможно немало случаев, когда такой «принципиально беспартийный» человек способен и осложнить дело.

Очень интересна рассказанная В. Закруткиным история коммуны «Маяк революции». Государство еще не в силах было помочь объединившимся в ней батракам и беднякам сельскохозяйственными орудиями, посевным материалом, денежной ссудой, которые позволили бы сразу поставить хозяйство на ноги; не хватало также и привычки к совместному труду, тем более — организаторских навыков, даже у умного и преданного делу председателя коммуны Бухвалова. Не имея в своей основе хозяйственного расчета, коммуна все больше падает, члены ее начинают разбегаться, Бухвалов тщетно пытается ее поддержать своими призывами к «сознательности». Помощь со стороны, оказываемая соседними селами, недостаточна, чтобы в корне изменить дело, и лишь подчеркивает то печальное обстоятельство, что в данных условиях коммуна становится иждивенцем государства и общества.

Нельзя равнодушно читать о героических, но тщетных усилиях Бухвалова. Но кто же он? Лишь привлекающий нас своей личной убежденностью и своим бескорыстным героизмом донкихот? Нет, в основе нашей симпатии к Бухвалову, отстаивающему, как он говорит, «идею», воплощенную для него в его коммуне, в одном из первых малых очагов социализма, есть нечто более глубокое. Забегания вперед, неизбежно сопровождающие колоссальный творческий взлет пробудившейся самодеятельности масс, исправлять, конечно, необходимо, но люди, которые ими были бескорыстно и самозабвенно увлечены, часто бывали достойны и любви и уважения.

В соответствии с задачей настоящей статьи, которая посвящена не столько критическому всестороннему разбору романа В. Закруткина, сколько обсуждению одного из общих литературных вопросов, мы рассказали лишь о некоторых людях и событиях из романа «Сотворение мира». Но, по нашему мнению, одних этих типов, характе-

ров и картин было бы достаточно, чтобы книга могла по праву считаться не только содержательной, но и оригинальной: в ней есть то, о чем еще никто не рассказал, а к тому, что мы уже знаем в литературе, автор добавил несколько новых и интересных черт. Мы хотели также в нашем пересказе показать природу художественности у В. Закруткина: писатель силен своей способностью видеть большие, основные черты жизни в ряде частных, конкретных, многообразных проявлений, характерных для определенного времени, для определенного круга людей. Определенность времени и «человеческого материала» несколько не приводит у него к узости — писатель показывает нам, сколько здесь заключено богатейших социальных и индивидуальных возможностей.

Нам еще придется говорить о том, насколько полно использованы в романе эти возможности с точки зрения развития отдельных характеров и общего действия. Но сейчас мы хотели бы подчеркнуть, что Виталий Закруткин — художник, потому что он любит свою «натуру», подлинную жизнь, и способен «поднимать целину»: открывать в действительности нечто значительное, другими художниками не увиденное.

Наше утверждение мы хотели бы подкрепить анализом еще одного из второстепенных и еще одного из главных персонажей.

В первой главе, где рассказано о страшном бедствии, постигшем нашу страну, — о голоде 1921 года, внимание читателя останавливает на себе эпизодическая фигура старого попа, отца Никанора, разъезжающего по селам хоронить умерших.

«Чтобы хоронить по обряду, никто в семье не препятствует?» — спрашивает он, входя в дом. «Не понимаю, батюшка...» — отвечает ему родственница покойного. «Безбожников у вас нет? — раздражаясь, спросил священник. — Может, есть коммунисты или же комсомольцы, которые против обряда?» Ему отвечают, что «безбожник» в семье есть, это сын покойного, но он уехал за хлебом. Можно хоронить.

У читателя сразу возникает представление об этом попе как о враге новых порядков, о человеке крайне озлобленном, но достаточно хитром и осторожном, чтобы не лезть на рожон, а уступать, где надо, дорожку и, вероятно, вредить исподтишка.

Но вот, закончив отпевание, «придерживая дрожащими пальцами крест на груди,

комкая епитрахиль, священник пробормотал:

— Куда поедет, дьяче? Опять хоронить? А нас с тобой кто похоронит? Некому будет нас хоронить, и околеет мы, как голодные псы, на дороге.

...Взглянув на людей воспаленными, горячими глазами, поп направился к выходу. За ним потянулись испуганные люди».

И вот уже перед нами начинает вырисовываться не душевно мелкий и тупо озлобленный — из консерватизма ли или из корыстных побуждений — враг всего нового, а характер крупный, суровый, сосредоточенный, беспощадный к себе самому и, как угадывается, правдивый. Мы чувствуем, что этот человек озабочен не только своей судьбой, что он глубоко потрясен общественным бедствием, гибелью миллионов людей и страстно, мучительно хочет узнать: что же значит все это, к чему ведет непонятный и страшный ему перелом в жизни всего народа? Этой краткой сценой читатель подготовлен к дальнейшему — к тому, что мы узнаем об отце Никаноре позднее: когда Советская власть предпримет конфискацию церковных ценностей, чтобы помочь голодающим, он выступит против саботажников этого решения, произнесет проповедь, призывая прихожан жертвовать голодающим все ценности вплоть до предметов религиозного культа, и сам сдаст властям утварь и оклады с икон своей церкви.

Конечно, краткая сцена, которую мы привели, еще не делает такой шаг для него неизбежным, она делает его лишь возможным; но именно это и хорошо, потому что взгляды и представления отца Никанора развиваются в романе как бы сами по себе, без вмешательства автора, и в то же время в них своеобразно, в форме религиозных размышлений, отражается частица действительного общественного сдвига тех лет.

К открытиям писателя принадлежит и образ того «безбожника», чей отец умер от голода в первой главе романа, — фельдшера Дмитрия Даниловича Ставрова, одного из главных лиц в романе.

Демобилизованный после гражданской войны, Дмитрий Ставров забрал свою семью — отца, жену, детей, невестку — из разоренной голодающей деревни и повез всех с собой, в поисках работы и хлеба, по чужим местам. Наконец, видя, что выбраться из полосы голода не удастся, этот решительный и мужественный человек от-

казался от дальнейших попыток и остался жить там, где у него уже появилась одна редная могила — могила отца. Этой местностью оказалась глухая деревня Огнищанка. Население ее измучено голодом и болезнями; фельдшер здесь — человек нужный. Сельсовет старается, сколько возможно, поддержать его семью. К тому же сам Дмитрий Ставров благодаря своему трудолюбию и пониманию сельского хозяйства, получив на большую семью много земли, заставляя работать и жену и детей, через год-два укрепил свое хозяйство, увеличил свой достаток наравне со всей деревней и даже быстрее, чем вся деревня. И вот создается сложное положение: дети подросли, пора посылать их в город, в семилетку, а без них в поле некому будет работать. Фельдшер идет к Длугачу советовать: «Если я весной и осенью принайму человека, не будет ли на это возражения?» Председатель отвечает, что, поскольку Дмитрий Ставров «трудящийся работник по медицине», никаких возражений нет; «а все же я тебе не советую нанимать посторонних. Почему? Потому, что по всей деревне и по хуторам треп пойдет, что, дескать, огнищанский фершал батраков держит и окулачивается. Ясно?» — «На чужой роток не накинешь платок», — сердито отвечает фельдшер. Однако от мысли о подсобном наемном труде он отказывается. Что же делать? Работать в супраге с соседями он не хочет; хотя они люди хорошие, но его хозяйство сильнее, ему невыгодно. Переезжать в город, бросив с таким трудом созданное хозяйство, ему и жаль, да и действительно трудно: на одну его зарплату семья могла бы жить лишь впроголодь.

Думаем, читатели согласятся с нами: тип такого вышедшего из крестьянства и вновь «омужичивающегося» интеллигента любопытен и в литературе еще не известен.

К концу первой книги романа мы оставляем фельдшера Дмитрия Даниловича Ставрова в трудном положении. Сыновей он учит поочередно, и это плохо отражается на их образовании; вкладывая каждую копейку в хозяйство, он не позволяет подросшим мальчишкам и одеться получше, ставя их в неловкое положение перед товарищами. Юноши, сами любящие труд на земле и научившиеся гордиться своей крестьянской сноровкой, все же начинают тяготиться непосильным трудом и про себя возмущаться прижимистостью отца. Глядя на

вечно утомленных и отрываемых от школы детей, начинает чуждаться Дмитрия Ставрова его любящая жена; прежние сердечные отношения между ними не могут сохраниться еще и потому, что Ставров перестает о чем-либо разговаривать в семье, кроме хозяйственных дел.

Изображая эту ситуацию, В. Закруткин, к счастью, не понимает ее слишком прямолинейно — как якобы неизбежный для каждого крестьянина переход от зажиточности к окулачиванию. Это верно лишь в применении к целому социальному слою, но далеко не всегда — к отдельным людям. Причислить фельдшера к «своим» был бы рад кулак Антон Терпужный, но, во-первых, как ни умен и тверд в делах Ставров, кулак его все-таки умеет надуть, а во-вторых, фельдшер, уважая Терпужного за то, что тот «землю понимает», нисколько не хочет ни лично с ним сблизиться, ни, тем более, ему уподобиться; он слишком горд сознанием, что его достаток — дело его собственных рук. Он человек безусловно советский.

Изображение жизни Дмитрия Ставрова во всей ее сложности — несомненное достоинство романа. Но достоинство относится здесь главным образом к изображению объективной ситуации, в которой этот человек оказался, и тех личных качеств, которые образуют его своеобразную, внутренне противоречивую, но цельную индивидуальность. Что же касается развития мировоззрения и характера Дмитрия Ставрова, то здесь В. Закруткин как писатель слабее. Это можно с достаточной наглядностью показать, сравнив несколько эпизодов из различных глав первой книги. И анализ этот имеет значение, относящееся не только к данному персонажу непосредственно: мы попытаемся при помощи него также выяснить, чем же именно пожертвовал автор, расширяя материал своего романа до всеобъемлющего охвата всемирных событий. Другими словами, мы попытаемся выяснить, в какой мере этот охват приводит к действительно эпической «полноте объекта», а в какой он является прежде всего внешним расширением границ повествования, причиняя ущерб идейно-художественной полноте главных из составляющих его элементов.

Напомним прежде всего, что в первые дни пребывания семьи Ставровых в Огнищанке там чуть не был убит Терпужный, его родней и подпевалями красноармеец

Николай Комлев. Страшная сцена самосуда и то крайнее напряжение, с которым проявилась в ней классовая ненависть, были тогда по-своему правильно восприняты даже малолетними детьми Ставрова. Можно ли сомневаться, что смысла такого события не мог не понять их отец, Дмитрий Ставров? Ведь и причины и обстоятельства дела были вполне ясны.

Об этом рассказано в первой главе романа. А в главе седьмой мы читаем, что, выслушав слова старого пастуха, деда Силыча, о том, что бедноте, получившей землю, нечем ее обработать и засеять, приходится ей снова на кулака батрачить или свой надел ему в аренду сдавать и что нет другого выхода мужикам, как объединиться, совместно купить косилку-самоскидку, быка-производителя и т. д., «Дмитрий Данилович... впервые почувствовал, что в захолустной, маленькой, тихой и мирной на вид Огнищанке... идет глухая, затаенная, но яростная борьба. Он не понимал смысла этой борьбы, она казалась ему давней распрей чего-то не поделивших односельчан, и он с облегчением всегда думал: «...меня это не касается».

Странное непонимание у человека совсем неглупого и видящего своими глазами, что происходит в деревне, знающего, что происходит в стране!

Конечно, особое положение какого-либо человека, его личные особенности, взгляды и связи могут повлиять на то, какую позицию он займет в борьбе (хотя бы этой «позицией» было и желание от борьбы уйти); но именно непонимание — да еще такое непонимание — в данном случае, у такого человека, совершенно невозможно. Никакой «ограниченностью частного собственника» его объяснить нельзя.

Допустим, однако, эту странность. Поверим на минуту автору, что Дмитрий Ставров действительно впервые почувствовал классовую борьбу в Огнищанке лишь через два года жизни в ней. Что же с ним случилось после этого?

А вот что. «Впервые почувствовав... яростную борьбу» в своей деревне, «...Дмитрий Данилович отрянул брюки, окликнул сыновей и вновь зашагал по глубокой, ровной борозде. ...«Чудак! — подумал Ставров, вспомнив деда Силыча. — Косилку, говорит, сообща купить... Я вот сам, если уродит хлеб, куплю косилку, без всякой

складчины... На что мне сдалась эта складчина?» Подгоняя коней, он весело, залиристо засвистал».

Вот и все. В одну минуту в Ставрове произошел переход от непонимания к пониманию; и так же мгновенно совершился возврат от нового понимания к прежнему непониманию.

Такие же движения повторяются в сознании Дмитрия Ставрова неоднократно. Приведем еще один, по нашему мнению, показательный пример (из второй главы второй части).

После разговора с Антоном Терпужным о меновой сделке между ними (обмен сортовыми семенами) Ставров чувствует острое недовольство собой: «Уже давно Дмитрий Данилович начал замечать в себе какую-то неприятную жадность... Он жалел, что корова привела не телочку, а бычка... часами ходил по бахче, пересчитывал арбузы и дыни и мысленно прикидывал, сколько денег за них можно взять на базаре. За каждый расклеванный воронами арбуз, за каждый сломанный початок кукурузы Дмитрий Данилович ругал сыновей последними словами, а под горячую руку и поколачивал». Он вспоминает и о том, что, принимая в амбулатории больных, он все чаще «чувствовал, что растущее хозяйство мешает ему, что он стал мало читать, меньше интересовался медицинскими новинками».

Ставров задумывается над этим и над тем, что вот люди бывают такие несхожие: Терпужный только и стремится что к богатству, к своему господству, а дед Колосков (пастух Силыч) добивается правды для всех крестьян. «Подумав это, Дмитрий Данилович вдруг почувствовал, что он, фельдшер Ставров, сын полунищего мужика, тоже стал чем-то похож на Терпужного — то ли хозяйской цепкостью, то ли жадностью, то ли скуповатостью, над которой втихомолку потешались дети».

Он замечает также, что его жена Настасья Мартыновна «осунулась, похудела, на ее темном от загара лице появились морщины», «а она ведь и не жила еще понастоящему...» Эта мысль его потрясла. Он как бы очнулся. И он говорит жене не слышанные ею прежде, изумляющие ее слова: «Ладно, Настя, — сказал Дмитрий Данилович... — вернется Андрей, отправим Романа и Федю учиться, а хозяйство начнем помаленечку свертывать. Ни к чему оно нам сейчас...»

Как видит читатель, человек переживает серьезный душевный кризис. Но — «утром же, как всегда, Дмитрий Данилович на заре разбудил сыновей и послал их в амбар веять овес, почистил конюшню» и т. д. «От его вчерашнего настроения не осталось и следа».

«Не осталось и следа...» Вот в этом-то и все дело.

Конечно, мы не осуждаем автора за то, что он не заставляет своего героя сразу переродиться под влиянием какого-то одного случая или разговора, под влиянием внезапно открывшейся ему истины. Заметим, однако же, что и такие случаи возможны и, вероятно, каждым наблюдались в жизни, а в литературе катастрофически резкие переломы всего отношения человека к себе и другим, к своему поведению и поступкам нередко встречаются в произведениях великих реалистов — у Гоголя, у Достоевского, у Чехова. Дело не в быстроте перемены, а в том, как она согласуется с характером действующего лица и насколько она реалистически мотивирована всем ходом событий и служит выявлению жизненного содержания.

Воля автора — вести развитие постепенно или резкими скачками. Однако есть ли необходимость писать огромную многофигурную картину, сопоставлять один из главных в ней человеческих образов с другими фигурами и средой, притом среди бушующей революционной борьбы, и все это только для того, чтобы изобразить минутное душевное состояние одного человека или хотя бы и десятка людей? На то есть другие, гораздо более скромные средства — например, небольшой психологический очерк, этюд. В произведении же такого масштаба, который избран Виталием Закруткиным, «состояниям» может принадлежать лишь подчиненное место. Все главное в нем должно быть в движении, все главные сопоставления и столкновения должны давать какой-то новый результат. И большой грех художника, если в его описаниях движется, изменяется преимущественно «ситуация», «среда», люди же остаются неподвижными. Ведь люди — основной объект художественного изображения, и в них автор прослеживает «сотворение мира» больше всего. Если нет движения в сознании, в психологии людей, то и материальная среда, общественный «фон» приобретают в произведении искусства в большой

мере неподвижный характер, лишаются действительности.

Между тем в рассказе о Дмитрие Ставрове — о человеке, в чьем характере и социальной судьбе заложено столько возможностей для развития, мы видим странную статичность.

Развивается хозяйство Ставрова — и развиваются связанные с ростом хозяйства трудности, встающие перед самим фельдшером и его семьей. Но мировоззрение, характер Ставрова в романе не развиваются, а лишь колеблются, как маятник, возвращаясь на одно и то же место. Поэтому, несмотря на ряд верно найденных отдельных черт, он не становится в полной мере живой личностью, художественно живым образом.

Подобного же рода повторения (колебания маятника все в тех же пределах, замещающие развитие), а также отдельные крупные и мелкие просчеты, когда дело идет об изображении сознательной жизни и характеров, обнаруживаются при мало-мальски внимательном чтении и в других персонажах романа. Например, Максим Селищев (одна из самых интересных в книге фигур: казачий хорунжий, против воли попавший в белую армию и эмиграцию) на протяжении всей книги мечется между убеждением, что большевики правы, и ненавистью к большевикам, между желанием вернуться на родину, чтобы помочь народу, и намерением проникнуть туда, чтобы вредить. Правда, здесь есть внешняя мотивировка: авантюрная судьба бросает Селищева в различные страны, ставит его в зависимость от различных сил и людей, а он пассивно приспособляет свои взгляды к обстоятельствам, хотя и остается всегда человеком искренним. Но все же никакими мотивами не оправдывается почти буквально воспроизведение уже пройденного, уже пережитого и передуманного Селищевым. В «Тихом Доне» Григорий Мелехов повторно попадает из одного лагеря в другой, но при этом он не остается прежним; даже возвращаясь в сходное с прежним положение, он чувствует и думает уже иначе, не так, как раньше. А у Максима Селищева этого нет — он, как личность, как характер, такой же «маятник», как и Дмитрий Ставров.

Нельзя не пожалеть об этом; переживания Селищева, вступившего в противоречие со своим белоофицерским окружением, сцена военного суда над ним, некоторые из

эпизодов его жизни в США — все это читается с волнением, с верой в подлинность изображенной писателем жизни. Механичность же идейных и психологических «эволюций» Селищева уменьшает художественную достоверность его характера, расхолаживает читателя.

Старший сын Дмитрия Ставрова, Андрей, — тоже один из главных героев книги — подробнее всего изображен в тот год своей жизни, когда он переживает первую, притом несчастливую любовь. Но как неинтересно и вяло об этом рассказано! Мало того, что с художественной точки зрения одинаково сомнительны и возбуждение поэтического чувства при разглядывании подмышек одиннадцатилетней девочки и цитирование случайно прочитанного огнищанским мальчиком «Вертера»; может быть, еще хуже то явное вмешательство авторской воли, в силу которого мальчик много раз и в почти неизменных выражениях повторяет: она хорошая, я ее люблю; она плохая, я ее не люблю. Рекомендуемый как быстрый ум и яркий характер, он оказывается невозможным скучным.

Мы уже упоминали, что рядом с этим, на наш взгляд, главным недостатком в изображении людей — отсутствием движения, развития — у В. Закруткина попадает немало второстепенных неточностей, также ставящих под сомнение органичность и полноту человеческих образов и взаимоотношений между людьми в его романе.

Приведем пример.

Заклятый враг Советской власти, террорист сотник Острецов, живущий в Огнищанке по подложному документу на имя убитого буденновца, — одна из важных фигур в романе. Но и в его психологическом облике есть странные упущения и противоречия. Характеризуя Острецова, автор пишет: «Речь у него была городская, складная», — и тут же дает образец этой речи: «Ты не думай... что я из каких-нибудь недорезанных беляков. Нет, брат, я всю гражданскую в коннице Буденного отбухал... А вот кончилась война... Соливые комсомольцы в церковных алтарях диспуты с попами устраивают. На черта это все народу?..» Хороша «складная» и «городская» речь! Ведь это явная попытка Острецова поддаться под язык его огнищанских слушателей.

Конечно, характерность прямой речи не единственный, хотя и важный, способ создания индивидуального характера. Одна-

ко продолжение только что цитированного нами диалога показывает, что ошибки в речевой характеристике отражают здесь неясность, неконкретность самых представлений о характере человека, о складе его ума.

На попытку Острецова вовлечь его в антисоветский разговор Дмитрий Ставров угрюмо отвечает: «Так может рассуждать только подлая шкура». Острецов неловко отшутился, замолчал и «после этого разговора... притих и стал относиться к Дмитрию Даниловичу добродушно-насмешливо, отмалчивался и больше расспрашивал Ставрова о семье и о его службе в армии». И буквально тут же, через две страницы, мы читаем, как Острецов, увидев Ставрова, идущего от председателя Пустопольского волисполкома, говорит ему: «Ну, как вам понравился пустопольский губернатор товарищ Долотов?»

Можно ли назвать эту открыто антисоветскую выходку — «притих», «отмалчивался»?!

Встречаясь в романе с Острецовым и дальше, мы не раз видим настолько же непонятную шаткость в изображении характера. Чередуясь, иногда и повторяясь на огромном пространстве романа, эти «движения маятника» затрудняют чтение и часто делают его неинтересным.

Чем объяснить эти недочеты в романе В. Закруткина? Может быть, недостатком художественного таланта у автора? Но ведь и в этом романе есть немало лиц и эпизодов, свидетельствующих о противном. Вероятно, мы не ошибемся поэтому, предполагая, что недостаточная художественная продуманность отдельных фигур есть следствие общей неверной литературной концепции этого произведения, что искомая «полнота охвата» на деле привела к уменьшению реалистической полноты и цельности каждой из составных частей.

Стремясь изобразить связь «сотворения мира» в Огнищанке с творческим процессом истории, идущим во всем Советском Союзе и во всем мире, автор именно эту связь потерял. В книге, например, рассказывается о Генуэзской конференции. Автор напоминает о некоторых забытых деталях этого исторического эпизода. Но к чему это сказано именно здесь, в этом романе? Как эта конференция отразилась на событиях огнищанской жизни? В романе — просто никак. Для того чтобы установить

внутреннюю связь, понадобились бы еще какие-то посредствующие звенья, и, если бы автор занялся этим применительно ко всем рассказанным фактам международной политики, первая книга романа была бы еще много толще. Поэтому автор удовлетворяется установлением хотя бы внешней связи Огнищанки с международным положением и внешней политикой СССР. В. Закруткин делает Александра Ставрова (брата фельдшера) дипкурьером, ездящим в Геную, Варшаву, Рапалло, Лондон, Берлин. Однако и от этого проку мало. Допустим, что Александр благодаря своим поездкам «хорошо знал все, что делается в мире» (хотя, заметим, для этого нет надобности самому всюду бывать); пусть так. Но как это его знание отразилось на состоянии умов его огнищанских родственников и односельчан? Никак. Огнищане не чувствуют своей принадлежности к «большому миру», они мало о нем заботятся. И Александр Ставров не пробуждает в них интереса к нему. Во время своего приезда в Огнищанку он занят лишь своей любовью к жене пропавшего без вести Максима Селищева, больше ничем.

Таким же образом в роман включены все описания международных событий, все упоминания исторических имен. В романе изображены, очерчены или упомянуты коммунисты: Ленин, Дзержинский, Эрнст Тельман, Воровский, Войков, Чичерин, Литвинов, Красин, Вильгельм Пик. Есть здесь и Фридьоф Нансен, Герберт Уэллс, Сакко и Ванцетти. Огромна перечень лиц, враждебных прогрессу: Керзон, Ллойд-Джордж, Пуанкаре, Сидней Рейли, Мосли, Муссолини, Гитлер, Розенберг, Стайнес, Крупп, Рябушинский, Нобель, Манташев, Лианозов, Третьяков, Врангель, Деникин, Кутепов, Туркул, Улагай, Анненков, Скоропадский, Пеглюра, Тютюник, Булак-Балахович, Савинков, Махно, Мамонтов, Шкуро и другие. И все они являются лишь «фоном», независимо от того, больше или меньше о них сказано по количеству страниц или строк. Главные герои романа, главное действие в конкретно изображенных, имеющих длительную связь сценах существуют сами по себе, отделенные от них совсем или связанными литературно-механически. Если автор и рассказывает, что, скажем, у шпиона Сидней Рейли есть жена, дама буржуазного «света» (или «полусвета»), это служит лишь поводом для написания сцен, более уместных в романе типа «Поджигателей»,

но лишь мешает развертыванию того материала, который наиболее ценен в «Сотворении мира».

Уж лучше было бы, если бы автор, выбрав для этого надлежащие места, в публицистической форме освещал общее историческое положение страны, делая сам выводы, которые соотносили бы главный предмет его художественного изображения с очерком движения современной истории в целом. («Война и мир» — бессмертный образец такого обращения с историческим материалом, выходящим за пределы непосредственной связи персонажей с событиями.) Но В. Закруткин почти всегда «беллетризует» свои исторические описания, стараясь характеризовать участвующих в событии или присутствующих при нем людей. Конечно, это не могло привести к удаче, так как, во-первых, характеристики эти, при таком их числе, могут быть лишь чересчур беглыми, а во-вторых, потому, что все достоверные черты берутся автором из литературы и переключиваются из многих книг в его книгу. Не раз, вероятно, на страницах различных произведений, в том числе и популярных детективных выпусков, встречались читатели с такими описаниями злодеев: «Высокий человек с лошадиным лицом и водянистыми, безжизненными глазами. С трудом ворочая длинной челюстью, поглаживая зализанные остатки белесых волос... сказал деревянным голосом: — ...Меня зовут Морис Морисович Конради». Не слышком выделяются также «лица не общим выраженьем» и фигуры буржуазных дипломатов, участников всевозможных конференций и совещаний; по большей части это «чисто выбритые, розовощекие господа в щегольских сюртуках, в смокингах, в аккуратно разглаженных фраках», словно сошедшие на страницы «Сотворения мира» с заурядных плакатов и карикатур.

Эти и подобные им характеристики не наполняются жизнью, ибо, повторяем, связи с жизнью, конкретно изображаемой в основном ядре романа, — обязательной, непосредственно воспринимаемой связи — у большинства исторических событий и лиц в романе нет.

Возьмем процесс эсеров в Москве. Уж такое-то событие, явившееся результатом попытки потерпевшей крах «крестьянской партии» связаться с кулацкими элементами в советской деревне и оторвать крестьянство от Коммунистической партии, могло

бы, казалось, быть изображено в связи с классовой борьбой в Огнищанке, с формированием мировоззрения действующих там лиц. Но этого нет. Описание суда над эсерами и обвиняемых (Гоца и других) остается описанцем. Идеологически, отражаясь в сознании героев романа, это событие не задевает Огнищанку никак, а в так сказать практической политике передается в Огнищанку через связь Острецова с эсером-террористом Савинковым. Но как искусственна и эта связующая нить! Острецов орудует через бандитов, скрывающихся по другим селам и в лесах, живя в Огнищанке лишь сам, а в свою контрреволюционную деятельность он не посвящает из огнищан никого, даже заклётого врага Советов кулака Терпужного. Таким образом, его жизнь в Огнищанке есть лишь местопребывание, проживание, а по отношению к жизни других действующих лиц, через которых выражается главная линия романа, остается фактом внешним и случайным.

Максим Селищев, вербуемый в антисоветские террористические группы главнейшими деятелями контрреволюции прямо или через посредство других лиц, входит в соприкосновение с известными организаторами антисоветских диверсий. Но с Огнищанкой все эти встречи и действия имеют лишь то общее, что война и голод забросили в эту деревню жену Селищева, о чем он сам даже и не знает... Может быть, в одной из следующих книг романа разрозненные линии как-то свяжутся или пересекутся. Но справедливо ли это по отношению к читателю первой части романа?

Беда не в том, что добрая половина книги отдана, таким образом, описаниям, которые не имеют связи с главными героями и взяты так выборочно, распределены по частям и главам романа по такому внешнему признаку (лишь исходя из общеисторической хронологии), что самый этот материал воспринимается не как живая, подвижная картина истории, а как отдельные, разъединенные, неподвижные зарисовки фактов. Конечно, и это намного усиливает впечатление неподвижности, отмеченное нами выше, когда мы говорили о способе изображения в этом романе его главных героев. Но, может быть, еще большая беда в том, что автор, рассеяв свое внимание на столько объектов, лишил себя возможности до конца справиться хотя бы с одной из поставленных перед собой

задач. Он не смог «провести» по роману главных своих героев. То же можно сказать и об исторических фактах.

Мы видим в этом подтверждение не новой, но очень важной истины, которую полезно помнить всегда: глубина и верность художественного воздействия имеют своим источником глубокое и активное отношение художника к жизни. Самая высокая по художественности та форма, которая позволяет жизни проявиться с наибольшей верностью. Если же форма, художественная концепция, предвзято навязывает себя «материалу» как нечто обязательное, хотя бы за счет потерь в глубине изображения жизненной правды,— это форма инертная, косная, уменьшающая творческие возможности автора как с содержательной, так и с художественной стороны. Форма «эпопей во что бы то ни стало» не составляет исключения.

Мы привели примеры того, как, захватывая вширь, В. Закруткин упускает возможность идти вглубь, как от этого теряют конкретность и развитие характеров и судеб, и речь, выражающая особый склад мышления и чувств действующих лиц. Но очень часто художественно неудовлетворительны и те страницы романа, где рисуются факты исторического масштаба:

«Истина заключалась в том, что подавляющее большинство людей изо дня в день работали на фабриках и заводах, на верфях и в шахтах, в полях и в садах, то есть работали сообща, огромной массой, но все те неисчислимые ценности, которые создавала эта огромная масса людей, распределялись не между ними, тружениками, а присваивались ничтожной кучкой эксплуататоров. Так людские жизни, здоровье, пот и кровь превращались в богатства, которыми пользовались лишь очень немногие. И чем больше богатели эти немногие, тем беднее, бесправнее становились массы голодных тружеников.

Маркс и Энгельс открыли эту истину, впервые рассказали о ней людям, возвестили неизбежную гибель капитализма, а Ленин, создавший в обширной, но отсталой стране могучую Коммунистическую партию, указал единственный путь к победе трудящихся. Под руководством Коммунистической партии народы России победили и основали первое в мире свободное государство. С тех пор мрак холодной ночи над людьми стал рассеиваться.



«Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм»,— сказал вождь китайских коммунистов Мао Цзэ-дун.

«Для лозунгов, раздающихся из Москвы,— говорил Сун Ят-сен,— расстояния не существуют. Молниеносно они облетают всю землю и находят отклик в сердце каждого труженика... Мы знаем, что Советы никогда не становятся на сторону неправого дела. Если они за нас, значит истина за нас, а истина не может не победить, право не может не восторжествовать над насилем...»

«Русский народ проложил путь к социализму. Он пробил первую брешь в капиталистической системе... Это величайшее событие вселило радость в сердца всех угнетенных в мире и страх в сердца капиталистов»,— так отзывался о русской революции руководитель американских коммунистов Уильям Фостер.

Когда молодой француз коммунист Морис Торез впервые приехал в Советский Союз, он писал...»

Конечно, приведенные цитаты сами по себе очень ценны и имеют все основания быть в поле зрения художника. Но вводить их в ткань художественного произведения столь упрощенным способом — вряд ли закономерно.

Можно было бы привести еще много примеров идейно-художественных просчетов В. Закруткина в романе «Сотворение мира». Можно было бы легко доказать, что не только события в нем не имеют нужной художественной связи, но и главные персонажи существуют как-то рядом друг с другом, слишком мало взаимодействуя (Дмитрий Ставров и Илья Длугач, пастих Силыч и тот же Длугач и другие).

Можно было бы остановиться и на языковых, стилистических ошибках. Но мы не пишем рецензию на роман.

\* \* \*

Итак, мы пришли к выводу, что почти необозримая широта охвата фактов лишь повредила роману «Сотворение мира». Значит ли это, что мы выступаем против самой формы большого исторического романа? Конечно, нет. К такой мысли нельзя было бы прийти, не вступая в противоречие с реальной историей литературы.

Незачем обращаться к прошлому — Михаил Шолохов дал пример широкой, органически единой, насквозь жгливой современной эпопеи в романе «Тихий Дон». Но в чем источник единства этого произведения? В нем нет ничего существенного, что было бы «фоном», абстрактным в том смысле, что те или иные события общественной жизни произвольно «добавлены» к развивающейся по своим законам жизни действующих лиц. В нем нет людей, нет индивидуальных судеб, которые были бы лишь иллюстрацией к историческим событиям, идущим своим чередом, без связи с действиями и переживаниями героев. В нем нет таких встреч и связей между людьми, которые создаются автором посредством натяжек, трудно допустимых случайностей и лишь для того, чтобы присоединить еще одно событие к перечню других, происшедших в то же время. Шолохов выбрал как предмет художественного изображения такую среду, где, при всей противоположности классовых интересов и различий в личной судьбе, было достаточно широкое поле для взаимодействия. Все выходящее за пределы донских станиц возвращается к ним непосредственно или в виде влияний, изменяющих их жизнь.

Мы не собираемся здесь прибавлять нечто новое к сказанному другими о «Тихом Доне», мы хотим лишь указать на один, на первый взгляд, парадоксальный факт: Шолохов ограничил круг персонажей и событий, а получилось монументальное произведение; он исходил из жизни в одной местности, а вышел на простор всей нашей страны и, следовательно, всего мира. Те же писатели, которые уже в исходном пункте имеют в виду весь мир, рассматривая своих основных литературных героев и все обстоятельства их жизни как его малую часть, писатели, прибегающие к нанизыванию фактов, далеких от непосредственной жизни героев, оказываются постепенно, к концу, более бедными и узкими, чем были в начале.

К сожалению, этих последствий внешней, формальной «эпопейности» не избежал и В. Закруткин в своем «Сотворении мира», в романе, интересном там, где литературная инерция не заглушила искусства, растущего из жизни.



---

---

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

## ЗАМЕТКИ КРИТИКА

### 1. ИСКУССТВО И ПОЗНАНИЕ

**З**а последнее время у нас обозначилось явное оживление в области эстетики. Появился ряд новых работ, развернулись активные дискуссии. Нечего и говорить о том, что успешное развитие марксистско-ленинской эстетики будет иметь весьма серьезное значение. Оно плодотворно скажется на художественной практике, поможет до конца изжить начетничество и догматизм в подходе к искусству и литературе, усилит наши позиции в борьбе с главной опасностью в области идеологии и культуры — ревизионизмом.

Одной из характерных черт последних работ советских специалистов по эстетике является обостренный интерес к проблеме специфики искусства, к особенностям эстетического отношения человека к действительности, к эмоциональной стороне искусства, к таким категориям, как прекрасное, красота, эстетическое наслаждение. Отчасти в этом сказывается естественная реакция на довольно распространенное в недавнее время в эстетике и критике низведение искусства и литературы до степени иллюстрации общефилософских, нравственных, общественно-политических идей, что лишало искусство самостоятельности и силы.

Стремление раскрыть сущность эстетического отношения человека к действительности, показать, чем отличается художественное освоение мира от научно-теоретического, характерно и для выпущенного в этом году Институтом истории искусств Академии наук СССР сборника «Вопросы эстетики».

Авторы сборника, безусловно, правы, когда выступают против отождествления эстетического отношения к действительности с научно-теоретическим, когда ищут специфику искусства не только в форме изображе-

ния действительности или в предмете изображения, но в способе освоения действительности, когда протестуют против узкоутилитарного подхода к искусству и утверждают единство идейно-эстетических качеств в произведениях искусства, неразрывность и слитность в искусстве содержания и эстетической формы. В этом отношении сборник «Вопросы эстетики» делает шаг вперед в разработке насущных вопросов теории искусства.

Но одна существенная тенденция сборника вызывает самые решительные возражения и серьезную тревогу. Я имею в виду игнорирование или недооценку в некоторых статьях сборника познавательной роли искусства и противопоставление эстетического освоения действительности научно-теоретическому.

Особенно в этом отношении выделяется статья молодого ученого В. Тасалова «Об эстетическом освоении действительности». Она вся от начала до конца (несмотря на разного рода оговорки) проникнута полемикой с «эстетиками-гносеологами» и с их «гносеологическим подходом» к сущности искусства. По мнению В. Тасалова, в последние годы в нашей философско-эстетической литературе развилось и стало доминировать ошибочное истолкование сущности искусства в философско-гносеологическом аспекте. «Гносеологическая сущность художественного образа», «художественный образ как форма познания закономерностей предметов и явлений действительности» — эти и идентичные им фразы стали, по словам Тасалова, единственными положениями, в которых для эстетической науки концентрировалась вся сущность искусства. «Философы-эстетики чувствовали себя уверенно лишь на привычном ложе истины», — пишет он, Пренебрежение эстетической спецификой

искусства, утверждает В. Тасалов, приняло у нас будто бы даже «катастрофический характер» и пагубно сказалось на художественной практике. Критика стала судить только о содержании произведений искусства, обходя его эстетические особенности, качество многих произведений искусства минувшего десятилетия стало низким.

Не будем спорить с В. Тасаловым по поводу «катастрофического характера» тех или иных явлений. Очевидно, что здесь в разговоре о состоянии нашей эстетики, критики, искусства он не обошелся без преувеличений и сгущения красок. Но что же он противопоставляет гносеологическому подходу к искусству и литературе, то есть подходу, утверждающему познавательную сущность и значение искусства?

С его точки зрения, «гносеологического искусства» на свете не существует и существовать не может» и основой эстетического способа освоения является не познание действительности, а «творческое созидание», проявление прежде всего предметного трудового творчества человека. Поэтому, по словам В. Тасалова, «теоретическое освоение действительности есть ее логическое познание, эстетическое же освоение есть всегда ее человеческая оценка, осуществляемая через чувственное сознание».

Такова в основном концепция В. Тасалова. Очевидно, что в своей полемике против отождествления теоретического познания и эстетического освоения действительности, в попытке раскрыть и обосновать специфику искусства он пошел не столько по линии исследования вопроса — как осуществляется в искусстве процесс познания мира и в чем его особенности, — сколько по линии противопоставления эстетического гносеологическому, чувственного самосознания и самовыражения — теоретическому познанию действительности.

В. Тасалов настаивает на единстве объективного и субъективного в эстетическом освоении, но в этом единстве явно господствует субъект. Он энергично подчеркивает роль практики в художественном творчестве, но практика отрывается у него от познания сущности и закономерностей развития объективной действительности. При этом особенности архитектуры и различных прикладных видов искусства безоговорочно распространяются В. Тасаловым на все виды искусства, в том числе и на литературу.

Естественно, что статья В. Тасалова изобилует выпадами против оценки произведений искусства с точки зрения отражения действительности, «воспроизведения жизни в формах самой жизни», изобразительности, рассказа о жизни и т. п. По его мнению, момент воспроизведения, отражения картин реальной жизни способен только помещать пониманию эстетической сущности искусства (стр. 94—95).

Не случайно и то обстоятельство, что, перечисляя важнейшие черты искусства, которые являются «критерием эстетической полноценности и качественности любого произведения искусства во всех его видах», В. Тасалов назвал общенитересность и общезначимость содержания и преломление его через субъективность художника, наличие в произведении активного отношения к жизни с передовых мировоззренческих позиций, понимание специфики вида и жанра искусства, современность стилевой характеристики формы, взаимопроникновение формы и содержания, но забыл и совсем упустил из виду такой критерий качественности любого произведения, как правдивость. Но неужели красота возможна без правды?

И неужели В. Тасалов не замечает, что выпячивание «чувственного сознания» и субъективных моментов в искусстве за счет его познавательного значения ведет к приращению реализма, глубины и обобщающей силы искусства и опраздывает любой субъективизм в искусстве натуралистического или формалистического характера?

Вопросу о специфике искусства посвящена и статья Г. Недошивина «К вопросу о сущности эстетического». Точка зрения Г. Недошивина во многом отличается от суждений В. Тасалова и, анализируя особенности искусства, он не упускает из виду его познавательную роль. Но и здесь некоторые суждения представляются нам по меньшей мере спорными. Так, Г. Недошивин, рассуждая об отличиях науки и искусства, утверждает, что понятия и всеобщие законы, с которыми имеет дело наука, будто бы не содержат в себе ни грана «материальной субстанции» конкретных событий и явлений (стр. 35). Зато искусство, по его мнению, как одна из форм практически духовного освоения мира направлено «на реальный мир единичных явлений, в то время как сущности в их всеобщей форме можно мыслить только в понятиях, то есть теоретически» (стр. 41—42). Но ведь каж-

дое из научных понятий, каким бы абстрактным оно ни было, выведено (с точки зрения материализма) из реальной действительности и вовсе не оторвано от всего особенного и конкретного. «Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного», — писал Ленин. А с другой стороны, не только теоретическое мышление, но и искусство обладает силой обобщения и проникновения в сущность явлений и событий. Г. Недошивин и некоторые другие участники сборника совершенно напрасно обходят полным молчанием проблему типического. В этом случае они яснее бы увидели связь между научно-теоретическим и эстетическим освоением мира и правильное оценили бы познавательное значение искусства, как бы различно ни осуществлялось познание и воспроизведение действительности в различных видах искусства.

В той же мере это замечание относится и к статье Л. Пажитнова «Проблемы эстетики в «Экономическо-философских рукописях» К. Маркса». В ней тоже проводится слишком резкая грань между «творчеством истины» и «творчеством красоты», между задачами науки («постигнуть объективную «меру самого предмета») и задачами художественного освоения действительности («способ приобщения индивида к обществу целому, способ осознания самого себя в системе этого целого» и т. д.).

При таком подходе к проблеме специфики искусства оно, естественно, оказывается отделенным китайской стеной от научно-теоретического познания, но зато родственным религии. Л. Пажитнов именно это и утверждает. «Правда, — пишет он, — в религиозном освоении доминирует совершенно особая форма чувственной деятельности — деятельность человеческой фантазии. Но тем не менее в принципе отношение субъекта и объекта оказывается здесь аналогичным тому, которое характерно для художественного освоения» (стр. 132).

Оспаривать эти странные утверждения Л. Пажитнова, пожалуй, нет необходимо-

сти, настолько они далеки от советской критики и эстетики.

Судя по всему, те авторы сборника «Вопросы эстетики», которые игнорируют или недооценивают познавательную роль искусства и литературы, исходят из того, что в нашей эстетике и художественной практике недостаточно учитывалась роль субъективного фактора. В известной степени это так. Но с не меньшим основанием можно сказать, что недостаточно учитывалась и роль объективных факторов, не разрабатывалась (применительно к искусству) ленинская теория отражения, не изучались с должной глубиной проблемы реализма (в особенности социалистического реализма), не раскрывалось в должной мере значение для художественной практики изучения жизни и правдивости изображения.

А между тем — скажем еще раз — искусство при всех его особенностях, при всем его отличии от науки является специфическим видом познания и эстетическая сущность искусства неразрывно связана с его познавательным значением. Коммунистическая партия, классики марксизма-ленинизма, высоко оценивая воспитательную и преобразующую роль искусства, всегда видели в нем и могучее средство познания действительности. Н. К. Крупская рассказывала в своих воспоминаниях: «Ильич хорошо знал русскую литературу — она была для него орудием познания жизни. И чем полнее, всестороннее, глубже отражали художественные произведения жизнь, чем проще они были, тем больше ценил их Ильич».

Изучение и утверждение познавательного значения искусства тем более необходимы в настоящее время, что отрицание ленинской теории отражения и в связи с этим принципов реализма, пропаганда модернистского субъективизма в искусстве стали одними из главных «идей» современной реакционной и ревизионистской эстетики. Естественно, что любая попытка игнорировать или недооценить познавательное значение искусства вызывает самые решительные возражения.

## 2. ЯСНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА!

Нетрудно увидеть, что противопоставление эстетического освоения научно-теоретическому познанию и мышлению с неизбежностью ведет не только к принижению реализма, но и к умалению роли мировоз-

зрения в художественном творчестве, к безуспешным попыткам осмыслить «эстетическое» в отрыве не только от объективной действительности, но от философских, общественно-политических, нравственных идей и

представлений. В таком случае поиски спецификации искусства и борьба против иллюстративности в искусстве принимают ошибочный, односторонний характер. В частности, в выступлениях против иллюстративности нередко «забывается» очевидное различие между ложными идеями, пагубно влияющими на искусство, и правильными идеями, помогающими искусству глубже понимать и изображать жизнь.

И здесь возникает важнейший вопрос о значении коммунистической партийности для художественного творчества. Точка зрения деятелей советского искусства по этому вопросу известна: партийность — краеугольный камень нашей эстетики и основа нашего искусства. Программное и непреходящее значение имеет статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», где развит и обоснован принцип партийности литературы.

Смысл и содержание работы В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» необычайно глубоки и многогранны. В ней нашли отражение внутрипартийная борьба своего времени и насущные запросы литературного движения. В ней определены задачи партийной печати и партийных литераторов и решены важнейшие проблемы художественного творчества. Нельзя все положения и формулировки статьи В. И. Ленина оторвать от исторической почвы и механически перенести в современную эпоху (как это в свое время сделал А. Белик), но еще более невозможно отодвинуть ее в историю и лишить современного и непреходящего значения. В своей статье В. И. Ленин выступил против торгашеских литературных отношений, буржуазно-анархической «свободы творчества» и интеллигентского индивидуализма «литераторов-сверхчеловеков». Он утверждал, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», и противопоставил литературе, мнимо и лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературу действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом и его партией. Пророчески характеризовал В. И. Ленин в своей статье основные черты новой, подлинно народной и подлинно свободной литературы социалистического общества. Вполне естественно, что выдающаяся работа В. И. Ленина сохраняет и по сей день всю свою силу и нисколько не утратила своего боевого значения в наше время.

И не удивительно, что именно ленинский

принцип партийности искусства — статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» подвергаются самым ожесточенным атакам со стороны современных ревизионистов. Они прилагают все усилия к тому, чтобы доказать, что работа Ленина адресована лишь литераторам — членам партии и имеет исключительно внутривнутрипартийное и чисто историческое значение. Об этом писал Г. Лукач, в таком же духе не столь давно высказался югославский критик Б. Зихерл. По мнению последнего, статья В. И. Ленина не адресована писателям и художникам вообще, а предназначена только для литераторов-партийцев.

К сожалению, и наши попытки раскрыть богатое содержание и огромное значение работы В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» не всегда бывают удачны и правильны. Так, Я. Строчков увидел в статье В. И. Ленина лишь отражение внутривнутрипартийной борьбы периода первой русской революции и выводы организационного характера (см. журнал «Вопросы истории», 1956, № 4, и «Литературную газету» за 10 января 1957 года). Выступления Я. Строчкова были подвергнуты единодушной критике в нашей печати. В передовой журнала «Коммунист» (1957, № 3) по этому поводу было сказано:

«Ленинская статья «Партийная организация и партийная литература», которую мы считаем программной, уже в период своего появления имела не только конкретное внутривнутрипартийное, а и более широкое значение. Не случайно против нее сразу же ополчились защитники «чистого искусства»... Не видеть этого — значит искусственно ограничивать боевой характер статьи как для той эпохи, так и особенно для нашего времени».

Однако довольно неожиданно точка зрения Я. Строчкова получила поддержку. Мы имеем в виду статью С. Старца «Нужна ясность» (см. журнал «Дон», 1958, № 1), в которой обедненное, суженное истолкование смысла и значения статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» получило дальнейшее развитие.

Нельзя сказать, чтобы в статье «Нужна ясность» не было верных мыслей и положений. С. Старец убедительно возражает против попыток разорвать статью В. И. Ленина на две самостоятельные части, одна из которых посвящена партийной литературе и ее подчинению партийному контролю, а дру-

гая — партийности литературного творчества в широком смысле слова. Он справедливо утверждает единство и цельность содержания этой статьи. Раскрывая сущность ленинского принципа партийности литературы, он правильно подчеркивает огромное значение партийного руководства для социалистической литературы.

Но в целом статья С. Старца имеет упрощенный, однобокий характер.

Прежде всего С. Старец присоединяется к уже знакомому мнению о том, что статья В. И. Ленина адресована исключительно литераторам — членам партии. Он даже склонен согласиться в этом отношении с Борисом Зихерлом. «...Мнение Бориса Зихерла, — пишет он, — содержит в себе долю истины: Ленин действительно адресовал выдвинутые в его работе требования к писателям-партийцам» (стр. 125).

Больше того, С. Старец считает, что в буржуазном обществе принцип социалистической партийности может соблюдаться по сути дела только писателями-партийцами или, во всяком случае, «почти исключительно в рамках пролетарской партийной печати» (стр. 124).

Выходит, что дореволюционные произведения Горького или Серафимовича только тогда отвечали требованиям партийности, когда появлялись на страницах партийной печати? Выходит, что беспартийным писателям в условиях буржуазного строя почти совершенно заказана дорога к созданию художественных произведений, проникнутых коммунистической идеей?

Упрощенный и сектантский характер такой «интерпретации» статьи В. И. Ленина и принципа коммунистической партийности ясен и не нуждается в пространном опровержении.

Известный партийный документ «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» утверждает, что «Партийность в художественном творчестве определяется не формальной принадлежностью художника к партии, а его убеждениями, его идейной позицией», а С. Старец пытается доказать, что программная работа В. И. Ленина, разъясняющая и обосновывающая принцип партийности литературы и искусства, имеет отношение только к литераторам — членам партии.

Важно понять, как С. Старец пришел к своей точке зрения. И здесь он не слишком оригинален. Дело заключается в том, что принцип партийности литературы С. Старец понимает узко, односторонне и придает ему

чисто организационный смысл. Он словно забывает о том, что партийность того или иного произведения искусства заключается в его содержании и социально-политической направленности, что В. И. Ленин, говоря о социалистической партийности литературы, имел в виду не только партийное руководство литературой, но участие литературы в борьбе народа, неразрывную связь литературы с революционной мыслью и живой работой пролетариата. Еще в полемике со Струве Ленин очень точно определил сущность партийности: «...материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» (т. I, стр. 380—381). Зачем же запутывать ясный вопрос?

Но С. Старец идет еще дальше: солидаризируясь с Я. Строчковым, он видит в статье В. И. Ленина по преимуществу «дисциплинарные» требования. «Статья Ленина представляла собой партийную директиву», — пишет он. Об известных словах Ленина — «литературное дело должно непременно и обязательно стать... частью социал-демократической партийной работы» — С. Старец говорит, что они сказаны «в категорическом тоне» и что «это не совет, не доброе пожелание, а именно требование дисциплинарного характера».

Однако не слишком ли далеко зашел С. Старец?

Превратив статью В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» в партийную директиву дисциплинарного характера, С. Старец не только сужает и обедняет смысл статьи, но и ограничивает ее значение для нашего времени.

Здесь С. Старец вправе возразить, что в условиях советского строя принцип партийности, по его мнению, распространяется не только на литераторов-партийцев, но и на беспартийных художников. Верно. Но, во-первых, это несколько не оправдывает одностороннего толкования С. Старцем статьи В. И. Ленина, а во-вторых, не меняет основного смысла его «концепции». И в условиях социалистического общества С. Старец партийность литературы сводит исключительно к партийному руководству и контролю. Только теперь принцип партийности «значительно расширяет сферу своего действия сравнительно с буржуазным обществом». Поэтому, по словам С. Старца, «в социалистической литературе

принцип партийности выступает прежде всего как необходимость, с которой обязаны считаться не только писатели, приемлющие его всем сердцем, но и те, кого этот принцип почему-либо не устраивает». И даже сердечная привязанность писателей к партии, по убеждению С. Старца, может быть доказана не чем иным, как только подчинением партийной дисциплине. «Как иначе может быть доказана эта их сердечная привязанность?» — спрашивает он.

Ему и в голову не приходит, что, кроме дисциплины, доказательством сердечной привязанности писателей к партии является создание ими высокохудожественных произведений, партийных по своему содержанию и направлению, что партийность означает коммунистическую идейность.

В результате сама политика партии в области литературы и искусства предстает в выступлении С. Старца в неверном свете. Партия считает важнейшей задачей воспитательную работу среди художественной интеллигенции, а С. Старец выдвигает на первый план — и этим ограничивается — партийный контроль. Партия утверждает, что главным методом воспитания художественной интеллигенции был и остается метод убеждения и разъяснения, а С. Старец упирает на требования дисциплинарного характера.

Он даже про Некрасовское изречение «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» пишет, что оно «ставило вопрос (!) о назначении поэта не в плане добровольности, а в плоскости (!) дисциплинарной» (стр. 126).

Он даже в стихах Маяковского «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс» не видит ничего, кроме проявления дисциплины. Мудрено ли, что, сам того не сознавая, он возводит напраслину на Маяковского, когда утверждает, что поэт «упор на агитационную лирику делает в силу общественной необходимости, а не потому, что предпочитает этот жанр всем другим».

Как видно, ленинский принцип партийности литературы и искусства до сих пор подвергается таким толкованиям, которые должны быть решительно отвергнуты. Упрощенное понимание партийности искусства может принести очень большой вред самым различным областям литературного дела.

Сошлемся, например, на получившую печальную известность статью В. Архипова «К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Автор статьи тоже ратует за ленинский принцип партийности литературы и сетует по поводу того, что «некоторые литературоведы» забыли о нем. Но его утверждения, что Тургенев — предшественник и чуть ли не соратник «Вех», а роман «Отцы и дети» по своей направленности — то же самое, что и статьи вехистов, конечно, не только не имеют ничего общего с ленинским подходом к литературе, но и не могут быть предметом полемики. Их абсурдность очевидна. В. Архипов, видимо, жаждет славы Герострата. Только этим и можно объяснить ту крайнюю степень вульгаризации принципа партийности литературы, которая характеризует его статью.

### 3. О РОМАНЕ «БРАТЬЯ ЕРШОВЫ»

Теперь попытаемся от теории литературы перейти к художественной практике. Сделать это нелегко, отчасти, вероятно, и потому, что они и в самой жизни, в литературном развитии, соединены не столь постоянно и крепко, как хотелось бы.

Активное обращение к большим темам и проблемам современности является едва ли не самой характерной и положительной чертой литературы наших дней. Весьма показателен в этом отношении роман Всеволода Кочетова «Братья Ершовы», уже вызвавший горячие споры.

Читается роман В. Кочетова с интересом. Не потому, что любопытно разгадывать различные внутрилитературные намеки и

угадывать прототипы некоторых персонажей, а потому, что роман ставит такие современные вопросы, которые не могут не волновать каждого советского человека: вопросы, связанные с историческими решениями XX съезда партии, с борьбой против ревизионизма, с положением в литературе и искусстве.

Роман В. Кочетова — идеологический роман, а это жанр весьма важный с точки зрения перспектив развития нашей литературы, ибо у нас выходит немало книг описательных, избегающих острых мыслей, идейных конфликтов, серьезного разговора на современные темы. «Братья Ершовы» — одно из свидетельств того, что такие недо-

статки нашей литературы, как бесконфликтность, уходят в прошлое.

В. Кочетов в своем романе борется против ревизионистских шатаний, против попыток использовать борьбу партии за преодоление культа личности и его последствий для дискредитации Советского государства, Коммунистической партии, нашего искусства и литературы. Он убежденно выступает в романе за коммунистическую идеологию, социалистический реализм в искусстве и литературе. Это важное достоинство романа, ибо иной раз у нас писались и пишущая произведения с объективистскими и даже вредными идейно-художественными тенденциями, и необходима борьба за усиление идейной вооруженности нашей литературы.

Положительной чертой В. Кочетова как писателя, сказавшейся и в этом произведении, является обращение к изображению рабочего класса нашей страны. Поставив в центре повествования семью Ершовых, сделав ее решающей силой событий, показанных в романе, он пошел по плодотворному пути, ибо изображение рабочего класса, все более глубокое освоение рабочей темы является важнейшей и сложной задачей нашей литературы.

Вместе с тем очевидно, что сильные стороны романа определяются талантом писателя. Такие сцены романа, как некоторые встречи Дмитрия с Лелей, смерть Горбачева, полны настоящего драматизма и свидетельствуют о больших возможностях писателя. Такие образы, как Дмитрий Ершов, Леля, Горбачев, принадлежат к числу достижений романа. Многие верно угадано и в образах Томашука, клеветника Крутилича, худрука театра и других. Горбачев и Чибисов куда ярче и жизненнее, чем секретарь обкома и директор завода в «Журбинских». Иначе говоря, дело не только в идейной направленности романа, но и в художественном исполнении.

В частности, как это ни спорно, — в языке романа. В романе довольно много небрежных, неряшливых фраз, разговорного сырья — это несомненно. Но следует обратить внимание и на другое — на жизненность и современность языка романа в целом. В известном смысле язык этот предпочтительнее, чем язык иных произведений, написанных как бы и правильно и даже изящно, но скорее языком книжным и слегка омертвевшим, чем живым, непосредственным и современным.

Таковы достоинства романа В. Кочетова. Более подробно о них уже писалось в статьях Ю. Жданова, Мих. Алексева, П. Строкова. Но думается, что анализ «Братьев Ершовых» в этих статьях имеет однобокий характер и обходит молчанием слабые стороны романа. Представляется, что роман дает неоправданно неполное изображение действительности, предлагает не совсем правильные и продуманные решения некоторых важных вопросов, а с художественной стороны — далеко не лишен промахов и недостатков.

Вот читатель подошел к концу романа, и автор вместе с главным героем романа Дмитрием Ершовым подводит итоги изображенному событиям и судьбам, прожитому времени. «Кончилось трудное хмурое время. Год был с гнилыми оттепелями, со слякотью, с насморками и гриппами, со скверными настроениями». И по ходу романа два утверждается: плохая погода, когда заводится разная гниль, «когда слякоть и дождь. Оттепель когда, словом».

И действительно, в романе по преимуществу «плохая погода». Горбачев, секретарь горкома, погибает; Платона Ершова, старого мастера, «взашей выперли» с завода; инженер Искра Козакова лишена квартиры и оклеветана; директор завода Чибисов «окружен» и «обложен» со всех сторон; секретаря директора Зою Петровну запутали и довели до болезни. На заводе торжествуют и преуспевают Орлеанцев, Крутилич, Воробейный. Как тут не быть «скверному настроению»? И только в конце концов (и не без случайности, если вспомнить историю с подложной запиской) побеждает правое дело. Но, так или иначе, автор буквально не находит слов для характеристики того тяжелого положения, в котором оказались его положительные герои. Их «шельмуют», «травят», «перемалывают», «сжирают», «загоняют в петлю», «окружают», «вырывают с корнем» и т. д. «Идет буря», «дует всесжигающий ветер», действуют «злые силы», влияние которых проникает повсюду. Таковы слова, сказанные в романе, такова изображенная в нем ситуация. Хорошо, что в последних главах произведения кончилось это «трудное хмурое время».

Не станем оспаривать картины, нарисованной писателем, хотя краски здесь явно сгущены. Но читателя может заинтересовать другое: а что было в то время, которое описывает автор, кроме «плохой погоды»,



«дождя», «слякоти» и «скверного настроения»?

Когда происходит действие романа? Оно начинается в конце 1955 года, разворачивается в 1956 году и кончается в начале 1957 года. В это время действительно поднимает голову международный ревизионизм, происходит контрреволюционный мятеж в Венгрии, идут ревизионистские атаки на Советское государство, на нашу идеологию, на наше искусство и литературу, ревизионистские идеи проникают и в нашу страну. Нельзя было преуменьшать опасности, угрожавшей делу коммунизма. Партия дала отпор вражеским проидам, подвергла принципиальной критике ревизионистские шатания. Все это широко показано в романе В. Кочетова.

Но самым главным, всемирно-историческим событием этого времени был XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Он имел небывалое и самое всестороннее значение, вызвал огромный политический, производственный, духовный подъем в стране, расцвет народной инициативы, внес много нового в жизнь советского народа. На основе решений XX съезда партии были уже в 1956 году одержаны большие победы в промышленности и в сельском хозяйстве, во всех областях жизни и труда советских людей. Состоявшийся в декабре 1956 года Пленум ЦК партии констатировал, что за истекший год «советская страна стала еще более сильной, выросла ее экономическая и оборонная мощь, повысилось материальное благосостояние народа».

Можно утверждать, что эта сторона жизни советского общества нашла весьма слабое отражение в романе В. Кочетова, отражение чисто информационное и невыразительное. И об этом нельзя не пожалеть, ибо картина, нарисованная в романе, стала бы куда более полной. Вместе с тем изменились бы, несомненно, и самая тональность романа, и характеристика «погоды» того времени, и «настроение» автора и его героев. Да и самая борьба с ревизионизмом стала бы на более твердую почву. Так что речь идет в данном случае не только о том, чего нет в романе, но и о том, что есть в нем, об углублении и уточнении замысла самого автора.

Исключительную роль сыграл XX съезд партии в развитии советской, социалистической демократии. На основе решений съезда проводилась ликвидация культа личности и его последствий, укреплялась

социалистическая законность, восстанавливались ленинские нормы партийной жизни. Критика культа личности и ликвидация его последствий вызвали глубокие переживания и раздумья у советских людей и были горячо поддержаны нашим народом и зарубежными друзьями Советского Союза.

Однако и эти важнейшие стороны жизни советского общества не нашли надлежащего отражения в романе «Братья Ершовы». Правда, в романе говорится о возвращении на завод Воробейного и реабилитации каких-то личностей, которые как были негодьями, так негодьями и остались. Правда, Орлеанцев, Томашук, Воробейный шумят о ликвидации последствий культа личности, о преодолении несправедливости, костности и догматизма, о переменах к лучшему. Но, как понимает и показывает сам автор, это отнюдь не те факты и отклики, которые характеризовали огромную работу, проведенную партией по разворачиванию социалистической демократии. Других же фактов и откликов в романе мало, почти нет, и об этом опять-таки нельзя не пожалеть, ибо они дали бы возможность писателю более глубоко передать «дух» и «атмосферу» времени.

Трудно безоговорочно принять и нарисованную В. Кочетовым картину положения дел в искусстве и литературе. Не слишком ли она безотраднa?

На самом деле. В литературе ничего не видно, кроме изданий, в которых печатаются произведения, чернящие советскую действительность, и разные ревизионистские статьи и очерки вроде «Записок инженера» Орлеанцева или «Сталь и стиль» какого-то «мрачного автора». Наезжающие из столицы писатели все как один заражены желанием «вскрывать, разоблачать, искоренять»...

В театре царит «мерзость», «белиберда» и «омещанивание». Идут пьесы, в которых нет ни крупных героев, ни больших идей, а есть только хлюпки разного сорта. Дело доходит до того, что старому актеру Гуляеву приходится самому, в содружестве с техником-радиотом Алексахиным, сочинять пьесу о Ершовых. Она даст возможность театру сплатить долг перед зрителем-тружеником и вернуть театр на позиции революционной идейности. Создание пьесы актером и Алексахиным выглядит,

кстати сказать, крайне наивно, неправдоподобно.

В живописи господствуют или помпезность, или быговщина, или формалистические изыски. Все рассчитано на «прожирателя», на меньшинство. Законодателем выступает салон «художницы-вещуньи». Народ на художественную выставку не идет. Единственный просвет — портрет Дмитрия Ершова, написанный Козаковым.

В критике «ловкие статейки» и «брюзжанье по поводу всего истинно-народного, истинно-партийного и художественного».

Но верно ли все это? Не нужно уменьшать масштабы ревизионистских шатаний и отклонений от главного направления нашего искусства и литературы и разного рода недостатков в литературе и искусстве. Но не заслонили ли автору отрицательные явления все остальное, не проявляется ли здесь, кроме бдительности, еще раздражительность и нервозность?

Вопрос этот важен уже потому, что с ним связаны те или иные выводы по части форм и методов руководства искусством и литературой в нашей стране. Какие выводы делает В. Кочетов? Он показывает в романе всю серьезность ревизионистской опасности и правильно утверждает необходимость решительной борьбы с враждебной идеологией в литературе и искусстве. Все это заслуживает безусловной поддержки. Но нередко писатель сбивается на неверный путь и неверный тон. Несколько раз он вместе со своими героями проиницирует над советами действовать в литературе и искусстве гибче, не администрировать, осторожнее работать с кадрами: они обидчивы, уходят в себя, замыкаются. «До того доизгибался, вроде штопора стал», — сетует Яков Ершов в ответ на такие советы. Ему, как и «работнику одной из центральных газет», кажется, что такие советы исходят от служака из управлений, от разных инструкторов, которые или устарели для борьбы, или не обладают необходимой идейной закалкой, или не хотят лезть в драку. Но здесь явно упущено из виду, что соблюдать в литературе и искусстве величайший такт, руководить бережно, осторожно, терпеливо, изгонять из практики тон литературной команды, комчанство, администрирование учит нас партия.

«А я люблю скандалы», — утверждает Чибисов, один из самых положительных

героев романа. То же самое, в сущности говоря, проповедует и Дмитрий Ершов, герой, любимый автором, но слишком сумрачный и мизантропичный. «Непременно в драку лезть и всю жизнь в обоюдных мордобоях участвовать — то ты кого, то тебя кто» — вот его программа!

Автор романа, судя по всему, сочувствует этим заявлениям. Но у читателя они могут вызвать резонные сомнения: верно, что не может быть мирного сосуществования двух противоположных, враждебных идеологий, но разве принципиальная борьба и критика — это одно и то же, что и мордобой и скандалы? Разве это синонимы? Конечно, нет. И в этом могли бы разобраться и Дмитрий и Чибисов. В крайнем случае, им мог бы помочь автор. Тогда еще убедительнее выглядела бы в романе критика тех «стратегов» из кружка художницы-вещуньи, которые разводили склоку и групповщину и «носили всех, кто не они сами».

И почему в романе, в котором ставится вопрос о формах и методах руководства искусством и литературой, как-то забывается о том, что главным методом здесь является убеждение, воспитание? Положительные герои и тут не обходятся без иронии: «Так повоспитываешь, повоспитываешь, да и в гроб ляжешь. А он недовоспитанный будет жить и здравствовать!» — считает Яков Ершов. История с Горбачевым, по-видимому, должна иллюстрировать эту мысль. Да и безнадежное это дело — воспитание и убеждение, если поверить просвещающему Якову Ершову «старому товарищу». Все обстоит гораздо проще: с оттепелью разные «шестиногие существа» вылезли из щели, чтобы «куснуть». Сейчас они снова ползут в щель. «Только теперь мы будем знать: а ведь в этой щели препротивное сидит насекомое».

И опять автор мог бы «поправить» «работника одной из центральных газет», найдя для этого соответствующие художественному произведению формы.

Н. С. Хрущев говорил так: «Наш советский строй, Коммунистическая партия не раз возвращали к жизни, к активной деятельности даже людей, которых считали пропащими и безнадежными. В литературе и искусстве есть немало примеров, когда после критики творческие работники создавали большие художественные произведения».

Следует коснуться и некоторых недочетов

и просчетов, относящихся к специфически художественной стороне романа «Братья Ершовы», впрочем тесно связанных с его содержанием.

Роман Кочетова — произведение многоплановое, с различными сюжетными линиями и конфликтами. Здесь и заводские дела: увольнение Платона, возвращение Степана, возвышение и падение Орлеанцева и Воробейного, злключения Крутилича и т. д. Здесь и линии, связанные с вопросами литературы и искусства. Это роман по преимуществу эпический — там, где речь идет о семье Ершовых, и по преимуществу полемический и публицистический — там, где речь идет о литературе и искусстве. Следовательно, задача, которая стояла перед писателем, заключалась в том, чтобы свести все эти линии воедино, органически и естественно соединить публицистику с объективным описанием событий и людей. Задача серьезная и нелегкая.

В общем, Кочетову удалось преодолеть трудности, состоявшие в том, чтобы спаять в единое целое разнородный материал и разнородные стилистические начала. Но прототи и убытки он все же понес и здесь.

Отдельные главы романа имеют какой-то сухой, скелетообразный вид и характер. Они голо публицистичны. Идея в них выпирает. Но особенно плохо, когда автор навязывает действующим лицам свои мысли и свои слова.

Зачем писатель, например, заставляет Лелю читать и, лежа в постели с Дмитрием, опровергать критические статьи? Поверить в это невозможно. Здесь явное нарушение правды характера. Лучше бы в таком положении заставить Дмитрия и Лелю думать свои думы и разговаривать о своих делах, а не навязывать им думы и дела автора.

Это не единственный пример авторского вмешательства, не обоснованного логикой характеров. И Зоя Петровна с Орлеанцевым занимаются в сходных условиях не чем иным, как решением проблемы идеального героя, и Капа с Андреем в подходящем положении ведут речь о драматургии. Неизбежно возникает впечатление нарочитости.

Есть еще одна сцена, на которой в связи с вопросом о неоправданной авторской интервенции необходимо остановиться, — это сцена суда братьев Ершовых над Степаном. Это сильная сцена. Ситуация сложная, полная внутреннего драматизма, и писатель, в общем, успешно справляется

с ней, но допускает и существенный промах. Разговор братьев носит напряженный характер, мысли нащупываются, недосказываются, жесты нередко заменяют слова. И тут несколько неожиданно в разговор вводится длинная речь Платона, в которой он вспоминает о двадцатых годах и некоем секретаре комсомольской ячейки Лешке Краснобаеве. Кажется, писатель и сам ощущал здесь некоторое неудобство. Об этом говорит его работа над этим куском романа. Как известно, первоначально эта глава была напечатана в «Огоньке», и там речь Платона имела несколько другой характер. Но, к сожалению, эти изменения пошли не на пользу роману.

Очень ясно сказывается надуманность и выпирающая тенденциозность в образе Орлеанцева. В этом персонаже автором найдено нечто реальное: эгоизм, карьеризм, жесткая и жестокая расчетливость, но многое в нем представляется нарушающим правду характера.

Во-первых, есть в образе нечто от мелодраматического злодея. Орлеанцев и обворожителен и коварен, у него и воля, ломающая все вокруг, и ироническая улыбка, он может заставить себя и рыдать и смеяться...

Во-вторых, неизвестно, откуда взялся такой Орлеанцев, какие обстоятельства вызвали его к жизни. Справка о том, что он во время Отечественной войны был дважды ранен, бил прямой наводкой по танкам, награжден орденом Красного Знамени, еще больше запутывает дело и нарушает реалистическую основу характера.

И, в-третьих, не слишком ли большую роль играет этот человек в романе? Ведь он один заваривает крутую кашу не только на заводе, но и в городе, не только на производстве, но и в искусстве и в печати. Ведь от него идут все беды и несчастья в романе. Не слишком ли много всего этого для Орлеанцева? Сам собой возникает обычный и, пожалуй, в данном случае резонный вопрос: а где же заводской коллектив?

А с какой легкостью Орлеанцев очаровывает секретарей обкома и горкома партии! В кабинете у Горбачева Орлеанцев открыто хвалит себя, напирает на свое знакомство с министром, чернит Чибисова, Платона Ершова, Искру Козакову. Он настолько энергично разоблачает себя, что читателю давно уже ясно: перед ним самовлюбленный карьерист и негодай. А Горбачев

этого почему-то не понимает. К секретарю обкома Орлеанцев приходит с книгой об исламе, с грамматикой турецкого языка и сборником песен Беранже, и вот уже секретарь обкома растаял и оценил посетителя. Что-то уж очень легко обманываются партийные руководители. Не может быть, чтобы они были такими легковверными. В других случаях Горбачев и думает и действует совсем иначе.

Таким образом, при всех достоинствах роман «Братья Ершовы» страдает и существенными недостатками. Думается, что такая точка зрения на произведение

наиболее объективна. А если И. Астахов или В. Литвинов видят в ней «метафизическую» и «бесперспективную» попытку сесть сразу на два стула (см. «Литературную газету» от 30 сентября, стр. 3), то не будем придавать значения подобным истолкованиям и комментариям, так как перспективная точка зрения В. Литвинова сводится к одностороннему захваливанию романа В. Кочетова и, кажется, к совету действовать в нашей литературе по правилу «то ты кого, то тебя кто». А действовать так можно только вопреки интересам литературы и читателей.

#### 4. М. ШКЕРИН О ХУДОЖЕСТВЕННОМ МАСТЕРСТВЕ

Наши заметки, вероятно, приобретут более законченный вид, если в них будет уделено специальное место вопросам художественного мастерства. Сейчас о мастерстве пишут все и довольно много. Изучают мастерство классиков, касаются современников, делятся опытом. Появляются самые разнообразные и разноречивые исследования и труды, размышления и «этюды», книги и статьи по вопросам художественного мастерства. Об одной из таких работ — о книге Михаила Шкерина «Очерки о художественном мастерстве писателей» (изд. «Молодая гвардия», 1957) и следует поговорить.

Книга М. Шкерина состоит из трех глав: «О типичности», «Логика развития характеров», «Раскрытие духовного мира героев». В них анализируются разные стороны художественного мастерства писателей. Те или иные положения и выводы автор иллюстрирует многочисленными примерами, взятыми из произведений русских классиков и советских писателей (от Гоголя и Тургенева до С. Болдырева и Г. Шенна). И скажем сразу: начинающий или молодой писатель, которому предназначена книга М. Шкерина, сможет найти в ней небесполезные суждения и поучительные факты. К тому же изложены они бойко и храбро.

Но уже с первых страниц книги М. Шкерина бросаются в глаза разные «огрехи».

Вот на странице 5 автор называет литературу социалистического реализма в капиталистических странах «зачаточной литературой», а про метод социалистического реализма пишет, что «он утверждает писателя на действительно верной точке зрения на действительность — на точке зрения социалистического пролетариата». На странице 19

говорится, что искусство и литература «травят, вышибают из жизни все гниющее, умирающее, но сопротивляющееся».

«Зачаточная литература», «утверждает на точке зрения», «травят, вышибают из жизни» — речения, очевидно, не из удачных, особенно для книги о художественном мастерстве. Здесь рассуждения критика о социалистическом реализме и задачах литературы находятся в явных неладах с русским языком.

В связи с этим сомнительным представляется и переосмысление автором фигурирующего в книге словечка «брюхан». «Мы имеем в виду всякого рода шкурников и бюрократов, которые привыкли рассуждать о больших государственных делах с точки зрения интересов собственного брюха», — пишет М. Шкерин, посвящая далее «брюханам» некое лирическое отступление, имеющее, как говорят в таких случаях, самостоятельный интерес. Вот оно:

«Партия коммунистов и весь советский народ озабочены высокими интересами общества — строительством коммунизма, а брюханы втайне думают только о том, как бы урвать для себя пожирнее кусок от государственного пирога. На словах они, ух, как прытки! А во всяком деле для них не существует никаких интересов, кроме шкурных. Психологию брюхана можно, пожалуй, определить тремя словами: «Все для меня...»

Откуда же у нас эти брюханы? Над этим следует хорошенько подумать, а пока что на вопрос можно ответить лишь в самой общей форме: это результат косвенного влияния капитализма на неустойчивые элементы нашего общества» (стр. 95).

Как видим, рассуждение не имеет узколингвистического характера. Но, не считая необходимым трактовать проблему «брюханов» с той же энергией, что и М. Шкерин, мы еще раз скажем только, что словечко «брюхан» не является находкой, и выражаем уверенность, что оно не обогатит язык советского общества.

И вообще М. Шкерину, несомненно, следовало бы более основательно поработать над языком своей книги. В одной из ее глав он весьма темпераментно рассуждает о том, что писатель, пишущий на не родном ему языке, скован по рукам и ногам, что он никогда не почувствует всего аромата языка, всех малейших оттенков слов и выражений и т. д., но, кажется, забывает о том, что и литератор, пишущий на родном ему языке, иногда грешит по части «аромата» и «оттенков слов и выражений».

Однако не язык является наиболее уязвимой стороной книги М. Шкерина. Вызывает серьезные возражения и самый подход автора к художественному мастерству. Впрочем, здесь он далеко не одинок. Подобно многим другим критикам и литературоведам, М. Шкерин часто сбивается на представление о художественном творчестве как о процессе ремесленном, механическом, чисто рассудочном. Художественное мастерство с этой точки зрения сводится к употреблению разных «приемов» и «сюжетных ходов». «Приемами» «пользуются», их «избирают» и «выбирают», «развивают» и «обогащают», они «соответствуют» и «не соответствуют», бывают «важными» и «сильными», «неудачными» и «слабыми», «излюбленными» и «несвойственными», «традиционными» и «новаторскими» и т. п. Сюжетные ходы «делают», «затягивают», «занимают», «повторяют», «используют» и т. д. Создается впечатление, что, опровергнув формализм, мы сохранили кое-что из его наследия. И нельзя сослаться на то, что мы даем «приемам» материалистическое объяснение, устанавливаем их связь с содержанием и направленностью художественного произведения. Все равно сохраняется упрощенное представление о художественном творчестве и мастерстве. Книга М. Шкерина демонстрирует это с предельной наглядностью.

И. С. Тургенев в романе «Рудин» долго — до 22-й страницы — ничего не сообщает читателю о главном герое произведения. Оказывается, это особый художественный прием. «Тут, — сообщает М. Шкерин, —

Тургенев творчески использовал прием Гоголя в изображении Плюшкина, значительно развил и обогатил этот прием».

Лев Толстой в своих произведениях дает авторские пояснения к репликам персонажей. Оказывается, это «один из излюбленных приемов его художественного письма», которым он постоянно пользуется, «независимо от того, на каком языке сказана та или иная реплика тем или иным персонажем».

Ф. Гладков в «Цементе» сначала рисует разруху и запустение на цементном заводе после гражданской войны, а затем переходит к изображению главного героя романа Глеба Чумалова. Оказывается, «Гладков блестяще использовал художественный прием русских классиков в изображении характера действующих лиц: прежде чем приступить к обрисовке душевных качеств героя, он описывает исторически правдиво ту обстановку, в которой герой появляется или должен появиться» (стр. 109).

При таком подходе к делу, М. Шкерин начинает повсюду искать «приемы» и «ходы» и без труда их находит. Писатель уподобляется кустарю, искусно и расчетливо орудуя теми или иными инструментами. Критик во всем видит «художественный прием».

Достаточно, скажем, тем или иным действующим лицам того или иного произведения под влиянием той или иной обстановки предаться воспоминаниям, как критик предлагает читателю «обратить внимание на один художественный прием» (стр. 226—227).

Или, скажем, А. Фадеев рассказывает о том, как ожидающие казни Валько и Шульга напряженно прислушиваются ко всему, что происходит в тюрьме («тишина была сразу нарушена шагами по коридору, щелканьем ключа в замке, хлопаньем дверей» и т. д.). Критик сразу же фиксирует здесь «интересный и поучительный» прием изображения — звуками. «Берем на себя смелость утверждать, — заявляет он по этому поводу, — что эта картина в смысле выражения звуками является художественным совершенством... Каждый данный звук, как только он образовался в нашем представлении, тотчас же влечет за собой и пластический образ, а сумма звуков образует пластическую, рельефную сцену...» (стр. 227—230).

Опираясь на свои представления о мастерстве, М. Шкерин часто судит о произве-

дениях литературы с излишней самоуверенностью. Иной писатель не использовал важного «художественного приема», другой сделал не тот «сюжетный ход», третий слабо затянул «сюжетный узел» и т. д. Вот, например, М. Шолохов...

Не нужно думать, что М. Шкерин хоть в какой-либо мере повинен в недооценке творчества М. Шолохова. Он горячо восхищается образами, созданными художником: «Нас волнует Джульетта Шекспира и Анна Каренина Л. Толстого. Но Аксинья, созданная вообразившем Шолохова, волнует нас больше. Любовь Аксиньи волнует нас больше» (стр. 209).

Но все это не мешает критику отметить один «недосмотр» писателя. Речь идет об образе Кондрата Майданникова. По словам М. Шкерина, «в целом образ Кондрата написан очень хорошо, но по недосмотру автора в нем есть одно ничем не оправданное противоречие» (стр. 105—106). Какое же? Кондрат, по мнению критика, не мог произнести своей «превосходной, убедительной, художественной» речи на собрании при организации колхоза. Почему же? Потому, оказывается, что в ней он должен был бы обязательно обратить внимание на неудачный опыт Гремяченского ТОЗа — товарищества по совместной обработке земли, о существовании которого упомянуто в романе. А Кондрат даже не подумал и не вспомнил о ТОЗе. «А этого не могло быть, — утверждает критик. — Это противоречит психологии середняка» (стр. 107).

Вот здесь-то писатель и недосмотрел. А какие перспективы открывались перед ним! «Сюжетный ход блестящий, — пишет М. Шкерин по поводу упоминания в романе о ТОЗе. — Он давал писателю возможность еще глубже заглянуть в душу Кондрата, сделать этого героя еще более типическим. Но ход остался неиспользованным. Писатель как будто забыл о нем, и Кондрат от этого пострадал» (стр. 108).

Так М. Шкерин оценил один из «сюжетных ходов» «Поднятой целины». Но едва ли его замечания могут вызвать что-либо, кроме недоумения.

Один художественный просчет нашел М. Шкерин и в «Молодой гвардии» А. Фадеева. Здесь опять-таки, судя по тому, что пишет критик, произошло недоразумение с «приемами»: писатель не использовал им же самым плодотворно употребляемого приема, им же самим созданной ситуации и не смог в полной мере показать героя.

Дело в том, что М. Шкерин придерживается особой точки зрения на «способы раскрытия духовного мира героев». Пренебрегая многообразным опытом классической и советской литературы, он решительно возражает против такого «способа» и «приема», как обстоятельные рассуждения героев. По его словам, «редко пространные речи и диалоги достигают цели. Чем более многословно высказывается героиней, тем он становится скучней и невыразительней». Критик находит, что «мысль героя должна выражаться очень немногими словами и, как правило, в совокупности, в сцеплении с жестами и движением...» (стр. 182). Последнее обстоятельство («с жестами») крайне важно, так как М. Шкерин, по-видимому, не совсем уверен, что с помощью «очень немногих слов» герои смогут раскрыть свой духовный мир.

Так вот А. Фадеев, по мнению М. Шкерина, кроме изображения звуками, еще более успешно пользуется в своем творчестве «важным, традиционным, сильнейшим художественным приемом» — передавая мысли и чувства героя «взглядом, жестом, положением фигуры» (стр. 233). Но, к сожалению, иногда он упускает из виду этот «сильнейший» «прием». Например, рисуя встречу Любы Шевцовой с влюбленным в нее Сергеем Левашевым, писатель заявляет, что Сергей «совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием», но не показывает, «как именно молчал» он. «А ведь это, конечно, было очень картинное молчание!.. — утверждает М. Шкерин. — Можно не сомневаться, что глаза Сергея, выражение его лица, скупые стеснительные жесты, то, как он сидел, стоял, как пришел и как уходил. — все это и многое другое (будь изображено писателем) сказало бы нам куда больше иных многословных речей» (стр. 234).

Так М. Шкерин извлекает урок из «просчета» А. Фадеева. И думается, что нам нет нужды прибегать к «излюбленному приему» Л. Толстого и пояснять, насколько неосновательна эта «реплика» критика.

Очень суровому разбору М. Шкерин подвергает «Жатву» Г. Николаевой. Здесь неблагоприятно и с логикой характеров и с раскрытием духовного мира героев, особенно же, конечно, с «сюжетными ходами». В самом деле, «взяв (вслед за А. Н. Толстым) старый сюжетный ход» («погибший оказался не погибшим») и использовав его в изображении судьбы Василия Бортника, «молодая пи-

сательница» (как называет критик Г. Николаеву) не позаботилась о том, чтобы он оказался «жизненным, правдивым, то есть художественным» (стр. 222).

Но в анализе «Жатвы» Г. Николаевой сказались, кажется, не только познания М. Шкерина по части «приемов» и «сюжетных ходов», но и некоторые его личные вкусы. Так, давно известна любовь критика к творчеству В. Ильенкова, М. Бубеннова, С. Бабаевского и некоторых других писателей. И в этом нет ничего плохого. Только нехорошо при этом неумеренно захваливать их произведения и неоправданно порицать произведения иных литераторов, скажем, Г. Николаевой или Б. Горбатова. Между тем такой грех за М. Шкериним водится. Сказался он и в его книге.

Что, например, пишет критик о «Донбассе» Б. Горбатова?

Оказывается, главные герои этого романа, Виктор и Андрей, «изображены почти исключительно в узкопроизводственной деятельности», что «обеднило (и не могло не обеднить) их внутренний, духовный мир». Между тем, напоминает М. Шкерин читателям, в двадцатые и в начале тридцатых годов чуть ли не в каждом клубе были коллективы «Синей блузы», «Живой газеты» и разные кружки. «Там же и любовь, как правило, начиналась». Вот писателю, по видимому, и следовало бы вовлечь героев в «Синюю блузу» или в какой-либо кружок. А так они «какие-то странные, односторонние люди... не участвуют ни в каких кружках, решительно ничем не увлекаются» (стр. 148). Естественно, что и на пост парторга автор «выдвинул» Андрея, по мнению критика, «слишком неожиданно, не подготовил его к ответственной партийной работе».

Так пишет М. Шкерин о «Донбассе», в котором, по общему мнению, есть недостатки, но совсем другие.

Совершенно по-иному пишет М. Шкерин о ро-

мане С. Болдырева «Решающие годы» (он «обнадеживает крепким сюжетным узлом на первых страницах»), о романе Г. Шенна «Будни» («завязав несколько крепких сюжетных «узлов», Г. Шенн показал...»), о романах С. Бабаевского. Правда, «Кавалер Золотой Звезды» и критикуется, но по-особому. Создав образ рачительного и бережливого председателя колхоза Рагулина, писатель, по словам критика, «приблизился к решению важной задачи создания принципиально нового характера (скупца нового склада), но пока не решил эту задачу». Впрочем, М. Шкерин полагает, что лучше в данном случае не осуждать писателя, а благодарить за то, что он сделал. Ведь «образ старого скупца (Плюшкина) создавался сотнями художников на протяжении тысячелетий... Какие же могут быть упреки писателю, который впервые попытался обобщить принципиально новое явление жизни?» (стр. 157).

Так пишет М. Шкерин о «Кавалере Золотой Звезды».

Разобранный нами способ анализа художественного мастерства — главная, но не единственная особенность книги М. Шкерина, вызывающая возражения. Есть в ней и другие по меньшей мере спорные «ходы» и «приемы».

Но у нас нет желания останавливаться на них. Нам хотелось оспорить лишь самый метод М. Шкерина и некоторые его практические применения. Тем более, что в этом отношении «Очерки о художественном мастерстве писателей» не являются каким-то экстраординарным исключением. Надеемся поэтому, что наш разговор об этой книге будет небесполезен. Ведь, как пишет М. Шкерин на странице 224 своей книги: «В произведениях малохудожественных многие «органы» раздражают читателя тем, что плохо сработаны и дурно подогнаны на свои места».



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Громова.** История одного комсомольского билета.— **В. Кардин.** Сквозь револьверный лай...— **М. Иофьев.** Песня о горянке.— **О. Михайлов.** Стиль, отвечающий теме.— **Л. Лазарев.** Время жить.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Хавин.** От Октября к XXI съезду партии.— **Я. Борисов.** Эпос революции.— **Т. Леонтьева.** Документы рассказывают...— **Д. Осин.** Большевики Севера.— **А. Мельников.** Поляки — солдаты пролетарской революции.— **Е. Ковалев.** Великая дружба.— Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Алиханьян.** Научное наследие Жюлио-Кюри.— **С. Голянов.** Конец черного режима.

## Литература и искусство

### История одного комсомольского билета

**Л**етом этого года по рижским улицам тянулось траурное шествие. Люди несли венки, перевитые черными и алыми лентами, медленно двигались грузовики, украшенные кумачом и хвоей. Столица Латвийской республики провожала в последний путь прах воинов Латышского стрелкового корпуса и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Изпод Наро-Фоминска и Старой Руссы, из Огрского и Алуксненского районов республики — отовсюду, где сражались и умирали лучшие сыновья и дочери латышского народа, — их останки перевезли на Братское кладбище Риги. Теперь герои великой битвы против фашизма лежат рядом с героями Октября и гражданской войны, рядом с членами первого советского правительства Латвии, расстрелянного палачами, и над их могилами горит неугасающее пламя.

В последние годы мы узнаем все новые и новые имена героев, узнаем о фронтовиках и о борцах подполья, о сплоченных организациях, существовавших в лагерях смерти, и о подвигах тех, кому пришлось сражаться в одиночку. Наши писатели, журналисты помогают воскресить память этих героев. Работа С. С. Смирнова, вос-

создавшего прекрасную и трагическую эпопею обороны Брестской крепости, рассказавшего всей стране о героях этой удивительной битвы, — великолепный образец для каждого литератора, кому дорога слава Родины.

Латышский писатель Миервалдис Бирзе тоже вдохновлен этой благородной задачей воссоздать образы погибших борцов. Эпиграфом к своей повести «И подо льдом река течет...» он ставит слова Юлиуса Фучика: «Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безыменных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!»

Это повесть о подвигах латвийской молодежи. Главные ее герои очень молоды, старшему из них всего двадцать три года. Но это люди твердых убеждений, готовые отстаивать свою правоту ценой жизни. И писатель не скрывает своего восхищения, рассказывая об их подвигах.

Комсомольский билет Рейниса Апенайса был найден случайно. Он мог остаться не обнаруженным в тайнике, мог погибнуть в подвале от сырости. Однако не случайно

Миервалдис Бирзе. *И подо льдом река течет...* Повесть. Авторизованный перевод с латышского Ю. Суворцева и М. Шноре. «Дружба народов», 1958, № 7.



история этого билета, судьба комсомольца-подпольщика и его товарищей так страстно заинтересовали именно писателя Миервалдуса Бирзе.

Бирзе провел четыре года в фашистских тюрьмах и концлагерях. Отец его был расстрелян гестаповцами. И вполне понятно, почему писатель захотел рассказать о людях, чьи судьбы сходны с его судьбой, но не совпадают с ней, — о тех, кому посчастливилось бежать из плена, чтобы снова принять участие в борьбе, и о тех, кто погиб в этой борьбе.

Повествование М. Бирзе глубоко лирично; судьбы героев, их мысли и чувства очень близки писателю, и его отношение к людям и событиям то прорывается в лирических отступлениях, то из глубины неуловимо окрашивает рассказ. И образы героев освещены этим лиризмом. Впрочем, может быть, точнее будет сказать — светом романтики, романтики боя и подвига.

Но, читая повесть, нельзя не заметить, что подчас подлинный лиризм сменяется в ней сентиментальностью, что романтика борьбы иной раз уступает место ложной красоты. И тогда попадают «украшения» такого, например, рода: «Елена—цветок счастья, который исчез, как белая головка одуванчика в порыве ветра», «Его молодая любовь была чиста, как весенний белый нарцисс», «Почему, девушка, у тебя такие алые губы, ты ведь позволила поцеловать их только раз?! Твои синие глаза ласковы и счастливы, и ты знаешь от чего, но почему твоя грудь так сильно вздымается?»

Причем эти красоты стиля связаны почему-то почти исключительно с образом Елены (который вообще удался автору меньше других). Однако сцены боя и гибели героев — наиболее важные по замыслу — написаны в повести сильно, точно и сдержанно. там промахи такого рода почти не встречаются.

Итак, что же случилось в августе сорок третьего года в Дарзиемском уезде? То, что нередко случалось в те годы и в Латвии, и на Украине, и в Белоруссии — всюду на оккупированной территории. Гестаповцам удалось выследить подпольную группу под руководством коммуниста Гирта Виньяуда. Они арестовали жену и мать Гирта, тоже принимавших участие в работе организации. Гирта арестовать не уда-

лось: засев в осажденном доме, он с двумя товарищами отстреливался до последнего патрона и убил восьмерых гестаповцев. Гирт и один из его товарищей, Элмар, погибли в схватке; третьему, Рейнису Апенайсу, удалось спастись. Однако вскоре погиб и Апенайс от пули предателя; расстреляли жену Гирта; после пыток покончила самоубийством в камере его мать... Трагическая история рассказана правдиво, без попыток смягчить жестокую правду. Но именно потому, что рассказ правдив, что М. Бирзе не просто излагает факты, но осмысливает их с точки зрения очевидца многих подобных событий, с точки зрения единомышленника своих героев, — именно поэтому трагедия, о которой он повествует, рождает не горечь и отчаяние, а прежде всего восхищение мужеством героев.

Они, наверное, никогда не мечтали о битвах и о военной славе — эти люди, о которых рассказывает М. Бирзе. У них были совсем другие, мирные мечты и планы. Но им пришлось воевать, и они стали драться насмерть, чтобы вернуть свободу и счастье народу и себе. В повести очень заметно (порой, пожалуй, слишком настойчиво — особенно там, где речь идет о Елене) звучит этот мотив мечты о личном счастье, разрушенном войной.

Очень тяжело Рейнису Апенайсу уходить от любимой девушки, которая помогла ему бежать из тюрьмы, — уходить навстречу неизвестности и гибели. Но он идет, потому что не видит для себя другого пути. Для Елены будто весь мир рушится, когда гибнет Рейнис. Но она находит в себе силы отомстить убийце.

Гирт и Зента Виньяуды мечтали о том, как они долгие годы счастливы и дружно проживут вместе, как они будут учиться, как будут растить дочку. Но Зента, колеблясь, вступает в борьбу вслед за мужем. Сцена прощания Зенты и Гирта перед смертью полна высокого трагизма. Все их недолгое, но яркое счастье проходит перед ними: «Смерть торопилась, и они еще раз очень быстро прожили свою жизнь. Если стоишь на краю луга и смотришь, то видишь только самые яркие цветы... Глаз останавливается на бело-желтых ромашках, синих колокольчиках, алых кукушкиных слезках. Так и они видели в своей жизни, лишь прекрасное, ради чего и стоило жить».

Они знают, что если Гирт откажется сдаться, то погибнет вся его семья. Но другого пути нет — и Гирт отвечает немцам дерзким вызовом. Он пишет: «Предлагаю немедленно снять окружение этого дома и в ближайшее же время убраться с территории Советской Латвии, в противном случае нам придется всерьез отлупить вас».

Прекрасной смертью бойца погибает Гирт. И кроткая, тихая Зента умерла, как воин. Она никого не выдала на допросах, она молчала, когда ей сказали о гибели мужа, когда у нее отняли дочь. И, стоя на краю могилы, под дулами винтовок, она знает — «человек может жить только как человек»...

Герои не умирают — их подвиг вдохновляет других. Вести о сражении в доме над рекой доходят до заключенных через высокую ограду Дарциемской тюрьмы и вселяют в них надежду. Гирта и Элмара хоронят на лесной поляне, среди берез и елей, среди зарослей ежевики и малинника, в красноватом песке родной латышской земли. «Два товарища ушли из жизни, не спрашивая, будет ли им наградой за мужество хоть этот вот грубый дощатый гроб. Они были сильнее других, они видели дальше.. А высокие деревья буре всегда ло-

мают первыми... Дощатый гроб опустили в могилу. На нем, как единственное украшение и знак высокого почета, остался лежать венок из родной вечнозеленой латышской брусники».

Немцев, убитых в этом сражении, хоронят с помпой. Их могилы украшают цветами. Но «...цветы в венках скоро завяли. Первые, они остались и последними, эти цветы на немецких могилах».

В этих контрастных образах еще раз раскрывается идея повести М. Бирзе. На вечное забвение осуждены те, что погибли в неправой битве, говорит писатель. А могилы героев — хоть и безыменные — озарены светом подвига. Вначале лишь немногие знали о подвиге Гирта, Элмара и Рейниса, но и тогда их мужество вдохновляло других борцов. Но вот пришло время — и безыменные могилы среди лесов и болот стали памятником славы героев.

И в этом заслуга Миервалдиса Бирзе. Он рассказал о мужестве простых труженников Латвии, защищавших свою свободу от захватчиков, рассказал правдиво и горячо, прибавив еще одну славную страницу к повести о подвигах советской молодежи в годы великой битвы против фашизма.

А. ГРОВОВА.

★

### Сквозь револьверный лай...

Между названием и первой строкой текста, справа, где ставится эпитафия, — одна фраза: «Все события и фамилии в этой повести — подлинные».

Можно было бы и не информировать об этом читателя. Однако писательница предварила свое повествование короткой лентинной строкой, которая сыграла роль камертона.

Основная трудность не в изложении доподлинных фактов более чем тридцатилетней давности. Ведь она как будто совсем и не сложна, эта история, которая начинается револьверной пальбой, среди бела дня огласившей улицы города, продолжается судебным процессом над тремя виновниками перестрелки и завершается залпами в упор: одним, вторым, третьим, четвертым!..

Ванда Василевская. В борьбе роковой. Перевод с польского Эвы Василевской. «Знамя», 1958, № 4.

Трудно другое — трудно добиться органического слияния человеческих характеров и поступков (ведь «все события и фамилии в этой повести — подлинные»). Немногословной фразой на первой странице писательница отрезала себе пути к домыслу в том, что касается биографии героев, их поведения и судеб. Она в суровой власти фактов и данных, какими их сохранили газетные комплекты и архивные документы. По судебным отчетам, официальной хронике, подпольным листовкам надо восстанавливать исторически конкретный облик людей, расстрелянных летом 1925 года в варшавской Цитадели, трех польских коммунистов, отдавших жизнь за пролетарскую революцию.

...Существует операторский прием, наиболее часто применяемый в итальянских кинофильмах. Откуда-то высоко сверху аппарат постепенно приближается к земле («панорамирует», говорят в кино), и по мере его приближения конкретизируется мес-

то действия. Нет, не весь город, не целый квартал, даже не улица, а вот этот дом с обвалившейся штукатуркой, стоптанными плитами лестницы, с шаткими прутьями железных перил. Но дом стоит именно на этой вот узкой темной улочке, в этом окраинном квартале. Он частица этого большого города, богатыми виллами спускающегося к залитому солнцем морю.

Так улавливается нить, которая связывает единичную судьбу с пестрой, противоречивой, контрастной судьбой города.

Часто, особенно в первой половине повести, писательская манера Ванды Василевской сходна с этим кинематографическим приемом. Самые первые страницы — быстро сменяющиеся кадры кинорепортажа: толпы рабочих у заводских ворот; очередь перед кухней для безработных; учитель в рваных ботинках; длинные перечни самоубийств на газетной странице; босые дети, попрошайничающие у дверей булочной... Фон? Нет, среда, условия существования, с исторической неизбежностью рождающие события и характеры, которым посвящена повесть. И почти осязаемая, если можно так выразиться, фактура жизни: обнажившаяся дранка стен, сбитые каблуки подвязанных провсолокой богинок, натертая куском дешевого мыла веревка на тонкой шее...

В детективно-приключенческой литературе магической силой притяжения обладает слово «вдруг». В повести В. Василевской есть стрельба, есть погоня, но нет никакого «вдруг». Авторские усилия направлены на то, чтобы доказать неизбежную закономерность побуждений, мыслей и действий героев. Никаких эффектов. Суровая сдержанность, подобающая объективному рассказу о подлинных событиях и людях. Но за этой сдержанностью — страстный, гневный темперамент партийного публициста, темперамент, которым заявила себя Ванда Василевская, вступая в литературу. Писательница вновь обратилась к наиболее близким ей темам и образам первых лет творчества, и с обновленной силой дала себя знать публицистическая острота ее пера.

Хенрику Рутковскому, Владиславу Кневскому и Владиславу Хибнеру партия поручила уничтожить провокатора Цехновского. В день и час, когда должен был свершиться акт возмездия, коммунисты попали в засаду. Ранев одного из агентов полиции, они пытались скрыться. Тут-то варшавские

улицы и огласились револьверными выстрелами.

Трое с пистолетами в руках бежали по городу. Их преследовали полицейские, пешие и конные. За ними устремились толпы обывателей.

«Крик, повторяемый сотней голосов, окружает, догоняет, опережает их бег:

— Бандиты! Держи бандитов!

Казалось, кричит весь город. Казалось, весь город бежит за ними! Весь город, вся Варшава преследует их.. И все вокруг как бы окрасилось в темно-синий цвет» (цвет полицейских мундиров).

Постовые знают, что люди, в которых они разряжают обоймы, вовсе не бандиты. Но так повелось издавна: чтобы схватить коммуниста, натравить на него толпу, надо его опорочить, приписать ему нечто чудовищно-нелепое.

— Держи бандитов! — гремит улица. И в этом крике тонут возгласы:

— Не трогать нас! Мы коммунисты!

«Мчалась, топала, орала толпа, изо всех переулков выскакивали полицейские. Варшава — родной, близкий город, знакомые с детства улицы — показала вдруг другое, незнакомое, страшное лицо».

Это не лицо, это уродливые гримасы капиталистического города-спрута, пытающегося задушить, раздавить тех, кто поднял руку на его осязаемые собственнической традицией устои. В полуденный час на улицах трудно встретить жителей рабочих предместий. Буржуа задает тон и определяет лицо центральных улиц, вдоль которых мчится погоня.

И снова продолжается, но теперь уже в ином ритме — напряженном, лихорадочном, — рассказ о Варшаве, начатый на первых страницах повести. Серия моментальных портретов: полицейские, лавочники, коммерсанты. Классовая реакция безошибочна. «Вот тебе твой коммунизм, сволочь!» — успел крикнуть Зигмунд Круковский, ударив чемоданчиком одного из беглецов.

Мгновенные и яркие, как вспышка магния, столкновения. набросок делается автором в ту минуту, когда персонаж поступает по первому, почти инстинктивному побуждению. Что может быть характернее? Индивидуальные портреты сливаются в общий портрет города-врага, по которому, задыхаясь, истекая кровью, бегут коммунисты.

Короткие главки, запечатлевшие сцены преследования Хибнера, Рутковского и

Киевского,— основные в повести. Ими передано соотношение сил — численное и нравственное,— атмосфера политической борьбы, облик города и облик тех троих, что выступили против него. В главах этих, если вдуматься, предначертана последующая судьба героев, их смерть и их величие.

Ослепленная злобой буржуазия не преминет воспользоваться принадлежащей ей государственной властью, чтобы расправиться с тремя коммунистами. Тем более, что приговор над Цехновским все-таки был приведен в исполнение! Во Львове сапожник Ботвин застрелил провокатора.

У Хибнера, Рутковского, Киевского при себе оружие. Они умеют им пользоваться. Хибнер без промаха попадает с пятидесяти шагов. Они могли спастись. Надо было направить дула не в мостовую и не в воздух, а в бегущих за ними. Однако ни горячий Рутковский, ни флегматичный Киевский, ни рассудительный Хибнер не стреляли в своих преследователей. Оружие использовалось не по прямому назначению, а лишь как средство напугать погоню, выиграть время.

О Хибнере сказано: «Он не мог, не желал убивать для самозащиты». На процессе Хибнер объяснил: «Мы хотели организовать все так, чтобы не пролилась кровь невинных людей».

Вот, собственно, и все. Нежелание использовать оружие для самозащиты было для них естественным. Ни на минуту, даже увидев в пяти шагах от себя черные дула винтовок экзекуционного взвода, друзья не пожалели о том, что поступили именно так, а не иначе.

Если трое, не сговариваясь, слали пули в воздух, то полицейские, тоже не сговариваясь, били по живым мишеням. И когда израненные пленники оказались в руках врагов, наступил час мести. Он начался в угольном сарае, где полицейские набросились на тела, в которых едва теплилась жизнь. Били, топтали сапогами. («Вот тебе коммунизм! Вот тебе красное знамя! Вот тебе твой Интернационал!») Местью, злобой и тупой, дышали издевательские допросы. Иезуитским сведением счетов был самый акт «правосудия» — процесс военного трибунала. Людей, не пожелавших ради самозащиты стрелять в погоню, обвинили в... убийстве. Неутоленная жестокость и

мстительность продиктовали смертный приговор, скомандовали экзекуционному взводу: «Пли!»

Высокое благородство подсудимых, органичность их гуманизма и — низость обвинения, гнусные приемы следствия, судопроизводства. Человеческой совести не дано мириться с циничным насилием! Эхом варшавских выстрелов прозвучал протест французских писателей, негодование в Польше и за ее пределами.

Правда, о всеевропейском резонансе, о событиях второго плана рассказано так, что они становятся порой пририсованным фоном. Нет и не может быть сомнений в их фактической достоверности. Однако повествование о них ведется без желательной точности красок и деталей.

Но стоит писательнице вернуться к своим героям, почерк ее обретает четкость и определенность. С восхищением и подъемом, прорывающимися сквозь сдержанность обстоятельной речи, рассказывает Василевская о трех коммунистах, что идут сквозь строй буржуазного суда.

Напрасно ксендз надеялся на то, что приговоренные перед смертью примут «пастырское утешение», а прокурор ждал: вдруг под дулами осужденные побледнеют, задрожат, заплачут, будут молить о пощаде.

В. Василевская создала социальные характеры бойцов, самозабвенно и бескорыстно преданных революции. Дело не исчерпывается тем, что Рутковский — токарь, Киевский — слесарь, а Хибнер — сын столяра, хотя пролетарские корни чувствуются в каждом шаге и поступке героев. Все трое нерасторжимо, до последнего дыхания связаны с борьбой и судьбой рабочего класса. Они осознали себя сынами этого класса, стали членами его партии — и иного пути им не дано.

Спокойно, с легким презрением относятся трое к судебной кутерьме. Это не напускное спокойствие и не показное презрение. Нестребимая вера в свою правоту и в свое дело, идейная страстность поднимают их на высоту, с которой открываются такие дали, что мышинной возней кажется судебная суета врагов, что появляются силы сносить клевету, физические мучения и «Интернационалом» встречать расстрел. В них нет ничего от сверхчеловеков. Они замечают, как солнце серебрит ветку ивы, знают вкус травинки на зубах, и в их муж-

ской дружбе — скрытая теплота и нежность. При последнем прощании осторожно, чтобы не причинить боль израненному телу, которое через минуту упадет бездыханным, обнимают они друг друга... О таких людях, о таком величии духа и подвига не забыть!

Повесть «В борьбе роковой» может быть определена как документально-публицистическая. Этот жанр требует верности глаза, тонкого историзма, безусловной определенности писательской позиции, художнического постижения человеческой приро-

ды — качеств, безусловно присущих Ванде Василевской.

Душевный огонь автора изнутри осветил повествование, спаял воедино героев и события. Искреннюю благодарность вызывает писательница, чей труд дал вторую жизнь трем братьям по партии, некогда павшим «в борьбе роковой». Воскрешенный ею эпизод революционно-интернациональной летописи многое говорит о традициях и истоках партийной верности делу рабочего класса.

**В. КАРДИН.**

★

### Песня о горянке

В стихотворении Расула Гамзатова, посвященном поэтическому дару и поэтическому труду, есть и такие, как будто не вполне созвучные его лирике строки:

Пиши о счастье,  
так пиши, чтоб горя  
Сторонкой сердце вдруг не обошло.  
Рождают реку, что питает море,  
Холодный снег и вешнее тепло.

Этому завету он следует в «Горянке».

«Вешнее тепло», «холодный снег» жизни Дагестана волнуют и тех читателей поэмы, от кого далеки изображенные в ней коллизии и нравы. Конечно, москвички или одеситки не знают горских адатов и замуж они выходят чаще всего по своей воле. Но не только в горах предрассудки затемняют судьбы людей, не только от Асият — героини Гамзатова — жизнь потребовала решимости. Конфликт кавказской поэмы, конечно, особенно драматичен: старинные обычаи еще сильны в Дагестане, и наиболее ощутимо они сказываются на положении женщины-горянки. Тема поэмы — борьба за женское равноправие — раскрыта Гамзаговым в резком столкновении: семнадцатилетняя Асият отстаивает справедливость и свою независимость. Но если своеобразны обстоятельства, в которых она борется, то путь ее — путь многих героев (и очень многих героинь) трагедий и поэм, легенд и романов. В «Горянке», рисующей конфликты аварского аула, речь идет о подвиге, совершенном во имя новых человеческих отношений.

Два плана поэмы счастливо соединились. «Горянка» злободневна для Дагестана и

**Расул Гамзатов. Горянка. Поэма. Перевод с аварского Я. Козловского. «Дружба народов», 1958, №№ 7, 8.**

других областей, где «нередко обычай жестокий над женской глумится судьбой» (недаром поэт вспомнил «узбечку в глухой парандже»). Но смысл и пафос произведения этим не ограничены. Гамзатов воспевает смелое стремление к самостоятельной жизни — достойной и творческой. Он воспевает юную дерзость. Протест Асият против жестокого обычая выражает неодолимое стремление к новому, которым, как и все советское общество, охвачен маленький аварский народ. Он — этот протест — свидетельство неизбежной ломки некоторых понятий и законов, возникших в традиционном укладе и поддерживаемых религией. Проблемы, освещенные в произведении Гамзатова, — не только моральные, но и общественные проблемы. Вот почему «Горянка» — бытовая поэма, но одновременно поэма публицистическая.

Чем лаконичнее фабула поэмы, тем больше простора для песни поэта. Гамзатов избегает всего необычного, интригующего. Он создает ситуации простые, но типичные, располагая их в ясной, очевидной последовательности. Если бы автор «Горянки» писал для сцены, его можно было бы упрекнуть в банальности: сюжеты такого рода знакомы дагестанской драматургии. Но в поэме те же положения раскрываются по-иному: не в смене событий, не в сложности мотивировок секрет привлекательности произведения Гамзатова.

Поэма не случайно не получила имени героини, а названа обобщенно — «Горянка»: характеры раскрыты в ней лишь постольку, поскольку они передают закономерности жизни. Это не значит, конечно, что у героев «Горянки» бедный душевный мир. Напротив, оттенки, намеченные автором, по-

зволюют угадывать скрытые стремления, тайные надежды. Даже о самых простых поступках рассказано эмоционально и тонко.

Поэт знакомит читателя с Асият в ту минуту, когда на последнем экзамене учительница сказала ей: «Ты можешь идти...» «И радостно сердцу и больно, и стало чего-то вдруг жаль. Вздохнула горянка невольно, и вышла...», забыв свои книжки, окрыленная и задумчивая, счастливая и грустная, вчера еще школьница, сегодня — невеста. К несчастью, невеста нелюбимого ею Османа. Встреча с отцом, нелегкая для обоих: «—С приездом!—В ответ головою кивнул чуть заметно отец». Сдержанные слова, скупые жесты открывают еще не высказанные опасения и обиды. Когда поспешно шьют свадебные наряды, «мелькают иголки, вонзаясь, как будто бы в грудь Асият», когда снимают со станка новый ковер, кажется, что тупые ножницы «по сердцу невесты прошлись». Усталая Ася—Асият вечером выходит на порог сакли—прошел дождик, «природа задумалась, вроде горянки, не вытершей слез». Но, решив следовать собственной воле, Ася просыпается «ручья веселей», надевает вдруг нарядное платье, поет. У старика свата глаз застыл, «как льдинка». «Зачем-то значок комсомольский поправила Ася слегка» и — отказала сватам, босиком ушла из дому. Рассказ поэта — рассказ о вполне конкретных событиях и людях. В письме, обращенном студенткой Асият к матери, и в ответе Хадижат не только непреходящая ласковая печаль, знакомая и восточной и русской лирике, но и неповторимая интонация — живые голоса героинь.

Однако же впечатление, что образы поэмы — обобщенные образы, возникает естественно. Герои не знают неожиданных решений, их личные склонности и особенности бледнеют перед более значительными мотивами, которые можно было бы назвать историческими, хотя они проявляются лишь в бытовой сфере.

Прямые и ясные убеждения героев отчетливо контрастны друг другу. Али — отец Асият, «суровый подтянутый всадник», — вовсе не бессердечен, он не хуже других видит, что Осман — пьяница, хвастун, бабник. Но он связан опрометчивым договором с отцом Османа — «горцу дал слово как горец» — и ради превратно понимаемой гордости и чести согласен лишиться дочери. Мать, как многие матери, — ворчливая и добрая; она привыкла к повиновению, стра-

шится и мужа и бога. Для Аси законом стало то, чему она поверила в школе, что воспитал в ней комсомол. Расул Гамзатов, как настоящий поэт, жалеет и любит свою героиню. Асият не только поэтичная, но и опозитивированная героиня. Таково было авторское задание. Таков же и художественный строй поэмы: свободная форма лиро-эпической повести в стихах сочетается в «Горянке» с чисто восточным красноречием.

Сюжет поэмы мог бы быть воспринят как прямолинейный, а образы как слишком отвлеченные, если бы они не были слиты с поэтическими отступлениями, описаниями, шутивными и гневными репликами автора. Главный герой поэмы — автор. Он удивительно непосредственный, увлекательный собеседник: непринужденно сменяют друг друга бытовые эпизоды, речи оратора, задушевные признания поэта. Гамзатов-публицист и Гамзатов-бытописатель идут рука об руку, но оба они следуют за Гамзатовым-певцом. Лирика как сердечное волнение, лирика как особое восприятие мира в высоких, будничных, романтических, общественных аспектах, наконец, лирика как живописное и мелодичное слово — всем этим щедро наделена поэма. Так открывается неповторимое в творчестве аварского поэта, то бесспорное и безусловное, чем отмечено его искусство: лиризм эпических произведений Гамзатова.

Несложная история бунта Асият позволила поэту многообразно раскрыть сложную действительность. Читатель совершает путешествие по Дагестану, его проводник — поэт Гамзатов — не восторженный и не равнодушный гид: он проникательный и чуткий спутник, влюбленный в свой народ. Быт горцев воссоздан в поэме не в экзотическом преломлении, а в жизненно правдивом сочетании прекрасного, смешного и архаичного, грубого. Вот как неожиданно освещена сценка, знакомая по десяткам поэтических описаний, зарисовок художников, даже балетных спектаклей, — восточная женщина с кувшином на плече спускается к источнику:

А если кувшин этот ростом  
Не меньше девчонки самой,  
То воду не очень-то просто  
Доставить из речки домой.

А вот горская свадьба — вспомним Лермонтова, Полонского. Не смолкает зурна, неутомимы танцоры, нет отдыха певцам и виночерпию. Но Расул Гамзатов не забы-

зает отметить: Осман сидит на стуле, его новая невеста — Супа — на полу, она «при- тихшая и жалкая», ее нарядные платья и туфли надолго — до замужества ее доче- ри — будут спрятаны в сундук. «О горская свадьба, немало веселья и грусти в тебе». Поэт не утаил ни того, ни другого.

Конечно, юмор сопровождает рассказ по- эта, порой ласковый, порой насмешливый, юмор, завещанный мудрыми восточными сказочниками и всегда присущий Гамзато- ву. И еще одна своеобразная черта — ин- тимная тональность повествования. Поэт пишет о хороших знакомых и обращается к хорошим знакомым. Многие названы в поэме по именам — и учительница Вера Ва- сильевна, не раз воспевая Гамзатовым, и «поднявшая бубен» Муи Гасанова, прекрас- ная аварская певица. Когда, собравшись с Юсупом в театр, Асият попала в больницу (Осман отомстил ей ударом ножа), когда подруги (и автор вместе с ними) волно- вались за ее жизнь,

Кружился вокруг чуть заметный  
Снежок. А в театре как раз  
Достичь своей цели заветной  
Спешил Айгази в этот час.

И тот, кто видел «Айгази» — народную драму, исполняемую кумыкскими актерами, — вспомнит ночное свидание, песни и шутки, страсть и счастье: контраст, пора- зивший поэта, не оставит и читателя равно- душным, картина жизни, переданная в «Го- рянке», покажется еще более достоверной.

Гамзатов — оратор с живой фантазией. Он творец метафор и ассоциаций. Таковы же и его герои. Дело даже не в том, что поэт наделил их своим даром; эмоциональ- ность и образность речи — национальная черта Асият, Али, Расула Гамзатова. Одни и те же жизненные впечатления, одни и те же поэтические истоки и в словах чабана и в словах поэта. Все грани поэтического рассказа — описания событий, диалоги ге- роев, рассуждения автора — сохраняют от- печаток единого стиля. «Шелка шуршащая кипа» не что иное, как река, ворвавшаяся в саклю, — это слова Хадиджат. «...Девочка узкой тропею в ущелье спустилась с горы, как малая лань к водопою» — это мимолет- ное сопоставление автора. «Дразнить при- нимается волка и в пасть ему палку су- ет» — это резкое замечание Али, возмущен- ного сопротивлением дочери. «Касатка змея не родня» — так отец убеждает Асият сми- риться. Дочь принимает риторический вы-

зов: «...если, — отец, я, — касатка, зачем же неволить меня?» Тот же образ многократно видоизменяется: «Не вечно касатке резвить- ся... — касатки выют гнезда высоко, ты ж в яму толкаешь меня...» И, наконец, по- следний, поэтически веский аргумент Аси: «В кувшин, обожженный искусно, болотную воду не лей». Отзвуки фольклора и образы природы не только украшают поэму — они подчеркивают ее народный характер, они утверждают мысль поэта о неодолимости новой жизни. Обращаясь к Асият, поэт вы- ражает свою уверенность и надежду в точ- ной и завершенной формуле:

Крепись и не бойся! Мохнатый  
Валун, что скатился в грозу,  
Не сдержит извечно крылатой,  
Несущейся к морю Койсу.

К сожалению, в изображении любви Аси- ят и Юсупа поэт изменил и традиции, и искренности, и вкусу, хотя, казалось бы, подобные темы могли вдохновить его пре- жде всего. Вялые, безличные чувства героев демонстрируют только сентиментальный шаблон, по которому немало изготовлено стихов и прозы. Энергия, юмор, сердечность поэта замирают в тех главах поэмы, ко- торые призваны быть наиболее лиричными. Может быть, так получилось потому, что эти главы лишние, необязательные, что они не нужны ни для выражения идеи, ни для хода сюжета, что сами по себе они лишь дань условности. Вторая половина поэмы значительно беднее первой. Поэтические от- ступления, вызванные в начале поэмы внут- ренней необходимостью, в конце обуслов- лены внешними поводами: поэт воспекает, например, Махачкалу лишь потому, что в этот город приезжает героиня. Так поэма становится излишне многословной. Строго говоря, и таких драматических событий, как ранение Асият, могло бы не быть: куль- минация поэмы развернулась раньше, там, где Ася сказала «нет» узаконенным веками обычаям. Этот ее поступок — своего рода подвиг, а все остальное — и любовь и ра- на — только случайности, счастливые или горестные.

Говоря словами поэта, в «Горянке» «не каждая строчка удачна была и важна». И все же дочь Асият, которой Расул Гам- затов пообещал, что она будет «воспета другим», наверно позавидует матери: не часто поэты слагают песни такие искрен- ные, такие звучные.

М. ИОФЬЕВ.

### Стиль, отвечающий теме

**Б**орьба за выразительность, которая ведется в художественной литературе, защита самобытного индивидуального стиля, агитация против скуки и добротной штамповки, бесспорно, должны быть распространены на литературоведение. Так же, как поэзию, прозу, драматургию, его невозможно представить себе облаченным в униформу. «Ведь литературоведение не только наука, но в значительной мере искусство»,— говорил на Втором Всесоюзном съезде советских писателей К. И. Чуковский. И действительно, лучшие наши исследователи своими книгами неотразимо доказывают, что литературоведческий труд вовсе не обязательно должен походить на сухой гербарий. Великолепным тому примером служит сборник работ самого К. И. Чуковского «Люди и книги», объединивший исследования разных лет.

Продолжая параллель с художественной литературой, легко заметить, что литературоведение не терпит повторения индивидуальности. Можно воспользоваться методологией, выработанной К. Чуковским, как можно воспользоваться методологией других мастеров советской науки о литературе. Но, разумеется, смешно советовать: пишите, как Чуковский.

Сборник «Люди и книги» интересен вдвойне. Он дает представление о своеобразии Чуковского-литературоведа и в то же время показывает изменение его интересов, движение стиля, одним словом, эволюцию.

Чуковский начал до революции с журналистики, с хлестких, колючих литературных фельетонов, посвященных современникам. Но за гребнем великих исторических свершений то, что было для него современностью, стало историей. В восприятии молодого советского читателя критические статьи об Андрееве или Куприне звучали уже как мемуары. Да так оно и было в действительности. Разве не тональность мемуаров преобладает в литературном портрете Леонида Андреева, помещенном в сборнике под датой: 1919. И тогда Чуковский пошел в глубь истории литературы, пошел навстречу ценностям, бесспорным для молодой пролетарской культуры.

**Корней Чуковский. Люди и книги. Редактор С. Краснова. 543 стр. Гослитиздат. М. 1958.**

«От Чехова до наших дней» — так называлась литературная панорама, созданная К. И. Чуковским перед революцией. Позднее критик проделал обратный путь, вехами которого были книги о М. Горьком, А. Блоке и Н. Некрасове.

Самое интересное, что, обратившись к истории литературы, к жизни и творчеству Некрасова, Василия Слепцова, Николая Успенского, К. И. Чуковский сохранил (только теперь уже как прием) свежесть восприятия, присущую обычно современнику описываемых явлений. Иными словами, он как бы перенес на историю литературы метод художественной мемуаристики.

Вспомним только, как начинаются литературные очерки, собранные в томе «Люди и книги»: «Существует рассказ о том, будто в сороковых годах минувшего столетия один русский степной помещик, человек азартный и размашистый, встретился в Париже с Карлом Марксом...» («Григорий Толстой и Некрасов»). «Рассказывают, будто на старости лет Николай Успенский дошел до такой безысходной нужды, что сделался уличным нищим... Об этом сообщается почти во всех биографиях писателя, но мне хотелось бы тут же добавить...» («Жизнь и творчество Николая Успенского»). «Все авторы воспоминаний о Слепцове, словно сговорившись друг с другом, в один голос сообщают...» («Жизнь и творчество Василия Слепцова»). «Принято почему-то считать, что Знаменская коммуна Слепцова — явление единичное и редкое. В разных мемуарах печатают, будто она была...» («История слепцовской коммуны») и т. д.

Все эти дружные «будто» поначалу выглядят так, как если бы бывалому очевидцу, лично знавшему и Некрасова, и Григория Толстого, и Николая Успенского, и Василия Слепцова, знавшему их всех и каким-то чудом дожившему до наших дней, вдруг стала доступна целая библиотека мемуаров, и он сразу же начал поправлять своих неточных современников.

Недоверие, какое вызывают их свидетельства, как выходит на проверку, основательно и справедливо. Известно, например, что один из Толстых встречался в Париже с Карлом Марксом и, по свидетельству Анненкова, даже обещал «бросить



себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции». Но кого только не называли в девятнадцатом веке, когда пытались расшифровать личность этого Толстого: полицейского агента Якова Толстого, соратника Фаддея Булгарина Феофила Толстого, министра внутренних дел Дмитрия Толстого и даже Льва Толстого. На самом деле, как показал Чуковский, это был Григорий Толстой, богатый и образованный заволжский барин, друг Бакунина. И доказал он это косвенным путем, проследив отношения Григория Толстого с Некрасовым, которому прекраснородушный помещик также пообещал денежную поддержку для «Современника» и также не сдержал своего слова.

Это уже не спор очевидца с очевидцем. Маска мемуариста снята. Перед нами ученый, обладающий редкой способностью вникать в психологию изучаемых им исторических лиц. И другое. За психологией личности Чуковский видит социальную психологию, за вкусами и привязанностями — сложное переплетение классовых симпатий и тяготений. Вот он приводит воспоминания современников о чудачествах Николая Успенского, о его неукротимо тяжелом характере, о его злопамятстве и т. д. Но почему же, задает вопрос исследователь, Николай Успенский так резко отличался от других литераторов-разночинцев — Помяловского, Воронова, Левитова? Почему в пору крайней нужды его тянуло к уличному попрошайничеству, к «эстрадному нищенству», тогда как те «голодали застенчиво, каждый в своем углу»? Чем объяснить эти черты в характере Николая Успенского? «И покуда мы не дознаемся,— говорит Чуковский,— каково социальное происхождение этих особенностей, покуда мы не выделим их из комплекса тех черт, которые характерны для всей этой разночинческой группы писателей, до той поры наши представления о жизни и творчестве Николая Успенского будут весьма произвольны».

Так прослеживает Чуковский в биографии писателя борьбу двух разнородных влияний: «одного кулацко-поповско-лакейского, а другого — трудового крестьянства». Эта двойственность объясняет и «человеконенавистничество» Успенского и его симпатии к мужику, и она же помогает понять, как в одном человеке мог совеститься творец прославленных демократичных крестьянских рассказов и сотрудник

черносотенного «Образования». Так разгадываются и многие другие психологические парадоксы.

И снова вспоминаешь о Чуковском-мемуаристе. Полное погружение в материал помогает реставрировать самый быт прошлого: «У Излера франты в светло-кофейных штанах так медленно жуют расстегаи По Невскому так сонно шагают бекешки, и в облаках из тафты, шурша широчайшими юбками, так томно проплывают многопудовые, но жеманные дамы,— лифы сердечком, и губы сердечком! — и даже шулера от Доминика, взирающие на них с вождением, вожделяют как будто сквозь сон. Дóмы низки и желты, а площади пусты, тишина, как на кладбище, только и слышишь всю жизнь, что мерное, тошное скрипение департаментских перьев, и под это скрипение перьев обыватели плодятся, целуются, доживают до старости, веруя, что и через тысячу лет будет то же скрипение перьев».

Чуковский не только знает больше, чем современники Излера и Доминика (это нетрудно, живя почти столетием позже), он знает к тому же столько же, сколько они. Вот, разбирая некрасовский рассказ «Краска Дирлинг», он замечает мимоходом о том, как легко представить одного из персонажей, подьячего, на сцене Александринского театра в исполнении Мартынова. И в самом деле начинаешь верить, читая очерк, что автор мог воочию видеть и Мартынова, и жующих расстегаи франтов, и модниц в необъятных юбках,— так свежи и уместны эти жанровые картинки.

Возможность разобраться в далеком прошлом, как в современности, подкрепляется чутьем критика. Ведь свидетели и очевидцы зачастую оказывались бессильными раскрыть значение многих современных им явлений, докопаться до их потаенного смысла, привязать какие-то детали к совершающимся на глазах событиям. Идут годы, эти события умерли, эхо их донеслось до нас, исказив их смысл. Тем сложнее отыскать утерянные нити, связывающие злободневный роман Василия Слепцова «Трудное время» с поразившей его эпохой. Мало восстановить текст романа, израненный цензурой, нужно еще по еле уловимым намекам расшифровать его «тайнопись». И только тогда в произведении проступают знаки «трудного времени» — отблески знаменитых петербургских пожаров, тени арестованных и зато-

ченных революционеров, отзвуки той непрекращающейся партизанской войны, какую ведет с баринами затравленный и обманутый «великой реформой» мужик.

Но разве эта зоркость исследователя, раскрывающая в Василии Слепцове убежденного и последовательного демократа, отделима от той особенной наблюдательности, благодаря которой мы знакомимся с поэтикой Слепцова, которая заставляет открыть в нем только теперь (хотя мы уже читали «Трудное время») большого художника? Всмотриваясь вместе с Чуковским в художественное дарование Слепцова, воспринимаешь необыкновенно свежо и его звукопись, и чеховский лаконизм до Чехова, и выразительные бытовые и психологические детали. «...Дьячок искал в передней свои галоши, но долго не мог их найти. Наконец попал ногой в чей-то валявшийся на полу картуз и ушел домой». Или: «хозяйка вошла в избу и, доставая из рукава блоху, спросила...» Или Шетинин, персонаж «Трудного времени», потрясенный несчастьем, бессмысленно чешет голову: «чесал, чесал долго, кстати и комод почесал». Подобные примеры не стоит комментировать. Их необходимо отыскать и (в этом состоит искусство критика) вылучить из текста, в котором они незаметны почти так же, как незаметны в романе потаенные политические намеки.

Если попытаться определить писательский метод, родственный дарованию Чуковского, то это будет, на мой взгляд, метод предельного заострения, я бы даже сказал, оправданной утрировки. Недаром двойное описание Петербурга в главе «Тема денег в творчестве Некрасова», противопоставление призрачно парадной, привычно сонной жизни Северной Пальмиры лихорадочному меркантильному ритму, который уже несли новые буржуазные отношения, сродни гоголевскому «Невскому проспекту».

Чуковский всегда стремился найти у писателя «то заветное и главное, что составляет самую сердцевину его души, и выставить эту сердцевину напоказ». Он писал много как критик о Леониде Андрееве, всякий раз открывая в его творчестве какую-то новую, действительно характерную для этого художника грань, и увлеченно доказывал, что вот это и есть самая его сердцевина, пока не подытожил в мудрых словах: «Было очень много Андреевых, и каждый был настоящий».

Критик Чуковский темпераментно и ост-

роумно убеждал, что Куприн — писатель «сорокового раза», что Брюсов — «поэт прилагательных», что Сологуб «всю вселенную считает мелким бесом и видит Передонова даже в солнце». Чуковский-литературовед создает многоцветные портреты Некрасова, Слепцова, Николая Успенского, где каждая краска предельно ярка. Конечно, эти два человека — критик и литературовед нерасторжимы, они с готовностью приходят друг другу на помощь. Мы знаем старые исследования Чуковского — его работу о Гаршине, или написанную в 1917 году книжку «Некрасов как художник», или острые рецензии, с которыми ученый и сейчас изредка выступает в печати. Однако критик, как видно, почти вытеснен литературоведом. Научная точность, исключительное чувство меры в заострении сменили былую увлеченность броской концепцией, в азарте которой в иных случаях страдала уже жизненная сложность, то, о чем писал в 1910 году критику В. Брюсов: «Вы иногда оригинальности приносите в жертву справедливость, — ради того, чтобы высказать суждение своеобразное, готовы Вы пренебречь настоящим обликом писателя». Ничего подобного нет в статьях о Некрасове, Слепцове, Николае Успенском, в литературных силуэтах Андреева и Блока.

Но вот читаешь очерк о Чехове. Читаешь и удивляешься: «огромная жизненная энергия», «размашистое и щедрое радушие», «феноменальная общительность», «могучая энергия творчества», «человек, беспощадно насмешливый», «артельный, хоровой человек», «каждый рассказ... стальная конструкция», «контингентность восхищения природой», «жадный аппетит к бытию», «неуклонная воля к созидательному преобразованию жизни», «натура жизнеутверждающая, динамическая, неистощимо активная», «творческое вмешательство в жизнь», «колоссальная энергия», «неистощимость его жизненных сил», «могучая воля», «могучая, гениально упорная воля», «сильный характер», «неслыханная смелость» и снова: «несгибаемая могучая воля», «героически волевой человек» и т. д.

Как будто все так. Возражая против традиционной в мемуаристике трактовки Чехова как пассивного, безвольного интеллигента, Чуковский перекликается с такими зоркими чеховскими современниками, как Горький и Бунин. Но почему же остается впечатление, словно все эти и многие другие слишком громкие и пышные слова ска-

заны не о Чехове, словно эти энергичные характеристики не проясняют, а обесцвечивают, нивелируют его облик? То, что верно как грань чеховского характера, абсолютизируется, отчего сложный психологический спектр оказывается подмененным одноцветной чертой.

И дело, очевидно, не в том, что к «высоким» словам сам Чехов чувствовал ненависть. Слова могут быть как угодно высоки, но здесь они не того ряда. Они накладывают на Чехова какой-то литературный грим, и это мешает другим великолепным «чуковским» страницам, которых в статье немало.

Но даже очерк о Чехове, наименее удачный, на мой взгляд, в сборнике, есть следствие неперестанного стремления автора (пусть в данном случае не совсем бесспорного) освободить личность писателя от гипнотизирующих покровов времени, выставить напоказ «самую сердцевину его души». Чуковский один и тот же и в очерке о Чехове и в очерке о Блоке, сотканном из летучих воспоминаний. Одни и те же законы (хотя они никогда не повторяются) — законы искусства — обусловили особенности статьи о Чехове или статьи об Андрееве.

Можно только удивляться тому, как на нескольких страничках удалось запечат-

леть цельный образ такого противоречивого, такого сложного художника, как Андреев. Да и самому очерку нельзя не удивиться: его искусно найденному сюжету, строгой композиции, тщательному подбору слов — тому литературному таланту, который ощущается в каждом эпизоде. Обычно это слово — талант — употребляют, характеризуя Чуковского, чтобы приблизить его книги и статьи к художественной литературе и отдалить их от литературоведения. Но почему? Как можно писать книги о литературе, не будучи (хотя бы немного) художником? Не есть ли это снова попытка оправдать скуку в литературоведении?

И разве не лучшим средством превратить науку о литературе в увлекательнейший и интересный для всех предмет может служить стремление Чуковского приблизить ее к жизни, стремление, сформулированное им в этюде о Николае Успенском: «Мною руководила уверенность, что живой человеческий образ, со всеми его противоречиями, во всей его сложности, вызовет в читателях гораздо больше живого сочувствия, чем та благовидная «мумия», которую во всякое время были готовы смастерить, на потребу ханжей, фальсификаторы нашего литературного прошлого».

О. МИХАЙЛОВ.

★

## Время жить

За два прошлых года на русском языке появилось несколько послевоенных произведений Ремарка, недавно вышел его роман «Три товарища», написанный в эмиграции в 1938 году. И это уже само по себе свидетельствует о том, что сложное творчество видного немецкого писателя вызывает у нас все больший интерес. К сожалению, в суждениях о нем часто еще слышны отголоски давних вульгарно-социологических представлений. То о Ремарке говорится, как о писателе равнодушном, который «не делает выводов, он лишь повествует». То утверждается даже, что его книги — «законченно декадентские произведения». То, наконец, в творчестве Ремарка обнаруживают крайне пессимистическую филосо-

фию, смысл которой в том, что «человек в конце-то концов живет не столько для жизни, сколько для смерти». И это заставляет нас обратиться к первым книгам Ремарка — они помогут разобраться в сильных и слабых сторонах дарования и жизненной позиции большого художника. Без попытки как-то осмыслить эти общие черты, пожалуй, и невозможен верный подход, верное понимание каждой новой (для русского читателя) книги Ремарка. Тем более, когда речь идет о «Трех товарищах», книге, написанной двадцать лет назад.

Творчество Ремарка, как и других писателей «погерянного поколения», рождено первой мировой войной. Когда читаешь его потрясающие беспощадной, иногда даже нарочито жестокой правдой описания кровавых будней кошмарной человеческой бойни, когда Ремарк рассказывает о трагической судьбе «поколения, которое было унич-

Э. М. Р е м а р к. Три товарища. Перевод с немецкого И. Шрайбера и Л. Яковенко. Редактор М. Гимпелевич. 432 стр. Гослитиздат. М. 1958.

тожено войной, хотя и избежало ее гранат», — невольно вспоминаешь гневные полотна немецкого художника Отто Дикса, к сожалению, у нас мало известного. Луначарский, высоко ценивший картины Дикса, писал о нем: «Он ужаснулся и хочет ужаснуть нас, и действительно ужасает». Это же можно сказать о Ремарке: он возвратился с фронта, из окопов, охваченный иступленной ненавистью к ужасной войне. Эта ненависть клоочет во всех его книгах.

Ремарка часто воспринимали исключительно как бытописателя войны. Но стоит задуматься над датами появления его книг. Стоит, потому что эти даты откроют нам одну немаловажную закономерность. Первый роман Ремарка «На Западном фронте без перемен», который сразу же принес писателю мировую славу, вышел в свет в 1928 году, через десять лет после войны. Но не потому ли эта книга кажется написанной по горячим следам событий, что речи в мюнхенских пивных слишком напоминали фельдфебельские команды, а в топоте марширующих фашистских молодчиков явственно слышался шаг маршевых рот?

«Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью», — слова эти, поставленные Ремарком эпиграфом к первому роману, многие вводили в заблуждение. Но эта автохарактеристика неверна — и не только потому, что его книги полны страсти и гнева, что они обвиняли и требовали к ответу. Она неверна еще и потому, что произведения Ремарка, как правило, обращены к будущему, они предостерегают, предупреждают о надвигающейся опасности. Это, быть может, нелегко было угадать в его первом романе. Но в 1931 году появился второй роман Ремарка, «Возвращение», в эпилоге которого дана многозначительная сцена, не оставляющая никаких сомнений в том, кого и что имел в виду автор. За городом, на прогулке, герои сталкиваются с юношеской группой некоего «спортивного» общества, которую инструктор («вождь» — назван он в книге) обучает ремеслу солдат. И, вероятно, не только этому — один из молокососов произносит «явно заученную фразу»: «С этими большевиками нужно покончить, иначе Германии не видать свободы». Эта сцена, свидетелями которой стали герои романа, бывшие фронтовики, заставляет их сделать вывод: «Так опять все и наворачивается. Вот оно — начало новой мировой

войны». Смысл книги — в этой тревоге за будущее.

Кстати, фашисты отлично поняли, против кого направляет писатель удар. Чтобы парировать его, они после выхода «На Западном фронте без перемен» попытались уничтожить роман сатирической пародией. Захватив власть, нацисты уже не прибегали к пародиям: книги Ремарка были сожжены.

Интересно и то, что произведения, в которых с наибольшей силой разоблачаются злодеяния гитлеровцев (роман «Время жить и время умирать», пьеса «Последняя остановка»), созданы Ремарком именно тогда, когда в Бонне началось наступление на демократические свободы, всегда предшествующее и сопутствующее милитаризации. И вновь писатель, напоминая о суровых уроках истории, призывает к защите мира. «Мы не должны это забыть», — говорит о годах гитлеровского правления герой пьесы «Последняя остановка» антифашист Росс. Чтобы предотвратить новую войну, чтобы никогда не было больше гестапо и лагерей уничтожения, надо похоронить прошлое, выкорчевать все корни милитаризма и фашизма — вот мысль, которую утверждает Ремарк в послевоенном творчестве.

Да, творчество Ремарка питается не только (а может быть, даже и не столько) впечатлениями первой мировой войны, но и жгучей неостывающей ненавистью к фашизму. Пишет ли Ремарк о последних часах гитлеровского рейха, о газовых атаках 1917 года или об инфляции после первой мировой войны, — главный враг, которого он хочет поразить, это фашизм.

Но антифашистский фронт объединял людей разных политических взглядов, разных мировоззренческих позиций. У Ремарка, как и у его героев, еще в траншеях возникло непреодолимое отвращение к буржуазному обществу с его лицемерной политикой, нравственностью, религией. «...Нас обманули, обманули, обманули так, — говорит писатель от имени «потерянного поколения», — что мы и сейчас еще не раскусили всего этого обмана.. Говорилось: отечество, а в виду имелись оккупационные планы алчной индустрии; говорилось: честь, а в виду имелась грызния и жажда власти среди горсточки тщеславных дипломатов и князьков; говорилось: нация, а в виду имелся зуд деятельности у господ генералов, оставшихся не у дел... Слово «патриотизм» они начинили своим фразерством, жадной славой, власто-

любием, лживой романтикой, своей глупостью и торгашеской жадностью, а нам преподнесли его как лучезарный идеал... Молодежь всего мира верила, что она поднялась на борьбу за свободу. И в каждой стране ее обманывали и предавали ее, и в каждой стране она билась за чьи-то чуждые ей интересы...» Но Ремарк, разоблачая и отвергая нацистский «новый» порядок, не находит в себе сил для прямой политической борьбы — единственного пути к освобождению человечества от угрозы фашизма и войны. Более того, сама мысль о такой борьбе ему иной раз казалась не менее обманчивой, чем все остальные развенчиваемые им «ценности». Характерно, что Ленца, единственного из героев «Трех товарищей», проявляющего какой-то интерес к левым политическим организациям, остальные снисходительно именуют «последним романтиком». Ремарк сочувствует лишь тем, кто в одиночку борется за право человека на достойную человека жизнь.

Свою книгу о подпольной борьбе немецких антифашистов Ганс Фаллада назвал «Каждый умирает в одиночку». И это название (вне зависимости от того, что хотел сказать автор), выражает верную мысль: сражаясь в одиночку, иногда гибнут, как герои, — со славой; победить в одиночку нельзя. Эта мысль помогает понять и самое уязвимое место в позиции Ремарка. Она раскрывает причину того, почему новый мир, который для немцев его поколения олицетворяли Карл Либкнехт и Эрнст Тельман, остался для Ремарка за семью печатями. Ремарк стал противником фашизма не потому, что ясно понимал его политическую и социальную природу. Гуманизм, ненависть к лицемерию и демагогии, презрение здорового человека, который хочет жить и мыслить по-своему, к нравственному убожеству и духовной нечистоплотности, возведенным в ранг если не официального, то обязательного общегосударственного стандарта, — вот из чего возникла антифашистская направленность произведений Ремарка.

Если сопоставить созданные Ремарком в разных книгах образы нацистов, нетрудно заметить, что всем им присуща общая определяющая черта, — бесчеловечность. И когда в романе «Время жить и время умирать» автор описывает эсэсовца Штейнбренера, который «был образцовым детищем партии... обладал образцовым здоровьем, образцовой физической закалкой, образцо-

вым отсутствием собственных мыслей, образцовой бессердечностью... — автомат, который может с одинаковым усердием чистить винтовку, тренироваться и убивать», — то это скорее «родовая», чем индивидуальная характеристика.

Из ряда многих писателей «потерянного поколения» Ремарка выделяет все усиливающийся с годами интерес к социальным болезням общества. В отличие, например, от Хемингуэя, который обычно не так часто обращается непосредственно к социальным проблемам, Ремарк настойчиво стремится обнажить социальный смысл происходящего. Но дальше этого Ремарк не идет — он все-таки, как и Хемингуэй, судит о событиях и людях, исходя из этических норм абстрактного гуманизма. Подобный критерий оценки действительности мы неизменно обнаруживаем в творчестве тех современных зарубежных художников, которые именуются критическими реалистами. И если их книги все же воюют против самых основ общественного устройства в странах капитала, то многое следует отнести на счет тех уз, которыми в наш век связаны этика и политика, мораль и социология. Именно поэтому гнев, с которым Ремарк обрушивается на растленную мораль буржуазного общества, оказывается обращенным и на самые устои этого общества. Именно поэтому его обличение фашистского изуверства воспринимается как обвинительный акт, предъявленный всей нацистской системе.

Роман «Три товарища», пожалуй, самая «хемингуэзская» по подходу к действительности книга Ремарка. Социальные проблемы в нем приглушены, отодвинуты на второй план. Герои произведения словно не замечают или, точнее, стараются не замечать то, что происходит вокруг них: они поглощены собственными большими бедами и маленькими радостями. Но даже этот роман Ремарка раскрывает нам некоторые важные стороны жизни Германии на рубеже тридцатых годов: водоворот общих событий вовлекает и героев книги. Безработица — людям не на что жить: «Двенадцатый за неделю... Почти все из-за безработицы. Два семейства. В одном было трое детей. Газом, разумеется. Семьи почти всегда отравляются газом». Толпы голодных, а в витринах магазинов «высились башни консервных банок, лежали упакованные в вату вянувшие яблоки, гроздья жирных гусей свисали, как белье, с веревки, нежно-желтыми и розовыми надрезами мерцали

окорока, коричневатые круглые караваи хлеба и рядом копченые колбасы и печеночные паштеты». Бездомные — их можно увидеть даже в музеях в те дни, когда вход бесплатный. Здесь тепло, и они часами устало и тихо бродят по залам, но глаза их, в которых безысходная тоска, видят «не картины эпохи Ренессанса и спокойно-величавые скульптуры античности, а нечто совсем другое». Распродажа с аукциона нажитого за десятилетия и все-таки жалкого имущества бедняков: «женщины с горестными лицами со страхом и надеждой смотрели на пальцы торговцев, как на священные письма заповедей».

Таков мир, в котором живут герои «Трех товарищей». Но им-то, казалось бы, на что жаловаться? К ним была милостива судьба: они попали в число счастливых, вернувшихся с войны. Это как крупный выигрыш в лотерею. Валентин — один из персонажей романа — пьет, потому что все еще не может прийти в себя от счастья, что уцелел. Трех фронтовым товарищам — Роберту Локампу, от лица которого ведется повествование в романе, Готтфриду Ленцу и Отто Кестеру — немало пришлось помыкаться сразу же после войны, но сейчас, пусть иной раз им и приходится туговато, у них есть неплохая работа, крыша над головой, они молоды и еще полны сил. Такое существование, вероятно, вполне устроило бы обывателей — ведь их интересы исчерпываются заботой о собственной сытости. Быть может, оно пришлось бы по душе забуддыгам, у которых нет цели в жизни, — им все на свете трын-трава.

Героям же Ремарка не дает покоя мысль о том, что жизнь устроена скверно и несправедливо, что человечество «создало бессмертные произведения искусства, но не сумело дать каждому из своих собратьев хотя бы вдоволь хлеба». И не только потому, что завтра, может быть, и они лишатся работы, хлеба, дома. Главное в другом: на войне они стали непримиримыми ко лжи и себялюбию, корысти и бессердечию. «Мы хотели было воевать против всего, что определило наше прошлое», — подводит итог прожитым годам Робби Локампу. Но три товарища не сумели сделать этого. Они не принимали жизненного порядка, в основе которого несправедливость и обман, но и не знали ни как им бороться за иную жизнь, ни даже того, какой она должна быть, — «оставались только бессилье, отчаяние, безразличие и водка». Но в том-то и

сложность нарисованных Ремарком героев, что примириться с таким существованием они не могут. Им стыдно за свое бессилье, а их безразличие, о котором они много говорят, потому что боятся его, — это лишь оцепенение, а не духовный паралич. Нет, они не стали равнодушными: они ничего не забыли, не простили подлости, жестокости, бесчеловечности. Трудно, очень трудно им живется. И если есть какая-то отрада в их безрадостном существовании, если есть что-то по-настоящему прочное, что может служить им опорой, — это верная, бескорыстная, окрыляющая человека дружба. Вот, пожалуй, единственное, во что герои Ремарка верят еще безоговорочно и непоколебимо. И сам писатель в этом чувстве находит источник и для жизнеутверждения и для поэзии. Самые сильные, самые поэтические страницы книги рассказывают о верности товарищу, о самоотверженности во имя дружбы, о естественной человеческой солидарности, противостоящей корыстолюбию, страху и продажности. И даже истинность любви меряется в романе дружбой. В одно из первых свиданий с Пат Робби сказал ей: «Мне и не нужна женщина в роли товарища. Мне нужна возлюбленная». Когда же Робби понял, что пришло в его жизнь вместе с Пат, как дорога она ему, он обращается к любимой с самым нежным из всех известных ему слов: «Дружище мой».

И здесь отчетливее всего видно, что дружба, связывающая героев романа, — вовсе не окопное братство. Их сблизило нечто более важное, чем вой снарядов, заставлявший одновременно прижиматься к земле, или заплесневелый последний сухарь, который перед атакой у проволочного заграждения делили на троих. Их дружба держится на общем кодексе чести, в основе которого — неприятие буржуазного миропорядка и выстрадавший гуманизм. Идею фронтового товарищества, которую усиленно эксплуатировали фашисты, Ремарк развенчал еще в «Возвращении». И в «Трех товарищах» это уже решенная для него проблема. Правда, герои Ремарка (да и он сам) горюют по поводу того, что их вера в окопное братство оказалась несостоятельной, что «товарищеское единение раздроблено пулеметом, солдаты стреляют в солдат, товарищи в товарищей...». Что ж, горечь эта понятна: по утраченным иллюзиям молодости скорбят всегда. Но освобождение от иллюзий — благо: чем ближе к правде человек, тем он свободнее и сильнее.

Гуманистический пафос романа находит выражение и в очень светлом, очень чистом изображении любви. У Ремарка в этой «вечной» теме, которую декаденты особенно охотно используют для развенчания человека, для проповеди цинизма, животного отношения к жизни, звучит протест против измельчания, опошления чувств, страстная тоска по человеческой теплоте, счастью, благородству.

«Три товарища» — это история любви, напоминающая ту, которую рассказал Хемингуэй в «Прощай, оружие!»: такой же трагический финал и та же острая горечь оттого, что «время любви» скупой мерой отсчитано человеку. Робби теряет любимую, встреча с которой внесла в его жизнь смысл; впервые полюбив по-настоящему, он сделал для себя открытие: «Мужчина не может жить для любви. Но жить для другого человека может». Пат гибнет от туберкулеза: «последствия войны. Недоедание в детские и юношеские годы». В «Прощай, оружие!» трагический финал — роковая, но весьма знаменательная случайность: Хемингуэй тогда считал, что человек обречен на одиночество и тщетны попытки выбраться из него. Ремарк думает по-иному: если и стоит жить в этом никуда не годном мире, то только потому, что есть верные друзья, которые без колебаний пойдут за тебя в огонь и в воду, и ты отплатишь им тем же, есть любимая и счастье, что она внесла в твою жизнь.

Эта мысль чрезвычайно важна для писателя. Роман создавался в те годы, когда над Германией царил жуткая ночь. Разум был под подозрением, человечность преследовалась, за честность попадали в гестапо. Гитлер, разгромив прогрессивные силы внутри страны, расстреляв сотни и бросив в концлагеря тысячи людей, уже грозил Европе военным походом. Многим немцам в ту пору казалось, что не будет конца этой страшной ночи, этой разнузданной тирании, что их соотечественников захлестнула волна страха и цинизма, изуверства и лжи. Ремарк был среди тех, кто, несмотря ни на что, верил, что нацистский режим падет. Он плохо представлял себе, как это может произойти. Не знал, как нужно бороться. Просто он был убежден, что нацистам не удастся всех сделать подлецами и шкурниками, всех оболванить и запугать. Ремарк видел в фашизме лишь разгул низменных инстинктов и противопоставлял бесчеловечности и подлости веру в то, что

человек добр, разумен, благороден, что высокая дружба и свежая любовь могут служить ему защитой от окружающего зла.

Через пятнадцать лет в романе «Время жить и время умирать», рассказывая о любви другого своего героя, о любви тоже большой и самозабвенной, Ремарк придет к выводу, что «этого было еще очень недостаточно. Это лишь волновало его сердце, но не поддерживало. Маленькое личное счастье тонуло в бездонной трясине общих бедствий и отчаяния». Гребер — герой этого романа — приходит к мысли об ответственности каждого за то, что происходит вокруг. Герой решает убить эсэсовца: «...словно это могло искупить многое в его прошлом, да и самую жизнь его и, в частности, такие минуты в ней, которые он хотел бы зачеркнуть; искупить что-то содеянное им или, наоборот, упущенное».

Так будет писать Ремарк в 1954 году, и сопоставление этих двух эпизодов зримо раскрывает эволюцию художника, серьезно размышлявшего о причинах утверждения и падения гитлеровского режима. А пока в романе «Три товарища» герои хоть и расправляются с одним из фашистских молодчиков, но лишь за то, что он застрелил их друга Ленца.

...Есть удивительное обаяние в самой манере Ремарка — строгой, лаконичной, даже суховатой и вместе с тем проникновенно лирической. Так разговаривают с близким другом, который понимает вас с полуслова: без позы и пышных фраз, очень просто и предельно искренне. Здесь все важно, все требует внимания: и едва заметный, но выдавший душевное движение жест, и неожиданная смена интонаций, и случайно оброненное слово. Ремарк умеет незаметно «навязать» читателю необходимое настроение. Ощущение острой, шемящей грусти, которое охватывает нас после первых страниц «Трех товарищей», — а еще ничего не произошло, ничего не случилось — так и не покидает до конца книги. Ремарк бывает язвительно насмешлив, иной раз намеренно грубоват (хотя в этой книге он не грешит пристрастием к натуралистическим подробностям, как в некоторых других вещах), но и в этих сценах живет затаянная грусть. И даже цвета, которые использует автор в «Трех товарищах» для пейзажей и описаний, очень точно соответствуют эмоциональному строю романа. Все поглощающие тяжелые свинцовые тона, и лишь как сверкнувшая надежда на счастье — сере-

бряный блеск платья возлюбленной героя. И снова белесо-серый туман, в котором тонет все...

Луначарский, побывавший в Берлине незадолго до того времени, которое описано в «Трех товарищах», так же характеризовал общее настроение — «уныние». Это настроение общественной апатии, охватившее миллионы деморализованных, выбитых из колеи людей, — одна из причин первоначального успеха фашистской демагогии, — это настроение мастерски передал Ремарк в «Трех товарищах». «Эпохой отчаяния» называет это время один из героев романа. Но и крайнее отчаяние не может толкнуть героев Ремарка к фашистам. «Лишние люди» двадцатого века, они ненавидят прошлое и презируют настоящее. Сохранив чудом жизнь на войне, они не знают, зачем «околачиваются на земле», что «делать со своей жизнью». Мучительно ищут ответа на этот вопрос и не находят. Один за другим наносит им судьба безжалостные удары — у них достает мужества держаться на ногах. «Пока человек не сдастся, он сильнее своей судьбы» — в это они веруют твердо. И даже их внешний цинизм — это тоже один из видов самозащиты от подло устроенной жизни.

Нам импонируют не только их мужество и честность, справедливость и человечность. Нам понятна и их тоска по большой цели

в жизни, по великому делу, которому можно отдаться целиком, без сомнений и колебаний. И когда Робби думает: «Прошло время великих человеческих и мужественных мечтаний», — нужно в этом видеть не только его трагическую ошибку, но и страстное желание служить человечеству. Пусть героям «Трех товарищей» не суждено понять, что мы живем именно в такое время великих мечтаний, пусть они так и останутся в стороне от тех, кто в трудной, мужественной борьбе созидает новый мир, — их ненависть к прогнившему обществу воюет рядом с нами.

Ремарк — художник трагического склада. Сплошь и рядом для его героев роковым оказывается столкновение с окружающим их миром — они гибнут в неравной схватке, потому что сражаются в одиночку, на свой собственный страх и риск, потому что не знают пути в будущее. Но книги его, даже самые мрачные и горькие из них, такие, например, как «Три товарища» или «Время жить и время умирать», направлены против тех, кто посягает на принадлежащее людям «время жить», и защищают право человека на любовь, свободу, счастье.

Ответ на вопрос: в защиту человека или против него? — ныне пограничная линия между реализмом и декадансом. Книги Ремарка написаны в защиту человека.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

### Политика и наука

#### От Октября к XXI съезду партии

В преддверии XXI съезда партии, в предвестие дня которого боевая программа нового мощного подъема социалистической экономики, культуры и благосостояния народа, каждый советский человек ощущает потребность оглянуться назад, подвести итоги пройденного страной пути. Неоценимую помощь в этом окажет содержащий ценнейшие материалы четырехтомный сборник «Директивы КПСС и Советского пра-

вительства по хозяйственным вопросам». Сборник охватывает сорокалетний период существования Советского государства. Со многими документами сборника читатель познакомится впервые.

В начале первого тома опубликовано историческое обращение II Всероссийского съезда Советов о низложении Временного правительства и о переходе власти к Советам, ленинские декреты о мире, о земле. В конце четвертого тома — обращение Юбилейной сессии Верховного Совета СССР от 6 ноября 1957 года к народам Советского Союза, в котором говорится: «Теперь перед нами стоит задача —

**Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов. 1917—1957 годы. Тома 1—4. Составители В. Н. Малин и А. В. Коробов. Госполитиздат. М. 1957—1958.**



претворить в жизнь великую идею нашего века — коммунизм».

Документы сборника убедительно и наглядно раскрывают огромную направляющую силу Коммунистической партии и Советского правительства, их организующую роль в успешном решении все новых и новых трудных задач, встававших на пути не имевшего прецедента в истории строительства социалистической экономики.

Уже на самой заре существования Советского государства Коммунистическая партия и Советское правительство, руководимые В. И. Лениным, поднимали советский народ на строительство тяжелой промышленности — этой базы экономической независимости и обороноспособности страны.

В декабре 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов выносит решение «О тяжелой индустрии». Неимоверные трудности переживала в то время наша страна — хозяйство было разорено долгими годами империалистической и гражданской войн. Съезд призвал поставить угольную и металлургическую промышленность «в особо благоприятные условия для развития своих производительных сил».

На протяжении десятилетий Коммунистическая партия, Советское правительство сосредоточивали внимание народа на преимущественном развитии тяжелой промышленности.

Эта задача была положена в основу всех пятилеток. Она же поставлена перед перспективным планом развития народного хозяйства на 1959—1965 годы. Именно потому, что в течение четырех десятилетий, в соответствии с экономическим законом социалистического общества, неустанно форсировалось развитие тяжелой промышленности, наш народ выполнил завет В. И. Ленина, призвавшего «создать действительно могучую и обильную Русь» вместо Руси убогой и бессильной.

В 1957 году СССР каждые одиннадцать дней производил столько промышленной продукции, сколько ее дала старая Россия за весь 1913 год. В 1957 году по сравнению с 1913 годом валовая продукция всей промышленности увеличилась в СССР в 33 раза, в то время как в США — в 4,1 раза, в Англии — в 1,8 раза, во Франции — в 2 раза. В 1913 году старая Россия дала угля в 10 раз и стали почти в 2 раза меньше, чем Англия. Ныне же Советский Союз дает

угля вдвое больше, чем Англия, выплавляет стали больше, чем Англия и Западная Германия, вместе взятые.

Огромное, непреходящее значение имеют документы, наглядно показывающие, что с первых же лет существования Советского государства и на всех этапах социалистического строительства Коммунистическая партия требовала широко привлекать народные массы к руководству хозяйственным строительством, всемерно развивать социалистический демократизм. Уже VIII съезд РКП(б) (1919) подчеркивал, что профсоюзы должны в самых широких размерах вовлекать трудящихся в непосредственную работу по ведению хозяйства. Декабрьский Пленум ЦК КПСС (1957) определил новые формы активизации участия рабочих в руководстве производством путем превращения производственных совещаний на стройках и предприятиях в постоянно действующие. Партия требует привлекать весь коллектив к разработке планов, учитывать его опыт.

Чрезвычайно поучителен один из документов. Руководители заводов Куйбышевского нефтеперерабатывающего, Ново-Краматорского машиностроительного (в городе Электростали), Антонинского сахарного провели работу по составлению шестого пятилетнего плана бюрократически, в узком кругу работников заводууправления, игнорируя ценные предложения новаторов. Специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР были сняты со своих постов директора заводов, а руководителей партийных и профсоюзных организаций наложены строгие взыскания.

Партия в процессе роста промышленности перестраивает систему управления ею, исходя из уровня производительных сил страны, прогресса науки и техники, роста квалификации кадров хозяйственных руководителей.

ВСНХ, созданный через пять недель после завоевания власти народом, первоначально объединял деятельность всех экономических наркоматов; ему была поручена организация всего народного хозяйства. Фактически он уже в 1918 году превратился в наркомат промышленности.

В декабре 1931 года, когда промышленность выросла в несколько раз и в стране развернулось грандиозное строительство, Центральный Комитет партии постановил выделить в отдельные отраслевые наркоматы легкую и лесную промышленность, а

ВСНХ превратить в наркомат тяжелой промышленности. В третьей пятилетке был организован ряд отраслевых наркоматов, существование которых в течение многих лет вполне себя оправдало.

А в 1957 году, на новом этапе развития народного хозяйства, когда в стране насчитывалось уже более двухсот тысяч государственных промышленных предприятий и свыше ста тысяч строек, были созданы совнархозы, ведающие всей промышленностью данного экономического административного района. Этот переход к управлению предприятиями по территориальному принципу сделал руководство, как показал опыт, несравненно более оперативным и гибким, обеспечил более высокие темпы технического прогресса.

Документы сборника свидетельствуют о том, как далеко вперед глядела Коммунистическая партия, указывая народу на всех этапах строительства новые пути в развитии производительных сил.

В постановлении ЦК ВКП (б) о работе Уралмега (1930) указывалось, что «жизненно необходимым условием быстрой индустриализации страны является создание на Востоке второго основного угольно-металлургического центра СССР путем использования богатейших угольных и рудных месторождений Урала и Сибири». Это знаменовало новый этап роста всей экономики страны. Партия призвала народ строить Урало-Кузнецкий комбинат. Все человечество знает о результатах этого великого строительства: вступившие в строй новые заводы-гиганты, включенные в народнохозяйственный оборот несметные естественные богатства преобразили лицо восточных районов страны и сыграли выдающуюся роль в победе над фашизмом.

Не менее показателен другой пример. Малочисленна была техническая интеллигенция в дореволюционной России. Еще четверть века назад СССР испытывал острый голод в технических кадрах. А теперь наша страна не только по абсолютной численности инженерно-технической интеллигенции, но и по ежегодному выпуску инженеров оставила далеко позади все капиталистические страны, в том числе и США. Эти победы не пришли сами, они плод многолетней упорной работы. Уже в июле 1928 года пленум ЦК ВКП(б) разработал обширную программу подготовки новых кадров специалистов.

В результате в 1956 году количество специалистов со средним и высшим образованием почти в тридцать три раза превзошло дореволюционное.

Нельзя без волнения знакомиться с документами, относящимися к периоду Великой Отечественной войны (большая часть их публикуется впервые).

Уже 16 августа 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) выносят важнейшее постановление о военно-хозяйственном плане на четвертый квартал 1941 года и 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Это явилось четкой программой огромного строительства в районах Востока; было признано необходимым перевести в эти районы предприятия оборонной промышленности.

В относительно богатой уже литературе о войне обычно не освещается постановление Совнаркома СССР от 11 сентября 1941 года о строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени. Теперь, после выхода в свет рецензируемого сборника, это важнейшее постановление станет широкоизвестным.

Этим постановлением наркоматам во время войны разрешалось строить под щехи здания временного типа. Предлагалось широко применять дерево и другие местные материалы для несущих конструкций. Применение металла и железобетона предусматривалось лишь в тех случаях, когда использование других материалов было технически недопустимо. Мы помним, как в 1941 и 1942 годах советские люди, выполняя эти указания, с удивительной быстротой соорудили на Урале и в Сибири многочисленные деревянные заводские корпуса. Они отнюдь не ласкали глаз своим внешним видом, но из этих неуклюжих зданий на фронт шел нескончаемый поток военной техники.

Вот другой замечательный документ. Государственный Комитет Оборона 22 февраля 1943 года постановил начать восстановление угольных шахт Донбасса, хотя подавляющая его часть была еще оккупирована.

В немногих тогда освобожденных районах Донбасса сразу развернулась добыча угля. На шахтах Краснодарского, Свердловского, Ровеньковского, Успенского, Бокково-Антрацитовского районов горняки работали под артиллерийским и минометным огнем. За полгода было добыто свыше мил-

лиона тонн угля. Вспомним, что в то время уголь приходилось возить на фронт с Востока за три-четыре тысячи километров; каждая тонна донецкого угля была особенно ценна. Решение ГКО позволило снабдить прифронтовые железные дороги и электростанции донецким топливом.

В марте того же сурового 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) наметили мероприятия по восстановлению производства сельскохозяйственных машин и орудий. На Наркомчермет возлагалась обязанность обеспечить для этой цели поставку металла наравне с поставками для оборонных наркоматов. Директорам заводов запрещалось расходовать этот металл на другие нужды, включая и военные заказы! Это решение было вынесено в самый горячий период войны, когда на счету была каждая тонна остродефицитного металла. Так партия и правительство уже тогда готовили страну к восстановлению сельского хозяйства и всей экономики.

Три первых тома сборника охватывают материалы за целых тридцать пять лет (октябрь 1917—1952). В четвертый том включены документы за пять лет (1953—1957), которые войдут в историю нашей страны как годы особенно бурного роста экономики, повышения жизненного уровня народа.

Мы хорошо помним важнейшие решения о сельском хозяйстве, о мерах по развитию животноводства, о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Эти решения претворены в жизнь, и все мы сщушаем результаты мудрых мероприятий партии и правительства по ликвидации запущенности в сельском хозяйстве.

Центральное место в материалах четвертого тома занимают документы XX съезда партии.

Съезд дал программу нового крутого подъема производительных сил страны, роста материального благосостояния и культурного уровня советского народа. Из года в год увеличивается национальный доход, вступили в строй новые крупнейшие предприятия. Советский Союз уже в период 1953—1957 годов опередил США как по темпам роста, так и по ежегодному абсолютному приросту столь жизненно важных видов продукции, как железная руда, уголь,

нефть, чугун, сталь, цемент, шерстяные ткани.

Выросли реальная заработная плата рабочих и доходы колхозников, принят новый пенсионный закон, расширены права профсоюзов; замечательные победы достигнуты советской наукой. Нет ни одной области, в которой не ощущалась бы кипучая организаторская работа коллективного руководства Центрального Комитета партии!

Сегодня наша страна оставила уже далеко позади тот рубеж, на котором она находилась в феврале 1956 года, когда заседал XX съезд партии. Но советский народ не привык почивать на лаврах. И в завершающей части четвертого тома мы находим ряд важнейших документов, представляющих глубоко продуманную программу борьбы за новый расцвет советской державы, расцвет жизни советского народа. Это и замечательная программа жилищного строительства, рассчитанная на то, чтобы в ближайшие десять—двенадцать лет покончить в стране с недостатком в жилищах. Это обращение ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 11 июля 1956 года об устранении недочетов в организации нормирования труда и заработной платы.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке перспективного плана развития народного хозяйства на 1959—1965 годы подчеркивалось, что он должен обеспечить дальнейший мощный подъем всех отраслей народного хозяйства на базе преимущественного развития производства средств производства. Новый план должен дать еще более широкий простор для развития всех отраслей науки, теоретических исследований и крупных научных открытий.

Выступая 11 сентября 1958 года на митинге в Сталинграде, Н. С. Хрущев указывал, что контрольные цифры народного хозяйства на семь лет, которые будут приняты XXI съездом партии, вызовут у честных людей всего мира большое восхищение.

Советский народ твердо знает, и это подтверждают материалы сборника: программа, намеченная сегодня партией, завтра станет реальной действительностью.

**А. ХАВИН.**

## Эпос революции

**П**обедным триумфальным шествием большевизма называл Ленин первые месяцы Советской власти, когда с головокружительной быстротой она побеждала на всех огромных просторах России.

То были дни великого, подлинно всенародного революционного подъема, дни величайшей в истории социальной революции. Их эпическую картину воссоздает новая книга воспоминаний участников Октября, подготовленная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Сборник «Победа Великой Октябрьской социалистической революции» ведет читателя из ее центров — Петрограда и Москвы, — которым были посвящены аналогичные предшествующие издания, на Урал и в Поволжье, на Украину и в Белоруссию, на Дальний Восток и в Среднюю Азию, на Дон и Кубань, в Прибалтику и Закавказье.

Перелистывая книгу, словно путешествуешь по объятной пламенем революции, бурлящей стране, словно переносишься в те бурные незабываемые дни.

Авторы воспоминаний, в большей своей части опубликованных впервые или впервые полностью воспроизведенных на страницах сборника, рассказывают о подвигах большевиков на местах, в провинции. Наряду с выдающимися руководителями революционной борьбы пролетариата — К. Е. Ворошиловым и А. И. Микояном, В. В. Куйбышевым и Г. И. Петровским, Я. Б. Гамарником и Ф. И. Махарадзе — своими воспоминаниями поделились рядовые участники событий — тогдашние рабочие, крестьяне, солдаты, ныне персональные пенсионеры, почетные ветераны нашей революции.

Составители сборника проделали большую и плодотворную исследовательскую работу. Они не только собрали, тщательно выверили и отредактировали новые, еще никогда не появлявшиеся в печати воспоминания, но и заново изучили всю обширную, порой ставшую библиографической редкостью мемуарную литературу — комплекты историко-революционных журналов

и местную партийную печать 1920—1927 годов, издания типа, скажем, сборника «Октябрь 1917 года», вышедшего в 1921 году в Ростове-на-Дону, или книг «Из прошлого» и «Четверть века борьбы за социализм», выпущенных тридцать пять лет тому назад в Баку и Тифлисе.

Сборник так богат фактическим материалом, так содержателен и многогранен, что на страницах журнала можно кратко остановиться лишь на немногих темах.

Первой из них должна быть, конечно, роль Ленина в руководстве революцией, в идейном и организационном направлении всей деятельности местных большевистских организаций.

Никогда еще роль личности в истории человечества не проявлялась с такой исключительной силой, как на примере Ленина, олицетворявшего те самые качества, которые он видел в большевистской партии, воплощающей, по его знаменитому определению, ум, честь и совесть нашей эпохи. Казалось, давно уже все сказано о Ленине как вожде Октябрьской революции, но сборник дополняет наши представления множеством ярких и рельефных штрихов. Вот уралец А. В. Бархатов рассказывает о встрече Ленина с делегацией нижнетагильских рабочих в середине ноября 1917 года.

Владимир Ильич увидел делегатов в коридоре Смольного и тотчас же пригласил их к себе. Его интересовало все: взаимоотношения партийной организации и Совета рабочих депутатов, вооружение Красной гвардии, производственная деятельность заводов и быт трудящихся.

Ленин тут же связал делегатов с народными комиссарами, дав им все необходимые указания и распоряжения, рассказал тагильцам, как, по его мнению, должны работать Советы, разъяснил значение теснейшей связи членов Совета с рабочими заводов и рудников, исключительную важность для судеб революции всемерного укрепления Красной гвардии. «Мы ушли от Ленина, — пишет А. В. Бархатов, — согретые чувством огромной признательности к этому человеку, который все помнил и все предвидел в великом деле социалистического строительства. Мы безгранично верили Ленину и не ошиблись».

Так помог Ленин уральцам.

**Победа Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник воспоминаний участников революции в промышленных центрах и национальных районах России. Редактор А. В. Лукашев. 504 стр. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Госполитиздат. М. 1958.**

Другие старые большевики — А. И. Кауль и Е. Г. Горбачев — поделились своими воспоминаниями об указаниях Ленина тулякам и киевлянам.

Владимир Ильич живо интересовался положением в Туле и в губернии, подробно выяснял, как живут и работают тульские рабочие, что делается в деревне, как работает партийная организация. «Я неоднократно слышал речи Ленина, — пишет А. И. Кауль, — но так близко видел его впервые. Навсегда мне запомнился взгляд Ильича, внимательный, вдумчивый и располагающий к искренним разговорам. Во время разговора с ним глаза его, пытливые, внимательные, с известным характерным прищуром, перебегали с одного собеседника на другого, как бы прошупывая, пронизывая насквозь».

Это было в мае 1918 года. Годом ранее, еще в дни Апрельской конференции, Ленин более трех часов беседовал с Е. Г. Горбачевым о состоянии Киевской организации партии, подчеркивая огромное значение национального вопроса в революции и настоятельную необходимость терпеливого разъяснения трудящимся Украины сущности националистической политики Центральной рады.

— Не ожидайте перевыборов, отзывайте меньшевиков и эсеров, посылайте в Советы большевиков и беспартийных, которые сочувствуют нам, — это теперь главное, — сказал на прощание Владимир Ильич, призвав большевиков Киева смелее разоблачать предательство соглашательских партий. «Окрыленный беседой, полный энергии и веры в наше дело, вышел тогда я от В. И. Ленина», — говорит Е. Г. Горбачев.

О том же рассказывает и С. И. Гопнер, руководившая в те дни большевиками Екатеринослава. Когда весной 1918 года IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал, по предложению Ленина, Брестский мир, С. И. Гопнер обратилась к Владимиру Ильичу с просьбой посоветовать, что сказать екатеринославским рабочим, на долю которых выпадали особенно тяжкие жертвы в связи с немецкой оккупацией Украины. Несмотря на темноту, царившую за кулисами Большого театра, где заседал съезд Советов, С. И. Гопнер заметила, что Ленин при ее словах помрачнел. Он ответил не сразу и заговорил как-то особенно тихо и проникновенно:

— Скажите рабочим Екатеринослава, что этот Брестский мир будет недолговечен.

В Германии неизбежна и близка революция, и она сметет Брестский договор... А в союзе с германским пролетариатом мы будем непобедимы...

Вернувшись в Екатеринослав, С. И. Гопнер на первых же рабочих собраниях и митингах убедилась в громадной силе ленинской прозорливости, как известно, блестяще подтвердившейся уже через восемь месяцев. «Особенно большое действие оказывали на массы, — отмечает она, — дословно переданные слова Ленина и самый факт, что именно Ленин так думает и говорит. В этот период широчайшие массы уже оценили силу ленинского предвидения».

Урал, Якутия, Тула, Киев, Екатеринослав... Большевиков всех этих (и скольких других!) организаций напутствовал и воодушевлял, критиковал и направлял Ленин.

Руководящее значение для большевиков Средней Азии и Казахстана имела беседа Ленина с Алибеем Джангильдином — одним из первых коммунистов казахов. Еще в середине ноября 1917 года, назначая А. Т. Джангильдина чрезвычайным областным военным комиссаром Тургайской области, Ленин так развивал свои идеи о национальной политике Советской власти:

— Буржуазная революция ничего не дает угнетенному народу. В программу большевиков входит освободить угнетенные народы и дать им возможность самостоятельно развиваться. Наша тактика должна быть такая, чтобы привлечь на нашу сторону интеллигенцию, культурные слои населения. Врагу пощады не должно быть...

Сборник заключается воспоминаниями члена партии с 1903 года, заместителя председателя ревкома Юго-Западного фронта М. Н. Коковихина. Еще много лет тому назад он записал оставшуюся, к сожалению, не застенографированной и даже не запротоколированной речь, произнесенную В. И. Лениным 5 января 1918 года на заседании большевистской фракции Учредительного собрания. Вот как сформулировал тогда Ленин необходимость немедленного роспуска Учредительного собрания с его антисоциалистическим большинством:

«...нет ничего неожиданного в том, что контрреволюционное большинство Учредительного собрания отклонило Декларацию ВЦИК Советов рабочих, солдатских и

крестьянских депутатов, в которой записаны основные завоевания трудящихся. Было бы ошибочно думать, что это большинство уступит в вопросе о власти... Большинство также не примирится с тем, что Советская власть посягнула на частную собственность эксплуататоров, землю объявила общенародным достоянием и передала ее трудящимся без выкупа, национализировала банки, установила рабочий контроль над производством как первый шаг к национализации фабрик, заводов, транспорта... Буржуазия, эсеры и меньшевики, пока они не потерпят полного поражения, не откажутся от любых средств борьбы с Советской властью. На вещи надо смотреть прямо и делать безошибочные выводы. Сейчас вопрос стоит так: быть Советской власти или власти Учредительного собрания?..»

Эта запись неопубликованной ленинской речи представляется нам вполне аутентичной — так близка она известной «Декларации» фракции большевиков, оглашенной 5 января 1918 года в Учредительном собрании после заседания, о котором рассказывает М. Н. Цоковихин.

Слово Ленина, которое никогда не расходилось с его делами, весь его облик, полный скромности и неподдельного демократизма, обладали могучей вдохновляющей силой. Вот несколько эпизодов, воспроизведенных мемуаристами на страницах сборника.

Первые дни после победы Октября. В Екатеринбургском оперном театре идет митинг. На трибуне старый бородатый солдат, судя по «оканью» — крестьянин с Поволжья. Он заявляет:

— Кто землю нам дарует? Советская власть! Кто миром порешил кончить бойню? Большевики, Ленин! Так вот за такую власть, за такую партию мы, солдаты, беднота крестьянская, любому врагу, как куренку, шею свернуть готовы...

Середина января 1918 года. В Екатеринославе заседает губернский крестьянский съезд. Выступает рядовой селянин украинец. Заканчивая взволнованную речь, он подходит к большому портрету Ленина, снимает шапку и, отвесив глубокий поклон, говорит:

— Спасибо тебе, товарищ Ленин, от всего украинского селянства!

Другой конец страны. В туркменском ауле большевики проводят беседу о задачах местных Советов. Первое слово берет

старейший в ауле. Он благодарит Ленина за его заботу о бедных туркменах и заверяет, что весь аул будет поддерживать Советскую власть... Перед нами поистине, как писал в те дни Ленин, триумфальное шествие Советской власти «по всем народам и языкам России».

Плечом к плечу с Лениным, рука об руку с ним шла воспитанная им славная большевистская когорта. На страницах сборника отражена деятельность крупнейших партийных руководителей. Из материалов книги мы впервые узнаем о десятках выдающихся военных, организаторских, ораторских, пропагандистских талантов, выдвинутых революцией.

Среди этих замечательных людей — Павел Хохряков, матрос-балтиец, бесстрашный главком уральских красногвардейцев, возглавивший Центральный штаб Красной гвардии Урала и погибший в августе 1918 года в бою с белогвардейцами; ораторы и пропагандисты — доктор философских и математических наук Яков Боград, первая корейка-коммунистка Александра Ким-Станкевич. Как живые, встают они со страниц воспоминаний.

Я. Е. Боград был любимым лектором большевиков Сибири. Он мастерски овладевал вниманием слушателей; его могучий голос и фигура великана завоевали широкую известность по всей Сибири — от Омска до Читы. «Идейное общение с рабочими массами было всегда делом его жизни, потребностью его ума и сердца», — пишет А. В. Померанцева, активная участница борьбы за власть Советов в Красноярске.

Яркий портрет Ким-Станкевич рисуют воспоминания А. Н. Геласимовой, в 1917 году учительницы, члена Хабаровского Совета. Вот 7 декабря 1917 года Ким выступает перед враждебно настроенной аудиторией, состоявшей из почтово-телеграфных чиновников Хабаровска: «Невысокого роста, с круглым монгольского типа лицом, на котором горели темные глаза, в сером шерстяном платье, стройная, изящная, с национальной корейской прической, Ким стояла перед чиновниками, будто явление из какого-то другого мира, стояла и обводила своими прекрасными глазами лица сидящих перед ней людей... Речь ее была насыщена теоретическими положениями марксизма и вместе с тем понятна и проста... Кончила Ким-Станкевич под

бурные аплодисменты, ей аплодировал почти весь зал».

Я. Е. Боград и А. П. Ким-Станкевич пали от руки колчаковцев и калмыковцев. В тот же период на юге страны погиб в бою с деникинцами другой большевик — чеченец Асланбек Шерипов, настоящий самородок, оратор, поэт, публицист. Еще до революции сотрудничал он в газете «Терек», описывал жизнь чеченской бедноты.

Из всех бесчисленных злодеяний интервентов и белогвардейщины самое чудовищное — это расправа с лучшими людьми большевистской партии, которые и сегодня еще могли жить и плодотворно трудиться на благо коммунизма. Сколько образов замечательных героев должны еще воплотить деятели советского искусства — литературы и живописи, поэзии и скульптуры, театра и кинематографии!

Нельзя в заключение хотя бы кратко не остановиться на еще одной теме: деятельности большевистской печати тех лет. О ней идет речь почти во всех воспоминаниях, многие из которых принадлежат перу бывших работников партийных газет и журналов: Д. А. Фурманова, А. В. Померанцевой — редактора газеты «Красноярский рабочий», А. З. Дьякова — редактора «Терского трудового казака», Т. М. Резаковой — сотрудницы владикавказской «Народной власти», И. В. Рабчинского — редактора таллинского «Утра правды».

Во главе большевистской печати в те дни, как и ныне, шла ленинская «Правда». «Она идейно вооружала нас, указывала путь к организации и постоянно звала к действию», — пишет о ней казанский большевик Г. С. Гордеев.

О том, как большевики Юго-Западного фронта, Урала и Туркестана распространяли «Правду», «Окопную правду», «Рабочий путь», рассказывают М. Н. Коковихин, А. В. Бархатов и А. В. Лысенко. «Чем больше рабочие читали большевистские газеты и книжки, — вспоминает последний, — тем лучше они разбирались в политике и деятельности различных партий, тем решительней становились на сторону большевиков».

Эстонская коммунистка М. К. Эдер-Ежова живо передает впечатления от выступления В. И. Ленина на общегородском собрании большевиков Петрограда,

состоявшемся 8 мая 1917 года. В конце доклада Владимир Ильич рассказал о деятельности «Правды» и призвал материально поддержать газету. По зову Ленина все присутствовавшие товарищи тут же стали славать в фонд «Правды» ценные вещи — портсигары, броши, серьги, ордена и медали.

Интереснейшие детали из истории «Окопной правды» приводит в своих воспоминаниях член ее редакционной коллегии Д. И. Гразкин. Эту газету, так много сделавшую для большевизации фронтовиков, издавал сначала Исполнительный комитет 436-го Новоладожского полка. «Это наверное первый случай в истории печати, — справедливо отмечает Д. И. Гразкин, — когда сама масса являлась организатором и издателем газеты. Сами солдаты ее набирали, редактировали, печатали и распространяли. Большинство статей было написано самими солдатами».

Вскоре «Окопная правда» стала органом военной организации русской секции при Рижском комитете Социал-демократии Латышского края. Правительство Керенского запретило «Окопную правду», но уже на другой день начала выходить новая большевистская фронтовая газета — «Окопный набат». Бумагу для ее издания пожертвовали рабочие Ревельской писчебумажной фабрики. Несколькое сот рублей собрали для нее петроградские рабочие.

В сборнике рассказано о деятельности в общей сложности тридцати шести большевистских газет. В книге, правда несколько уже, чем деятельность большевистской печати, освещены и другие формы партийной пропаганды.

По воспоминаниям А. И. Кауля, тульские большевики поставили «спектакль на демократическую тему» — «Авдотьяна жизнь». Коммунисты карельского села Уссун весной 1918 года разучили с молодежью «Коммунистическую марсельезу» Демьяна Бедного, начинавшуюся словами:

Мы пожара всемирного пламя,  
Молот, сбивший оковы с раба.  
Коммунизм — наше красное знамя,  
И священный наш лозунг — борьба.

О революционных песнях, спектаклях, празднествах рассказывают и многие другие мемуаристы.

...Заканчивается краевой съезд Советов. Заключительное слово должен произнести председатель Владивостокского Совета Су-

ханов. Однако он не может говорить от охватившего его волнения. Вскочив на стол президиума, он вместо речи запевает «Интернационал». Голос у него был сильный, звучный, с хорошей дикцией. Делегаты и гости поднялись с мест и стоя подхватили напев. «Многие не знали слов, но не могли не петь: гимн был созвучен настроению всех присутствующих в зале, готовых разрушить старый мир и построить новое, социалистическое общество».

Это было в Хабаровске, а несколько месяцев спустя на открытии волостного съезда Советов в карельском селе Спаская Губа «Интернационал» не поют, потому что многие не знают еще мелодии, а его пламенные слова читают вслух, как

стихи... Да, песня и стихи в те годы, как никогда, становились, по слову поэта, бомбой и знаменем.

Мы не исчерпали и малой доли материалов сборника, воссоздающего подлинно богатырский эпос нашей революции. И нельзя не согласиться с одной из мемуаристок, закончившей воспоминания такими словами, обращенными к молодым читателям: «Современной молодежи нужно изучать историю революционной борьбы... Молодежи предстоит нести дальше боевые традиции старого поколения и построить в нашей стране коммунистическое общество».

Я. БОРИСОВ.

★

### Документы рассказывают...

Статьи и письма В. И. Ленина из его последнего подполья в сентябре — октябре 1917 года (их принято теперь называть «тактическими») были полны призывов к тщательной, планомерной подготовке восстания и постоянных напоминаний о том, что вооруженное восстание следует рассматривать «как искусство».

8 октября 1917 года в статье «Советы постороннего» В. И. Ленин дал развернутый план вооруженного восстания. Спустя два дня ЦК партии предложил всем партийным организациям готовиться к вооруженному выступлению. 12 октября Исполком Петроградского Совета вынес решение о создании Военно-революционного комитета.

По прошествии сорока лет ленинские статьи и письма и следовавшие вслед за ними события хорошо известны не только историкам, но и многомиллионным массам трудящихся. Они нашли широчайшее отражение в литературных произведениях, кинофильмах, учебниках, мемуарах, монографиях. Как будто каждый шаг Великой Октябрьской революции уже изучен...

Однако год за годом открываются все новые, не известные истории материалы об Октябре, документы, позволяющие полнее и глубже понять, почему Ленин считал, что «отказаться от отношения к восстанию, как

к искусству, значит изменить марксизму и изменить революции».

Наше представление о первом периоде Октябрьской революции пополняет сборник «Донесения комиссаров Петроградского Военно-революционного комитета». Сборник содержит 176 донесений комиссаров ВРК, присланных в Смольный в горячие дни вооруженного восстания.

Это простые, скромные деловые записки и сообщения, написанные наспех, иногда и не совсем грамотно. Однако с какой убедительной силой и неопровержимой ясностью раскрывают они важнейшую сторону ленинской тактики!

В письме Центральному Комитету партии, озаглавленному «Марксизм и восстание», В. И. Ленин писал: «...чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство... мобилизовать вооруженных рабочих...»

В соответствии с этими указаниями Владимира Ильича оперативный штаб революции — Военно-революционный комитет — был создан. На первых же заседаниях он назначил своих комиссаров в Петропавловскую крепость и на крейсер «Аврора», в воинские части и на железнодорожные станции, в Государственный банк и на Пу-

**Донесения комиссаров Петроградского Военно-революционного комитета. Под редакцией Г. А. Белова, А. А. Стручнова, С. И. Шульги. 352 стр. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Главное архивное управление. Госполитиздат. М. 1957.**



тиловский завод,— словом, во все опорные пункты столицы.

Комиссары Петроградского ВРК... Это были рабочие, служащие, солдаты, матросы, преданные партии большевики-подпольщики, выдвинутые на свои посты самими массами через райкомы партии и фабзавкомы.

Бывший токарь Обуховского завода А. Гундоров, ныне председатель Славянского комитета СССР, так рассказывает о вручении ему товарищем Урицким мандата комиссара ВРК.

«Я, мельком взглянув на несколько строчек врученной мне четвертинки бумаги, удивился, что мандат такой маленький, и задал наивный вопрос:

— Какие же будут ваши указания?.. Что же мне делать по прибытии на станцию?..

Урицкий страшно вспылил и почти закричал:

— Как что?! Да ты большевик или нет?..

— Большевик,— отвечаю ему.

— Давно в партии?..

— Я подпольщик.

— И ты не знаешь, что теперь там делать?! А я почему знаю... Может быть, стрелять придется...— продолжал он на меня наседавать.

Я попятился от него и скорей вложил мандат во внутренний карман тужурки, боясь, что он может его отобрать обратно».

Когда читаешь донесения комиссаров ВРК, кажется, что они до сих пор излучают ту великую энергию, которой был насыщен революционный Петроград в октябрьские дни 1917 года.

«Вступив на должность комиссара полка,— пишет комиссар гвардейского Петроградского резервного полка Л. Елкин,— я первым делом стал уничтожать старые, негодные, тормозящие демократизацию аппараты и заменять их демократическими. Были произведены перевыборы командного состава установлены контроль ротных и командных комитетов над командным составом, упразднены начальник хозяйственной части, заведывающий оружием, и т. д. и заменены солдатскими коллегами... уничтожены судная полковая часть, полковой и ротные суды заменены новыми, демократическими, гласными товарищескими судами, разбирающими дела в 24 часа».

«Будучи назначен комиссаром Центральной электрической станции петербургских городских железных дорог,— пишет Г. Дмит-

риев,— [доношу, что] во все время моей работы происходило нормальное функционирование станции, работы ни на минуту не прерывались, топливом обеспечены; рабочие на своих местах и настроение боевое...»

Письменные доклады комиссаров, которые они были обязаны представлять не менее двух раз в неделю в Бюро комиссаров ВРК, отражают не только борьбу с контрреволюцией, саботажем промышленников, борьбу за топливо, хлеб, электроэнергию, но и процесс роста самих комиссаров, их умение ориентироваться в сложнейшей обстановке, принимать правильные решения, проявляя инициативу и хозяйское отношение к делу.

Комиссар Главного управления технической организации министерства земледелия Н. Архипов подробно докладывает о напряженной борьбе с врагами, которую ему пришлось вести: «Начиная с 10 ноября служащие в управление явились, но повели явный саботаж. Приходят на работу очень поздно, пробыв два-три часа, снова исчезают... Считая, что такое поведение служащих далее недопустимо и желая прекратить эту скрытую забастовку, я сегодня объявил, что служащие, не явившиеся 17-го числа на работу или под каким-либо видом уклоняющиеся от таковой, будут мной уволены и на их места приглашены другие».

Большой интерес представляют подробный отчет С. Аллилуева о мероприятиях по обеспечению нормальной работы электростанции, доклады Б. Мандельбаума и Г. Ятманова о мерах, принятых ими по охране музеев Петрограда в дни вооруженного восстания, сообщение комиссара В. Оболенского о налаживании работы Государственного банка.

Так на безграничное доверие и поддержку широчайших масс трудящихся партия отвечала таким же безграничным доверием и облекала представителей масс высокими полномочиями.

Простые люди — рабочие, солдаты, служащие — становились комиссарами партии, рупорами ее воли, прорабами в деле слома старой государственной машины и строительства нового, первого в мире социалистического государства. Военно-революционный комитет получал сразу возможность действовать широким фронтом: разяснять, пропагандировать, распределять оружие, формировать отряды Красной гвардии.

Включение в сборник отрывков из воспоминаний десяти бывших комиссаров Военно-революционного комитета расширило рамки этой книги и дополнило общую картину. Привлекает внимание красочный рассказ комиссара Петропавловской крепости М. Тер-Арутюнянца о том, как он передал в безраздельное подчинение ВРК Кронверкский арсенал, где хранилось сто тысяч винтовок и другое оружие. Интересны воспоминания комиссара ВРК А. Флейшмана, направленного в лейб-гвардейский Литовский полк, который, заняв Пулковские высоты, сыграл такую большую роль в ликвидации и разгроме войск Керенского — Краснова. Читатели с волнением прочтут воспоминания главного комиссара врачебно-санитарного отдела ВРК М. Барсукова, комиссара почт и телеграфов К. Кадлубовского, комиссара типографии «Русская воля» С. Уралова.

Много вдохновенных слов посвящено в этих живых рассказах вождю революции В. И. Ленину, каждая строчка дышит чувством любви и благодарности к тому, кто умел во всей своей деятельности опираться на широкую инициативу масс, смелость, твердость, волю и дисциплину революционных рабочих.

Владимир Ильич был лично связан со многими комиссарами ВРК, часто беседовал с ними, внимательно выслушивал, давал советы, знакомился с их письменными докладами.

В разделе «Приложения» опубликовано

обращение СНК, подписанное В. И. Лениным, к Военно-революционному комитету с призывом принять решительные меры к искоренению спекуляции и саботажа и ряд других примечательных документов — инструкции, распоряжения, приказы ВРК, протоколы и резолюции общих собраний об избрании комиссаров, воззвания и распоряжения комиссаров.

Большинство материалов публикуется впервые, и это значительно увеличивает ценность книги, воскрешающей события грозных дней величайшей в истории человечества революции.

Жаль, что значительная часть этих замечательных документов эпохи не дошла до нашего времени, но радостно то, что многие из них, пролежав долгие годы в государственных архивах, были разысканы и любовно собраны старыми большевиками.

В работе над сборником деятельное участие принимали бывшие комиссары Петроградского ВРК. Ответственным составителем его является С. И. Шульга — бывший секретарь Бюро комиссаров ВРК.

Сборник окажет серьезную помощь в изучении исторической деятельности боевого штаба Великой Октябрьской революции — Военно-революционного комитета — и главным образом в понимании ленинской тактики проведения вооруженного восстания как искусства руководить революционной энергией масс.

Т. ЛЕОНТЬЕВА.

★

## Большевики Севера

У этой небольшой и скромной книжки — свое обаяние, обаяние подлинности. Автор ее — М. К. Ветошкин, член партии с 1904 года, профессиональный революционер-подпольщик — был сорок лет тому назад председателем губернского исполнительного комитета в Вологде. Рецензируемая книжка — живой рассказ участника многих знаменательных событий, подкрепленный историческими документами и весьма любопытными данными. Читатель как бы ощущает грозный ветер первых лет революции, суровое дыхание минувших битв за Советы, за

созданное великим Лениным государство трудящихся.

М. Ветошкин оказался в Вологодской губернии задолго до Октября. Еще в 1904—1906 годах он был одним из руководителей знаменитого Читинского восстания, проводил революционную работу под именем студента Иванова в Харбине, Иркутске.

Иностранная военная интервенция и гражданская война на севере РСФСР описаны не раз и имеют уже свою историографию. М. Ветошкина глубоко волновали спорные и подчас совершенно неверные взгляды, суждения и выводы иных авторов. Без устали рылся он в архивных документах, занимался изысканиями экономического и социального порядка, подкрепляя сохранившиеся

М. К. Ветошкин. Становление власти Советов на севере РСФСР. Редактор Ю. Э. Беренсон. 132 стр. «Советская Россия». М. 1957.

в памяти воспоминания новыми сведениями и данными.

«Некоторые авторы, писавшие об Октябрьской революции на Севере, совершенно неверно пытались характеризовать социальную базу здесь, как благоприятную для интервенции империалистов,— замечает он.— Тов. Минц писал, например, что «процессы, происходившие в социальных отношениях Севера, облегчали работу интервентов». Это неправда». Так страстно, по-большевистски, приступает М. Ветошкин к своей теме. «На самом деле навстречу интервентам шли не народные массы, а крупная буржуазия городов, кулаки деревенские (и то не все, а самые злобные, подбитые на это эсерами), помещики да вожди мелкобуржуазных партий. Подавляющая же масса населения Севера ненавидела иностранных разбойников, ворвавшихся на Север, и белогвардейцев, поднявших бунт против советской власти».

Создание и укрепление Советов на местах проходило в ожесточенной борьбе с эсеровщиной, с остатками буржуазных партий. Ленин разяснял тогда, что только «...с а м в о о р у ж е н н ы й п о г о л о в н о н а р о д , о б ъ е д и н е н н ы й С о в е т а м и ... д о л ж е н у п р а в л я т ь г о с у д а р с т в о м . В о т к т о у с т а н о в и т н е о б х о д и м ы й п о р я д о к , в о т к а к о ю в л а с т ь б у д у т н е т о л ь к о с л у ш а т ь с я , н о и у в а ж а т ь р а б о ч и е и к р е с ь т ь я н е ».

М. Ветошкин был в те дни неутомимым партийным агитатором и пропагандистом, он ездил по глухим, заброшенным селам и деревням, выступал на заводах, лесных промыслах. И люди жадно тянулись к правде, к вещему ленинскому слову, звавшему народ стать хозяином своей собственной судьбы, брать власть, проводить земельные реформы, укреплять Советы.

«Наши агитаторы, железнодорожные и сухонские рабочие, обходя деревни, поколебали эсеровские настроения крестьянских Советов,— вспоминает автор.— Факт тот, что Вологодская губерния, несмотря на засилие в ней в 1917 году эсеров, все же имела во фракции большевиков Учредительного собрания двух своих представителей, а во время Октябрьского переворота эсеры не могли поднять в губернии ни одного восстания против большевиков».

Борьба за организацию власти на местах, за землю, за хлеб, за упорядочение продовольственного дела являлась тогда самым главным, самым основным. Автор рассказывает обо всем этом немногословно, но достаточно выразительно.

Интересны данные, относящиеся к тревожным дням англо-американской интервенции, когда на Мурмане высадились союзные войска и над Севером нависла непосредственная опасность. Послы союзных держав перебрались из Петрограда в Вологду, нарушив дипломатический статут, согласно которому представители иностранных государств должны находиться при правительстве той страны, в которой они аккредитованы.

Вологодскому губисполкому пришлось не только заботиться о размещении незваных гостей, но и вести, так сказать, неожиданные дипломатические переговоры.

«Мы,— пишет М. Ветошкин,— отвели здание местного учительского института для французского и американского послов, отдали им лучшую мебель и ковры из бывшего губернаторского дома. Но послы воспользовались нашим гостеприимством, чтобы продолжать свою контрреволюционную деятельность, которую они начали еще в Петрограде, вступив в тайный заговор с эсерами, меньшевиками, кадетами и др... Душой контрреволюционного заговора был французский посол Нуланс. Этот типичный представитель империалистической буржуазии, недалекий и озлобленный на русскую революцию, носился с большими контрреволюционными планами против советской власти. Нуланс ободрял уверения правых эсеров в том, что русское крестьянство на Севере настроено враждебно к большевикам».

Во время ярославского мятежа, организованного эсерами под руководством небезызвестного террориста Бориса Савинкова, Нуланс, американский посол Френсис и другие активно поддерживали восставших не только морально, но и материально. «Специально на восстание,— показывал Б. Савинков на суде,— французы дали, если не ошибаюсь, два миллиона сразу».

В Вологде был создан Чрезвычайный революционный штаб. Председателем его стал М. Ветошкин. Вооруженные отряды двинулись под Ярославль, губернию объявили на осадном положении. Ни одного контрреволюционного выступления на Вологодщине не произошло; крестьянство не поверило лживым посулам эсеров, белогвардейцев и иностранных подстрекателей.

Союзные войска, высадившиеся на Севере, оккупировали его. В самой Вологде эсеры также готовили восстание, приуроченное к захвату Архангельска. Но оно было

предупреждено и ликвидировано. Одновременно в губернии шла деятельная организация революционных сил для отпора интервентам. Вначале Красная Армия формировалась по принципу добровольности, но вскоре события заставили перейти к обязательной воинской повинности. Наступление интервентов было остановлено, а впоследствии их заставили убраться восвояси.

«В. И. Ленин оказал решающее влияние на ход военных действий в период борьбы с интервентами и белогвардейцами на всех фронтах, в том числе и на нашем, Северном фронте, — вспоминает М. Ветошкин. — Он учил, что мы победим в гражданской войне, навязанной нам империалистами, только сохраняя и укрепляя союз рабочих и крестьян».

Коммунистическая партия сделала этот завет нерушимой основой Советского государства. Союз рабочего класса и крестьян-

ства, дружба народов превратили нашу страну в могучую социалистическую державу, которой не страшны никакие проски врагов.

Автор заканчивает последние страницы словами, обращенными к молодым читателям:

«Эту страницу истории... полезно напомнить и сегодня некоторым империалистическим правительствам. Сорок лет существования советской власти их ничему не научили. Они все еще пытаются вести по отношению к нашей стране свою старую политику «с позиции силы», которая позорно обанкротилась даже тогда, когда советская власть только встала на ноги... Воистину хуже слепого и глухого тот, кто ничего не желает видеть и слышать. Но пусть молодые поколения людей знают историю, повернуть которую вспять никому не дано».

Д. ОСИН.

★

## Поляки — солдаты пролетарской революции

За победу Октябрьской революции плечом к плечу с русским народом сражались трудящиеся многих наций. Отряд польского пролетариата был одним из самых многочисленных. Это объясняется общностью судеб русского и польского рабочего класса: долгие годы они вели совместную трудную борьбу против царского самодержавия, против отечественного и международного капитала.

Два издательства Польской Народной Республики — «Книга и знание» (Варшава) и Морское издательство (Гдыня) — выпустили сборники воспоминаний поляков — участников Октябрьской революции в России. Первый сборник уже получил отклик в нашей печати. Сборник, выпущенный в Гдыне, заслуживает не меньшего внимания.

Наиболее дорогие нам воспоминания посвящены Владимиру Ильичу Ленину.

Бывший офицер с броненосца «Иоанн Злотоуст» Черноморского флота Ян Бартошевич, вставший на сторону революции, рассказывает о двух своих встречах с Лениным после победы Октябрьского вооруженного восстания.

*Wspomnienia polaków — uczestników Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Wydawnictwo morskie. Gdynia. 1957* (Воспоминания поляков — участников Великой Октябрьской социалистической революции. Морское издательство. Гдыня. 1957).

Занятый неотложными государственными делами, Владимир Ильич, когда ему доложили о прибытии делегации черноморских моряков, тотчас же ее принял. Ленин сказал делегатам, что питает особую симпатию к морякам, так как они — передовая часть революционного народа. В кабинет Ленина ежеминутно входили люди для решения тех или иных важных вопросов, однако Владимир Ильич внимательно выслушал моряков и пригласил их к себе домой для более обстоятельной беседы. «Ленин был удивительным руководителем народных масс, любимым и обожаемым всеми, как никто иной, — пишет Ян Бартошевич. — Этот одновременно скромный человек и увлекающий массы руководитель, обладавший могучим интеллектом, был нетерпимым по отношению к врагам революции. Он обладал замечательным умением объяснять глубочайшие идеи самыми простыми словами, а также необыкновенной способностью анализировать конкретные ситуации. Все это сочеталось у него с исключительной смелостью мысли и огромной проницательностью».

Встречу с Лениным описывает и рабочий Игнаций Бродский, присутствовавший на собрании железнодорожников в московской гостинице «Элит» в начале 1918 года, где выступал Владимир Ильич. Кто-то сказал Ленину, что среди присутствующих много

железнодорожников поляков. Ленин обратился к ним со словами приветия и подчеркнул, что, борясь за победу власти трудящихся в России, польский пролетариат закладывает основы будущего независимого польского государства.

О событиях в Петрограде в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года рассказывают в своих воспоминаниях бывший кронштадтский моряк Ян Савицкий, слесарь Михаил Торуняк и член Петроградского Совета рабочих депутатов в годы революции Франтишек Котус-Янковский. Они принимали непосредственное участие в вооруженном восстании. Этим людям пришлось в дальнейшем пережить многое: санационный режим Пилсудского, ужасы фашистской оккупации, гитлеровские лагеря смерти, козни врагов, боровшихся против установления народного строя в Польше. Однако в воспоминаниях ими сохранены мельчайшие подробности об Октябрьских днях, отделенных четырьмя десятилетиями, как о поистине великом историческом событии.

«Только тот может служить интересам польского народа, кто служит интересам международного пролетариата». Эти слова замечательного польского революционера Юлиана Мархлевского поставлены эпиграфом к сборнику. Они лишний раз объясняют, почему в борьбе с контрреволюцией активное участие принимал революционный Варшавский полк, организаторами которого были Юлиан Мархлевский и Станислав Бобинский. Бои против белых казаков, подавление мятежа левых эсеров в Ярославле, разгром банд Махно, штурм Перекопа — во всех этих сражениях участвовали поляки красноармейцы. Чувство пролетарского

интернационализма руководило Анджеем Рутковским, который вместе с русскими, белорусами и украинцами боролся за свободу Белоруссии и Украины; Владиславом Внучком, сражавшимся за установление Советской власти в Туркестане, и многими-многими другими сынами братского польского народа.

Свыше сорока лет назад Центральный рабочий комитет ППС-левицы призвал польских рабочих поддержать героическую борьбу русского пролетариата и подняться против господства мирового капитала: «...Русский пролетариат, многомиллионные массы рабочих и крестьян, которые взяли управление Россией в свои стальные ладони, представляют собой авангард революционной армии, могучий таран, который уже крушит стены цитадели международного капитала, разбивает основы господства империалистической буржуазии всех стран».

Этот документ, приводимый в сборнике, как и многие другие, доказывает, что для польских трудящихся масс дело победы первой в мире пролетарской революции было делом родным и близким. Десятки тысяч польских рабочих и крестьян участвовали в Октябрьской революции, провозгласившей государственную независимость Польши.

Материалы сборника охватывают период от Февральской революции 1917 года до штурма Перекопа осенью 1920 года и дают сравнительно полную картину не только Октябрьского восстания в Петрограде и революционных боев в Москве, но и событий, предшествовавших взятию власти большевиками.

**А. МЕЛЬНИКОВ.**

★

## Великая дружба

С тех пор как свободный и независимый Китай вошел в семью стран социалистического лагеря и вместе с Советским Союзом стал решающим фактором мира и всеобщей безопасности, тема дружбы двух великих государств постоянно присутствует на страницах китайской и советской периодической печати. Однако, как бы ни были ценны публицистические работы, они не равнозначны исследованиям. Назрела необ-

ходимость в создании капитальных монографий, посвященных изучению истории и всестороннему анализу китайско-советских отношений. В этой области уже делаются попытки как в нашей стране, так и в братской Китайской Народной Республике, вступившей в десятую годовщину своего славного существования.

Свидетельством усилий китайских ученых является рецензируемая книга историка Пэн Мина, вышедшая вторым, переработанным и значительно дополненным изданием (первое издание вышло в Пекине в

1956 году). Широко используя китайские и советские источники, автор рассказывает о развитии отношений между Китаем и нашей страной с древнейших времен и по настоящее время. Главное место в книге занимает изложение китайско-советских отношений в период с 1917 по 1956 год.

История капиталистического мира не знает отношений подлинной дружбы между государствами. Волчий закон капиталистического общества распространяется и на отношения между государствами. Натравливание одной страны на другую, политика экономической и политической дискриминации — обычная практика империализма.

Только Советское государство, рожденное Великой Октябрьской революцией, провозгласило и стало неуклонно проводить в жизнь беспрецедентные в мировой истории принципы равноправия и дружбы между народами.

Пэн Мин справедливо рассматривает Октябрьскую революцию в качестве важнейшего и принципиально нового этапа в развитии китайско-русских отношений. Значение этого этапа для народов обеих стран показано полно и всесторонне.

За точным анализом фактов, событий, документов читатель неизменно ощущает мощь многомиллионного китайского народа, питающего искренние чувства любви и дружбы к своему великому соседу.

Китайский народ горячо приветствовал победу пролетарской революции в России, справедливо усматривая в ней первую страницу новой истории человечества. Отражая настроения широких масс, Ли Дачжао, впоследствии один из основателей Коммунистической партии Китая, писал в июле 1918 года: «Русская революция — начало мировой революции XX века».

Китайский народ оказывал помощь советскому народу в его борьбе против интервентов. В 1919 году около сорока тысяч китайских трудящихся, находившихся на территории Советской России, вступили в Красную Армию и рука об руку с советскими бойцами отстаивали первое в мире государство рабочих и крестьян.

С другой стороны, освободительные идеи Октября воодушевляли китайский народ на священную войну против империалистов и феодалов. Майские события 1919 года, положившие начало демократическому этапу китайской революции, явились, по общему выражению Мао Цзэ-дуна, отве-

том «на призыв мировой революции, призыв русской революции, призыв Ленина».

Через четыре года после Октябрьской революции в обстановке ожесточенных классовых боев родилась Коммунистическая партия Китая. С созданием авангарда китайского пролетариата борьба народных масс вступила в новую полосу своего развития. Коммунистическая партия стала подлинной руководящей силой антиимпериалистического и антифеодального фронта рабочих, крестьян, городской мелкой буржуазии, национальной буржуазии и других патриотических сил в борьбе за независимый и демократический Китай.

Заключенное в 1924 году соглашение между Китаем и СССР совпало с началом развернувшейся в Китае первой гражданской революционной войны. В тяжелое для китайского народа время, когда началась империалистическая интервенция, высоко поднялась могучая волна международной пролетарской солидарности. Советские профсоюзы создали комитет «Руки прочь от Китая». Когда в 1937 году Япония напала на Китай, советские люди единодушно поддержали справедливую национально-освободительную войну китайского народа. В книге приводятся сведения об участии советских добровольцев, сражавшихся против самураев в рядах китайских вооруженных сил, а также о материальной помощи, оказанной Китаю Советским правительством. В свою очередь китайский народ поддерживал Советский Союз в его борьбе против фашистской Германии в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Достоинством книги Пэн Мина является то, что автор, расширяя рамки своей темы, обстоятельно рассказывает о симпатиях к китайскому народу со стороны всего передового человечества. Трудящиеся Китая постоянно чувствовали поддержку со стороны коммунистических и рабочих партий других стран.

Развитие китайской революции, существенно подрывавшее колониальную систему империализма, укрепляло позиции международного рабочего и коммунистического движения и имело огромное значение для дела строительства социализма в Советском Союзе.

Немало препятствий пришлось преодолеть китайскому народу на пути укрепления его дружественных связей с Советским Союзом. Гоминдановские правители ста-

рого Китая по указке своих иностранных хозяев применяли репрессии против прогрессивной интеллигенции, выступавшей за дружбу Китая с СССР; чанкайшистские банды разогнали мирные демонстрации трудящихся, настаивавших на укреплении китайско-советских отношений.

Но никакие силы не в состоянии были охладить в груди миллионов простых китайцев горячее чувство дружбы к Советскому Союзу. Рубиновые звезды Кремля ярко освещали китайскому народу путь к освобождению от оков многовекового рабства, к возрождению национального суверенитета страны.

После победы Народной революции в Китае между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой был в 1950 году заключен Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Отличительные черты всестороннего сотрудничества двух великих государств — взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности сторон, взаимовыгодные экономические, научно-технические и культурные связи, единоклассовые в борьбе за мир во всем мире. Этот договор способствовал замечательным успехам в подъеме промышленности и сельского хозяйства Китайской Народной Республики, материального и культурного уровня народа.

Коммунистическая партия Китая творчески подошла к решению вопросов социалистического строительства. Народно-демократическое государство, упрочив свои командные позиции, осуществило мирный переход к социалистическому обществу путем перевода десятков миллионов мелких крестьянских хозяйств на рельсы производственной кооперации, постепенного преобразования частной промышленности и торговли в составную часть новой, социалистической экономики. В 1956 году в основном были завершены социалистические преобразования в области собственности на средства производства.

Китайская Народная Республика стала мировой державой, а советско-китайская дружба — мощным фактором мира, непреодолимым барьером для поджигателей войны. Об этом образно сказал китайский поэт и ученый Го Мо-жо:

В единый лагерь сплочены великие  
народы,  
Страна Советов и Китай — как сплав  
одной породы.

И в мире побеждает мир, и враг ему  
не страшен.

Замечательным примером пролетарской солидарности Китайской Народной Республики и Советского Союза является взаимное понимание и поддержка в борьбе против любого проявления агрессии, будь то на Востоке или на Западе. Коммюнике о встрече Н. С. Хрущева и Мао Цзэ-дуна в Пекине 31 июля — 3 августа 1958 года стало источником уверенности всего человечества в том, что дело мира и прогресса победит.

В тревожные дни сентября, когда провокационные действия США в районе китайского острова Тайвань и Тайваньского пролива способствовали возникновению непосредственной угрозы военного пожара, на весь мир прозвучал твердый и предостерегающий голос Советского Союза. В послании Н. С. Хрущева Эйзенхауэру глава Советского правительства заявил: «Нападение на Китайскую Народную Республику, которая является великим другом, союзником и соседом нашей страны, — это нападение на Советский Союз. Верная своему долгу, наша страна сделает все для того, чтобы совместно с народным Китаем отстоять безопасность обоих государств, интересы мира на Дальнем Востоке, интересы мира во всем мире».

Советский народ горячо любит китайский народ, любит за его мужество и гордое сознание свободы и независимости, за его трудолюбие и талант, за его самобытную культуру, давшую человечеству великого поэта древности Цю Юаня, крупнейшего писателя-реалиста Лу Синя, замечательного художника Ци Бай-ши. Такого союзника наш народ не даст в обиду.

Книга Пэн Мина — первое ценное монографическое исследование китайско-советских отношений, вышедшее в народном Китае. Актуальность этого труда особенно ощутима в наши дни, когда империалистические агрессоры, в частности американские, всячески фальсифицируют и извращают китайско-советские отношения. Документами и фактами Пэн Мин разоблачает пропагандистов «холодной войны» и убеждает читателя в том, что нет таких сил, которые могли бы поколебать вечную и нерушимую дружбу великих народов.

**Е. КОВАЛЕВ.**

## Научное наследие Жолио-Кюри

Множество мыслей возникает при чтении этого объемистого тома, в котором собраны труды Фредерика и Ирен Жолио-Кюри. Их имена навеки вошли в историю науки как имена крупнейших ученых, обогативших естествознание открытиями первостепенного значения. Имя Фредерика Жолио-Кюри не изгладится из памяти людей и по другой причине. Он был бессменным председателем Всемирного Совета Мира, неутомимым борцом за счастье человечества.

От знакомства с Жолио-Кюри я навсегда сохранил воспоминание о его темпераменте, глубочайшей научной эрудиции, чисто французском остроумии. Я вижу — как будто встреча состоялась лишь вчера — его приветливое лицо и желто-коричневые пальцы, ни на минуту не остававшиеся в покое и носившие несмыслимые следы многочисленных химических реактивов. Мне всегда импонировало непосредственное участие Жолио-Кюри в эксперименте, производство эксперимента своими руками.

Расцвет творческой деятельности Жолио-Кюри относится к тридцатым годам и совпадает с началом нового периода в физике — периода бурного исследования строения атомного ядра. Это совпадение вряд ли можно считать случайным, так как в ряду научных исследований, объяснивших строение ядра и создавших возможность освобождения ядерной энергии, работы Фредерика Жолио-Кюри и его супруги Ирен Жолио-Кюри принадлежат к наиболее фундаментальным.

Ряд блестящих опытов, поставленных и выполненных ими в 1932 году, вскоре привел к экспериментальному доказательству существования нейтрона. Нейтрон — фундаментальная элементарная частица материи, лишенная заряда, — вместе с протоном является «строительным материалом» атомных ядер. Только после открытия нейтрона (английским физиком Чедвиком) установилось правильное представление о строении атомных ядер. Открытие нейтрона имело огромное значение. Поддержание цепной реакции в атомных котлах, как

известно, происходит с помощью нейтронов, которые, присоединяясь к ядру урана, вызывают его деление и в результате — высвобождение ядерной энергии.

Первой ласточкой, возвестившей миру о выделении внутриядерной энергии, оказалось явление радиоактивности, открытое в самом конце прошлого столетия. Радиоактивностью назвали способность ядер некоторых тяжелых элементов (уран, торий, и другие) самопроизвольно испускать ядра атома гелия или электроны. Открытие радиоактивности поразило современников. Удивительной казалась огромная энергия, выделенная при радиоактивном распаде (огромная в масштабе атомов, но, конечно, небольшая с точки зрения человеческого обихода). Поражала кажущаяся неиссякаемость источника этой энергии и полная независимость радиоактивности от любых внешних воздействий. Были предприняты многочисленные попытки изменить ход радиоактивности, ускорить или замедлить этот процесс. Однако все попытки окончились полной неудачей. Безрезультатными оказались и попытки искусственно вызвать радиоактивность, то есть сделать из обычных атомов атомы, способные к радиоактивному распаду.

Большого успеха достигли физики в искусственном расщеплении атомных ядер.

В 1919 году знаменитый английский физик Резерфорд впервые осуществил искусственное превращение элементов. Бомбардируя азот быстрыми ядрами гелия (альфа-частицами), он наблюдал превращение атомов азота в атом кислорода и ядро водорода. Никаких следов радиоактивности им не было обнаружено, и получающийся кислород представлял собой обычно встречающийся в природе изотоп кислорода.

Прошло пятнадцать лет после первых опытов Резерфорда по искусственному превращению элементов, и вот в 1934 году Фредерик и Ирен Жолио-Кюри находят путь к искусственному созданию радиоактивных элементов. Обстреливая алюминиевую фольгу интенсивным потоком альфа-частиц, они обнаружили, что из фольги вылетают электроны положительного знака. Еще из опытов Резерфорда было известно, что при обстреле атомов алюминия альфа-частицами возникают атомы кремния и ядро водорода. Докладывая этот опыт на Сольвеевском конгрессе, Жолио-Кюри по-

---

**Фредерик Жолио-Кюри. Избранные труды. Фредерик и Ирен Жолио-Кюри. Совместные труды. Ответственный редактор и автор вступительной статьи академик Д. В. Скобельцын. 562 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1957.**



лагали, что и в их опытах возникают атомы кремния, но только иногда вместо атома водорода вылетает нейтрон и положительный электрон. Такое объяснение получило признание большинства участников конгресса.

Однако, вернувшись в Париж и продолжая эти исследования, супруги Жолио-Кюри обнаружили, что если прекратить обстрел алюминиевого препарата и унести источник альфа-частиц в сторону, то испускание положительных электронов продолжается. Это означало, что в алюминиевом препарате под действием обстрела альфа-частицами накапливаются атомы, способные к самопроизвольному испусканию электронов, то есть к радиоактивному распаду. Так было открыто явление искусственной радиоактивности. Его сразу же подтвердили многие исследователи, в том числе и советские. Уже через несколько месяцев в Советском Союзе А. Алихановым, Б. Дзепеловым и автором этих строк было найдено, что препарат магния, облученный альфа-частицами, испускает наряду с положительными электронами также электроны отрицательного заряда. Это был новый тип искусственной радиоактивности.

За выдающееся открытие Фредерику и Ирен Жолио-Кюри в 1936 году была присуждена Нобелевская премия. Супруги Жолио-Кюри получили поздравительное письмо от Резерфорда, который, как и другие выдающиеся ученые, тщетно искал пути создания искусственной радиоактивности.

Еще более эффективным средством создания искусственно радиоактивных элементов оказались нейтроны. Лишенные электрического заряда, они без труда проникают в ядра любого химического элемента и образуют новый элемент, как правило, обладающий способностью радиоактивного распада. Эта серия экспериментов, глубоких по замыслу и, как это ни удивительно, совершенно примитивных по обстановке и технике, была выполнена знаменитым физиком Энрико Ферми и его учениками.

При помощи нейтронов было открыто огромное число радиоактивных ядер. Из 104 ядерных реакций, приводящих к образованию радиоактивных элементов, известных в 1936 году, 76 было вызвано нейтронами. В настоящее время известно около восьмисот различных типов искусственно получаемых радиоактивных элементов. Это больше чем в три раза превышает число

типов обычных, стабильных элементов, составляющих окружающую нас материю.

Искусственная радиоактивность начала играть огромную роль в науке и практической жизни человека. Радиоактивные атомы применяются в биологии, химии, медицине и даже археологии.

Ученые установили, что протекающие на Солнце ядерные реакции имеют непосредственное отношение к вопросу об энергии, излучаемой Солнцем. Предполагается, что на Солнце происходит синтез ядер гелия из ядер атомов водорода. Энергия, выделяющаяся при таком синтезе, колоссальна и достаточна для того, чтобы объяснить излучение Солнца. Подробное рассмотрение этого процесса показывает, что в нем играет огромную роль искусственная радиоактивность. Не будет преувеличением сказать, что именно она поддерживает жизнь на Земле.

Со времени открытия искусственной радиоактивности прошло двадцать четыре года. Но уже за это короткое время со всей полнотой выяснилось выдающееся значение открытия супругов Жолио-Кюри. Нужно указать, что с именем Фредерика Жолио-Кюри связан ряд первостепенной важности открытий, каждое из которых сделало бы честь самому блистательному экспериментатору.

Предвоенный цикл работ Жолио-Кюри и его учеников представляет собой серию блестящих физических и химических исследований ядерных реакций и продуктов, возникающих в результате бомбардировки урана медленными нейтронами. Эти исследования вместе с исследованиями итальянской школы физиков, возглавляемой Ферми, привели в конечном счете к открытию деления урана. Тончайший анализ продуктов реакции позволил Жолио-Кюри установить, что при захвате ядром урана медленного нейтрона возникают атомы, которые по своим свойствам и весам сходны с атомами середины периодической системы Менделеева.

Весьма существенную роль для такого заключения сыграла работа Ирен Жолио-Кюри и П. Савича, в которой они установили, что один из возникающих в уране элементов — лантан. Возникновение такого сравнительно легкого атома при захвате нейтрона самым тяжелым атомом периодической системы привело к мысли, что, захватывая нейтрон, атом урана раскалывается (делится) на две примерно равные

части, которые разлетаются с большими скоростями за счет освобождающейся внутриядерной энергии. Окончательное опознавание элементов, возникающих при облучении урана нейтронами, было произведено немецкими радиохимиками во главе с известным химиком Ганом, который вместе со Штрассманом получил за это открытие Нобелевскую премию. Таким образом объединенными усилиями физиков и радиохимиков было открыто новое явление — деление урана, сыгравшее решающую роль в проблеме освобождения внутриядерной энергии.

От деления урана до открытия цепной реакции в уране необходим был еще один шаг. Цепная реакция в уране возможна только потому, что при делении уранового ядра, захватывающего нейтрон вместе с двумя атомами — осколками деления, уран выбрасывает два-три нейтрона. Установление этого факта потребовало от Жолио-Кюри больших усилий и достойно венчало его многолетние исследования. Уже в 1939 году Жолио-Кюри приступил к разработке проекта технического осуществления цепной реакции в уране и к созданию атомного реактора. Война нарушила его планы. Только в 1948 году им был создан во Франции атомный реактор.

Уже на первом этапе изучения радиоактивности великие исследователи не ошиблись в оценке того значения, которое будет иметь их открытие. Им было ясно, что энергия радиоактивных превращений представляет собой принципиально новый вид энергии, освобождение и использование которой даст человечеству энергетические ресурсы необычайной мощности. Вместе с тем они понимали и возникающую из этого открытия опасность. В 1920 году, указывая на возможность освобождения атомной энергии, ближайший сотрудник Резерфорда Ф. Содди писал: «Если когда-нибудь

этот день настанет, не нужно ослепляться величием достигнутых результатов или думать, что такое приобретение для физических ресурсов человечества может быть спокойно вручено тем, кто в прошлом уже превратил в проклятие то благословение, которое им дала наука».

С тревогой и надеждой начинал свою статью об атомной энергии в первом номере французского журнала «Атомы» за 1946 год Фредерик Жолио-Кюри: «Я взял на себя трудную и ответственную задачу осветить в небольшой статье столь обширный вопрос, как освобождение атомной энергии. Увы! Грохот взрыва в Хиросиме впервые возвестил об этом новом завоевании науки. Несмотря на такое ужасающее начало, я убежден, что это завоевание принесет человечеству больше блага, чем зла».

Таким образом, Фредерик Жолио-Кюри одним из первых среди зарубежных ученых до конца понял всю опасность, угрожающую человечеству со стороны тех, кто стремится использовать великие успехи ядерной физики в агрессивных целях, и сделал соответствующие выводы. Он блестяще доказал это уже всей своей деятельностью во время гитлеровской оккупации Франции. Ценнейшие материалы для создания урановой машины (в том числе тяжелую воду) он сумел скрыть от фашистов и переправить их за пределы родной страны, не побоявшись взять на себя всю огромную ответственность. В это тяжелое для Франции время Жолио-Кюри вступил в ряды Французской компартии.

Во всех уголках нашей планеты люди не забудут имени гуманиста и ученого Фредерика Жолио-Кюри, его мужественной борьбы против ужасов атомной войны, за использование атомной энергии в мирных целях.

*Член-корреспондент Академии наук СССР*  
А. АЛИХАНЬЯН.

★

## Конец черного режима

Многолетняя борьба иракского народа за свою национальную независимость завершилась победой. В июле этого года была провозглашена Иракская Республика.

Гаиб Фарман. Ирак в годы черного режима. Перевод с арабского А. Альбарди и Л. Сапожниковой. Редактор Б. В. Иванов. 104 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1958.

Революционный переворот положил конец владычеству британских колонизаторов и их ставленников. Годы хозяйничанья английских империалистов войдут в историю страны как период черного режима.

Ирак — щедро одаренная природой страна. Здесь, на берегах Тигра и Евфрата, по библейскому преданию, находился райский сад — Эдем. Главное богатство

Ирака — нефть, запасы которой поистине неисчерпаемы. Однако, сколь ни велики дары природы, никто не отважился бы назвать жизнь иракского народа райской. Древняя, бывшая некогда центром великой арабской империи страна была доведена колонизаторами до такой степени нищеты и экономической отсталости, равную которой трудно отыскать на земном шаре.

О том, что принесло Ираку господство империалистических хищников, рассказывает известный иракский писатель, горячий патриот своей родины, Гаиб Фарман, в книге «Ирак в годы черного режима». Книга была впервые издана на арабском языке в 1957 году в Египте, где писатель был вынужден скрываться от иракских властей, жестоко преследовавших каждого, кто поднимал свой голос в защиту поработанного народа.

...Кончилась первая мировая война. Английская армия оккупирует Ирак. Народ надеется, что Антанта сдержит свое обещание и предоставит Ираку независимость. Но англичане явно не торопятся уходить. Они тайно договариваются с Францией о разделе арабских стран.

В 1920 году совершается величайшее предательство: на конференции в Сан-Ремо Англия получает мандат на управление Ираком. Узнав о вероломстве империалистических держав, народ поднимает восстание. Английские войска топят его в крови.

В феврале 1921 года на конференции в Каире англичане объявили о своем намерении посадить на иракский престол эмира Фейсала, с тем чтобы он создал «конституционное, представительное, демократическое правительство». Фейсал стал королем. С его помощью англичане начали насаждать в Ираке угодный им режим. Все дела государства фактически вершил английский верховный комиссар. Чиновник средневосточного управления министерства колоний Англии майор Янг и английский советник при министерстве юстиции Ирака Дауэр приступили к разработке проекта иракской конституции. Естественно, что новая конституция давала английским империалистам все, чего они желали, кроме... поддержки народа.

В 1930 году в Багдаде возникли забастовки. Более ста тысяч демонстрантов вышли на улицы города с лозунгами: «Воля народа превыше всего!», «Да здравствует независимый Ирак!» Демонстранты вручили послам иностранных государств документ,

в котором говорилось: «Весь Ирак полон гнева и ненависти к политике тайных махинаций и обмана, проводимой англичанами. За десять лет английского господства народ испытал все зло, которое выпадает на долю поработанных народов, и перенес унижения, которым не подвергался ни один народ...»

Рост антианглийских настроений заставил колонизаторов прибегнуть к новому маневру: Англия отказывается от мандата на Ирак и одновременно призывает на помощь своего ставленника Нури Саида, хитрого и ксварного интригана, глубоко презиравшего свой народ. Нури Саид подписал с англичанами новый договор, сохранявший за Англией политический и военный контроль над бывшей подмандатной территорией.

Однако никакие силы не смогли сломить волю иракского народа к борьбе за освобождение. За все сорок лет своего господства колонизаторы ни одного дня не чувствовали себя спокойно. Начиная с 1921 года, в Ираке было сформировано пятьдесят два правительства. Самый длительный срок существования правительства составлял два года, самый короткий — несколько часов, как это было с кабинетом аль-Мадфани, образованным после восстания 1952 года.

Парламент фактически потерял всякое значение. Правительство вмешивалось в ход выборов самым беззастенчивым образом, обеспечивая себе парламентское большинство. Бывало и так, что члены правительства вызывали к себе губернаторов провинций и вручали им списки кандидатов в депутаты, которые должны были одержать «победу» на выборах. В стране был установлен невиданный режим террора и репрессий. Чрезвычайно разрослась сеть тайной полиции. Управление пропаганды ввело строжайшую цензуру на литературу, поступающую из Египта, Сирии и Ливана. Начиная с 1935 года, в стране более десяти раз вводилось чрезвычайное положение.

Неустойчивость своих позиций в Ираке английские империалисты особенно остро почувствовали весной 1954 года. К этому времени патриотические силы объединились вокруг Национального фронта и сумели образовать парламентскую группу, опирающуюся на широкие народные массы.

Единственный выход империалисты видели в установлении диктаторской власти. И вот на арене вновь появился Нури Саид.

Издав серию реакционных законов, он провёл выборы в парламент, которые Фарман называет «образцом фальсификации даже для истории выборов в Ираке». Вскоре после этого Нури Саид проштепелевал Багдадский пакт. Англо-иракский договор 1930 года был заменен новым соглашением, которое ставило Ирак в еще большую зависимость от Великобритании. Страна оказалась оторванной от семьи арабских народов. Но иракский народ продолжал свою борьбу.

В ноябре 1956 года, во время вооруженного нападения империалистов на Порт-Саид, в Ираке вспыхнуло восстание против политики Багдадского пакта. Первым поднялось население города Неджеф. Многочисленные демонстрации прошли в Багдаде, Аль-Хайе, Мосуле, Сулеймании, Басре и других городах.

Несмотря на жестокие меры, принятые правительством, оно во многих случаях теряло власть над отдельными городами и даже целыми областями страны. Восстание приняло всенародный характер. Революционное движение возглавил Национальный фронт.

И вот пришел час освобождения от «черного режима». В 1958 году народ Ирака, пройдя через суровые испытания, добился победы, покончив с английским господством в своей стране.

Однако как у иракского народа, так и у народов других арабских стран существует и другой грозный и коварный враг. подчас прикрывающий свое истинное лицо маской доброжелателя и друга. Этот враг — американский империализм. В на-

рушение всех норм международного права, пишет Фарман, США стремятся занять место тех империалистических держав, которые вынуждены были отступить под ударами арабских народов.

Средний Восток, считавшийся традиционной сферой влияния Англии и Франции, в послевоенные годы превратился в узел острейших межимпериалистических противоречий. На арену хищнической борьбы за богатства этого района вышли монополисты Соединенных Штатов Америки.

После провала англо-франко-израильской агрессии против Египта американские империалисты, опираясь на доктрину Даллеса — Эйзенхауэра, решили, что они призваны заполнить «вакуум», якобы образовавшийся в результате отступления англо-французских колонизаторов. Не являются ли этим «вакуумом», иронизирует Гаиб Фарман, казармы, покинутые английскими войсками в Иордании и Египте?..

Сегодня американский империализм вступил в открытую битву против освободительных сил арабского мира.

Но все эти попытки навязать народам ненавистные режимы обречены на провал. Арабское освободительное движение — единое и неделимое целое, и именно оно является решающим фактором, который сокрушит любой империализм, будь то американский, английский или французский.

Книга Фармана — это яркий, обличительный документ, лишний раз свидетельствующий о том, что час гибели колониализма близок.

С. ГОЛЯКОВ.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ВЛАДИМИР КИРШОН.** Избранное. Гослитиздат. М. 1958. 596 стр. Цена 10 р. 75 к.

В сборник известного советского драматурга В. Киршона вошли пьесы, написанные им в двадцатые — тридцатые годы. Это — «Рельсы гудят», «Город Ветров», «Хлеб», «Суд», «Чудесный сплав», «Большой день». Автор писал их по живым следам современности, показывая в пьесах борьбу за восстановление и развитие народного хозяйства, за чистоту морального облика советского человека.

Кроме пьес, в книгу вошли статьи и речи В. Киршона: «За социалистический реализм в драматургии» (содоклад на Первом Всесоюзном съезде советских писателей), «Драматургию — на передовые позиции» (статья впервые напечатана в 1933 году), «Сергей Есенин» (написана в связи со смертью С. Есенина), «Мы против всякой сестры» (опубликована впервые в 1937 году) и другие.

Книга открывается вступительной статьей Л. Шаумяна, рассказывающей о жизни и деятельности писателя.

**Н. ПЕЧЕРСКИЙ.** Генка Пыжов — первый житель Братска. Повесть. Детгиз. М. 1958. 206 стр. Цена 5 р. 20 к.

В числе самых первых строителей-добровольцев, приехавших на Ангару с разных концов Советского Союза, чтобы строить Братскую ГЭС, был и герой этой книги — москвич плотник Пыжов со своим сыном Генкой. Много удивительных приключений пришлось пережить Генке Пыжову и его товарищам, прежде чем на месте глухой тайги вырос огромный поселок, а Ангару перекрыла плотина.

Юный читатель повести узнает много нового и интересного и о знаменитой Ангаре, и о глубоководном Байкале, и о дремучей тайге, познакомится с мужественными и самоотверженными людьми, смело вступившими в борьбу с суровой сибирской природой. Но — самое главное — он лишней раз убедится, что настоящая, крепкая дружба способна преодолеть любые, казалось бы самые непреодолимые, преграды.

**ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ.** Хорошее настроение. «Радянський письменник». Киев. 1958. 205 стр. Цена 3 р. 15 к.

Очерки разных лет, собранные писателем в одну книгу, отчетливо выявляют главную тему Владимира Киселева — тему творческого труда.

Человек-творец — главный герой очерков. Именно эти люди, создающие все своими руками (начальник строительства Михайлов, инженер Кугаенко из очерка «За тех, кто не приходит на готовое», профессор Христева и аспирант Иван Ярчук из «Живой воды», рабочий Василий Шевченко и инженер Глеб Сердюк из очерка «Инженер красит место»), являются передовыми строителями коммунистического завтра, замечательным примером для подражания.

Наблюдательность, умение показать важные жизненные конфликты — таковы особенности Киселева-очеркиста.

**ЮРИЙ ГЕРТ.** Преодоление. Повесть. Государственное издательство Карельской АССР. Петрозаводск. 1958. 70 стр. Цена 2 р.

Идея повести Герта выражена в заглавии книги: «Преодоление». Преодоление себя, своего эгоистического характера, своей привычки задавать тон, а не подчиняться, «прорываться» к успеху, а не настойчиво завоевывать его. Такой именно путь проходит под требовательным и заботливым воздействием воинского коллектива один из героев повести — Таланцев, из беспечного, самоуверенного юноши ставший дисциплинированным бойцом Советской Армии. Вывод, к которому приходит в конце повести Таланцев (он формулирует его в письме к другу, закачивающему книгу): «армия научила меня не только мыть пол и чистить картошку, она научила меня видеть, в чем настоящая жизнь», — не кажется декларативным; он подготовлен логикой развития событий в повести, логикой воспитания характера.

**Г. ХАЛИЛЕЦКИЙ.** Ула, на северной земле... Рассказы. Хабаровское книжное издательство. 1958. 116 стр. Цена 1 р. 80 к.

«Побывайте, как только представится вам возможность, непременно побывайте в Ульской долине!» Вы узнаете ее людей: «целинников тундры и геологов, рыбаков и врачей, полярных летчиков и оленьих пастухов. Узнаете и, честное слово, полюбите их!»

Где же она, долина Ульская?

«...Страшно далеко, чуть ли не у самого края света, на холодной колымской земле, возле Полярного круга...»

Далеко живут герои документальных рассказов Г. Халилецкого! Но читатель знакомится с ними, и географические расстояния как бы исчезают. Читатель следит за жизнью, мечтами и планами «летающего доктора» Чекурова, секретаря райкома

Агафонова, бухгалтера Тимофеева, учительницы Лизы Сорокиной, трактористов бригады Егорова и многих других, чьей самоотверженной работой край вечной мерзлоты преобразяется в обжитый уголок советской земли.

**РУССКИЕ ПОЭТЫ XIX ВЕКА.** Хрестоматия. Составил Н. М. Гайденков. Учпедгиз. М. 1958. 944 стр. Цена 11 р. 50 к.

Эта книга станет хорошим помощником не только для студентов и преподавателей литературных факультетов, учителей средней школы, но и для каждого любителя русской литературы.

Составитель хрестоматии постарался дать возможно более полное представление о развитии русской поэзии XIX века по преимуществу на образцах лирических жанров.

Решающими признаками для отбора произведений в хрестоматию были их характерность для литературной эпохи, типичность для творческой индивидуальности того или иного поэта, глубина содержания и художественное мастерство.

Книга, включающая в себя произведения более полтора десятка авторов — от Радищева и Державина до Бунина и Горького, — имеет следующие разделы: «Предшественники русских поэтов XIX века», «Поэты 1790—1810 годов», «Поэты 1820—1830 годов», «Поэты 1840—1850 годов», «Поэты 1860 годов», «Поэты 1870—1890 годов».

Хрестоматия снабжена ценным справочным аппаратом.

**СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН.** Избранное. Перевод с чешского. Гослитиздат. М. 1958. 624 стр. Цена 13 р.

«...Я — коммунист и считаю это для себя величайшей честью и самым большим достижением своей жизни даже в такие времена, когда кажется, будто быть коммунистом не очень-то легко». Эти слова принадлежат С. К. Нейману, выдающемуся чешскому поэту-новатору, поэту-революционеру. Его поэтическое наследие составляет более двадцати стихотворных сборников. Нейман прославился у себя на родине не только как поэт-трибун, как поэт высокого гражданского мужества, как автор боевых революционных и антифашистских стихов, но и как замечательный певец чешской природы, как лирик.

В «Избранное» включены наиболее характерные стихи поэта начиная с первой его книги, опубликованной в 1895 году, и кончая «Стихами последних лет», которые незадолго до своей смерти поэт включил в сборник «Красные песни», готовя его новое издание.

Особый интерес и ценность представляют опубликованные в сборнике статьи и заметки Неймана. Его боевые выступления по вопросам литературной теории звучат и сегодня с неослабевающей силой. Нейман разоблачает и неустанно воюет в них с формалистами, с разного толка «авангардистами», с попыткой ревизовать и исказить марксистскую эстетику. Выход в свет этой книги очень полезен и своевременен.

**ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ.** Избранные произведения в двух томах. Переводы с английского. Том I — Овод, Оливия Лэтам, Письма. Том II — Прерванная дружба, Сними обувь твою. Гослитиздат. М. 1958. Том I—440 стр. Цена 10 р. 40 к. Том II—558 стр. Цена 12 р. 75 к.

Имя Этель Лилиан Войнич широко известно в нашей стране, а ее роман «Овод» издавался и издается столько раз и такими тиражами, как ни в одной другой стране мира. Другие ее произведения — «Прерванная дружба» и «Оливия Лэтам» — переводились очень давно и с сокращениями, они стали уже библиографической редкостью, а роман «Сними обувь твою», написанный Войнич в 1944 году, у нас еще не издавался. И вот теперь наш читатель получает возможность ознакомиться со всеми этими произведениями талантливой писательницы, с юных лет не только питавшей глубокую симпатию к нашей стране, но и имевшей в числе своих близких друзей русских революционеров. В двухтомник вошли и письма Э. Л. Войнич, так или иначе связанные с историей и жизнью нашей страны.

**П. НИКИФОРОВ.** Муравьи революции. Госполитиздат. М. 1958. 179 стр. Цена 4 р.

Автор книги, старый большевик, член партии с 1904 года, рассказывает о своей подпольной работе в условиях царской России. Его детство, юность и начало революционной деятельности проходили в Сибири. Потом начались аресты, побег, партийная работа в Кронштадте, Крыму. Согретые взволнованностью участника и очевидца, воспоминания повествуют о самоотверженности большевиков, об их непримиримости к предателям и оппортунистам — на воле, в тюрьме, на этапе. Заключительные главы книги посвящены воспоминаниям автора о его работе в Сибири с февраля по октябрь 1917 года.

**ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ.** Очерки по истории ВЛКСМ. «Молодая гвардия». М. 1958. 590 стр. Цена 11 р. 90 к.

Этот сборник, вышедший к сорокалетию ВЛКСМ, представляет собой первую попытку обобщить и систематизировать обширный материал о боевом пути и славных делах советской молодежи. В книге приведено множество фактов, цифр, воспоминаний, высказываний, писем, литературно-художественных отрывков. Каждый из восьми очерков посвящен определенному периоду истории комсомола. Ленинская молодая гвардия в первых же боях за укрепление Советской республики с честью оправдала оказанное ей доверие. Она показала себя как верный и надежный помощник Коммунистической партии.

Ряд материалов посвящен участию комсомола в общественной, хозяйственной и государственной деятельности в мирные дни. Заслуги молодежи в Великой Отечественной войне оценены страной по достоинству: семи тысячам комсомольцев и воспитанников комсомола присвоено звание Героя Советского Союза.

«По зову партии — на новые подвиги!» — так называется очерк о делах молодого поколения, на долю которого выпало быть участником восстановительных работ 1946—1950 годов. Заключительный очерк написан по материалам XIII съезда ВЛКСМ и повествует о славных нынешних делах комсомольцев.

**Л. КОЗЛОВА, Л. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, А. ПОНОМАРЕВ.** Боевая молодость. Из истории московского комсомола. «Московский рабочий». 1958. 184 стр. Цена 2 р. 10 к.

Авторы очерков рассказывают о зарождении московского комсомола — первых революционных организациях рабочей молодежи, которые возникли в марте—апреле 1917 года в Замоскворечье, Хамовниках, на Пресне, о роли большевиков в создании и упрочении союзов молодежи. С интересом читается глава «На баррикадах Октября», повествующая о молодых героях вооруженного восстания в Москве. Запоминаются образы Л. Лисиновой, П. Добрынина, М. Шломина и других.

Во время гражданской войны большинство комсомольцев ушло на фронт. «Помещение Московского Комитета РКСМ превратилось в своего рода боевой лагерь, заполненный исключительно рабочей молодежью из районов. Все они рвутся в бой, выражают горячее желание скорее отправиться на фронт...», — сообщала в те дни «Правда».

Заканчивают книгу страницы, посвященные историческому III съезду комсомола.

**ПОКОЛЕНИЕ ОТВАЖНЫХ.** Комсомольцы Крыма — активные помощники партии в Великой Отечественной войне. Крымиздат. Симферополь. 1958. 200 стр. Цена 4 р. 55 к.

Боевые эпизоды, о которых рассказывает книга, ярко характеризуют славную роль Крымской комсомольской организации во время Великой Отечественной войны.

Героическими делами полна история легендарной обороны Севастополя. Крымские комсомольцы с гордостью могут назвать имена ее участников — молодых краснофлотцев. Читатель знакомится с подвигами И. Богатыря, М. Байды, Л. Павлюченко и многих других. Материалы книги повествуют также об участии комсомольцев в партизанском движении и подпольной работе в период оккупации Крыма.

**В. И. ЧУЙКОВ.** Армия массового героизма. «Советская Россия». М. 1958. 61 стр. Цена 1 р. 95 к.

Автор книги — дважды Герой Советского Союза маршал В. И. Чуйков — во время Великой Отечественной войны командовал легендарной 62-й армией, отстоявшей Сталинград от полчищ фашистских захватчиков.

На берегах Волги, пишет автор, вспыхнуло самое яркое, самое сильное пламя войны — массовый героизм совет-

ских людей, вдохновленных Коммунистической партией.

В. И. Чуйков вспоминает, как в самые тяжкие дни обороны Сталинграда родился лозунг «Ни шагу назад!», ставший символом непоколебимой стойкости защитников города-героя. С документальной точностью рисует В. И. Чуйков картину грандиозных боев, рассказывает о незабываемых боевых эпизодах.

Как известно, армия под его командованием прошла славный боевой путь от Сталинграда до Берлина. Первым страницам этой эпопеи и посвящены воспоминания В. И. Чуйкова. Читатель с интересом будет ждать их продолжения.

**ГАННА ИЛЬБЕРГ.** Клара Цеткин. Перевод с немецкого. «Молодая гвардия». М. 1958. 205 стр. Цена 4 р. 90 к.

Весь свой большой талант политического деятеля, оратора, писателя Клара Цеткин отдавала благородному делу освобождения трудящегося человечества, с никогда не угасавшей страстностью боролась против империализма и войны.

Жизнь этой скромной и мужественной женщины была подвигом. В 1932 году, в возрасте семидесяти пяти лет, Клара Цеткин, ослабленная тяжелой болезнью и почти слепая, поехала из Москвы в Берлин и выступила там на заседании вновь избранного рейхстага с пламенной речью против фашистской опасности, за создание единого пролетарского антифашистского фронта.

В предисловии к немецкому изданию этой книги говорится: «Подробная биография Клары Цеткин должна была бы составить несколько томов, написать ее значило бы написать историю не только немецкого, но и международного рабочего движения».

**В. Е. ШУТОЙ.** Борьба народных масс против нашествия армии Карла XII. 1700—1709. Соцэкгиз. М. 1958. 448 стр. Цена 14 р. 20 к.

В исторической литературе до сих пор почти не было специальных исследований об участии местного населения в борьбе против шведских войск в первые годы Северной войны. В своей книге В. Шутой делает попытку возможно полнее осветить эту славную страницу отечественной истории.

Работа охватывает период с 1700 года, когда вслед за русским народом на борьбу с иноземными захватчиками поднялись народы Украины, Белоруссии, Карелии, Прибалтики, Польши, и до полного разгрома шведских войск под Полтавой. Автор использовал много архивных материалов, включая документы австрийского государственного архива в Вене, а также печатные труды шведских и других зарубежных историков.

В книге отражено единство интересов народов, населявших нашу страну. Автор подчеркивает, что в борьбе против общего врага местное население действовало в тесной связи с русской армией.

**А. ТАЛАНОВ. Победитель неба.** Детгиз. М. 1958. 128 стр. Цена 3 р. 10 к.

Имеющаяся литература о создателе первого в мире самолета—А. Ф. Можайском не дает основания считать, что трудная жизнь и вся деятельность этого выдающегося изобретателя освещена с достаточной полнотой.

В своем предисловии к книге А. Таланова Герой Советского Союза М. Водопьянов указывает на причины этого факта. Дело в том, что «за истечением срока хранения» было уничтожено архивное дело с главнейшими документами о создании и испытаниях самолета. Как известно, Можайскому в его работах помогал академик М. А. Рыкачев. Случилось так, что его личный архив погиб при артиллерийском обстреле Ленинграда во время Отечественной войны. Каждая попытка дать жизнеописание нашего славного соотечественника заслуживает внимания.

Автор новой книги о Можайском, начав свой рассказ с его детских лет, ведет читателя по главнейшим этапам его жизни, упоминает о его верных друзьях и о недоброжелателях, мешавших успеху его дела.

**АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. Земля и небо.** Детгиз. М. 1957. 192 стр. Цена 8 р. 60 к.

В формировании у молодежи материалистического понимания мира свою роль сыграл и книга «Земля и небо».

Автор в ряде систематизированных очерков и рассказов знакомит юного читателя с историей развития астрономической науки, ее героями, с эволюцией представлений людей о Земле начиная с древнейших времен и до наших дней. Интересны очерки о каждой из планет солнечной системы, а также о необычных небесных явлениях, так пугавших наших предков. Заключительная часть книги посвящена Солнцу и некоторым созвездиям.

**Г. ДАРРЕЛЛ. Перегруженный ковчег.** Перевод с английского. Географгиз. М. 1958. 184 стр. Цена 3 р. 15 к.

Шесть месяцев продолжалось путешествие автора книги Г. Даррелла и его

товарища Джона Йелланда в Камерун (Западная Африка), предпринятое для поимки и доставки в зоологические сады Англии представителей богатейшего животного мира этой части земного шара.

Экспедиция направлялась в один из малоизученных районов континента, флора и фауна которого сохранились примерно в таком же состоянии, что и в период его открытия европейцами. Автор рассказывает о трудной, полной неожиданностей и приключений работе звероловов. Перед читателем проходят эпизоды охоты на пресмыкающихся и птиц, он знакомится с разнообразными способами пленения животных, их содержания в неволе. Автор сумел передать своеобразный колорит Камеруна. Книга содержит большой познавательный материал.

**НОРБЕРТ ВИНЕР. Кибернетика и общество.** Издательство иностранной литературы. М. 1958. 199 стр. Цена 6 р. 30 к.

Профессор математики Массачусетского технологического института Норберт Винер является одним из создателей «науки об управлении», которая носит в наши дни название «кибернетики».

Книга Н. Винера — попытка решить методами математической логики ряд философских, языковедческих и социологических проблем. Далеко не все выводы Н. Винера и далеко не вся его методика приемлемы для советского читателя. Философские позиции автора расплывчаты, половинчаты, во многом он остается в плену идеалистических или механистических концепций. Однако общая антикапиталистическая направленность книги бесспорна. В этом свете размышления одного из творцов новой науки о предстоящей ей роли представляют значительный интерес. Он твердо верит в развитие кибернетики и предсказывает, что особенно плодотворные результаты она сможет показать в будущем обществе.

Содержательное предисловие Э. Кольмана поможет читателю разобраться в идеологических ошибках американского профессора и уяснить себе все ценное, что заключено в его талантливой книге.

## СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Многие из книг,готавливаемых Издательством восточной литературы, затрагивают проблемы, которые находятся ныне в центре внимания мировой общественности.

Книга Марселя Эгрето «Алжирская нация существует» знакомит с географией страны, ее историей до начала французского завоевания, формированием алжирской нации. Автор рассказывает о героической борьбе народа против империалистов, жестоко эксплуатирующих и грабящих коренное население, а также о борьбе французского рабочего класса против колониального угнетения Алжира.

«Марокко вновь обретает независимость». Так называется книга Н. Луцкой, повествующая об истории страны с первой половины прошлого века до наших дней. Автор описывает захват и превращение Марокко в аграрно-сырьевой придаток Франции, хозяйничанье испанских монополий, межимпериалистические противоречия в связи с Марокко. Огромную роль в освободительной борьбе народа сыграла Октябрьская революция. Книга заканчивается описанием всенародного движения, завершившегося предоставлением Марокко независимости.

Немалое место в плане Издательства во-



сточной литературы занимают книги, посвященные Китайской Народной Республике. Два сборника документов — «Русско-китайские отношения» и «Советско-китайские отношения» — охватывают период с 1689 по 1957 год.

Первый сборник состоит не только из текстов договоров, конвенций, соглашений и трактатов, заключенных между двумя странами, но и из соглашений между Россией и западными странами, относящихся к Китаю. Все эти документы впервые собраны в одной книге.

Второй сборник посвящен новому, после-революционному периоду отношений между Советским Союзом и Китаем. Документы, содержащиеся в книге, показывают историю становления и укрепления дружбы двух великих народов, оказавшей огромное влияние на судьбы мира. Со многими документами читатели ознакомятся впервые.

Очень интересны воспоминания одного из виднейших советских ученых-китаистов, **В. Алексеева**, о дореволюционном Китае. Свыше полувека назад он совершил путешествие по «Поднебесной империи». Одним из результатов этой поездки явилась полная тонких наблюдений книга «**В старом Китае**».

Событиям, имевшим место свыше века назад, посвящена книга «**Пекин в дни Тайпинского восстания**». Автор ее, **К. Скачков**, жил в Пекине в 1851—1856 годах, во время крестьянского восстания тайпинов.

В подготовленной к печати работе **В. Руднева** «**Очерки новейшей истории Малайи**» приведен целый ряд фактов эксплуатации Малайи английским империализмом, а так-

же показаны патриотические силы, которые боролись против колониального гнета. Эта мощная освободительная борьба народа привела к провозглашению в 1957 году независимости Малайской федерации.

Сборник «**Литературы Индии**» состоит из статей, сообщений и рецензий, посвященных актуальным вопросам развития шести индийских литератур: хинди, урду, бенгальской, пенджабской, тамильской и телугу. Материалы сборника трактуют такие важные темы, как связь литературы с жизнью, новые герои, национальные традиции индийских литератур, становление новых жанров. Среди авторов сборника мы встречаем и индийских литературоведов.

Корея давно привлекала внимание русских исследователей. Много русских путешественников, посетивших страну, оставило свои дневники, воспоминания, записки. Они были впервые опубликованы в конце прошлого столетия и давно уже стали библиографической редкостью. Издательство восточной литературы ныне сдает в печать эти ценные документы. В сборнике «**По Корее**» читатель найдет описание жизни корейского крестьянства, экономическую, этнографическую и географическую характеристику страны.

Научно-популярная книга «**Филиппинцы в борьбе за свободу**» принадлежит видному филиппинскому историку и общественному деятелю **Мануэлю Крису**. Он знакомит с историей Филиппин с древнейших времен, культурой и литературой страны. Основное место в книге отведено описанию борьбы филиппинского народа против испанских, английских, японских и американских захватчиков.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза.** Сборник документов 1917—1958 гг. 420 стр. Цена 6 р.

**Н. С. Хрущев.** Речь на митинге строителей Волжской гидроэлектростанции имени Владимира Ильича Ленина 10 августа 1958 года. 20 стр. Цена 20 к.

**Н. С. Хрущев.** Речь на торжественном заседании Смоленского обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся, посвященном вручению области ордена Ленина 13 августа 1958 года. 24 стр. Цена 25 к.

**З. А. Астапович.** Первые мероприятия Советской власти в области труда (1917—1918 гг.). 144 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Г. В. Астафьев.** Интервенция США в Китае и ее поражение (1945—1949 гг.). 612 стр. Цена 11 р.

**В. Бережков.** От Сунгари до тропика Рака. 152 стр. Цена 2 р.

**К. М. Боголюбов.** Советские журналы. 80 стр. Цена 1 р.

**И. М. Будницкий.** Угольная промышленность. 184 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Роланд Гаук.** Частная собственность крестьян на землю и социалистическое преобразование сельского хозяйства в ГДР. 136 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Вал. Зорин.** Республиканская партия США у власти. 88 стр. Цена 1 р.

**Н. А. Кокарев.** Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Китайской Народной Республике. 256 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Конференция солидарности народов Азии и Африки.** Каир, 26 декабря 1957 г. — 1 января 1958 г. 224 стр. Цена 3 р.

**Л. Кудреватых.** Под чужим небом. Записки советского журналиста. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Н. Ф. Кузьмин.** Крушение последнего похода Антанты. 344 стр. Цена 7 р.

**С. Т. Мелюхин.** Проблема конечного и бесконечного. Философский очерк. 264 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Г. Мирский, Л. Степанов.** О перспективах экономического сотрудничества стран Азии и Африки. 80 стр. Цена 1 р.

**А. Г. Милейковский.** Канада и англо-американские противоречия. 504 стр. Цена 15 р.

**А. М. Николаев.** Ленин и радио. 40 стр. Цена 50 к.

**Основы марксистской философии.** 688 стр. Цена 10 р. 25 к.

**Первый съезд РСДРП.** Документы и материалы. Март 1898 года. 356 стр. Цена 7 р. 75 к.

**Морис Пианзола.** Ленин в Швейцарии. 116 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Д. Поляков, Л. Фурсова.** Партия и национальные резервы в Октябрьской революции. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Проблема развития экономики Китайской Народной Республики.** 536 стр. Цена 11 р. 50 к.

**В. В. Тарасов.** Борьба с интервентами на севере России (1918—1920 гг.). 312 стр. Цена 7 р.

**Вальтер Ульбрихт.** Борьба за мир, за победу социализма, за национальное возрождение Германии как миролюбивого демократического государства. Доклад на V съезде Социалистической единой партии Германии 10 июля 1958 года. 200 стр. Цена 2 р. 45 к.

**Н. Федосеев.** Статьи и письма. 356 стр. Цена 7 р.

**Чжоу Юань-бин.** О скромности и высокомерии. Перевод с китайского. 40 стр. Цена 50 к.

**Л. Л. Шарки.** Социализм в Австралии. Точка зрения коммунистов на «демократический социализм». 48 стр. Цена 60 к.

**Ем. Ярославский.** Библия для верующих и неверующих. 408 стр. Цена 6 р. 30 к.

### СОЦЭКГИЗ

**А. С. Дубнов.** Экономические взгляды В. А. Милюткина. 150 стр. Цена 2 р. 35 к.

**И. И. Козодоев.** Земельная рента при капитализме. 158 стр. Цена 2 р. 40 к.

**П. К. Ратиани.** Илья Чавчавадзе. Философские и социально-политические воззрения. 204 стр. Цена 7 р. 90 к.

**В. Г. Трухановский.** Новейшая история Англии. 592 стр. Цена 17 р. 10 к.

**И. А. Федосов.** Революционное движение в России во второй четверти XIX в. (Революционные организации и кружки). 415 стр. Цена 13 р.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**С. Алешин.** Пьесы. 384 стр. Цена 9 р. 40 к.

**П. Антокольский.** Мастерская. Стихи. 112 стр. Цена 1 р. 45 к.

**А. Гарнакерьян.** Лирика. 116 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Д. Девятов.** Пьесы. 240 стр. Цена 6 р. 30 к.

**М. Ершова.** Детство на Нижне-Приютской улице. Повесть. 252 стр. Цена 4 р. 70 к.

**А. Западов.** Мастерство Державина. 260 стр. Цена 6 р.

**М. Ирчан.** Избранное. Перевод с украинского. 546 стр. Цена 9 р. 25 к.

**В. Ковалевский.** Брат и сестра. Повесть. 256 стр. Цена 4 р. 75 к.

**А. Ковусов.** Песня дружбы. Стихи. Перевод с туркменского. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

**И. Кэбирли.** Перевал. Перевод с азербайджанского. 112 стр. Цена 2 р.

**В. Лифшиц.** Аист. Стихи. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Т. Назарова.** Твердой поступью. Роман-хроника. 864 стр. Цена 15 р. 10 к.

**С. Нариньяни.** Кукарача. Фельетоны. 176 стр. Цена 6 р.

**Н. Музаев.** Говорит Селим. Поэма. Перевод с чеченского. 124 стр. Цена 4 р.

**Л. Плоткин.** Литературные очерки, статьи. 496 стр. Цена 10 р. 65 к.

**Поэты XVIII века.** 564 стр. Цена 6 р. 80 к.

**В. Себко.** Обыкновенная жизнь. Роман. 328 стр. Цена 5 р. 80 к.

**С. Тхоржевский.** Ожидание. Рассказы. 140 стр. Цена 1 р.

**Е. Тараховская.** Скрипичный ключ. Стихи. 112 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Урин.** 179 дней в автомобиле. Путевой дневник. 296 стр. Цена 8 р. 40 к.

**Д. Яндиев.** Стихотворения. Перевод с ингушского. 136 стр. Цена 10 р. 50 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Эндре Ади.** Стихи. Переводы с венгерского. 111 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Американская новелла XIX века.** Переводы с английского. Том 1. 679 стр. Цена 13 р. 90 к. Том 2. 535 стр. Цена 11 р. 25 к.

**А. Антоновская.** Великий Моурави. Часть 9 и 10. 800 стр. Цена 13 р. 75 к.

**Халижан Бекхожин.** Стихи и поэмы. Перевод с казахского. 207 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Бо Цзюй-и.** Стихи. Перевод с китайского. 263 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Былины.** В двух томах. Том 1. 564 стр. Цена 9 р. 75 к. Том 2. 521 стр. Цена 8 р. 10 к.

**Борис Галин.** Во имя будущего. 584 стр. Цена 10 р. 75 к.

**Тарокнахт Гонгпадхай.** Шорнолота. Роман. Перевод с бенгальского. 204 стр. Цена 3 р. 65 к.

**А. С. Грибоедов в русской критике.** Сборник статей. 390 стр. Цена 7 р.

**Решад Нури Гюнтекин.** Птичка певчая (Чалькушу). Роман. Перевод с турецкого. 400 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Барбу Делавранча.** Избранное. Переводы с румынского. 260 стр. Цена 5 р.

**Алоис Ирасек.** Скалаки. Роман. Перевод с чешского. 255 стр. Цена 3 р. 30 к.

**С. Каронин (Н. Е. Петропавловский).** Сочинения. В двух томах. Том 1. 612 стр. Цена 12 р. 15 к. Том 2. 607 стр. Цена 11 р.

**Владимир Кириллов.** Стихотворения. 223 стр. Цена 3 р. 65 к.

**Корейская классическая поэзия.** Перевод Анны Ахматовой. 319 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Лю Э.** Путешествие Лао Цаня. Роман. Перевод с китайского. 264 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Б. Мейлах.** Пушкин и его эпоха. 698 стр. Цена 17 р. 10 к.

**Алио Мирихулава (Машашвили).** Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. 399 стр. Цена 9 р.

**Народные русские сказки А. Н. Афанасьева.** В трех томах. Том 1. 515 стр. Цена 8 р. 85 к. Том 2. 510 стр. Цена 8 р. 90 к. Том 3. 572 стр. Цена 9 р. 85 к.

**Алексей Недогонов.** Избранное. 344 стр. Цена 8 р. 80 к.

**Новая арабская поэзия.** Перевод с арабского. 279 стр. Цена 5 р. 80 к.

**Песнь о Роланде.** Перевод со старофранцузского. 271 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Сакен Сейфуллин.** Стихотворения и поэмы. Перевод с казахского. 191 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Константин Симонов.** Избранные стихи. 271 стр. Цена 4 р. 90 к.

**Сергей Смирнов.** Лирические стихи. 255 стр. Цена 5 р. 45 к.

**Сожжение змей.** Сказание из индийского эпоса Махабхарата. Перевод с санскрита. 151 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Тоголок Молдо.** Избранное. Перевод с киргизского. 190 стр. Цена 1 р. 95 к.

**А. Токомбаев.** Избранные стихи, поэмы. Перевод с киргизского. 407 стр. Цена 10 р.

**Цао Сюэ-цин.** Сон в красном тереме. Роман. Перевод с китайского. Том 1. 879 стр. Цена 16 р. 35 к. Том 2. 863 стр. Цена 16 р. 25 к.

**Бранко Чопич.** Случай из жизни Николетины Бурсача. Перевод с сербо-хорватского. 174 стр. Цена 2 р.

**Чэн Дэн-кэ.** Повести. Перевод с китайского. 231 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Ясыр Шиваза.** Голубая река. Стихотворения и поэмы. Перевод с дунганского. 159 стр. Цена 3 р. 90 к.

### ДЕТГИЗ

**А. Барто, Р. Зеленая.** Пестрые страницы. 88 стр. Цена 6 р. 45 к.

**Н. Богословский.** Жизнь Чернышевского. 304 стр. Цена 7 р. 40 к.

**О. Верейский.** Древнее и молодое. Дневник художника. 128 стр. Цена 5 р. 55 к.

**В. Гюго.** Бюг-Жаргаль. Роман. Перевод с французского. 168 стр. Цена 3 р. 60 к.

**М. Ильин.** Избранное. 592 стр. Цена 12 р. 30 к.

**М. Исаковский.** Летят перелетные птицы... Стихи. 240 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Ю. Казаков.** Арктур — гончий пес. Рассказы. 64 стр. Цена 95 к.

**М. Ковнацкая.** Приключения Пластуса. Сокращенный перевод с польского. 64 стр. Цена 2 р. 10 к.

**В. Коржиков.** Морской конек. Стихи. 28 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Ж. Мориц.** Болтунишка. Рассказы. Перевод с венгерского. 64 стр. Цена 85 к.

**К. Осипов, Е. Домбровская.** Путь ученого. Биографическая повесть. 152 стр. Цена 3 р. 35 к.

**М. Пархомов.** Ночная вахта. Документальная повесть. 64 стр. Цена 90 к.

**В. Петров.** Акимка из Плахинских дворишков. Повесть. 162 стр. Цена 3 р.

**О. Секора.** Муравьи не сдаются. Перевод с чешского. 96 стр. Цена 4 р. 65 к.

**В. Г. Тан-Богораз.** Северные рассказы. 128 стр. Цена 2 р. 70 к.

**В. Туганова.** Мы живем в тундре. Повесть. 128 стр. Цена 3 р.

**Н. Фрадкин.** Путь к югу от Небесных гор. 136 стр. Цена 4 р. 75 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**А. В. Арциховский и В. И. Борковский.** Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). 152 стр. Цена 15 р. 40 к.

**А. К. Буров, Г. Д. Андреевская.** Высокопрочные стеклопластики СВАН. 71 стр. Цена 1 р.

**Из истории Германии нового и новейшего времени.** Сборник статей. 395 стр. Цена 17 р. 30 к.

**Р. С. Лившиц.** Размещение черной металлургии СССР. 376 стр. Цена 15 р. 10 к.

**Литературное наследство.** Герцен в заграничных коллекциях. 863 стр. Цена 45 р.

**В. А. Масленников.** Экономический строй Китайской Народной Республики. 391 стр. Цена 16 р. 45 к.

**Основные проблемы эпоса восточных славян.** 345 стр. Цена 14 р. 35 к.

**К. Э. Циолковский.** Вне земли. Научно-фантастическая повесть. 144 стр. Цена 3 р.

**Г. В. Шармазанов.** Принцип ненападения в международном праве. 95 стр. Цена 2 р. 75 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Николай Грибачев.** Памфлеты и фельетоны. 164 стр. Цена 2 р. 70 к.

**С. Кондрашов.** На берегах Нила. 128 стр. Цена 2 р. 25 к.

**К. Перовщиков.** В стране вечного лета (по Цейлону). 72 стр. Цена 1 р.

#### МЕДГИЗ

**И. А. Абрикосов, В. Г. Ясногородский.** Техника на службе медицины. Новые медицинские приборы и методы. 96 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Л. А. Брушлинская, М. Я. Кассациер, М. М. Мазур.** Статистика в городской больнице. 104 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Н. Н. Клемпарская, О. Г. Алексеева и др.** Вопросы инфекции, иммунитета и аллергии при острой лучевой болезни. 204 стр. Цена 7 р. 55 к.

**Е. Ф. Романцев, А. В. Савич.** Химическая защита от действия ионизирующей радиации. 144 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Д. С. Футер.** Острый полиомиелит. 192 стр. Цена 6 р. 60 к.

#### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**С. Букреев.** Как самому построить дом. 155 стр. Цена 2 р. 75 к.

**А. Губина, И. Халифман.** Цветы и пчелы. Пчелы и их значение в повышении урожая сельскохозяйственных культур. 101 стр. Цена 3 р. 20 к.

**В. Гутов.** Полупроводники в технике и в быту. 142 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Е. Долматовский.** На дорогах жизни. Стихи и песни. 127 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Дыхание времени.** Сборник очерков. 388 стр. Цена 7 р. 55 к.

**Б. Ефимов, И. Игин.** Действующие лица. Альбом. 164 стр. Цена 10 р.

**А. Жигулев.** Русские народные пословицы и поговорки. 286 стр. Цена 4 р. 30 к.

**С. Любимов.** Москва строится. 157 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Ф. Михальский.** Музей Московского художественного театра. По музеям и выставкам Москвы и Подмоскovie. 226 стр. Цена 4 р. 25 к.

**В. Соколов, С. Синицын.** Ультразвук в промышленности. 106 стр. Цена 1 р. 60 к.

#### ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Г. А. Аксененок.** Земельные правоотношения в СССР. 424 стр. Цена 12 р. 65 к.

**И. Т. Голяков.** Советский суд. 184 стр. Цена 5 р. 85 к.

**Б. С. Никифоров.** Уголовное законодательство республики Индии (очерк). 280 стр. Цена 8 р. 35 к.

**Пенсионное обеспечение в СССР.** Сборник официальных материалов. 296 стр. Цена 6 р. 10 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 11/IX-58 г.

Подписано к печати 10/X-58 г.

А 09816. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Зак. № 1673.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

## ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1959 год

на ежемесячный литературно-художественный  
и общественно-политический журнал

# Н О В Ы Й М И Р

В 1959 году редакция «Нового мира» имеет в виду предложить читателю следующие произведения:

### *По разделу прозы*

- А. БЕК — новая повесть,
- П. ВЕРШИГОРА — Рейд на Сан и Вислу,
- В. ГРОССМАН — За правое дело, роман, книга 2-я,
- С. ЗАЛЫГИН — На половине пути, роман,
- Э. КАЗАКЕВИЧ — новая повесть,
- С. МАРШАК — Начало жизни, автобиографическая повесть,
- В. ПАНОВА — новая повесть,
- К. ПАУСТОВСКИЙ — Время больших ожиданий, повесть,
- В. ТЕНДРЯКОВ — Завтра, повесть,
- К. ФЕДИН — Костер, роман, 3-я книга трилогии,
- В. ФОМЕНКО — Жизнь, роман.

А также повести, рассказы, пьесы, очерки: Н. Адамян, Чингиза Айтматова, С. Антонова, Н. Атарова, Ю. Балтушиса, Ю. Бондарева, И. Ботвинника, Л. Вольнского, Е. Воробьева, Е. Герасимова, С. Георгиевской, С. Голубова, О. Гончара, Г. Гулна, Е. Дороша, Е. Драбкиной, Н. Дубова, Т. Журавлева, В. Закруткина, А. Злобина, И. Зыкова, Л. Иванова, Л. Кабо, Ю. Казакова, Б. Лавренева, Г. Маркова, Н. Михайлова, Ю. Нагибина, В. Некрасова, Д. Осина, И. Осипова, А. Письменного, Рытхеу, С. Сартакова, К. Симонова, Л. Соболева, И. Соколова-Микитова, В. Солоухина, Г. Фиша и других.

### *По разделу поэзии*

Поэмы, стихи, переводы: И. Абашидзе, М. Алигер, Н. Асеева, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, К. Ваншенкина, Е. Винокурова, Р. Гамзатова, А. Гитовича, Д. Гулна, П. Дорошко, Ю. Ефремова, В. Звягинцевой, В. Инбер, Б. Иренина, М. Исаковского, Р. Казаковой, В. Казина, С. Капутикян, А. Кулешова, К. Кулиева, С. Липкина, М. Луконина, М. Максимова, А. Малышко, М. Маркарян, А. Межирова, С. Наровчатова, С. Орлова, Алексиса Парниса, Л. Пеньковского, Л. Первомайского, А. Про-

(См. на обороте)

кофьева, Н. Рыленкова, М. Рыльского, М. Светлова, Паруйра Севака. Я. Смелякова, А. Суркова, А. Твардовского, Я. Ухсая, Я. Хелемского, Назыма Хикмета, С. Чиковани, И. Шмуула, С. Щипачева, А. Яшина и других.

В журнале будут также публиковаться произведения писателей стран народной демократии и прогрессивных писателей капиталистических стран.

**В РАЗДЕЛЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ** со статьями и рецензиями выступают в числе других Н. Абалкин, акад. М. Алексеев, И. Андроников, В. Асмус, И. Виноградов, Б. Галанов, акад. АН УССР Н. Гудзий, А. Деметьев, В. Дорофеев, В. Жданов, чл.-корр. АН СССР В. Жирмунский. А. Караганов, Е. Книпович, А. Кондратович, М. Кузнецов, В. Лакшин, М. Лифшиц, А. Македонов, А. Марьямов, О. Михайлов, А. Морозов, Т. Мотылева, К. Наумов, акад. М. Нечкина, Р. Орлова, З. Паперный, В. Рубин, В. Смирнова, Н. Соколова, Е. Старикова, Т. Трифонова, А. Турков, Е. Усиевич, И. Черноуцан, К. Чуковский, Л. Эйдлин, Б. Эйхенбаум.

**В РАЗДЕЛЕ ПОЛИТИКИ И НАУКИ**—чл.-корр. АН СССР А. Аляхьян, акад. И. Артоболевский, акад. И. Бардин, чл.-корр. АН СССР В. Богоров, Г. Борисовский, Н. Воронин, О. Добролюбский, В. Дурденевский, чл.-корр. АН СССР А. Ефимов, В. Зорин, чл.-корр. АН СССР И. Исаков, акад. Н. Конрад, чл.-корр. АН СССР Ф. Константинов, акад. Г. Кржижановский, Я. Кронрод, акад. Л. Ландау, чл.-корр. АН СССР Л. Леонтьев, Б. Леонтьев, акад. М. Митин, Э. Мурзаев, чл.-корр. АН СССР С. Обручев, акад. И. Орбели, чл.-корр. АН СССР А. Сидоров, Е. Смирнов, акад. А. Терпигорев, акад. М. Тихомиров, акад. А. Толчиев, С. Утченко, чл.-корр. АН СССР Н. Федоренко, чл.-корр. АН СССР Е. Федоров, И. Халифман, акад. Н. Цицин.

В журнале, как и в предыдущие годы, будут представлены следующие разделы:

**ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ**  
**ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ**  
**НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ**  
**ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ**  
**ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ**  
**ПУБЛИЦИСТИКА**  
**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**  
**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ**  
**Трибуна Читателя**  
и другие.

---

**Подписная цена на 1959 год:**

без переплета: на год — 84 р.; на 6 мес. — 42 р.; на 3 мес. — 21 р.;  
в переплете: на год — 108 р.; на 6 мес. — 54 р.; на 3 мес. — 27 р.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:**

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, стройках, шахтах, железнодорожном транспорте, в совхозах, колхозах, МТС, учебных заведениях, учреждениях и организациях.

---

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Одиннадцатая книга была уже сверстана, когда пришли сообщения об антисоветской кампании, поднятой зарубежной реакцией по поводу присуждения Б. Пастернаку Нобелевской премии. В связи с этим ниже публикуется письмо, направленное в сентябре 1956 года членами тогдашней редколлегии журнала «Новый мир» Б. Л. Пастернаку по поводу рукописи его романа «Доктор Живаго».

Письмо это, отклонявшее рукопись, разумеется, не предназначалось для печати. Оно адресовано автору романа в то время, когда еще можно было надеяться, что он сделает необходимые выводы из критики, содержащейся в письме, и не имелось в виду, что Пастернак встанет на путь, позорящий высокое звание советского писателя.

Однако обстоятельства решительно изменились. Пастернак не только не принял во внимание критику его романа, но счел возможным передать свою рукопись иностранным издателям. Тем самым Пастернак пренебрег элементарными понятиями чести и совести советского литератора и гражданина. Будучи издана за границей, эта книга Пастернака, клеветнически изображающая Октябрьскую революцию, народ, совершивший эту революцию, и строительство социализма в Советском Союзе, была поднята на щит буржуазной прессой и принята на вооружение международной реакцией.

Совершенно очевидно, что присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии не имеет ничего общего с объективной оценкой собственно литературных качеств его творчества, которое носит сугубо индивидуалистический характер, далеко от жизни народа, отходит от реалистических и демократических традиций великой русской литературы. Присуждение премии связано с антисоветской шумихой вокруг романа «Доктор Живаго» и является чисто политической акцией, враждебной по отношению к нашей стране и направленной на разжигание холодной войны.

Вот почему мы считаем сейчас необходимым предать гласности письмо Б. Пастернаку. Оно с достаточной убедительностью объясняет, почему роман Пастернака не мог найти места на страницах советского журнала, хотя, естественно, не выражает той меры негодования и презрения, какую вызвала у нас, как и у всех советских писателей, нынешняя постыдная, антипатриотическая позиция Пастернака.

Главный редактор журнала «Новый мир»  
**А. Т. ТВАРДОВСКИЙ.**

Редакционная коллегия:  
**Е. Н. ГЕРАСИМОВ,**  
**С. Н. ГОЛУБОВ,**  
**А. Г. ДЕМЕНТЬЕВ**  
(зам. главного редактора),  
**Б. Г. ЗАКС,**  
**Б. А. ЛАВРЕНЕВ,**  
**В. В. ОВЕЧКИН,**  
**К. А. ФЕДИН.**

*24 октября 1958 г.*



---

---

## Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

Борис Леонидович!

Мы, пишущие сейчас Вам это письмо, прочли предложенную Вами «Новому миру» рукопись Вашего романа «Доктор Живаго» и хотим откровенно высказать Вам все те мысли, что возникли у нас после чтения. Мысли эти и тревожные и тяжелые.

Если бы речь шла просто о «понравилось — не понравилось», о вкусовых оценках или пусть резких, но чисто творческих разногласиях, то мы отдаем себе отчет, что Вас могут не интересовать эстетические препирательства. «Да-да!» «Нет-нет!» — могли бы сказать Вы. Журнал отвергает рукопись — тем хуже для журнала; а художник остается при своем мнении о ее эстетических достоинствах.

Однако в данном случае дело обстоит сложнее. Нас взволновало в Вашем романе другое, то, что ни редакция, ни автор не в состоянии переменить при помощи частных изъятий или исправлений: речь идет о самом духе романа, о его пафосе, об авторском взгляде на жизнь, действительном или, во всяком случае, складывающемся в представлении читателя. Об этом мы и считаем своим прямым долгом поговорить с Вами как люди, с которыми Вы можете посчитаться и можете не посчитаться, но чье коллективное мнение Вы не имеете оснований считать предубежденным, и, значит, есть смысл, по крайней мере, выслушать его.

Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. Встающая со страниц романа система взглядов автора на прошлое нашей страны и прежде всего на ее первое десятилетие после Октябрьской революции (ибо, если не считать эпилога, именно концом этого десятилетия завершается роман) сводится к тому, что Октябрьская революция была ошибкой, участие в ней для той части интеллигенции, которая ее поддерживала, было непоправимой бедой, а все происшедшее после нее — злом.

Для людей, читавших в былые времена Ваш «Девятьсот пятый год», «Лейтенанта Шмидта», «Второе рождение», «Волны», «На ранних поездах» — стихи, в которых, как нам, по крайней мере, казалось, был иной дух и иной пафос, чем у Вашего романа, прочесть его было тяжелой неожиданностью.

Думается, что мы не ошибемся, сказав, что повесть о жизни и смерти доктора Живаго в Вашем представлении одновременно повесть о жизни и смерти русской интеллигенции, о ее путях в революцию, через революцию и о ее гибели в результате революции.

В романе есть легко ощутимый водораздел, который, минуя данное Вами самим роману деление на две книги, пролегает примерно между первой его третью и остальными двумя третями. Этот водораздел — семнадцатый год — водораздел между ожидавшимся и свершившимся. До этого водораздела Ваши герои ожидали не того, что свершилось, а за этим водоразделом начинает свершаться то, чего они не ожидали, чего не хотели и что в Вашем изображении приводит их к физической или моральной гибели.

Первая треть Вашего романа, посвященная предреволюционному двадцатилетию, еще не содержит в себе отчетливо выраженного неприятия надвигающейся революции. Но, думается, корни этого неприятия заложены уже здесь. В дальнейшем, когда Вы начнете изображать уже свершившуюся революцию, Ваши взгляды сложатся в систему

#### IV

более стройную, прямолинейную и цельную в своем неприятии революции. Пока же, в первой трети романа, они еще противоречивы: с одной стороны, абстрактно, декларативно Вы признаете мир буржуазной собственности и буржуазного неравенства несправедливым и не только отказываетесь от него как от идеала, но и мыслите его неприемлемым для будущего человечества. Однако лишь только от этой общей декларации Вы переходите к изображению жизни, к людям, то они, эти люди — и сами хозяева несправедливой буржуазной жизни, и их интеллигентные слуги, служащие сохранению этой декларативно признаваемой Вами несправедливости,— все они оказываются, за редчайшим, вроде проходимца Комаровского, исключением, прекраснейшими, добрейшими, тончайшими людьми, творящими добро, мятущимися, страдающими, неспособными обидеть мухи.

Весь этот мир предреволюционной буржуазной России, декларативно, с общих позиций отрицаемый Вами, практически, как только дело доходит до его конкретного изображения, оказывается вполне приемлемым для Вас, больше того, до шемящей нежности милым авторскому сердцу. Неприемлема в нем лишь некая общая, неизменно остающаяся за сценой несправедливость эксплуатации и неравенства, а все, что происходит на сцене, оказывается в итоге весьма идиллическим: капиталисты жертвуют на революцию и живут по совести, интеллигенция ощущает полную свободу духа и независимость своих суждений от бюрократической машины царского режима, бедные девушки находят богатых и бескорыстных покровителей, а сыновья мастеровых и дворян без затруднения получают образование.

В общем люди, живущие в романе, живут хорошо и справедливо, некоторым из них хочется жить еще лучше и еще справедливее — вот, в сущности, и вся та мера причастности к ожиданию революции, которая как максимум присуща главным героям романа. Подлинного же положения страны и народа в романе нет, а вместе с ним нет и представления о том, почему революция в России сделалась неизбежной и какая нестерпимая мера страданий и социальных несправедливостей привела народ к этой революции.

Большинство героев романа, в которых любовно вложена часть авторского духа,— люди, привыкшие жить в атмосфере разговоров о революции, но ни для кого из них революция не стала необходимостью. Они любят в той или иной форме поговорить о ней, но существовать они прекрасно могут и без нее, в их жизни до революции нет не только ничего нестерпимого, но и нет почти ничего отравляющего, хотя бы духовно, их жизнь. А иных людей, чем они, в романе нет (если говорить о людях, наделенных симпатией автора и изображенных хотя бы со схожей мерой глубины и подробности).

Что же касается декларативно страдающего за сценой народа, то он в первой трети романа есть нечто неизвестное, предполагающееся, и истинное отношение автора к этому неизвестному выяснится лишь потом, когда свершится революция и этот народ вступит в действие.

Первая треть романа — это прежде всего история нескольких живущих разносторонней интеллектуальной жизнью, сосредоточенных главным образом на проблеме собственного духовного существования одаренных личностей. Одна из этих одаренных личностей — Николай Николаевич — говорит в самом начале романа, что «всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало».

В контексте эта фраза связана с богоискательством Николая Николаевича, но, начиная со второй трети романа, мы увидим, как она постепенно станет сконденсированным выражением отношения автора и к народу и к революционному движению.

И вот наступает, вернее, обрушивается революция. Она обрушивается на героев Вашего романа неожиданно, потому что, сколько бы они предварительно ни говорили о ней, практически они ее не ждали и практика ее повергла их в изумление. Говоря о том, как революция входит в Ваш роман, даже трудно четко отделить Февральскую революцию от Октябрьской. В романе это выглядит как все вместе взятое, как вообще семнадцатый год, на протяжении которого сначала все переменялось не так уж резко и

не столь заметно нарушило прежнюю жизнь «ищущих истину одиночек» — Ваших героев, а потом пошло меняться все дальше, больше, резче, круче. Жизнь их больше становится в зависимость от того громадного и небывалого, что происходило в стране, а эта зависимость, в свою очередь, дальше — больше стала озлоблять их и заставлять жалеть о том, что произошло.

Умозрительно трудно представить себе роман, многие главы которого посвящены 1917 году и в котором в то же время не существовало бы как таковых Февральской и Октябрьской революций с той или иной, но все же определенной оценкой социальной дистанции между тем и другим.

Умозрительно это трудно себе представить, но практически в Вашем романе дело обстоит именно так! Трудно себе представить, что сначала Февральская, а потом Октябрьская революции, размежевавшие на разные лагеря столько людей именно в эти поворотные пункты, не определили бы позиций героев романа, написанного о том времени. Трудно себе представить, что люди, жившие духовной жизнью и занимавшие определенное положение в обществе, не определили бы так или иначе в то время свое отношение к таким событиям, как свержение самодержавия, приход к власти Керенского, июльские события, мятеж Корнилова, Октябрьский переворот, взятие власти Советами, разгон Учредительного собрания.

Между тем в романе герои ни о чем из упомянутого не говорят впрямую, не дают прямых оценок событиям, которыми в это время жила страна. Можно, конечно, сказать, что автор просто не пожелал назвать вещи своими именами, не захотел давать им ни собственных прямых оценок, ни прямых оценок устами героев, и, может, в этом утверждении и будет часть истины, но думается, что вся истина глубже этого частичного объяснения. А истина, на наш взгляд, заключается в том, что выведенные в романе «ищущие истину одиночки» постепенно все больше озлобляются против развертывающейся революции, не в связи с неприятием тех или иных конкретных форм ее, как Октябрьский переворот или разгон Учредительного собрания, а в связи с теми разнообразными личными неудобствами, на которые обрекает их лично процесс революции.

Представленные поначалу автором как люди идейные, вернее, как люди, живущие в мире идей, эти «ищущие истину одиночки», после того как их разговоры о революции сменяются происходящим помимо них в стране революционным действием, оказываются почти поголовно людьми, далекими от желания отстаивать в жизни те или иные идеи и тем более жертвовать за эти идеи жизнью, будь они, эти идеи, революционными или контрреволюционными.

Они, по-видимому, как бы продолжают жить духовной жизнью, но отношение их к революции и прежде всего их поступки все более настойчиво определяются той мерой личных неудобств, которые революция им приносит, — голодом, холодом, уплотнением квартир, разрушением привычного сытого, удобного дореволюционного быта. Пожалуй, трудно найти в памяти произведение, в котором герои, претендующие на высшую одухотворенность, в годы величайших событий столько бы заботились и столько бы говорили о еде, картошке, дровах и всякого рода житейских удобствах и неудобствах, как в Вашем романе.

Герои романа, и в первую очередь сам доктор Живаго со своей семьей, проводят годы революции и гражданской войны в поисках относительного благополучия — сытости и покоя среди всех превратностей борьбы, среди всеобщего народного разорения. Они физически не трусы. Вы как автор подчеркиваете это, но в то же время их единственная цель — сохранение собственной жизни, и прежде всего во имя этого они и совершают все свои главные поступки. И именно то, что в условиях революции и гражданской войны их жизнь может не сохраниться, приводит их ко все большему раздражению против всего происходящего. Они не стяжатели, не сладкоежки, не чрезмерные любители житейских удобств, все это им нужно не само по себе, а лишь как база для непрерывного и безопасного продолжения духовной жизни.

Какой? Той, которой они жили раньше, ибо ничто новое не входит в их духовную жизнь и не изменяет ее. Возможность привычно продолжать ее, без помех со стороны, является для них высшею, не только личной, но и общечеловеческой ценностью, и по-

сколько революция упрямо требует от них действий, позиции, ответа на вопрос «за» или «против», постольку они в порядке самообороны переходят от ощущения своей чуждости революции к ощущению своей враждебности к ней.

В те суровые годы, потребовавшие самых разных жертв не только от людей, свершавших революцию, но и от ее врагов, людей, с оружием в руках борющихся с ней, «ищущие истину одиночки» оказались на поверку просто-напросто «высокоодаренными» обывателями, и, право, трудно себе представить, как бы сложилось в дальнейшем отношение к революции, например, у семьи Живаго, не окажись она по тем или иным причинам в зиму восемнадцатого года до такой степени голодной и уплотненной в своей московской квартире, как это произошло в романе. Но в Москве оказалось голодно, холодно и трудно — и вот «ищущая истину одиночка» превращается в интеллигентного мешочника, желающего продолжить свое существование любыми средствами, вплоть до забвения того, что он врач, вплоть до сокрытия этого в годы всенародных бедствий, болезней, эпидемий.

«В том, сердцем задуманном, новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством божьим, нет народов, есть личности», — говорит доктор Живаго на одной из страниц романа, говорит еще безотносительно к своему будущему существованию в годы гражданской войны. Но впоследствии оказывается, что в его замечании заложен глубокий смысл, имеющий отношение непосредственно к нему самому. В трудные годы гражданской войны с полной ясностью обнаруживается, что для него нет народа, есть только он сам — личность, интересы и страдания которой превыше всего, личность, которая ни в какой мере не ощущает себя частью народа, не чувствует своей ответственности перед народом.

Из всех человеческих ценностей для доктора Живаго, как только он попадает в обстановку жестоких всенародных испытаний, остается лишь одна ценность — ценность собственного «я»; и уже через эту ценность, как дополнительная ценность, люди, так или иначе непосредственно причастные к этому «я». Это «я», олицетворенное в себе и своих близких, не только единственное, о чем стоит заботиться, но в общем единственно существенная в мироздании ценность, все настоящее и все прошлое олицетворяется в этом «я» — если оно погибнет, все погибнет вместе с ним.

Недаром в полный унисон мыслям самого Живаго Лариса Федоровна говорит ему в разгар гражданской войны: «Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга, и друг к другу льнем».

Открывается новая страница истории человечества — под влиянием Великой Октябрьской революции на десятилетия вперед приходят в движение сотни миллионов людей во всем мире, но единственной ценностью и единственным воспоминанием обо всем «неисчислимо великом» прошлом человечества оказывается в этот момент доктор Живаго и человек, делящий его жизнь! Не кажется ли Вам, что в этом почти патологическом индивидуализме есть наивная выпренность людей, не умеющих и не желающих видеть ничего вокруг себя и поэтому придающих самим себе комически преувеличенное значение?

На одной из страниц романа Вы устами доктора Живаго говорите, что «принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение». Это оборотная сторона авторской претензии на то, что Ваши «ищущие истину одиночки» являются людьми незаурядными, людьми, которых не подверстает под какой-то определенный тип, людьми, которые выше этого.

Однако с этим авторским мнением трудно согласиться. Нам не хотелось бы отказать себе в праве определить и доктора Живаго и других близких ему по духу героев романа как явление достаточно типическое в эпоху революции, гражданской войны, да и в последующее время. Мы меньше всего хотели бы утверждать, что таких людей не было или что судьба доктора Живаго далека от типической.

На наш взгляд, доктор Живаго как раз олицетворяет в себе определенный тип русского интеллигента тех лет, человека, любившего и умевшего говорить о страданиях

народа, но не умевшего быть врачом этих страданий ни в буквальном, ни в переносном смысле. Это тип человека, полного ощущения своей исключительности и самодовлеющей ценности, человека, далекого от народа и готового в трудную минуту изменить народу, отойдя в сторону и от его страданий и от его дела. Это тип «высокоинтеллигентного» обывателя, смиренного, когда его не трогают, легко озлобляющегося, когда его трогают, и готового в мыслях, да и в поступках на любую несправедливость по отношению к народу, как только он лично начнет ощущать малейшую, действительную или мнимую, несправедливость по отношению к себе.

Такие люди были, и их было немало, и спор с Вами идет не о том — были ли они или не были, а о том, заслуживают ли они той безоговорочной апологии, которой полон Ваш роман; являются ли они тем цветом русской интеллигенции, каким Вы всеми средствами своего таланта стремитесь представить доктора Живаго, или они являются ее болезнью. Появление этой болезни в эпоху безвременья и реакции между первой и второй русскими революциями вполне объяснимо, но стоит ли выдавать этих людей с их обывательской бездейственностью в критические моменты, с их трусостью в общественной жизни, с их постоянным уклонением от ответа «с кем ты?» за высшие существа, якобы имеющие право на объективный суд надо всеми окружающими, и прежде всего над революцией и народом.

А ведь Вы именно устами этих людей, и прежде всего устами самого Живаго, стремитесь произвести суд надо всем свершившимся в нашей стране, начиная с Октябрьской революции. Причем, не прибегая ни к каким преувеличениям, можно с полным правом сказать, что Вами, автором, никому не отдано в романе столько безоговорочной симпатии, как доктору Живаго и людям, разделяющим его взгляды до такой степени, что их диалоги в большинстве случаев похожи больше на разговоры с самим собой.

Можно добавить к этому, что ни на что другое в романе не употреблено столько тщания и таланта, как на выражение мыслей и взглядов этих людей, и что представители иных взглядов существуют в романе чисто количественно, употребляя Ваше выражение — «стадно». Они безгласны и не наделены ни способностью мыслить, ни способностью что-нибудь опровергать на том суде, который в Вашем романе производится над революцией и в котором и судья и прокурор, в сущности, олицетворяются в одном лице — в лице Живаго. Ему дано от автора несколько помощников, которые с разными оттенками поддакивают его обвинительным речам, но на этом суде отсутствуют защитники всего того, что осуждает Живаго.

А между тем по мере неудобств и лишений, приносимых ему революцией, Живаго осуждает ее все более озлобленно и непримиримо. Нам кажется не лишним проследить ход этого однобокого процесса. Это следует сделать не ради изобилия цитат, а ради того, чтобы Вы сами увидели все это разом, вместе. Быть может, пока это было рассыпано порознь среди перипетий громадного романа, Вы сами не до конца осознавали, что написано Вами. Хотелось бы верить в это.

Вот доктор Живаго едет в Юрятин и спорит с Костоедовым, который говорит ему, что он ничего не знает и знать не хочет: «А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно. Ах, подите вы! Зачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мною и навязывает мне, что хочет, позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите мне: «слова не сходятся с действительностью», — а есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается».

А вот другое рассуждение, относящееся к тому же восемнадцатому или девятнадцатому (это в романе трудно определить) году, к той же поездке в Юрятин. На этот раз тирада принадлежит не самому Юрию Андреевичу, а его тестю, Александру Александровичу, человеку, с которым они на всем протяжении гражданской войны живут в полном согласии и в разговоры с которым надо тщательно вчитываться, чтобы единственно по знакам препинания определить, что в них принадлежит Живаго, а что — Александру Александровичу.

«Довольно. Я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса. Ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой, в метель. Помнишь, как это было неслышанно безоговорочно.

Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку. Но мне поверили, а мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают».

Так говорит Александр Александрович в ответ на вопрос Живаго о том, как им совместно выработать наиболее приличные формы мимикрии, такие, чтобы не краснеть друг за друга. Заключительные слова насчет вынужденных поступков сказаны тут, в общем, всеу — никаких особых поступков в пользу революции ни Живаго, ни Александр Александрович не совершили, а просто, оказавшись при большевиках в Москве, служили, получали за это паек, а потом, когда он оказался недостаточным, поехали искать более сытное место. Всеу — и насчет обязанностей. Весь последующий ход романа показывает, что и у Александра Александровича и у Живаго нет намека на ощущение своих обязанностей перед революцией или народом. Что же остается? Утверждение, что их обманули, что однажды ночью им понравилась прямолинейность первых советских декретов, а потом, когда прямолинейность этих декретов стала претворяться в жизнь и затронула их собственный быт, они почувствовали, что эта власть против них. Рассуждения объяснимые, необъяснимо другое — зачем выдавать истца за судью!

Но за революцией, принесшей неудобства и лишения доктору Живаго, стоит определенная философия: революция не права по отношению к Живаго, поэтому не права и стоящая за ней философия, значит следует объявить ее несостоятельной.

«— Марксизм и наука? — спрашивает в начале второго тома доктор Живаго.— Спорить об этом с человеком малознакомым, по меньшей мере, неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтоб быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм».

В этой филиппике против марксизма чувствуется уже достаточно раздражения, но в полную свою меру оно проявляется несколько позднее, когда Живаго встречается в Юрятине с Ларисой Федоровной. (Судя по некоторым намекам, это девятнадцатый год.)

«— Вы изменились,— говорит она.— Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.

— В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера, за это время пора было прийти к чему-нибудь. А выясняется, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не научились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегам чеховских школьников в Америку?»

Итак, Живаго в девятнадцатом году уже считает, что революции было пора прийти к чему-нибудь, а она не пришла. К чему — этого мы не знаем! Судя по его эгоцентрическим взглядам на то, что хорошо, и на то, что плохо, — по крайней мере, к тому, чтобы он, Живаго, снова жил той же нормальной и безбедной жизнью, какой он жил до революции. Однако революция еще не сделала для него этого, и он сердит на нее и выносит приговор и ей самой и ее деятелям: они не одарены, ничему не научились и ничего не умеют...

А гражданская война кажется ему незрелой выдумкой, побегом чеховских школьников в Америку. Остроумие довольно дешевое, но злость, надо отдать должное, не шуточная!

Вокруг Живаго происходит ломка и переделка жизни, ломка жестокая, кровавая, трудная, целесообразность и правоту которой можно оценить только с позиций общенародных интересов, с позиций человека, который ставит народ превыше всего. Но

именно этой позиции нет у Живаго — его позиция противоположна. Он судит народ и творимое народом с позиции своего личного физического и духовного благополучия, и совершенно естественно, что, стоя на этой позиции, он, в условиях гражданской войны, чем дальше, тем чаще возвращается к мысли, что оставленное им позади для него лучше той действительности, в которой он существует. А так как благополучие его существования есть вообще главный критерий всего на свете, то, стало быть, затеянная переделка жизни ни к чему, и он скорее за возврат к старому, чем за продолжение этой переделки.

«Во-первых, — говорит он командиру партизанского отряда Ливерию Аверкиевичу, — идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспаляют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние».

И, сказав это, он снова возвращается к той же мысли немножко дальше:

«Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и выдавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий».

Итак, переделка жизни не нужна, а теории, вдохновляющие эту переделку, тупоумны!

Под прикрытием красивых слов об обновляющем и перерабатывающем начале самой жизни ожесточенный вопль: не трогайте меня! Верните мне то, что я имел, ибо это для меня главное, а на остальное мне наплевать! Через страницу Живаго говорит об этом уже с полной откровенностью.

«Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и, тем не менее, мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к черту».

Трудно представить себе более злобическое отщепенство, чем эта позиция: может быть, то, что вы делаете для России, и полезно, но мне наплевать на это!

И вот, вернувшись из партизанского отряда, куда его забрали силой, потому что некому было лечить раненых, и где он стрелял в белых, сочувствуя им, и лечил красных, чувствуя к ним отвращение, доктор Живаго возвращается в Юрятин и видит новые декреты, развешанные в занятом красными городе. И здесь он снова вспоминает о том, о чем вспоминал его тесть, когда они ехали из Москвы, о первых декретах революции.

«Что это за надписи? — думает он, глядя на декреты. — Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шальных выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели минутою слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя?»

Ощущение побеждающей революции до такой степени угнетает Живаго, что он готов проклинать себя, — нет, не за дела и поступки, совершенные во имя революции, таких дел и поступков за ним не числится, а всего лишь за одно минутное восхищение первыми декретами Советской власти!

Такова философия главного героя Вашего романа, человека, которого так же нельзя вынуть из него, как душу из тела. Таков ход его мыслей о революции, таков его прокурорский тон, такова сила его ненависти к революции.

Можно было бы привести еще много мест из романа, которые бы на разных этапах и в разных вариациях повторяли те же суждения, но, пожалуй, это излишне, — общий ход предпринятого доктором Живаго судопроизводства над революцией и так ясен.

Этот суд можно, не колеблясь, назвать шемякиным судом, причем злобность той кривды, к которой приходит Живаго в своих суждениях о революции, усугубляется ощущением его собственного бессилия хоть как-нибудь встать ей поперек дороги. Доктор Живаго психологически раздвоен; его внутренней ненависти к революции хватило бы на двух Деникиных, но так как он в то же время считает высочайшей мировой ценностью свое «я», то во имя безопасности этого «я» он не может и не хочет рискнуть ни на какие прямые контрреволюционные действия и, духовно давно определившись по ту сторону, физически продолжает находиться между двумя лагерями. В этом смысле особенно показательна четвертая глава второй книги Вашего романа.

Мы уже упоминали об этой главе мельком, но для того, чтобы до конца определить всю пропасть между нашим отношением к доктору Живаго, такому, каким Вы написали его в романе, и Вашим собственным авторским отношением к нему, нам кажется необходимым вернуться к этой главе. Она невелика, давайте перечтем ее вместе полностью.

«По международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телефонистом отряда, занимала лесную опушку. За спиной партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное, незащищенное пространство, по которому шли белые, наступаая.

Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты-первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины их казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему бывлых школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья? Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодецеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев, и, бравирюя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных числу видимых мишеней.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.

Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдатьсь и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.

Пока он добегал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в грудь и спину, свои — в наказание за совершенную измену, чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непри-



годными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было невысказано и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.

Целясь и по мере все уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но, о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий выдвигались в решающий миг между ним и деревом и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.

Наконец белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.

Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.

На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению. Отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по-русски.

В псалме говорится: «Живый в помощи вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помощи». Стих псалма: «Не убоишися... от стрелы летящая во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его...» стало в грамотке «Скоро в зиму его».

Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя войны еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.

## ХП

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательной и любящей рукой, наверное материнской, было вышито: Сережа Ранцевич — имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?

Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.

При текущем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.

Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, передел не приходявшего в сознание юношу.

Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне поправился, они отпустили его, хотя он не тайл от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.

Уже прочтя весь роман, мы снова и снова в мыслях возвращались к этой главе, потому что она ключ к очень многому. Думается, нет смысла спорить, что вся глава написана с позиций полного авторского сочувствия к доктору Живаго и безраздельного оправдания всех его мыслей и поступков.

Но что это за мысли и что это за поступки? Чему Вы сочувствуете и что Вы оправдываете как автор?

Итак, насильственно мобилизованный врач вынужден быть у партизан. Доктору Живаго, по Вашим словам, приходится нарушить международную конвенцию о Красном Кресте и принять участие в боевых действиях. Люди, которые идут в атаку на партизанскую цепь, где находится и доктор, в его глазах прекрасны, привлекательны, героичны. Все его сочувствие на их стороне. Они близки ему по духу, по нравственному складу, он от души желает им удачи, то есть не будет преувеличением сформулировать, что он всецело на их стороне духовно. Спрашивается, что же останавливает его от того, чтобы, как Вы пишете, обретя избавление, перейти на их сторону и физически. Только одно — то, что это сопряжено с опасностью для жизни. Вот и все! И Вы, очевидно, вполне искренне считаете это объяснение вполне достаточным для того, чтобы не только объяснить, но и оправдать двурушничество Вашего героя. Вы называете это более изысканно «двойственностью чувств», но, право же, по отношению к человеку, который, лежа с теми, кого он ненавидит, стреляет в тех, кого он любит, единственно ради сохранения своей шкуры, «двойственность чувств» — слабоватая терминология.

А все последующее, со стрельбой доктора по обгорелому дереву, когда он, не желая ни в кого целиться, в то же время одного за другим сваливает трех людей, которые, по Вашему деликатному выражению, «пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда», — это уже отдает иезуитством, тем самым иезуитством, в котором сам доктор Живаго так часто и так облыжно готов обвинять кого угодно. Здесь Ваш доктор Живаго напоминает того ханжу-монаха, который соблюдает пост, перекрестив мясо в рыбу, с той разницей, что здесь речь идет не о мясе и рыбе, а о человеческой крови и человеческих жизнях.

Итак, на протяжении короткого отрезка времени Ваш герой проходит сложный путь многократного предательства: он сочувствует белым и доходит в своем сочувствии до желания перебежать к ним; не решившись сделать это, он начинает стрелять сначала всобщее, а в конце концов по тем самым белым, которым он сочувствует. Потом он испытывает чувство жалости уже не к белым, а к красному телефонисту,

которого убили эти белые. Вслед за этим он сочувствует убитому им молодому белогвардейцу, спрашивает себя: «Зачем я убил его?», а когда выясняется, что этот белый не убит, а лишь контужен, прячет его, выдает за партизана и, оставаясь сам у красных, отпускает его, зная от него самого, что тот вернется в ряды колчаковцев и будет драться с красными.

Так поступает Ваш доктор Живаго, вселяя к себе этим тройным, если не четырехкратным, предательством чувство прямого отвращения у всякого сколько-нибудь душевно здорового человека, — отбросим здесь даже различие в политических взглядах — просто у субъективно честного человека, хоть раз в жизни оценившего свою совесть дороже своей шкуры!

А ведь между тем Вы всею силой своего таланта стремитесь эмоционально оправдать в этой сцене Живаго и тем самым в конечном итоге приходите к апологии предательства.

Что же приводит Вас к этой апологии? На наш взгляд, все тот же гипертрофированный до невероятных размеров индивидуализм. Личность Живаго для Вас есть высшая ценность. Духовный мир доктора Живаго есть высшая ступень духовного совершенства, и во имя того, чтобы сохранилось это высшее духовное достижение и его жизнь, как сосуд, заключающий эту ценность в себе, — во имя этого позволительно преступить все.

Однако в чем же, в конце концов, заключается содержание высшей духовной ценности доктора Живаго, что такое его индивидуализм, защищаемый им страшной ценой?

Содержание его индивидуализма — это самовосхваление своей психической сущности, доведенное до отождествления ее с миссией некоего религиозного пророка.

Живаго — поэт, не только врач. И чтоб убедить читателя в реальном значении его поэзии для человечества, как он сам ее понимает, Вы заканчиваете роман сборником стихов своего героя. Вы жертвуете при этом лучшую долю личного своего поэтического таланта избранному Вами персонажу, чтобы возвеличить его в глазах читателя и вместе с тем как можно больше сблизить его с самим собой.

Чаша страданий доктора Живаго на земле испита, и вот его тетрадь — завещание будущему. Что мы в ней находим? Кроме уже опубликованных в печати стихов, здесь особый смысл для понимания философии романа приобретают стихи о крестном пути Христа на земле. Здесь слышится прямая перекличка с духовным томлением героя, изображенным в прозаической части романа. Параллели становятся ясны до предела, ключ к ним дается физически ощутимо из рук автора в руки читателя.

В заключительном к роману стихотворении Живаго рассказывается евангельское «моление о чаше» в Гефсиманском саду. Слова Христа к апостолам содержат фразу:

«Вас господь сподобил  
Жить в дни мои...»

Разве это не повторение уже сказанных доктором слов о своих «друзьях» — интеллигентах, поступавших не так, как поступал он: «Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали?»

Весь путь Живаго последовательно уподобляется евангельским «страстям господним», и стихотворная тетрадь-завещание доктора заканчивается словами Христа:

«Ко мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты.»

Этим завершается роман. Его герой, как бы повторяющий крестный путь на Голгофу, последним своим словом к читателю, как Христос, прорицает будущее признание сотворенного им на земле во имя ее очищения от греха.

Не в том ли состоял «крестный» путь Живаго, что доктор-поэт, вещающий свое «второе пришествие» и суд над человеком, в действительности презирал реального человека, возводя себя на недосягаемый для смертного пьедестал? Не в том ли состояло призвание этого интеллигентского мессии, что ради спасения своего «духа» он

убивал, предавал, ненавидел человека, мнимо сострадавая ему лишь затем, чтобы возвысить себя над ним до самообожествления?

В этом, собственно, и заключается все содержание высшей духовной ценности доктора Живаго, его гипертрофированного индивидуализма. В сущности, доктор несколько не осуществляет своей претензии на мессианство, потому что искажает, но не повторяет пути обожествляемого им евангельского пророка: христианством на мрачной дороге доктора Живаго и не пахнет, потому что он меньше всего заботился о человечестве и больше всего о себе.

Так под покровом внешней утонченности и нравственности вырастает фигура человека, в сущности своей безнравственного, отказывающегося иметь какие-нибудь обязанности перед народом и претендующего только на права, в том числе и на якобы позволительное для сверхчеловека право ненаказуемого предательства.

Ваш доктор Живаго, благополучно пройдя чрез Сицеллы и Харибды гражданской войны, умирает в конце двадцатых годов, растеряв близких его сердцу людей, вступив в какой-то странный брак и изрядно опустившись. Незадолго до смерти в разговоре с Дудоровым и Гордоном (по Вашей воле представляющими старую интеллигенцию, пошедшую сотрудничать с Советской властью) он в их лице награждает эту интеллигенцию предсмертным злобным плевком.

И как только вы не аттестуете здесь злосчастных собеседников Вашего Живаго, как только Вы не казните их за то, что они не заняли позиций сверхчеловека, а пошли вместе с революционным народом через все его бедствия и испытания.

Им и «не хватает нужных выражений», они и «не владеют даром речи» и «в восполнение бедного словаря по несколько раз повторяют одно и то же». Им и свойственно «бедствие среднего вкуса, которое хуже бедствия безвкусыцы»; они и отличаются «неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором»; они и «обольщены стереотипностью собственных рассуждений»; они и «принимают за общечеловечность подражательность своих прописных чувств»; они и «ханжи» и «несвободные люди, идеализирующие свою неволю», и так далее, и тому подобное.

И, слушая их речи, Ваш доктор Живаго, который, как Вы пишете, «не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением, или, как тогда бы сказали, «духовным потолком эпохи», высокомерно думает о своих друзьях, пошедших служить Советской власти: «Да, друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших собственных имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали».

Мы Вам советуем внимательно перечитать эти слова, написанные Вами в Вашем романе. То, что они до смешного высокомерны, еще полбеды, но неужели Вы не чувствуете, что, кроме высокомерия, в них есть еще и низость! Правда редко бывает спутницей озлобления, должно быть поэтому ее так мало и на тех страницах, где Ваш доктор Живаго заканчивает свой жизненный путь, и на страницах следующего за этим эпилога, написанного, как нам кажется, очень ожесточенной и очень поспешной рукой, настолько поспешной от ожесточения, что эти страницы вообще трудно числить в пределах искусства.

Вам не чуждо стремление к символике, и смерть, вернее умирание, доктора Живаго в конце двадцатых годов, как нам кажется, для Вас является символом смерти русской интеллигенции, которую погубила революция. Да, надо согласиться, что для того доктора Живаго, которого Вы изобразили в романе, климат революции губителен. И спор с Вами не об этом, спор, как мы говорили уже вначале, — о другом.

В Вашем представлении доктор Живаго — это вершина духа русской интеллигенции.

В нашем представлении — это ее болото.

В Вашем представлении та русская интеллигенция, пути которой разошлись с путями доктора Живаго и которая пошла служить народу, удалилась от своего истинного назначения, духовно самоистребилась, не сделала ничего ценного.

В нашем представлении она именно на этом пути нашла свое истинное назначение и продолжала служить народу и делать для народа именно то, что в дореволюционные годы, готовя революцию, делала для народа лучшая часть русской интеллигенции,

и тогда, как и сейчас, бесконечно чуждая тому сознательному отрыву от интересов народа, идейному отщепенству, носителем которых является Ваш доктор Живаго.

Ко всему сказанному нам остается с горечью добавить несколько слов о том, как изображен в Вашем романе народ в годы революции. Это изображение, данное чаще всего через восприятие доктора Живаго, а иногда и в прямой авторской речи, чрезвычайно характерно для антинародного духа Вашего романа и находится в глубоком противоречии со всей традицией русской литературы, никогда не заискивавшей перед народом, но умевшей видеть и красоту его, и силу, и духовное богатство. Народ же, выведенный у Вас в романе, делится на добрых странничков, льнущих к доктору Живаго и его близким, и на полулюдей, полужверей, олицетворяющих стихию революции, вернее сказать, в Вашем представлении, мятежа, бунта.

Чтобы и здесь не быть голословными — всего несколько цитат в подтверждение сказанного. На этот раз без комментариев — так, подряд, — нагляднее.

«В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить».

«В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классово сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков».

«Для почтенных гостей были расставлены стулья, их занимали три-четыре человека рабочих, старые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое».

«Это время оправдало старинное изречение: человек человеку — волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века».

Можно было бы выписать и немало других, похожих на это место, однако и приведенные достаточно характерны для того, чтобы представить себе, каким выглядит в Вашем романе народ, во всяком случае та часть его, которая приняла активное участие в революции. За это именно и сердятся на нее Ваши герои, а вместе с ними и Вы.

До сих пор мы почти не касались художественной стороны Вашего романа. Если говорить о ней, то следует заметить, что при общей сюжетной и композиционной разбросанности и даже раздробленности романа впечатления от тех или иных страниц его не собираются в общую картину и так и существуют разрозненно.

Есть в романе немало первоклассно написанных страниц, прежде всего там, где Вами поразительно точно и поэтично увидена и запечатлена русская природа.

Есть в нем и много откровенно слабых страниц, лишенных жизни, иссушенных дидактикой. Особенно много их во второй половине романа.

Однако нам не хочется долго задерживаться на этой стороне дела, — как мы уже говорили в начале письма, суть нашего спора с Вами не в эстетических препирательствах. Вы написали роман сугубо и прежде всего политический — роман-проповедь. Вы построили его как произведение, вполне откровенно и целиком поставленное на службу определенным политическим целям. И это самое главное для Вас, естественно, стало предметом главного внимания и для нас.

Как это ни тяжело, нам пришлось назвать в своем письме к Вам все вещи своими именами. Нам жаль, что Ваш роман глубоко несправедлив, исторически необъективен в изображении революции, гражданской войны и послереволюционных лет, что

он глубоко антидемократичен и чужд какою бы то ни было пониманию интересов народа. Все это, вместе взятое, проистекает из Вашей позиции человека, который в своем романе стремится доказать, что Октябрьская социалистическая революция не только не имела положительного значения в истории нашего народа и человечества, но, наоборот, не принесла ничего, кроме зла и несчастья.

Как люди, стоящие на позиции, прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи.

Что же касается уже не самой Вашей идейной позиции, а того раздражения, с которым написан роман, то, памятуя, что в прошлом Вашему перу принадлежали вещи, в которых очень и очень многое расходится со сказанным Вами ныне, мы хотим заметить Вам словами Вашей героини, обращенными к доктору Живаго: «А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения».

Впрочем, главное, конечно, не в раздражении, потому что оно всего-навсего спутник опровергнутых временем несостоятельных, обреченных на гибель идей. Если Вы еще в состоянии над этим серьезно задуматься — задумайтесь. Несмотря ни на что, нам все-таки хотелось бы этого.

Возвращаем Вам рукопись романа «Доктор Живаго».

**Б. АГАПОВ**  
**Б. ЛАВРЕНЕВ**  
**К. ФЕДИН**  
**К. СИМОНОВ**  
**А. КРИВИЦКИЙ**

Сентябрь, 1956 г.





Цена 9 руб.